КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Длинные кирпично-красные составы поездов днем и ночью тянутся на запад по Забайкальской железной дороге, увозя в своих вагонах казаков, лошадей, фураж, полковые обозы и все прочее войсковое имущество.

Быстро мчится поезд... Мимо мелькают телеграфные столбы; то взмывая вверх, то ныряя вниз, бегут провода; со скрипом раскачиваются вагоны, мерно выстукивают колеса на стыках. В вагонах тесно, душно, двери их распахнуты настежь. В теп-

лушке, где ехал Егор, поместилось сорок казаков, весь второй взвод четвертой сотни 1-го Аргунского полка. Тут и Егоров поселыцик, малорослый, с остреньким личиком, белобрысый Подкорытов, и давнишний друг Егора, медлительный, рыжеусый здоровяк Молоков, и высокого роста, молодой, четырнадцатого года присяги, чернобровый Вершинин, и сотенский запевала, весельчак Афанасий Суетин.

Уже вторые сутки, как выехали из Читы. Дорога пролегала долиной реки Селенги. Река серебристой лентой петляла левее, то приближалась к дороге, то вновь удалялась от нее так, что угадывалась вдали под сопками лишь по зарослям тальника. Время подходило к полудню. В распахнутые двери вагонов перед глазами казаков проносятся мимо поселки, островерхие бурятские юрты, широкие пади со стогами, зародами сена и прокосами еще не убранной кошенины. То тут, то там видятся каменистые утесы, лобастые сопки, и кругом, куда ни глянь,— тайга дремучая, без конца и края тайга; вечнозеленые сосны и кедры то мешаются с березняком, то уступают место стройным кондовым лиственницам.

Жара. Казаки поснимали с себя гимнастерки и сапоги и, кто сидя, кто лежа, грустными глазами провожали уходящие вдаль знакомые с детства картины. Не унывал лишь один Суетин, словно ехал он не на войну, а в летние лагеря, смешил казаков рассказами о своих похождениях.

— Ты в дисциплинарку-то как попал, расскажи,— смеясь, попросил его Молоков.

Афанасий кулаком расправил усы, улыбнулся.

— Там и рассказывать-то нечего. Пашка меня подвел Ожогин, нашей Чалбучинской станицы. Да-а, дело это осенью было, когда наш полк в Даурии стоял, в Красных казармах, помните?

—- Помним, ты тогда в шестой сотне был...

— В шестой, у Резухина... Ну вот, стою это я однажды на посту у чехауза, а голова так и трещит с похмелья... И тут откуда ни возьмись Пашка, язви его, как на камушке родился, приперся ко мне на пост. Он, конешно, попроведать пришел по дружелюбности и целый котелок ханжи приволок с собой. Осушили мы этот котелок — я и осовел... не знаю, как и с Пашкой расстался. Помню только, что в тулуп завернулся, намотал на руку ремень от винтовки и прижал ее к себе оберучь, как дитю родимую... смена приходит, а я в будке храп храпом погоняю...

— Хо-хо-хо...

— Вот это часовой!

— Не нашлось воров хороших, весь чехауз можно бы увезти при этакой охране!

— Его и самого-то украсть можно было...

— Да оно почти што так и получилось, вить не могли добудиться-то!

— Ха-ха-ха...

— Ну и вот, сплю я, значит, и вижу во сне, будто домой пришел на побывку. В избе у нас жернова стоят в заднем углу, забрался я на них... сижу, а мать ухватила за палку и давай крутить жернов-то, а заодно и меня. А это, оказалось, разводящий: разбудить-то меня не мог, выволок из будки за винтовку — и ну крутить на песку...

Новый взрыв хохота... Переждав его, Афанасий продолжал:

— Так ведь скажи, как получилось, сроду так крепко не спал. Крутил он меня, крутил, а толку никакого. Что делать? Бросить в этаком виде на морозе возле поста нельзя, да и жалко: как-никак свой брат, казак! А тут ишо черт принес дежурного по полку, он и распорядился. Подхватили меня четверо молодцов и на руках прямехонько на губу. Проснулся я утром и никак понять не могу, где нахожусь? Место вроде знакомое: решетка на окне, нары, клопы, на губу похоже, так почему же винтовка при мне, тулуп казенный? Потом уж начальник караула ко мне припожаловал, обезоружил меня, тулуп отобрал и разъяснил, в чем дело. Так вот и схватил три месяца дисциплинарки.

Среднего роста, темно-русый, с небольшими усиками и серыми шельмоватыми глазами, Афанасий Суетин был, что называется, мастер на все руки, то есть отчаянный пьяница, картежник и первейший в полку озорник. Ему ничего не стоило сбегать ночью в село или станицу, достать там водки, араки, а заодно спроворить у жителей целую торбу огурцов, горшок сметаны, а то и гуся, после чего казаки всего взвода устраивали попойку где-нибудь подальше от лагеря. Если же слух о такой пирушке доходил до начальства, то всю вину за это брал на себя Суетин. За это и любили казаки Афанасия и при случае не давали его в обиду.

Но, несмотря на его озорство и беспутство, Суетин у начальства в полку был на хорошем счету, потому что знал Афанасий службу: был отличным стрелком, лихим джигитом и рубакой. Многое прощалось Афоньке, и все же никто во всем полку чаще его не сиживал на гауптвахте и не стаивал под шашкой. Последним «подвигом» Афанасия уже незадолго до войны была кража

поросенка. Украл он его днем, когда ездил в станицу с пакетом. Хозяин поросенка сразу же обнаружил пропажу и следом за Суетиным прибежал в лагерь с жалобой к командиру сотни, есаулу Шемелину.

Есаул распорядился построить сотню, опросить всех и произвести обыск. Вахмистр и два урядника в присутствии есаула и хозяина поросенка обыскали палатки, обтыкали шашками на конюшне сено, кули с овсом, осмотрели кормушки в стойлах, седельные сумы, но поросенок как в воду канул. Хозяин, широкоскулый рыжебородый старовер, поахал, да так и ушел ни с чем. А Суетин, вызванный в штабную палатку, тянулся перед Шемелиным, плел несусветное.

— Ты украл, мерзавец? — допытывался есаул.

— Никак нет, вашскобродь, не воровал!

— Врешь, подлец! По глазам вижу — врешь!

Суетин, глядя на есаула ангельски невинными глазами, божился, что он этого поросенка в глаза не видал, что у него и в уме не было никогда сделать такую пакость. Но есаул нажимал:

— Заморю мерзавца под шашкой! Лучше сознавайся, ты спер поросенка, больше некому! Кто другой сможет так обработать, что и концов не найдешь, один ты ловкач на такие штучки!

Это и подкупило Афанасия. Польщенный таким высоким о себе мнением начальства, он скосил глаза в сторону, признался:

— Оно-то верно, вашскобродие, где уж им так спрятать!..— Он снова глянул на есаула, и лицо его расплылось в улыбке, как блин на сковородке.— Кишка у них тонка супротив Афоньки!

— То-то же, дурачина,— уже миролюбиво заговорил есаул.

Тем бы дело и кончилось, если бы не подвела Афанасия чрезмерная откровенность. Гнев есаула прошел, и он, как видно, решил не наказывать Афанасия, а только спросил его: куда же спрятал его, поросенка-то?

— В сумы, вашскобродь!

— В сумы-ы? — удивился есаул. — Так ведь искали же в сумах-то?

— В казачьих искали, а в ваших-то нет.

— Что-о? — не своим голосом взревел есаул, и тут Афанасий получил такую затрещину, что щукой вылетел из палатки.

— Дешево отделался,— хвастал Афанасий перед друзьями, казаками второго взвода, когда они собрались к нему в палатку отведать свежей поросятины.

Эти рассказы Афанасия, хоть и ненадолго, все же отвлекали казаков от их безрадостных дум. У каждого из них душа болела по дому, по родным и любимым: когда-то теперь свидишься с ними, да и свидишься ли? Война. С нее ведь не все приходят домой подобру-поздорову и неизвестно, кто вернется к родному очагу, а кто сложит буйную голову где-то вдали от родины.

Во время короткой остановки на станции Сохондо Молоков сходил в штабной вагон. Обратно прибежал, когда уже тронулся поезд, в вагон прыгнул на ходу и, отдышавшись, вытер рукавом гимнастерки вспотевшее лицо.

— Чуть не опоздал, волк его заешь,— заговорил он, опускаясь на чье-то седло, и тут же извлек из кармана шаровар сложенные ввосьмеро две газеты,— гумаги вот разжился в штабе, знакомец мой, писарь, удружил, Пичугов, нашей станицы...

Казаки при виде даровой бумаги повеселели.

— Вот это дело! Молодец, Митька!

— Закуривай, братцы!

— Дели на всех!

— Подождите вы с куревом-то, надо почитать сначала.— Молоков развернул газеты, разгладил их у себя на колене. — Тут такое интересное чтение, Пичугов вычитал про военное действие, как там казаки донские немцам навтыкали. А ну-ка, Вершинин, пробарабань нам про энто сражение.

Казаки попритихли, приготовились слушать, а Вершинин прочитал им о том, как четверо донских казаков сразились с целым взводом немецких кавалеристов и казак Кузьма Крючков один убил десять немцев и одиннадцать ранил. Статья казакам понравилась, и сразу же вскипел разговор:

— Вот это геро-ой!

— Показал, как наши воюют!

— Ежели не врут, так здорово!

— А чего же им врать-то?

— Постой-ка, Микула, ты прочитал — немцев, а верно ли это? Вить немцы-то, я слыхал, наши подданные!

— А вот как раз с немцами-то и война у нас.

— Ври больше. Забыл, што командир полка-то разъяснял? Ну вот, когда с походом-то нас поздравил...

— Меня не было в тот раз, дневалил на конюшне.

— Ну так вот слушай, с Австрией война зачалась. А вышло все из-за пустого дела: в Сербии какого-то там ерца-перца кокнули вместе с женой, из-за этого и война возгорелась.

— Скажи на милость, из-за бабы воевать!

— Ну а мы-то чего лезем в ихнюю драку?

— Просто так, сбоку припеку. Австрия ополчилась на Сербию, а наш царь за нее заступился, германский царь за Австрию, вот оно и пошло.

— Говорят, и Турция супротив нас?

— Турки эти, известное дело, завсегдашние наши враги. Их и деды наши били, и прадеды, а им таки, гадам, неймется.

— Вот видишь как, а ты говоришь — немцы.

— Так вить германцы-то и есть немцы!

— Окстись, дурной!

И между казаками вперемежку между божбой и руганью разгорелся спор.

Полуденная жара заметно спала, когда подъехали к Байкалу, и перед глазами казаков раскинулось огромное плесо «священного моря», в лицо им пахнуло прохладой. Прекратив споры, казаки сгрудились у дверей, почти все они видели Байкал впервые.

— Вот он какой, Байкал-то наш батюшка!

— Эка диковина, братцы, ширина-то!

— Верст пятьдесят будет, пожалуй!

— Какой тебе пятьдесят, тут все сто клади, да шло и с гаком.

— Да-а, глубь, говорят, в нем непомерная, самое што ни на есть море-океан. И рыбы небось полно?

— Само собой, омулей-то в Чите продают отсюдова, с Байкалу. Тут их расплодилось, в эдаком-то раздолье.

Егор, привалившись плечом к двери, молча сидел на куле овса. Он не вступал ни в какие разговоры, думал о своем, из головы не выходили у него последние дни, проведенные вместе с Настей. Сегодня особенно ярко вспомнилось последнее утро на покосе. Отработав добрый уповод1, Егор, придя на стан, подхватил только что вставшего с постели сына, усадил его к себе на плечи — и бегом на речку. Напротив стана, на повороте, речка образовала глубокий омут. В прозрачной, чуть зеленоватой воде резвились юркие золотистые гальяны. Полюбовавшись рыбками, Егор снял с себя мокрую от пота рубаху и долго мыл голову. Рядом, присев на корточки, плескался маленький Егорка. Он то шлепал по воде пухлыми, розовыми ладошками, то смеялся и, дергая Егора за штанину, кричал, захлебываясь от восторга:

— Дяинька, гляди-ка, гляди, лыбки!

А солнце пригревало все сильнее, чудесно пахло свежим

У п о в о д — отрезок рабочего времени.

сеном. Мокрые от росы кусты и некошеный пырей вдоль речки курились паром. Настя готовила завтрак, ребятишки-копновозы помогали ей, рубили дрова. Весело потрескивая, полыхал костер. Ермоха и другие работники, пристроившись у балагана и телег, стучали молотками, отбивали литовки. И кто бы мог подумать, что в это ясное, солнечное утро кончится отпуск Егора, что к вечеру он будет далеко от своей Насти и что многие, многие годы придется провести ему в седле, не расставаясь с неизменной подругой своей шашкой и с винтовкой за плечами.

Дорога, круто загибая влево, потянулась берегом Байкала, и перед взорами казаков он развернулся могучий и такой огромный, что там, далеко на горизонте, уже не поймешь, где кончается это великан-озеро и где начинается небо. Только левее, на западе, затянутая сизой дымкой, виднеется зубчатая полоска, и тоже не поймешь чего: или это горы, или из-за Байкала поднимаются тучи. И лишь присмотревшись к неподвижно-неизменным очертаниям, догадаешься, что это видится гористый западный берег.

День был тихий, безветренный, и старец Байкал словно дремлет, умаявшись от трудов, греется на солнышке. На его гладкой, голубой, под цвет неба, поверхности отражаются стайки белых перистых облачков, кое-где чернеют рыбацкие лодки, а вдали по кудрявому дымку угадывается пароход.

В открытые двери левой стороны вагона видны горные кручи и ущелья между ними. Величественные громады гор, густо заросшие столетними соснами и кедрами, громоздятся одна на другую, дальше за ними белеет покрытая снегом вершина Хамар-Дабана. Все ближе и ближе подступают к Байкалу угрюмые скалистые великаны, и там, где дорога делает поворот, видно, что голые утесы придвинулись к озеру вплотную и, круто поднимаясь прямо из воды, преградили путь. И тут поезд, словно изо дня в ночь, нырнул в туннель. В кромешной темноте в вагон вместе с дымом потоками хлынули шум, грохот поезда.

Темнота поредела, еще миг — и поезд так же стремительно выскочил на свет. Мимо промелькнула сводчатая арка туннеля, куст боярышника на горке, полосатая будка и одинокий часовой с винтовкой к ноге.

И снова перед глазами казаков Байкал. Но теперь по нему уже гулял ветерок, морщил еще совсем недавно гладкое плесо и как слизнул с него голубую окраску, заменив ее серо-стальным цветом с синеватым отливом. Все сильнее крепчал ветер, и

Байкал, словно серчая на непогоду, хмурился, мрачнел, а на потемневшем лоне его загуляли беляки.

— Смотри, что делается! — удивился Егор.— Совсем недавно тихо было, и уж ветер откуда ни возьмись!

— Баргузин заиграл,— пояснил Вершинин.

— Какой Баргузин?

— Речка так называется, в Байкал втекает, вон с той стороны,— Вершинин показал рукой на северную сторону озера,— и ветра оттуда часто налетают на Байкал внезапно, их тоже называют здесь баргузинами.

— Вот оно что.

После станции Слюдянка туннелей стало еще больше. Ветер усилился, и казаки, чтобы он, врываясь в вагон, не разносил сено, закрыли двери левой стороны. Было видно, как под напором ветра гнулись придорожные тальники, березки и кусты боярышника. Даже великаны сосны, что виднелись впереди на горах, раскачивали мохнатыми вершинами. Байкал, как разгневанный чем-то, грозно гудел, вскипая злобой; исполинская грудь его тяжело и шумно вздымалась и вновь опускалась; огромные, темно-свинцовые волны с пенно-белыми гривами валами мчались на приступ. С яростным воем кидались они на скалистый берег и, вдребезги разбитые, откатывались обратно. Но на смену им обозленный старик гнал все новые и новые белогривые громады, и там, где дорога подходила близко к берегу, всплески от них достигали шпал и рельсов пути. Временами даже в вагон вместе с ветром залетали брызги и хлопья пены, но казаки не закрывали дверей, залюбовавшись расходившимся грозным старцем. Недавнюю грусть их как рукой сняло, даже Егор позабыл на время про Настю и тоже глаз не мог оторвать от разбушевавшейся стихии.

— Даже смотреть страшно,— проговорил он,— того и гляди захлестнет волной — и каюк всем!

— Ну не-ет,— возразил Молоков,— насыпь-то, вон она какая, никак ему до нас не дохлестнуть.

Суетин толкнул локтем Егора, пошутил:

— Это он развеселить нас задумал, а то вы уж совсем носы повесили, а теперь ишь запели...

В это время поезд нырнул в туннель, и в вагон вместе с шумом, дымом и грохотом поезда ворвались слова знакомой песни:

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко.

ГЛАВА II

По железной дороге забайкальцев довезли до города Лукова, здесь они высадились, и до фронта, по направлению к Висле, дивизия шла походным порядком.

Уже на второй день похода вступили в полосу недавних боев: разрушенные, обезлюдевшие деревни, опустошенные сады в них, истоптанные конницей поля спелой пшеницы и ржи, линии пустых окопов с остатками рваных заграждений из колючей проволоки, воронки от взрывов и черные, дымящиеся места пожарищ — все говорило о том, что еще совсем недавно были здесь бои, что враг отступил по всему фронту, а наши войска продвинулись на запад.

На ночлег полк остановился в большом, покинутом жителями селе. Четвертая сотня ехала по неширокой, извилистой улице, она оказалась уже занятой казаками другого полка. Вечерело, закатное солнце багрянцем окрашивало верхушки верб и громадных яворов, а внизу, в темени садов, виднелись расседланные кони, казаки сидели вокруг костров, иные шныряли по садам в поисках съестного, ломали на дрова изгородь. Аргунцы ругались, досадуя на чужаков; командир сотни распорядился занять соседнюю улицу. Головной взвод уже свернул налево в проулок, когда Егор услышал, что его кто-то окликнул, назвал по имени. Он оглянулся на голос и в крайней к проулку усадьбе увидел сидящих у огонька казаков, а в одном из них, вскочившем на ноги и махавшем ему рукой, узнал брата Михаила. Обрадовавшись, Егор забыл и отпроситься у взводного, свернул коня в сторону из строя и на рысях поспешил к брату.

— Мишатка, братуха, здравствуй! — Осадив коня, Егор склонился с седла, поцеловал брата, выпрямился и крепко пожал ему руку. — Вот негаданно-то нежданно...

— Четыре года не виделись, и вот оно где пришлось! — Не выпуская руки брата, Михаил смотрел на него снизу вверх. Загорелое, и без того смуглое лицо его светилось радостной улыбкой. Он повзрослел за эти годы, раздался в плечах, а над верхней тубой уже обозначился пушок черных усов.

Опаленный неожиданной радостью, Егор и слов не находил, чтобы выразить ее, заговорил о другом:

— Сюда-то как попал, ты ведь в Первом Читинском?

— Ага, полк-то наш в другой деревне, а наша сотня для связи тут.

— Как она у тебя, житуха-то, письма-то получаешь из дому?

— Веснусь ишо было письмо, как в Антинихе стояли, да вот и до се не было.

— А я, брат, побывал-таки дома-то, думал, што через полгода навовсе вернусь домой, а оно видишь как получилось...

— Ты слезь с коня-то... поговорим.

— Нет, Миша, я уж поеду сотню догонять, а то не буду знать, где она остановится.

—' Тогда хоть ячменю возьми.

— Какого ячменю?

— Да мы его тут нашли целую бочку, под соломой запрятанный был, распотрошили. Мне его ведра два досталось. Давай во што насыпать, покормишь гнедка.

— Зачем же это вы, Миша. И так-то вон как разорили какого-то беднягу хохла, да ишо ячмень последний выгребли.

— Э-э-э, брат,— отмахнулся Михаил,— этому ячменю все равно бы несдобровать, не мы, так другие взяли бы, так уж лучше пусть наши кони подкормятся.

— Не уважаю я такие дела,— Егор вздохнул, однако конскую торбу достал из седельной саквы, подал брату. Пока Михаил наполнял торбу ячменем, Егор оглядывал двор, где хозяйничали казаки: трое сидели у ярко полыхающего костра, один только что подошел к ним и высыпал из полы шинели нарытую в огороде картошку, другой рубил шашкой жердь с хозяйского двора, третий тряс еще не совсем обобранную яблоню, а один забрался на самую вершину высоченной груши. Казачьи кони, привязанные к яблоням, звучно, с хрустом жевали хозяйский ячмень, белая хата в глубине сада неприветливо чернела глазницами выбитых окон.

— Экое безобразие творится,— проговорил Егор, увязывая в торока торбу с ячменем.— Мало того што ломают все, жгут, да ишо и окна-то повыбивали. Ты хоть воздерживайся от таких делов. Куда же это годится.

— Я и то воздерживаюсь. А разорили-то тут ишо до нас, немцы. Не-ет, мы только по нужде, насчет съестного промышляем, а зазря-то чего же безобразничать.

— То-то. Знаешь что? Я сейчас поеду разыщу свою сотню, пока светло, отпрошусь у вахмистра и вернусь к тебе. Побудем вечерок-то вместе, поговорим обо всем.

— Верно! Тогда езжай скорее, а я к твоему приезду картошки наварю.

— Добро!

Повеселевший Егор крутнул гнедого, помчался разыскивать сотню.

* * *

Первое боевое крещение Егор получил вскоре же, под местечком Городок на Збруче, где австрийская конница атаковала передовые позиции русских. Наши пехотинцы окопались на окраине местечка, справа от них залегли спешенные казаки 1-й Забайкальской дивизии. Позиция эта была очень удобна для обороны: широкая, открытая луговина уступами опускалась до самого Збруча, и только бездарностью австрийского командования можно было объяснить тот факт, что они в таких условиях бросили в наступление конницу на окопы и пулеметы русских.

Развернувшись лавами, австрийские гусары картинно, как на параде, ринулись в атаку в конном строю, сверкая на солнце клинками палашей. По атакующим беглым огнем ударили наши пушки, и было видно, как шрапнелью сметало с седел гусар, а красивый строй их ломался на глазах, сбивался кучей. И вот уже командир сотни есаул Шемелин взмахнул обнаженной шашкой:

— Сотня-а!

У Егора неприятно засосало под ложечкой, первый раз в жизни довелось ему стрелять в живых людей. Жмуря левый глаз, он ловил на мушку серые фигурки всадников, чувствуя, что руки дрожат, а сердце словно кто-то сжимает тисками.

— Пли!

Ахнул залп, второй, третий, злобно зарокотали пулеметы, и гусары не выдержали, повернули обратно. Теперь они откатывались уже беспорядочными толпами, и тут на них с левого фланга ударили кубанские и терские казаки. Сразу же смолкла стрельба, и в зловеще притихшей долине серебристыми бликами клинков заплескалась страшная в тишине своей рубка. Более половины бравых гусар полегло в этом бою под пулями и шашками русских, остаткам же их удалось уйти за Збруч только потому, что руководивший боем русский генерал не пустил в дело бригаду донских казаков, которых продержал он в резерве безо всякой пользы.

.. .

С тех пор как дивизия прибыла на фронт, прошло больше месяца, и не один уж казак остался лежать навечно на чужой, неприветливой земле у Збруча, у Серета, под Трембовлей и под Гусятином, почти начисто сожженным немцами при отступлении.

Из местечка Грудницы Аргунский полк в ночь выступил по направлению к речке Гнилая Липа, откуда весь день до глубокого вечера доносились глухие раскаты орудийной стрельбы. Шли бездорожно, через луга и поля несжатого хлеба, минуя перелески и пустые деревни.

Около полуночи вброд перешли небольшую речушку, на берегу ее в рощице остановились на привал, выслали разъезды. Разводить костры, даже разговаривать было запрещено, и казаки, поручив лошадей коноводам, залегли, рассыпавшись по редколесью, втихомолку укрываясь шинелями, курили, дремали. Егор также покурил с лежащим с ним рядом Вершининым, справа от них уже похрапывал Гантимуров, горбоносый и черный как цыган казак Дуроевской станицы; слева прикорнул под липкой Молоков. Притушив докуренную самокрутку, Егор спросил Вершинина:

— Куда ведут-то нас, слыхал?

— На какую-то Липу, взводный сказывал. Речка тут есть такая...

— Гнедко у меня расковался на левую переднюю, недоглядел.

— Невелика беда, лето, дороги тут не каменисты. Вот уснуть бы не мешало. Алешка вон молодец, только приткнулся к земле — и захрапел...

Вершинин зевнул, повернулся на другой бок, притих, вскоре задремал и Егор.

Полк двинулся дальше на рассвете и вновь остановился надолго на закрайке жиденькой дубовой рощи... А там, где-то уже недалеко впереди, начинался бой. Все сильнее бледнело небо, ширился рассвет, и чем больше усиливалась канонада, тем ярче багровела заря, словно отражалась в ней кровь, что пролили павшие воины в сырой, заболоченной долине Гнилой Липы.

С восходом солнца орудийный гул впереди затих, захлопали ружейные залпы, заговорили пулеметы. А здесь, в рощице, тишина. В ожидании выступления казаки дымят махоркой перекидываются словами:

— Долго торчать здесь будем?

— А чем тут плохо?

— Комары вон появились, заедят тут к чертовой матери.

— Дымокур бы развести.

— Да ишо чайку бы сварить.

— Кажись, на ура пошла пехота?

— Теперь, гляди, и нас позовут.

Наконец раздалась команда «по коням»; казаки вмиг разобрали лошадей, и полк, сотня за сотней, равняясь на ходу, колыхая пиками, на рысях двинулся к месту сражения.

Верст через пять миновали еще одну рощу, выехали на опушку. Стало видно широкую луговину, большую деревню, линию окопов, откуда наши пехотинцы выбили австрийцев и теперь из винтовок и пулеметов стреляли по отступающим, с левого фланга их обходили аргунцы.

Но вот раздалась команда к наступлению. Сотни вмиг рассыпались лавой, повернули направо.

— Пики к бою, шашки вон! — Над головой сотника Фомина — сегодня он командовал сотней — сверкнула шашка, до слуха Егора долетел лишь конец команды: —... марш-марш!

Лавина всадников, с пиками наперевес и с шашками наголо, ринулась в атаку, под тысячами копыт загудела земля. Егоров Гнедко, вытянув шею и плотно прижав уши, вытягивался в струнку в броском намете. Расстояние между казачьей лавой и бегущими к речке австрийцами быстро сокращалось, и в сером потоке их Егор уже различал отдельных людей. Иные из бегущих, замедляя шаг, вскидывали винтовки, отстреливались на ходу. Егор слышал короткий посвист пуль, видел, как двух казаков -сорвало вражьими пулями с седел и кинуло под копыта коней. И еще увидел Егор, как опередивший всех хорунжий Тонких первым настиг вражеских пехотинцев, как он сшиб одного австрийца конем, второго зарубил шашкой. Еще миг — и лавина казачьих пик и клинков обрушилась на австрийцев, началась жестокая, беспощадная рубка.

Урядник Погодаев зарубил двух немцев, третий выстрелом из винтовки убил под ним коня, замахнулся на упавшего Федота штыком и не успел,— обливаясь кровью, свалился рядом; полголовы снес ему шашкой вовремя подоспевший Вершинин.

Больше Егор ничего не видел; настигнув стрелявшего в него высокого белокурого австрийца, он приподнялся на стременах, с ходу кинул на голову пехотинца косой, режущий удар шашкой. В ту же минуту и сам Егор вылетел из седла, больно ударился головой о землю и потерял сознание.

Очнувшись, Егор почувствовал сильную боль, шум в голове, он ощупал ее, удивляясь, что не ранен, приподнялся на локтях и неподалеку от себя увидел Гнедка. Конь лежал в луже крови, завалившись на правый бок. Пуля вошла ему в правое плечо под лопатку и вышла в левый бок, около задней подпруги. Егора как пружиной подкинуло с земли.

— Гнедко! — позвал он, шагнув к своему любимцу, и тут увидел, как из раны у Гнедка вываливаются голубовато-розовые кишки. У Егора зарябило в глазах, защемило сердце.

— Гнедко! — снова позвал Егор, опускаясь на одно колено и заглядывая в тускнеющие глаза друга. Конь узнал хозяина, попытался поднять голову и не мог, только застонал, как человек, сильнее задвигал ногами.

— Убили? — раздался голос подъехавшего сзади Вершинина.

Егор поднялся на ноги, чувствуя, как спазма сжала его горло, с трудом прохрипел в ответ:

— Добей... скорее... — И, махнув рукой, пошел прочь. Он весь как-то съежился, задрожав плечами, замедлил шаг, когда позади него хлопнул выстрел.

ГЛАВА III

Взамен убитого Гнедка Егор получил из конного запаса дивизии вороного, со звездой на лбу скакуна, двух аршин ростом. По тому, как легко брал новый строевик препятствия, не боялся стрельбы и смело шел, куда бы ни направила его рука седока, Егор определил, что ходил Воронко под седлом боевого, да, видно, уж убитого казака.

Преследуя отступающую неприятельскую пехоту, аргунцы сшиблись с немецкой кавалерией, и тут Егор еще более убедился, что Воронко и в беге и в боевой сноровке ничуть не хуже Гнедка. В пылу боя Егор увидел впереди себя, как на русского офицера напали три немецких конника. Офицер, как видно боевой рубака, вьюном вертелся на сером в яблоках коне и так хватил немца шашкой, что рассек его чуть ли не до пояса. Второго немца зарубил Егор в тот самый момент, когда немец направил на офицера пику. Третий немец выстрелом из винтовки свалил-таки лихача офицера вместе с конем, выстрелил в Егора и, промахнувшись, бросился наубег.

Егор сорвал с плеча винтовку, расстрелял по немцу всю обойму и, спрыгнув с коня, подошел к офицеру.

Офицер в есаульских погонах оказался живым, он лежал, запрокинувшись на спину, и хрипло стонал. Был он чужого полка, своих офицеров Егор знал наперечет, а этого рыжеусого, с темно-каштановым чубом видел впервые.

Кое-как перевязав незнакомцу рану, Егор подозвал к себе проезжавших мимо двух казаков, с их помощью поднял его на своего Воронка и отвез раненого в ближайшую деревушку.

Там он сдал пришедшего в себя есаула в полевой госпиталь Уссурийской дивизии, что расположился в помещении сельской школы, и уехал.

Разоренная дотла деревушка до отказа запружена войском: куда ни глянь — всюду видны казаки, кони, фургоны полковых обозов, около одной из хат дымила полевая кухня. Миновав ее, Егор по проулку въехал в другую улицу и тут в проходившем мимо казаке с перевязанной рукой узнал своего односельчанина.

— Веснин! — изумленно и радостно воскликнул Егор и, туго натянув поводья, остановил Воронка.

Веснин остановился, подняв голову, узнал Егора и радостно улыбнулся:

— Ушаков, Егорша! — Он подошел ближе, здороваясь, протянул Егору левую руку, правая у него забинтована, подвязана к шее — Вот никак не чаял встретиться. Как попал-то к нам?

— Офицера привозил раненого. Ну, где тут наши посельщики-то?

— Нету их здесь, в другой деревне наш полк, я-то по случаю ранения тут, в госпитале был.

— А здесь какие казаки?

— Амурские...

Продолжая разговаривать, тронулись по улице. Веснин, шагая с правой стороны, придерживаясь здоровой рукой за стремя, рассказывал:

— Из нашей станицы пятерых уже как ветром сдуло...

— Поселыцики наши все живы?

— Чубарова Яшку помнишь?

— Ну а как же, на низу жил, веселый был парнишка, на балалайке играл, а что?

— Убили под Трембовлей. На моих глазах прямо в грудь прилетела, даже и не пикнул. Вот она, война-то, Егорша, кой черт ее выдумал.

И, помолчав, заговорил о другом:

— А помнишь, рябков-то с тобой ловили осенью, а? Вот было времечко!

— Помню. И как по багульник ходили весной, и как карасей удили в озере, все хорошо помню.

— И до чего же хороши места у нас— Веснин глубоко и тяжко вздохнул, и в голосе его зазвучали грустные нотки. — Уж вот здесь тоже вроде неплохо, и яблоков вон, и всякой фрукты полно, а все не то, у нас лучше. Даже и по ночам снится своя сторонушка...

Он проводил поселыцика за околицу. Попрощавшись, Егор пустил Воронка в полную рысь. Оглянувшись, увидел, что Веснин стоит на том же месте, на груди его, на фоне серо-песочного цвета гимнастерки, белеет забинтованная рука.

После этого случая прошло около двух недель. В деревушке, которую сегодня утром заняли аргунцы, Егора вызвал к себе сотенный командир.

Егор торопливо шел по узенькой, кривой и донельзя грязной уличке, недоумевая, зачем он понадобился командиру.

«С пакетом, наверно, турнет куда-нибудь,— досадовал Егор — Думал, отдохнет сегодня Воронко, а тут на тебе... и вечно мне везет, как куцему».

По сотенскому значку на пике, прикрепленной к воротам, Егор быстро разыскал командирскую штаб-квартиру. Это была одна из уцелевших хат, белевшая в глубине двора глинобитными стенами. Влево от ворот широко раскинула могучую крону старая верба. Вершину ее срезало, как видно, снарядом; острыми иглами торчал расщепленный ствол.

Вестовой казак провел Егора через кухню в горницу со множеством икон в переднем углу и с глиняным, исковырянным каблуками полом. На широкой скамье за столом сидел командир сотни Шемелин, а напротив него, на табуретке, спиной к Егору, офицер с темно-каштановым чубом и левой рукой на перевязи.

— Честь имею явиться — Егор остановился у порога, правую руку приложил к фуражке — Рядовой Ушаков.

Шемелин с веселой улыбкой взглянул на Егора и сказал своему собеседнику:

— Вот он, ваш спаситель, Григорий Михайлович.

Офицер с каштановым чубом оглянулся, и Егор узнал в нем того есаула, которого он недавно защитил от немцев и препроводил потом в госпиталь.

— Здравствуй, Ушаков,— легко поднявшись на ноги, сказал есаул.

— Здравия желаю, ваше благородие!

— Так это ты, братец, отвел тогда меня от смерти?

— Я, стало быть... — не по-военному просто ответил смутившийся Егор. Он только теперь по-настоящему рассмотрел есаула.

Тот был среднего роста, ладен телом и приятен лицом. А лихо закрученные вверх усы и веселый, решительный взгляд живых серых глаз придавали ему что-то чисто казачье, удалое, мужественное, располагающее к нему людей.

«Каков молодец,— подумал Егор, глядя на есаула и радуясь, что спас такого славного человека — Орел! Настоящий орел!»

— Благодарю, дружок, от всей души благодарю,— продолжал между тем есаул, весело и дружелюбно глядя Егору в лицо, легонько касаясь здоровой правой рукой рукава Егора — Кабы не ты, быть бы мне уж теперь вестовым у Николая-угодника!

— Да ведь оно дело военное, ваше благородие,— пробормотал совсем застеснявшийся Егор,— хоть до кого доведись...

Подошел Шемелин.

— Видал, Григорий Михайлович, какие у меня казачки, а? Ведь вот геройский поступок совершил и помалкивает себе, как будто и дело не его, я и до сегодня не знал...

И тут он обернулся к Егору:

— Вот что, Ушаков! За проявленное в бою геройство и спасение от смерти командира сотни 1-го Нерчинского полка, их благородия есаула Семенова, представляю тебя к награде георгиевским крестом четвертой степени. Надеюсь, что это первый, но не последний твой крест, желаю тебе вернуться в станицу полным кавалером.

У Егора зарябило в глазах, правая рука его машинально подкинулась к козырьку фуражки.

— Покорнейше благодарю, вашескобродь. Рад стараться.

— Ты какой станицы? — снова заговорил Семенов.

— Заозерной, ваше благородие!

— Нашего, значит, второго отдела. Хорошо-о. Так вот, Ушаков: если будем живы, после войны приезжай ко мне в Куранжу, Дурульгуевской станицы, пару коней на выбор изо всех табунов подарю тебе... А пока что,— есаул здоровой рукой извлек из нагрудного кармана часы с цепочкой и подал их Егору,— возьми, братец, на память. Бери, бери, не стесняйся, не обижай отказом.

Весь этот день Егор ходил именинником. В сотне, когда он рассказал о своей встрече с Семеновым, его окружили друзья-казаки, расспрашивали, поздравляли с наградой, завидовали.

— Повезло Егорке!

— Подфартило.

— И крест заработал, да еще и часы...

— Серебряные часики-то, «Павел Буре»,— восхищался Молоков.

— А там, гляди, и коней получишь — заговорил Вершинин. — Я-то знаю Семеновых, богачи изо всей станицы ихней. Коней у них табуны, а кони-то — орлы! Ты, Егор, как поедешь к ним, меня возьми с собой. Уж я тебе выберу коньков, век благодарить будешь!

— Егор, а как же он нашел тебя здесь?

— Не знаю, поселыцика я там встретил тогда — Веснина, он, наверное, и рассказал про меня в госпитале.

ГЛАВА IV

«Кому война, а кому — нажива». Так говорили в Антоновке не только про Савву Саввича, но и про Марфу Дидючиху, потому что во время войны зажила она лучше прежнего. Но говорить-то говорили, а обойтись без Марфы не могли: уж Сольно она была человеком, что называется, на все руки —и беда и выручка. Она и сваха лучшая на всю станицу, и бабка-повитуха, и костоправ непревзойденный, и кровь останавливать умеет, и зубы заговорить, и от лихорадки, от испугу, от дурного глазу вылечить. От всех болезней лечила Марфа наговорами и травами, которых заготовляла она великое множество. На это и жила Марфа и нужды ни в чем не знала. В войну доходы Марфы еще больше увеличились, ведь она и ворожить-то умела лучше других; ну а кто же пойдет на ворожбу с пустыми руками? Кто маслица принесет, кто яичек, творожку со сметаной, кто крупы, кто мучки, а кто и овечки не пожалеет за «хорошую» ворожбу.

Тоскуя по Егору, и Настя повадилась ходить к Марфе ворожить. Вот и сегодня направилась она вечерком к Марфе, да загрустила дорогой-то, задумалась и не заметила, что свернула не в тот переулок. Догадалась об этом, когда уже вышла на другую улицу и прямо перед собой увидала большое здание школы. Смеркалось, в школе два окна со стороны ограды с садиком ярко освещены.

«Учитель тут живет, Михайло Иваныч»,— подумала Настя и уже было повернулась, чтобы идти, но, услышав музыку, остановилась, прислушалась. Плавные, нежные звуки доносились из открытого окна: учитель Бородин играл на скрипке.

Никогда еще в жизни не слыхивала Настя такой чудесной музыки. Забыв и про Марфу, и про ворожбу, перешла она улицу, через калитку тихонечно прошла в садик и остановилась у куста разлапистой, усыпанной белым цветом черемухи.

Отсюда ей видно было край стола под белой скатертью, половину застекленного шкафа с книгами и самого учителя. В белой, вышитой голубыми нитками рубашке, черноусый, в очках, он стоял возле окна, в двух шагах от Насти. Полузакрыв глаза и чуть склонившись, прижимая подбородком скрипку, он играл, плавно поводя смычком; пальцы левой руки мелко подрагивали на струнах.

Еще будучи девушкой, любила Настя слушать скрипку, плясать под нее на вечерках кадриль и подгорную, но такую музыку она слышала впервые. И так-то хорошо от нее на душе у Насти: и радостно и грустно до слез. А скрипка родит все новые и новые звуки: то нежно-нежно замирает на высоких нотах, то басовито зарокочет на самых низких...

Увлеченный музыкой, учитель не замечает ничего, играет, а на лице его выражение умиления и печали.

Кончил он играть, а Настя все стоит: ждет, не заиграет ли он снова. И тут случилось неожиданное: сучок ли треснул под ногой у Насти или вздохнула она так тяжко,— услыхал ее учитель и, высунувшись из окна, спросил:

— Кто здесь?

— Я это,— робко отозвалась Настя и, вытерев глаза концом голоɐного платка, вышла из-за черемухи.— Уж вы меня извините, Михаил Иванович, вы так хорошо играли, что я заслушалась и даже слеза меня прошибла.

— Так чего же вы стоите под окнами-то? Заходите в комнату.

— Ой, что вы, Михаил Иванович, я и так-то запоздалась.

— Э-э, напрасно. Я еще бы сыграл что-нибудь, раз вам скрипка так нравится.

— Я ее и раньше любила слушать, сродный[1] брат мой, Ванюша, играл на скрипке. Но у него, конечно, не такая была, самоделка. Дедушка Липат выдолбил ему из ольхи, струны из конского волосу приладил... так мне и та хорошей казалась.

Поговорила Настя с учителем и ушла, попрощавшись. В то время как учитель разговаривал с Настей, в кухне проснулась бабка-сторожиха. Старуха по голосу узнала Настю.

— До чего же беспутная бабенка,— сердито проворчала бабка,— она уж и к учителю коляски подкатывает: мужняя жена-то, бесстыдница...

И, зевнув, перекрестилась, повернулась на другой бок.

А на следующий день бабы уже судачили у колодца:

[1] Сродный — двоюродный.

— У писаря баба-то што вытворяет,— говорят, уж учителя приголубила.

— Какова беспутница, мало ей работников-то!

— Я-то уж давно за ней примечаю, да помалкиваю: не мой конь, не мой и воз!

— Ну и ха-а-лда!

А Настя ничего об этом и не знает. Много позднее услыхала она, что Михаила Ивановича за что-то арестовали в Нерчинске, посадили в тюрьму. Пожалела она учителя, но больше в Антоновке его и не видала.

Как-то через месяц после того, как гостила Настя у Михаила Ивановича, решила она сходить к Агею Травникову. У него за день до этого вернулся сын с фронта, Максим.

«Порасспрошу его, не встречался ли он там с Егором»,— думала она, торопясь на другой конец села к Травниковым. Максима она не знала, видела его всего раза два еще до войны, да слыхала, что овдовел Максим, уже будучи на фронте.

День был воскресный, поэтому в обеих комнатах просторного дома Травниковых народу набралось как на сходке. Сидели на скамьях, на кровати и прямо на полу, дымили табаком-зеленухой, слушая рассказы Максима. Чисто выбритый, в новенькой гимнастерке и синих шароварах с широкими лампасами, служивый сидел за столом в переднем углу. Когда в горницу вошла Настя, Максим рассказывал, как полк их немцы отравили газами.

— Из полка нашего, 1-го Читинского, казаков больше половины легло...— Посуровев лицом, он ненадолго смолк, левой рукой (правая, забинтованная, была подвязана к шее) не торопясь свернул самокрутку, закурил. — Да-а, как охраняться от газов этих анафемских, не научили нас путем-то командиры наши. Да оно, ежели по правде-то сказать, мы и сами не верили, чтобы могло случиться такое. Многие эти самые резинки побросали в походе; другие торбы коням понаделали из них, потом-то хватились, да уж поздно, близко локоть, да не укусишь. Я тоже свой-то бросил, и всего за день до беды этой. На черта, думаю, таскаться с барахлом всяким. А тут вижу, смерть надвинулась, что делать? Рванул с себя шинель, намочил ее в речке и голову укутал, одни глаза на виду остались. Но конешно, оно все равно не помогло бы, кабы не писарь наш сотенский, Елгин,— он выручил, дай ему бог здоровья. Бежит мимо, увидел меня закутанного в шинель, понял, в чем дело, и кинул мне противогаз, запасной у него оказался каким-то родом. Вот так и ушел я от смерти тогда. Ну-у, кабы не Елгин,

лежать бы и мне в братской могиле, теперь бы уже и косточки сгнили.

До самого вечера занимал Максим своих сельчан рассказами. Поднялся из-за стола он, когда в доме зажгли лампу.

— Вы уж меня, дорогие старички, извините. Там молодежь **наша** вечерку устраивает сегодня, прийти просили.

Старики дружно поддержали намерение Максима:

— Сходи, Максимушка, сходи, дело твое теперь холостяцкое.

— Сами такие бывали.

— И так хорошо, уважил стариков, порассказал нам вон сколько, спасибо, родной.

— Да вить и не в последний раз видимся.

— Ступай, Христос с тобой, погуляй, пока времечко есть.

Еще сидя за столом, Максим заметил в толпе женщин красивую молодицу, раза два столкнулся с нею взглядом, чутьем угадал желание казачки поговорить с ним наедине. Попрощавшись со стариками, Максим поискал глазами чернобровую казачку и, не обнаружив ее в доме, поспешил к выходу, на ходу взбивая па фуражку темно-русый чуб.

Казачка ожидала у ворот на улице.

— Здравствуйте, Максим Агеич,— сказала она, когда Максим подошел ближе.

— Здравствуйте,— ответил Максим, силясь припомнить, чья же это казачка, но так и не вспомнил, — что-то я вас никак не призначу.

— Пантелеева я, Семена Саввича жена, Настасья...

— А-а, так, так...—Чуть приметно улыбаясь, Максим тронул рукой усы. Он вспомнил слышанную им любовную историю **Писаревой** жены с работником Егором, которую сплетницы-бабы разнесли по селу, да еще с такими подробностями, какие Насте и не снились.— У вас, значит, разговор ко мне будет?

— Про брата узнать я хотела,— соврала Настя,— Чмутина Ивана, слыхали, может, в Первом Аргунском полку?

— Чмутина? Н-нет, не слыхал, я ведь в Первом Читинском служу. Но с аргунцами приходилось бывать вместе частенько, и казаков я там многих знаю, даже с работником вашим Егором встречался. Боевой парень этот Егор, солдаточку там подхватил в хохлацкой деревушке, красавица...

И тут при свете зари Максим увидел, **как** бело-розовое лицо Насти стало густо-красным, **как** густые брови ее близко сошлись над переносицей.

— Шуткуешь, Максим Агеич? — изменившимся голосом проговорила Настя и так полыхнула на Максима глазами, что он, попятившись, уперся спиной в забор.

— Да нет, что вы...— Максим понял, что сказал лишнее, переменил тон:— Болтали там ребята всякое, может, и врут.

— Прощевайте! — Настя круто повернулась, зашагала срединой улицы.

У нее сильно колотилось сердце, шумело в голове, путались мысли: «Да как же это так, неужто в самом деле, боже ты мой, какие слова говорил, клятвы давал...»

Настя не замечала, что по пятам за нею шел Максим, и когда она свернула в проулок, к своему дому, он долго смотрел ей вслед. На дворе густели сумерки, и кое-где в окнах замелькали огни.

Войдя к себе в ограду, Настя прошла мимо ярко освещенной веранды, где за столом сидели Савва Саввич, Макаровна и поселковый атаман, широкоплечий бородач в черной сатиновой рубахе, с серьгой в левом ухе.

В летнюю пору Настя спала в новой, крытой тесом завозне; там Ермоха помог ей приладить на сани доски, натаскал в них соломы, сверху Настя положила потник, подушку, ватное одеяло, и постель получилась на славу. Вместе с Настей спал там и сын ее, Егорка. Иногда по вечерам заходил и Семен, но, к великой радости Насти, это случалось теперь очень редко.

За это время в характере Семена произошла немалая перемена: убедившись, что ему не добиться от жены ответного чувства, он сам постепенно охладел к ней, пристрастился к винишку, к картам и частенько проводил где-то целые ночи напролет, а где — Настю это совершенно не интересовало.

Закрыв дверь на деревянный засов, Настя ощупью добрела до постели, на перевернутой кверху дном бочке нашла спички, важгла воткнутый в горлышко бутылки огарок свечи.

Потом она села на кровать и, держа в одной руке свечу, долго смотрела на сына, ласково гладила его русые, вьющиеся волосы, а губы ее беззвучно шептали:

— Вылитый отец, боже ты мой милостивец, чем дальше, тем он больше походит на Егора. И глаза такие же голубые да веселые, и носик, и подбородок, и волосья. — И с тяжким вздохом, сама того не замечая, зашептала громче: — Спи, казачок мой бравый. Один ты у меня остался единственный, отец-то у тебя, оказывается, вон какой непутевый. Ох, кабы не ты у меня, сыночек мой милый, и жить бы я не стала на этом свете поганом.

Когда, догорев, погао огарок, Настя разделась, легла рядом с сыном, но долго не могла уснуть: лезли к ней в голову разные мысли. То вспоминалось, как в детстве ходила с матерью в поле, гонялась возле озерка за мотыльками. То со своими сверстницами, такими же босоногими девчонками, бегала на речку купаться, ходила с ними за поскотину по цветы. То вспоминалось девичество, злая мачеха, замужество, встречи с Егором. Это была самая лучшая пора в жизни Насти. Счастливые годы, проведенные с ним, постоянно жили в ее памяти. Горечь разлуки, тоску по Егору глушила она в работе, в хлопотах по хозяйству, а всю любовь свою перенесла на сына. Тем и жила эти годы Настя, что растила сына, лелеяла его и надеялась: вот вернется Егор и все как-то так устроится, что уйдет она к своему милому и заживут с ним счастливо и неразлучно. Иногда в душу к ней закрадывалось сомнение: а будет ли так-то, ведь в жизни-то не бывало еще, чтобы мужняя жена ушла к другому. Но она гнала прочь такие мысли, верила, что мечта ее сбудется, что жить она будет с Егором. И вот сегодня этот разговор с Максимом... Насте жарко, в подушку будто горячих углей насыпали, она сбрасывает с себя одеяло, садится на постели,— нет, не может этого быть, врет Максим, не такой Егор, не обманет он... Но как ни старалась Настя успокоить сама себя, какой-то внутренний голос упрямо твердил ей: «А почему же писем-то от него нету? Ведь уж третий месяц доходит, а от него хоть бы черточка... как в воду канул...»

Эти мысли всю ночь не давали Насте покоя. Забывшись неглубоким, тяжелым сном, она проснулась, как обычно, едва над сопками заголубел рассвет и, медленно разгораясь, занялась заря. Рядом в стареньком сарае, хлопая крыльями, звонко горланил петух, ему отвечали другие, из соседних дворов, улиц, и привычное пение их будило сельчан. Проснулись и работники Саввы Саввича: Насте слышно было, как в зимовье хлопнули дверью, как заскрипели ворота во дворе, забрякали ведра, то Матрена с работницами отправилась доить коров. Следом за ними, бормоча что-то и звякая уздами, прошел Ермоха.

Уже совсем рассвело, когда Настя, в башмаках на босу ногу, вышла из завозни. В это время рыжий Никита зыводил из двора лошадей, намереваясь отправиться с ними на водопой, а Ермоха уже охомутал саврасую кобылу, запрягал ее в телегу с бочкой. Хозяева еще спали, на крышах, на заборах, на ступеньках крыльца и на телегах сизоватой дымкой лежала роса. На востоке кумачом рдела заря, а над нею, на нежно-голубом фоне

утреннего неба, рассыпались нежно-белые, с розовым подбоем облачка.

— Как букет все равно! — воскликнула проходившая мимо Ермохи молодая поденщица.— Дядя Ермоха, ты посмотри-ка, красота-то какая, как на картинке.

Ермоха, задрав голову, посмотрел на небо:

— А вить верно, браво-то как получилось, прям-таки как марьины коренья расцвели там! Да-а, вёдро будет небось. — И, почесав бороду, пошел открывать ворота.

В другое время этой красотой полюбовалась бы и Настя, а сейчас она даже не взглянула на небо, только сказала Ермохе:

— Поезжайте на пашню одне сегодня. Я не поеду, голова болит чего-то.

И ушла в завозню.

ГЛАВА V

Суматошная наступила пора для Насти после ее встречи и разговора с Максимом Травниковым. По ночам она не могла спать, душили мрачные мысли, днем, по укоренившейся привычке, пыталась заглушить душевные муки работой, но из этого тоже ничего не выходило, работа валилась из рук, а в душе клокотала обида на измену Егора.

После памятного для Насти вечера прошло три дня, в ограде Саввы Саввича бабы катали потники.

Настя взялась было помогать поденщицам, но вскоре же передумала.

«Для чего мне все это? — мелькнуло у нее в мыслях.— На кого работаю, стараюсь, на Шакалов? Да пропади они пропадом! Чего я пристала к ним? До этого жила, робила на них, Егора ждала, а теперь чего ждать? Чтобы этот гаденыш постылый приходил ко мне? Хватит! Провалитесь вы ко всем чертям, проживу без вас».

Вечером, после того как приехавшие с пашни работники поужинали, Настя позвала к себе Ермоху.

Когда старик пришел в завозню, Настя уже уложила спать сына, прилепила на бочку зажженную свечу. Ермоха сел на березовую чурку, огляделся. Все ему здесь было знакомо, все это уложено, развешано его руками: и прошлогодние березовые веники, что висят под самой крышей, и аккуратно сложенные возле стен сосновые доски, а напротив, на вбитых в стену колышках, висят десятка два новых хомутов, казачье седло и целый пук ременных веревок. Тут же хранятся запасные дуги, четыре ската еще не окованных колес и многое другое, что

годами лежит про запас. И от всего этого здесь постоянно пахнет смешанным душком сосны, кожи и дегтя.

Достав из кармана кисет, Ермоха закурил трубочку, осведомился:

— Чего звала-то, стряслось что-нибудь?

— Горе у меня, дядя Ермоха, большое горе.— И Настя поведала старику все, что слышала от Максима про Егора.

— Хм, та-ак,— только и сказал Ермоха, чубуком трубки разглаживая усы.

— Ради Егора и жила тут, робила на них,— продолжала Настя,— а теперь нету больше моего терпения. Да ишо как подумаю, что этот сморчок, муженек мой, ко мне заявится, с души воротит. Я на него, постылого, через порог смотреть не хочу, не только жить с ним. Вот и надумала уйти от них совсем. Я не калека какая-нибудь, наймусь к доброму человеку, робить буду, и проживу, и сына вырастю, свет не клином сошелся.

— Вот оно што! — Не торопясь с ответом, Ермоха выколотил о край доски трубку, снова набил ее табаком и, закурив, еще помолчал, глядя куда-то в угол мимо Насти. Она тоже молчала и уже чувствовала, что старик не одобряет ее намерения.— Ерунду говоришь, девка,— заговорил он наконец и, хмуря брови, уставился на Настю сердитым взглядом,— чужих умов слушаешь. Он, Макся-то, может, наврал тебе про Егора, а ты и уши развесила. Да ежели там его, к примеру, и попутал бес с какой-то бабенкой, тоже беда не велика, время военное, а к тебе он все равно вернется. А уж уходить-то задумала от Шакалов, это и вовсе курам на смех. Робить уйти в чужие люди, шутейное дело! Да ишо с ребенком. А о том не подумала, что Шакал так подстроить может в отместку тебе, что и никто не возьмет на работу, он на такие штучки мастер. А тут ты живешь сама себе хозяйка. Чего тебе ишо надо? И ребенку твоему неплохо живется, сама-то старуха души в нем, видать, не чает.

— Она-то любит Егорушку,— согласилась Настя.

— То-то и есть. А потом и то возьми во внимание. Когда живешь ты на заимке или на покосе, то и работникам-то с тобой легче. Платить им заставляешь по-человечески. Вот так и дальше поступай и не мешайся умом. А што касаемо Сеньки, то я тебе одно скажу: долго ждала, а уж немного-то подождешь. Война-то вить не век тянуться будет, Кончится она, придет Егор живой-здоровый, и конец всем твоим бедам.

— Ох, дядя Ермоха, кабы так-то оно получилось.

— Получится, иначе и быть не может.

После ухода Ермохи Настя потушила свечу, легла, но еще

долго не могла уснуть, обуревали ее противоречивые мысли. В нее словно вселились и спорили между собой два человека. Один нашептывал ей: не слушай старика, уходи, как задумала, будешь вольная как птица, докажи свою гордость. А другой упрямо твердил: прав Ермоха, живи себе спокойно, хозяйничай, сына расти и жди Егора, придет он к тебе, придет...

И вот уже видит Настя Егора. Стоит он вроде как на горе, стоит, улыбается ей и протягивает руки. Настя спешит к Егору и видит — рядом с ним сын ее и Ермоха, старик смеется и грозит ей пальцем. Торопится Настя к ним и не идет уже, а плывет по воздуху все выше и выше, а на душе у нее жутко и радостно...

Вечером следующего дня Настя отправилась к Марфе ворожить.

Будучи в хороших отношениях с Саввой Саввичем, Марфа в то же время сумела войти в доверие и к Насте так, что она поверяла ей свои сердечные тайны.

Разложив замусоленные, черные от грязи карты, Марфа цедила сквозь зубы:

— Живой он, моя милушка, живой. В казенном доме находится, при больной постели. А в сердце тебя содержит, моя голубушка, тебя-а. Да-а, со свиданием к тебе, с желанием и сердечно. Хорошо тебе выпадает, Федоровна, шибко хорошо.

Со страхом и надеждой смотрела Настя на карты, затаив дыхание слушала Марфу. А та, снова перетасовав колоду, метала карты на кучки, приговаривала вполголоса: «Для тебя, для дому, для сердца, что было, что ожидать должно, чем сердце успокоится».

— Для тебя, значить, дорога будет, молодуха, скорая дорога и нечаянный интерес. Для дому — известие будет тебе от благородного короля, через бубные хлопоты. А для сердца... Да это оно что же такое? Червонный король к тебе какой-то с хлопотами, с желаньем! Ну, милая, уж не ухажер ли какой появился у тебя?

Настя вспыхнула, зарделась маковым цветом.

— Что ты, тетка Марфа, да за кого же ты меня считаешь!

— Да я так это, моя милушка, к слову пришлось. — И продолжала далее: — Ожидать тебе трефную даму и разговор, значить. Да-а, веселый разговор — то в собственном доме. А сердце успокоится, вот оно, пожалуйста, известие из казенного дому. Ну-у, Федоровна, это прямо-таки на диво. Нароком не подберешь карты, какие тебе выпали.

И Настя загорелась надеждой, на лице ее плитами выступил румянец, радостью заискрились глаза.

— Верно, тетка Марфа?

— Да уж вернее верного. Уж чего-чего, а ворожить-то, Федоровна, я дока. Меня этой мудрости покойница Сазоновна научила. Все я от нее переняла до тонкости, мне раз заглянуть в карты — и довольно, всю правду выложу тебе как на ладошке. Спроси-ка вон Агафью Нилиху, как я ей про сына-то угадала, как в воду глядела. А либо Устинье-солдатке, как рассказала ей по картам про Мироху-то, так оно и вышло все истованно. То же самое Кузьме Крюкову про коней угадала, он мне потом сто спасиб надавал. А уж сколько женихов девкам выворожила, счету нет. Так что ты, Федоровна, не сумлевайся, хорошо тебе выпало, истинная правда.

Повеселевшая Настя сунула гадалке сверток.

— Тут я маслица завернула тебе, тетка Марфа, да ишо кое-что. А ежели сбудется все, как сказала, ох, не знаю, как и отблагодарить тебя.

— Милушка моя, да пошто же оно не сбудется-то, все сбудется. Я, моя хорошая, мимо не скажу, вот попомни мое слово.

С легким сердцем шла Настя от Марфы. Впервые за эту неделю на душе у нее стало спокойнее, появилась надежда, что дождется она Егора, что будет праздник и на ее улице.

Только теперь увидела Настя, как хорош этот тихий летний вечер, какой чудесный пересвист завели щеглы в маленьком садике Кузьмы Крюкова, откуда так сладко пахнет черемухой. А на голубом фоне вечернего неба играла красками заря: на горизонте она сияла расплавленным золотом, чуть повыше над нею протянулась узкая, темная тучка, подбитая снизу пурпуром. А еще выше, в нежно-голубой лазури, рассыпались маленькие облачка, прозрачные, белые, как лебяжий пух. Но вот и они меняются: сначала приняли цвет топленых сливок, постепенно переходя в желто-лимонный, затем в светло-розовый, а через несколько минут заполыхали багрянцем.

Настя так залюбовалась зарей, что и не слышала, как к ней подошел Максим. Очнулась, когда он, остановившись рядом, поздоровался. Быстро окинув Максима взглядом, Настя успела рассмотреть при сумрачном заревом свете и статную фигуру казака, и лихо взбитый на фуражку чуб, и снежно-белую перевязь, на которой подвешена к шее забинтованная рука, и синего сукна шаровары с широкими лампасами.

— Здравствуйте! — ответила она на приветствие Максима, подумав про себя: «Откуда он тут появился?»

По улице шли рядом. Максим заговорил с Настей, касался ее локтем, чуть клонясь вперед, пытался заглянуть в лицо казачки.

— Что это вы, Настасья Федоровна, какая-то вроде бы невеселая?

— А для чего это вам знать, Максим Агеич?

— Эх, Настасья Федоровна! — Максим вздохнул, здоровой рукой потеребил на груди марлевую перевязь, заговорил тише: — Я об вас, можно сказать, страдаю, а вы даже никакого внимания.

Настя, улыбаясь, посмотрела на казака, покачала головой:

— Ох и шутник вы, Максим Агеич.

— Что вы, Настасья Федоровна, какие могут быть шутки, это я вам очень даже всурьез говорю.

— Это что же? Влюбился, выходит, с первого разу?

— Истинная правда, как взглянул тогда на вас, так все во мне и перевернулось и сердце зашлось в грудях.

Попадись бы Максим Насте вчера, попало бы ему по загривку за такие разговоры, но сегодня, или потому, что ей не хотелось портить себе настроение от хорошей ворожбы, или просто захотелось подурачить непрошеного ухажера, Настя слушала его, смеясь, поддерживала разговор, а про себя думала: «Каков паскудник, про Егора говорил всякое неподобное, а сам... ах ты кобелина». Вслух же сказала:

— И что это вы, Максим Агеич, за бабами вздумали ухлестывать, али девок вам не стало?

— Ну зачем вы такие речи, Настасья Федоровна? — ответил Максим и снова сыпал словами о больших своих чувствах к ней, о том, как не спит по ночам, как болит у него ретивое...

— До свиданья, Максим Агеич! — неожиданно оборвала его Настя.— Вот мы и к дому нашему подошли, там, гляди, и свекор мой сидит у ворот на лавочке, увидит меня с вами, греха не оберешься, до свиданьица!

— До свиданья, ягодка моя! — только и успел сказать Максим, с восхищением и с чувством легкой досады глядя вслед быстро удаляющейся Насте. «Свекра испугалась, ах дуреха. А до чего же хороша бабенка, глаза такие завлекательные, и лицо как жар горит. И я, видать, ей понравился, да оно и понятно, баба вон какая... ядреная, муж урод, молодой народ весь на войне, а ей казака надо, ясное дело. Так что не зевай Максюха, действуй».

Он поправил здоровой рукой фуражку, подкрутил усы и, довольно улыбаясь в темноту, пошагал обратно. Знал Максим,

что в конце этой улицы, на бревнах около ограды Трофима Пантелеева, всегда собирается по вечерам молодежь. Знал, что ждет его там девушка Парушка. В своей сотне Максим не зря прослыл озорником и бабником, этим грешил он и до службы в армии. Вот и теперь: объясняясь в любви Насте, Максим то же самое говорил и рябоватой Паруше, когда провожал ее с вечерки. Не знал Максим, что Парушка сегодня, стоя за воротами подругиного дома, видела, как шел он по улице с Настей, которую узнала она по голосу. И придется Максиму всячески изворачиваться и божиться, доказывая Парушке искренность своих чувств к ней и намерений.

ГЛАВА VI

Весной 1915 года 1-я Забайкальская казачья дивизия, в составе которой был и 1-й Аргунский полк, снялась с передовых позиций и отошла в тыл на долгожданный отдых.

1-й Аргунский расквартировался в украинской деревне Калиновке. Район этот находился вдалеке от фронта, а поэтому и села здесь мало пострадали от войны. Казаки давно не видели таких сел, как Калиновка, где не было пустых, покинутых жителями домов, заросших лебедой пожарищ с торчащими в куче мусора печными трубами, с воронками на местах взрывов. Чистенькие белые хаты с соломенными крышами утопали в зелени вишневых и яблоневых садов в полном весеннем цвету. У хозяев сохранился скот: лошади, коровы, свиньи и прочая живность. По утрам село густо дымило трубами, звонко перекликались петухи, какие-то замысловатые рулады выводил на своей сопелке пастух, и на улицах, следом за коровами, степенно выступали большие круторогие волы, запряженные в скрипучие телеги: хлеборобы выезжали в поле.

С приходом аргунцев ожило село. Казаки наводнили собою не только хаты, но и клуни хозяев и даже хлевы. Среди пестрой, разнообразной одежды жителей преобладал теперь зеленоватый, защитный цвет казачьих гимнастерок; словно подсолнухи в огородах, желтели казачьи лампасы. Живая, крепкая русская речь мешалась с певучим украинским говором. В нескольких местах села появились сотенские, наспех сколоченные из жердей, коновязи. В центре села, на площади против церкви, целыми днями дымили походные кухни. Тут же разместился склад с провизией, закрытый брезентом, возле которого днем и ночью торчали часовые. Поодаль полукругом расположились зеленые фургоны полкового обоза, в центре этого полукруга —

пулеметные тачанки и штабная палатка, возле которой тоже всегда дежурил казак с обнаженной шашкой.

Уставшие от боев и окопной жизни, изголодавшиеся, обовшивевшие казаки отдыхали в этом чудесном, уцелевшем от войны месте. Отдыхали и кони их, поправляясь на тучных, не потравленных конницей пастбищах. В свободное от занятий и нарядов время казаки часами пропадали на речке, протекающей мимо села, мылись в ней, стирали черное от грязи бельишко, избавлялись от вшей. Но самым любимым местом для них стал пруд около водяной мельницы, что находилась в полуверсте ниже села. Пруд был большой, глубокий, и казаки ходили туда купаться.

Был жаркий полдень, когда Егор, в числе других казаков, купался в пруду. Вдоволь набултыхавшись, он выбрался на берег, растянулся на горячем песке. В пруду плавали, ныряли, плескались не менее полсотни человек. Немало их скопилось и на берегу: одни раздевались, намереваясь с разбега нырнуть в теплую, взбаламученную множеством ног, мутную воду; другие, подобно Егору, искупавшись, лежали на берегу, подставляя жаркому солнцу голые спины и груди, грелись, судачили между собой:

— В баньку бы сейчас, распарил бы веник... Эх, мать честная___

— Да кваску бы холодного.

— Да бабу сдобную, такую вот, как у нашего хозяина сноха.

— Голодной куме только хлеб на уме.

— Чудной народ эти хохлы. Так будто бы и ничего, приветливые люди, уважительные, а вот до такого простого дела, как баня, и додуматься не могут. И как они без бани обходятся, чума их знает.

— Говорят, они в печках парятся.

— Ври больше.

— В печах, я сам видел недавно,—вмешался в разговор малорослый, невзрачного вида казачок шестой сотни Малютин,— такую тиятру посмотреть довелось, что до смерти не забыть. Да-а, приходим, значит, мы третьего дня со стрельбища, ребята в эту самую клуню зашли, там мы расположились, а меня за каким-то чертом в избу занесло. Захожу, значит за всяко-просто, а хозяйка наша только что напарилась и лезет из печи, красная вся, разопрела, раскосматилась. Бабища она здоровенная, пудов эдак на шесть, заслонка-то с заднее колесо. Я как глянул, так и обмер и языка лишился...

— Ха-ха-ха...

— Не окривел разом?

___Дурак ты, Малютин, ротозей. Мне бы такое счастье привалило, уж я бы не дал маху.

Егор второй раз бултыхнулся в пруд, доплыл до середины его, а казаки на берегу все еще хохотали, потешались над рассказом Малютина.

Егора и еще четверых казаков второго взвода определили на постой к владельцу водяной мельницы Опанасу Калинину. Крепкое хозяйство имел старый Опанас. И хата у него на две половины, и хлеба полны амбары, и вдоволь всякой скотины. С одной стороны к хате примыкал большой сад, где в изобилии росли вишни, черешни, яблоки и груши. Сам Опанас летом почти безвылазно пропадал на мельнице, дома управляла его жена, бабка Евдоха. Старший сын хозяев второй год воевал на фронте. В хозяйстве работали два младших сына, взрослая дочь Галя и невестка-солдатка, тридцатилетняя, румяная и пышная, как сдобная булка, черноокая Мотря.

С Мотрей Егор познакомился в первый же вечер постоя. Он еще днем присмотрел место для ночлега на сеновале. Укрывшись шинелями, казаки с удовольствием растянулись на мягком, душистом сене. Егор положил под голову пахнущую конским потом попону, пошарил вокруг себя руками.

— А где же моя шинель? Молоков, не у тебя, случаем?

— Здорово живешь! Сам же повесил ее на плетень еще днем и забыл. Память у тебя прям-таки девичья.

— А ведь верно, холера ее забери.— И, чертыхаясь, Егор полез с сеновала.

Стоял чудесный весенний вечер. На западе кумачом рдела заря, низко над нею повис серебристый серп молодого месяца. Под легким дуновением ветерка тихо шелестел сад; пахло свежестью молодой листвы, яблоневым и вишневым цветом; в глубине сада заливисто высвистывал соловей; с улицы доносился невнятный, приглушенный расстоянием людской говор. Егор снял с изгороди шинель, повернулся, чтобы идти, и тут прямо перед собой увидел Мотрю, она словно выросла из-под земли.

«Откуда она тут взялась?» — подумал Егор, рассматривая Мотрю при свете зари. Ему хорошо было видно белое, с румянцем во всю щеку лицо жалмерки, большие черные глаза ее искрились смехом.

— Добрый вечер, козаче,— лукаво подмигнув Егору, Мотря блеснула в улыбке белыми как кипень зубами.

— Здравствуй.

— Чому ж ты такий... неласковый... як той бирюк.

— Некогда мне с тобой ласкаться.

— А коли б я тебе до клуни покликала, тоди що?

Мотря шагнула ближе, слегка задела Егора плечом, и на него пахнуло парным молоком и волнующим запахом молодого, здорового тела женщины. В жар бросило Егора, он уже потянулся к ней, хотел обнять молодуху, притянуть к себе, но, вовремя спохватившись, сожалеюще вздохнул:

— Эх, милушка-а, кабы не своя голубка дома, уж и приголубил бы тебя, вспоминала бы казака забайкальского.

— *А* ты що? Думав, я тебе и справди до себя покличу? — Мотря повернулась к Егору боком, вздернув плечами, презрительно фыркнула:— Та на биса ты мени сдався!

И пошла, не оглядываясь на Егора, игриво виляя бедрами.

«Вот это баба, волк ее заешь,— глядя вслед жалмерке, подумал Егор.— Ох и звезда-а-а, эдакая холера у попа теленка выпросит».

* * *

Офицеры полка по вечерам занимались тем, что, собираясь поочередно друг к другу, коротали время за вином и картами, просиживая иногда ночи напролет. Вот и сегодня четверо из них собрались у командира четвертой сотни есаула Шемелина.

Жил Шемелин в горнице с глинобитным полом, с цветами на окнах, со множеством икон в переднем углу, украшенных расшитыми полотенцами. В горнице светло от висячей, с чисто протертым стеклом лампы, за открытым окном — весенний сад, цветущие, озаренные светом из окна вишневые кусты.

Гости — начинающий седеть, толстый, с апоплексическим красным затылком есаул Резухин; похожий на Лермонтова, чем он очень гордился, сотник Чирков и совсем еще молодой хорунжий Уткин — сидели за столом под иконами. Есаул Метелица, среднего роста, стройный и подвижной офицер, с курчавой светло-каштановой бородкой, которая очень шла к его вьющемуся светлому чубу и молодому, мужественному сероглазому лицу, возбужденно мерил горницу крупными шагами. Еще по дороге сюда ови заспорили с Шемелиным. Спор этот, как видно, зашел уже далеко, потому что оба разгорячились и уже начинали сердиться.

— Что же, ты полагаешь, что мы проиграем эту войну? — спрашивал Шемелин, грузный, немного сутулый, широкобровый и горбоносый брюнет. Он стоял возле окна, засунув руки в карманы синих с лампасами шаровар.

— Я пе утверждаю этого,— Метелица остановился против Шемелина, одной рукой оперся о край стола,— я говорю о безыдейности нашей. Люди в армии должны знать все — от генерала до солдата включительно, за что они сражаются, во имя чего идет война, а у нас этого нет. Солдаты, да и казаки наши так и рассуждают: ввязались в чужую драку, а из-за чего — один бог ведает!

— Вот это и плохо, что рассуждают! Наше дело не рассуждать, а выполнять боевые приказы, как это было в добрые времена при Петре, при Суворове, при Кутузове!

— Правда, господа, правда! Я вот тоже так думаю...— переводя голубые блестящие глаза с одного спорщика на другого, заговорил хорунжий Уткин, совсем еще юный офицер, над верхней губой которого едва появился первый пушок.– И какие войны были победоносные! Возьмите Бородинское сражение, Плевну или Севастопольскую оборону —вот давали дрозда, и без всякой идейности!

— Ошибаешься, Олег,— насмешливо сощурившись, Метелица покосился на Уткина,— там была идея: защита отечества от вражеского нашествия...

— А служить верой-правдой царю и отечеству — это не идея?! — все более распаляясь, гневно заговорил Шемелин.— Беда наша не в отсутствии идей, а в том, что их слишком много появилось теперь, чересчур много развелось у нас этих политиканов паршивых. Они сеют смуту, раздоры, чтобы привить нашему народу эту заразу, социализм этот бредовый, чтобы свергнуть с престола государя и навязать в управители страной кучку авантюристов, у которых нет ничего святого, кроме их ненасытного тщеславия и себялюбия. А мы с этим злом не ведем по-настоящему борьбы, вот в чем наша самая большая ошибка. Я бы этих мерзавцев, будь на то моя власть,— есаул даже зубами заскрипел от злости и погрозил кому-то кулаком,— перевешал бы всех до единого!

— Что такое? — неожиданно забасил Резухин, успевший уже вздремнуть, и теперь, проснувшись от громкого выкрика Шемелина, он смотрел на спорщиков осоловелыми, выпученными глазами. — О чем это вы?

— Об идейности спорят,— ответил ему Уткин.

— Э-э... плешь, ерунда, сочинение Гоголя.— Резухин махнул рукой, досадливо крякнул.— Михаил Сергеевич, где твой Филька? Провалился он, что ли... мошенник... голова трещит с похмелья, а тут рюмки водки не дождешься...

— В самом деле, господа,— живо отозвался молча скучав-

ший у окна Чирков,— хватит вам спорить, сообразим что-нибудь посущественней, а потом и в картишки перекинемся, в банчок!...

ГЛАВА VII

Отход дивизии забайкальцев на отдых совпал с весенним наступлением наших войск на Юго-Западном фронте. По поводу этих побед в частях служили благодарственные молебны, в газетах печатались восторженные статьи, описывались боевые эпизоды, героические дела русских солдат при взятии крепости Перемышль.

Вести о победах на фронте командование дивизии постаралось использовать, чтобы поднять боевой дух казаков, укрепить в них веру в победу русского оружия. Офицеры не только давали казакам для читки газеты, сводки с театра военных действий, но и рассказывали им на сотенских занятиях фронтовые новости. Вскоре стало известно о приказе командира дивизии провести «в ознаменование побед на фронте» полковые праздники.

Приказ этот, где отмечались и геройские дела казаков 1-й Забайкальской дивизии, вскоре же объявили по сотням. Повеселевшие от хороших вестей, усердно готовятся казачки к празднику: наводят лоск на амуницию, чистят оружие, стремена, ладят коней к призовым состязаниям. А в свободную минуту охотно слушают, как кто-нибудь из грамотеев читает им «Фронтовые ведомости», и едва кончается чтение, как сразу же вскипает разговор:

— Всыпали немчуре!

— Где уж им устоять супротив русских, кишка тонка у немца.

— Наша бере-ет.

— Оно хоть рыло и в крови, а берет.

— Э-эх, к сенокосу бы домой заявиться.

— Хо, куда хватил! Хоть бы к осени возвернуться, и то слава те господи.

— Глупые вы люди, курочка-то еще в гнезде, а яичко-то... как говорится, а они уж домой засобирались.

— Да-а, это, брат, что еще задний лист скажет.

— А ну вас, раскаркались, как воронье на падло.

Если бы командование дивизии знало истинное положение дел на фронте, оно бы воздержалось от устройства праздников и благодарственных молебнов по случаю побед. Радоваться было бы не только рано, но и нечему. Более того, положение на Юго-

Западном фронте становилось угрожающим: наше наступление на Карпатах выдохлось, и немцы уже готовились нанести нам ответный удар на стыке Западного и Юго-Западного фронтов. Командующий русской 3-й армией генерал Радко-Дмитриев своевременно доносил главнокомандующему Юго-Западного фронта Иванову о готовящемся против него наступлении нехмцев. Радко-Дмитриев просил подкрепления, предлагал собраться с силами и опередить немцев, самим ударить до подхода их главных сил. Это спутало бы все планы врага, тут была полная надежда на успех, но главком Иванов, самонадеянный и на редкость бездарный генерал, не послушался разумных доводов Радко-Дмитриева и, вопреки здравому смыслу, продолжал слать подкрепление в другие места фронта. Получилось чудовищное по своей нелепости положение: немцы угрожали нашему Юго-Западному фронту на его правом крыле, а мы укрепляли левое крыло, которому никто не угрожал. Было очень похоже на то, что главнокомандующий Иванов старается помочь врагу разбить свою же русскую армию. Так оно и получилось: немцы, собрав достаточно сил, прорвали в намеченном месте фронт, в образовавшийся прорыв хлынули их крупные силы, преследуя остатки разбитой 3-й армии русских. Только тогда хватился главком Иванов, направил в прорыв подкрепление, но уже было поздно. Эта его попытка была равносильна тому, как пытаться двумя-тремя ведрами тушить пожар, охвативший весь дом. Началось отступление наших войск по всему фронту. Вновь отдали врагу с таким трудом завоеванные Карпаты, крепость Перемышль, и наши войска на всем протяжении Юго-Западного фронта откатились на Буг.

Все это уже назревало и разгорелось в мае и начале июня, а пока казаки Забайкальской дивизии, не подозревая ничего плохого, готовились отпраздновать победу над врагом.

В первое же воскресенье в Калиновке с утра состоялся парад. Аргунский полк в конном строю, при полном вооружении, с пиками и развернутым знаменем, промаршировал по улицам села.

День начинался жаркий, безветренный. В голубом поднебесье ни облачка, лишь на западе, у самой линии горизонта, грудились они, легкие, белые и курчавые, как молодые барашки. Улицы расцвечены народом: по-праздничному принаряженные парни, подростки, девушки в ярких ситцевых юбках и белых сорочках с расшитыми рукавами, переговариваясь между собой, любуются на казаков, лузгают семечки. Даже деды в полотняных рубахах, таких же портках и соломенных

брылях повылазили из хат и, сидя на призбах[1] , сосредоточенно дымят люльками, дивятся на проходящее войско. Мимо них сотня за сотней с песнями проходили стройные ряды конников. Над ними мерно колыхались пики, блестели на солнце металлические части оружия, начищенные толченым кирпичом стремена, наборы уздечек, нагрудники, золотом искрились медные головки шашек. В свежем утреннем воздухе разлит неистребимый, присущий кавалерии запах: смесь конского пота и кожаной амуниции.

Отдохнувшие за эти дни, бодро выглядели казаки, словно и не было за их плечами тяжелых боев, ночных атак, изнурительного сидения в окопах. Уже перед выходом на отдых полк пополнили прибывшими из запасных сотен молодыми казаками, а поэтому со стороны не было заметно, какой урон понесли аргунцы в людском и конском составе. О минувших боях напоминали лишь простреленное во многих местах полковое знамя, не снятые еще повязки у людей, перенесших ранение, да новенькие георгиевские кресты на гимнастерках некоторых казаков. Но казакам не забыть, какие бои и лишения пережили они совсем недавно; помнят они и тех однополчан, что сложили свои головы на чужой, неласковой земле. Об этом и думал теперь ехавший в четвертом ряду своей сотни Егор. Вспомнился ему весельчак запевала Зарубин, погибший в ночном бою под Рава-Русской. В этом же бою погиб и посельщик Егора Веснин. Двух немцев зарубил Веснин, когда шли они в атаку в пешем строю, но и сам остался лежать с ними рядом: прямо в сердце Веснину вошел вражеский штык.

Много аргунцев навсегда выбыло из строя: при переправе через реку Пеликалие утонул суровый с виду, но хороший для казаков есаул Белоногих; погибли казаки Стрельников, Решетников, из второго взвода Пичуев, Булдыгеров, а от урядника Резникова остался, на краю воронки от разорвавшегося снаряда, лишь один сапог с левой ноги да обрывок штанины с желтым лампасом. Много там было тяжких страданий, смертей, всяких ужасов, но сейчас все это словно отодвинулось куда-то' затушевалось, и повеселевшие от хороших вестей казаки как ни в чем не бывало подхватывают разудалый припев казачьей песни. В мощных звуках песни тонет звяк оружия, дробный топот копыт.

После парада казаков спешили и выстроили четырехугольником на площади около церкви. Командир полка произнес

[1] Призбы — завалинки.

короткую приветственную речь, зачитал очередную сводку об успешном ходе военных действий и под крики «ура» поздравил казаков с победами на фронте. Затем отслужили благодарственный молебен, и на этом официальная часть праздника закончилась.

В этот день, по случаю праздника, казаков накормили отменно сытным обедом: жирными щами из свежего мяса, жареной бараниной с гречневой кашей — и выдали им двойную порцию водки.

Самое интересное в этот праздник началось после обеда на окраине села, где открывался вид на широкую, уходящую на север долину с речкой, заросшей ивами и кустами лозняка. Уж с утра все знали, что здесь начнутся массовые игры, состязания в беге, рубке, джигитовке и что победителям будут выданы призы: часы, отрезы сукна, пачки табаку и пр. Поэтому еще задолго до начала игр на бугре за околицей стали накапливаться шумные, пестрые толпы сельчан. Старики усаживались чинно в ряд на призбах крайних хат, на бревнах и прямо на земле, в тени плетней, которыми обнесены окраинные огороды. Молодежь грудилась отдельно, в нарядной толпе то тут, то там вспыхивали песни, слышался веселый говор, смех, треньканье балалайки и дробный перестук каблуков.

Казаки прибыли на игры в конном строю. По сигналу трубача большинство их спешилось, лошадей поставили на привязь. Вскоре возле хат, дворов и огородов выстроились длинные шеренги лошадей, привязанных к изгороди. На конях остались лишь те казаки, которые решили принять участие в джигитовке и других конных призовых состязаниях.

Играми руководил помощник командира полка, небольшого роста рыжебородый войсковой старшина Рюмкин.

Было объявлено, что игры начнутся с конных состязаний — джигитовки. В числе пятнадцати казаков своей сотни Егор также пожелал принять участие в состязаниях на своем Воронке.

Подтягивая Воронку подпруги, Егор обратился к Молокову:

— Ты, Дмитрий, удружи-ка мне своего Рыжка на один круг.

— Рыжка? — переспросил Молоков.— И на что он тебе?

— Я его спарю с моим Воронком и через обоих джигитовать буду, я им покажу, как наши работают.

— Ох, смотри, паря, не оскандалься! А Рыжка что ж, возьми, мне его не жалко, только уздечку сниму с него, он и на недоуздке хорошо пойдет.— И, сожалеюще вздохнув, добавил: —

Эх, жалко, станичника моего Кочнева убили, уж он бы раздоказал сегодня, понахватал бы призов.

— Всех, брат, не пережалеешь, на то она и война.

А на лугу уже выстраивались, равняли ряды больше сотни всадников. Рюмкин, картинно гарцуя перед строем на вороном скакуне, пояснял казакам:

— Пегвый пгиз, — войсковой старшина сильно картавил,— получит тот джигит, котогый без единой ошибки пгеодолеет все пгепятствия; сгубит десять лоз, один кгуг пгоскачет стоя, на втогом кгуге проделает ножницы, поднимет с земли тги пгедмета и последний кгуг пгоджигитует на обе стогоны. А тепегь слушать мою команду. Спгава по одному.— Рюмкин поднял правую руку, чуть помедлив, рубанул ею воздух,— ма-агш!

Правофланговый казак на кауром коне с места пустил его в карьер. Он легко преодолел все препятствия: насыпь, гробницу, яму, канаву, плетень. Перескочил он и последнюю, высоко на стойках подтянутую жердь, но каурый задел ее копытом задней ноги, уронил на землю. Казак обозлился, матюгаясь, хлестнул коня меж ушей нагайкой, повернул обратно. Стоящий позади Рюмкина полковой трубач, чернобровый, скуластый казачина Макар Якимов, махнул джигиту синим флажком влево, это означало: проштрафился, отъезжай в сторону.

С замиранием сердца следил Егор, как казаки один по одному отделялись от строя, полным карьером устремлялись вперед. И когда они, окончив все приемы, поворачивались лицом к строю, трубач Якимов махал им то синим флажком влево, то белым вправо. В последнем случае казак сразу же подъезжал к судейскому столу, получал призовой подарок.

Когда очередь дошла до Егора, он шумно вздохнул, слегка привстал на стременах, подобрал поводья и при слове «следующий» чуть склонился вперед. Рюмкин махнул рукой — ма-а-гш!

Вороной распластался в броском галопе, птицей перемахнул широкую канаву, легко взял второе препятствие, третье, четвертое. Перескочив последнюю жердь, Егор перевел коня на рысь, повернул к строю, глянул на трубача, тот сидел в седле не шелохнувшись.

— Значит, все идет по-хорошему,— довольно улыбаясь, вслух проговорил Егор и, заезжая на второй круг, чуть тронул вороного плетью: — Держись, Воронко!

К началу второго заезда он снова разогнал вороного в карьер, на ход/ перекинув стремена через подушку, встал в седле на ноги.

На последнем круге Егор решил показать, на что он способен. На джигитовку он пошел одвуконь, рядом с его Воронком шел заводной, рыжий, белоногий бегунец Молокова.

Чувствуя на себе сотни внимательных глаз, Егор крепко обхватил руками переднюю луку; спрыгнув с вороного на левую сторону, он пружинисто ударился носками о землю и, подхваченный встречной струей воздуха, перескочил через своего Воронка на рыжего. Новый прыжок направо, миг — и Егор снова на Воронке. Джигитовка Егору и на этот раз удалась хорошо; он птицей перемахивал через одного коня на другого, но с половины круга почувствовал усталость: руки от напряжения онемели, свинцовой тяжестью наливались ноги, а гимнастерка на спине взмокла от пота. Выбиваясь из сил, задыхаясь, сделал он последний прыжок, и, когда перевел коней на рысь, повернул обратно, трубач Якимов махнул ему белым флагом направо.

Уже подъезжая к судейскому столу, Егор увидел в толпе на пригорке хозяйскую сноху Мотрю, встретился с нею взглядом. Одетая в белую как снег льняную сорочку с рукавами, вышитыми черной и красной заполочью, и синюю рясную спидницу, Мотря стояла в толпе девчат. Сложив руки под грудью и лукаво сощурив карие глаза, она насмешливо смотрела на Егора, и чудилось ему, шепчет жалмерка:

— Гарный козак, гарный, только чего же ты до баб такий несмелый!

Но вот и судейская комиссия. За двумя в ряд поставленными столами разместились человек восемь офицеров. Посредине восседал сам командир полка — седоусый полковник Золотухин. Рядом с полковником его жена — моложавая, сероглазая блондинка в сиреневом платье и белой матерчатой шляпе-панаме. Она всего лишь неделю назад приехала к мужу в гости из Оренбурга, где у полковника был собственный дом. Вправо и влево от полковника сидели: командир четвертой сотни есаул Шемелин, пятой сотни есаул Метелица и командиры других сотен.

Подъехав ближе, Егор спешился, держа Воронка под уздцы, встал во фронт и, глядя на полковника, отчеканил:

— Четвертой сотни рядовой Ушаков!

Полковник благосклонно посмотрел на Егора, улыбнулся в сивые усы:

— Молодец, Ушаков! Получай первый приз!

— Рад стараться, вашескобродие! – И, приняв из рук полковника приз — серебряный портсигар и фунтовую пачку турецкого табака, он вскочил на Воронка, отъехал в сторону.

ГЛАВА VIII

На дворе невыносимая жара. Казаки только что вернулись со стрельбища, и у походных кухонь выстроились очереди служивых с котелками в руках. Повара в колпаках и белых халатах, возвышаясь над толпой, ловко орудуют ковшами, надетыми на палки, разливают по котелкам щи. Поварам усердно помогают дежурные по кухне, кладут в котелки казаков порции мяса, выдают нарезанный ломтями черный хлеб. То и дело слышно:

— Следующий! Сколько вас?

— Пятеро.

— Сыпь на троих.

— Мне на двоих с Ванькой Исаковым.

— Прибавь, Митрич, щей-то хоть.

— Проваливай! Следующий.

У Егора в руках полуведерный медный котел — выпросил у хозяев. Получив на свою «артель» щи и пять порций хлеба, он уже пошагал к дому, когда услышал звонкий голос:

— Егорша!

Остановившись, Егор обернулся и в толпе казаков увидел своего поселыцика Подкорытова.

— Подожди меня, дело есть к тебе.

— Ну давай живее, а то щи остынут.

— Сейчас.

С тремя котелками в руках и кусками хлеба под мышкой Подкорытов догнал Егора, шагая с ним рядом, сообщил:

— Письмо я получил из Антоновки, от сестры, замужем она там за Андреем Макаровым.

— Видал я ее в Антоновке, даже заходил к ним раза два. Ну и что?

— Пишет, что учитель у них, Бородин по фамилии, загуливает к твоей Насте... Да еще казак какой-то там, Травников, с фронту пришел...— И не докончил, заметив, как посуровел, изменился в лице Егор.

— Ну! — выдохнул он охрипшим голосом и, шагнув вперед, загородил посельщику дорогу.— Чего замолчал? Выкладывай, что пишет про Настю!

— Да так просто.— Подкорытов уже пожалел, что сболтнул лишнее, обидел посельщика.— Чего ты уставился на меня, как кривой на зеркало.

— Не виляй хвостом, говори, раз начал.

— Чудак ты, ей-богу. Ну, пишет, что видели Настю с учителем, только и делов. Она, может, по делу к нему приходила, а бабы, знаешь, из мухи слона сделают.

— Хитришь, гад. Ну и хитри, черт с тобой. Я и без тебя обо всем узнаю, напишу Архипу.

Егор повернулся к поселыцику спиной, зашагал к дому. Подкорытов посмотрел ему вслед, сожалеюще вздохнул:

— И черт меня копнул рассказать ему про Настю.

Когда Егор пришел к себе в клуню, его «артельщики» уже сидели в ожидании обеда вокруг перевернутого кверху дном ящика. Егор поставил на ящик котел со щами, тут же положил хлеб и, не сказав ни единого слова, вышел из клуни.

— Скурвилась, подлюга,— со злобой прошептал он, опускаясь на бревно, что лежало около клуни,— схлестнулась, стерва, с учителем.

Из клуни выглянул Молоков:

— Тебя долго ждать будем?

— Не хочу я, ешьте.

— Что значит не хочу, заболел, что ли?

— Отвяжись.

— Здрасьте вам! Ишо и осердился чегой-то! Ну, брат, у нас на сердитых воду возят.

Голова Молокова скрылась за дверью, а Егор, пришибленный горьким известием, продолжал сидеть на бревне, подперев щеку рукой.

«А может, врут про Настю, наболтали бабы,— думал он,— могут и наврать, а может, и правда, дыму без огня не бывает. Баба молодая, красивая, тот гад упримстил ее и подсыпался»,— скрипнул зубами, чувствуя, как защемило сердце. Невольно вспомнилось Егору, как Настя провожала его до станицы, как, не стесняясь посторонних людей, целовала и, целуя в последний раз, сунула ему в руку пятирублевый золотой. Эта монета и теперь хранится у Егора, зашитая в папаху.

«Провались ты и с подарком твоим, стервуга проклятая!» Егор шумно вздохнул и, вскинув голову, увидел Мотрю. С ведрами на коромысле она только что вышла из хаты.

— Мотря! — окликнул Егор жалмерку и, поднявшись с бревна, поспешил к ней.

— Чого тоби? — Мотря остановилась, удивленно вскинула брови.

— Вина мне надо сегодня, горилки или самогону там покрепче, понимаешь? Много надо,— он тронул рукою коромысло, глазами показал на ведро,— вот такое ведро, к вечеру сегодня, поняла?

Мотря согласно кивнула головой.

— Ну и закуски там какой-нибудь, хлеба житного, капусты, ишо чего-нибудь такого, понимаешь?

— Та на що тоби, чи свадьбу задумал граты, чи що?

— Эх, Мотря,— Егор горестно наморщил лоб, махнул рукой,— может, свадьба, а может, и похороны. Так сделаешь? Деньги? Есть, ты обожди меня здесь, я мигом.

Он крутнулся на каблуках, бегом добежал до сеновала и не более как минут через пять уже бежал обратно. Жадным огоньком загорелись карие глаза Мотри, когда увидела на раскрытой ладони казака золотую монету. Она ловко на лету схватила подброшенный Егором пятирублевик и, мгновенно спрятав его на груди, лукаво подмигнула;

— Добре, Грицю. Буде тоби всего богато.

* * *

Гулянку устроили в тот же вечер в клуне. Вокруг ящика, служившего казакам вместо стола, сидело человек восемь, и среди них Подкорытов, урядник Каюков и полковой трубач Макар Якимов. На ящике перед ними стояло целое ведро самогона-первача, гора ломтей ржаного хлеба, в глиняной миске мелко порезано желтоватое сало прошлогоднего засола, а плетенная из бересты корзина доверху наполнена пучками зеленого лука и солеными огурцами.

— Пей, братва, веселись, душа казачья! — выкрикивал Егор, ковшиком разливая самогон в стаканы и кружки. Ему хотелось развлечься, забыться в пьяном угаре, но хмель не брал его, а черные думы душили по-прежнему.

По-иному вели себя казаки. По мере того как из ведра убывал мутноватый жгучий первач, они становились все веселее, бесшабашнее. Откуда-то появилась старенькая самодельная балалайка, и «подгорная», которую мастерски исполнял Подкорытов, сорвала с места Молокова. Он гоголем вскочил из-за ящика, подбоченившись, козырем прошелся до двери и, повернув обратно, выстукал каблуками залихватскую дробь. Тут уж не усидел на месте Макар Якимов. Скуластый, похожий на монгола, широкоплечий, тяжеловесный трубач с невероятной для него легкостью пошел по кругу, едва касаясь носками земли.

Против Подкорытова он топнул, широченной ладонью хлопнул'себя по затылку, затем обеими ладонями по груди, по коленям и, ухнув, пустился вприсядку. Все сидящие вокруг

«стола» словно ожили, задвигались, притопывая в такт балалайке ногами, подстукивали кружками, кто-то подсвистывал, кто-то подпевал:

Нынче времечко такое,
Видел немец казака, .
Видел знамя боевое,
Испытал удар клинка...

Егор, обняв за плечи урядника Каюкова, злобно, с пьяной откровенностью хрипел ему на ухо:

— Схватилась, понимаешь... с учителем тамошним... с Боро^диным схлестнулась...

Еле ворочая языком, Каюков мотал чубатой головой.

— Дурак ты, Егорка, дур-рак и уши холодные.

— Да ты слушай!

— Убиваться эдак из-за бабы, дур-рак!

— Убью ее, суку! Вот увидишь, зарублю!

— Руби ее, гаду! — Вскинув голову, Каюков выпрямился и, ошалело поводя осоловелыми глазами, запел!

Засверкала ша-а-ашка в казачьей руке-е-е,
Скатилась голо-о-вка с неверно-ой жены-ы.

Наконец охмелел и Егор. В голове у него шумело, мысли путались. Чувствуя приступ тошноты, он поднялся из-за стола, шатаясь, придерживаясь рукой за стенку, пробрался до двери. Выйдя из клуни, он добрел до колодца и, вылив на голову ведро воды, огляделся. Светало. С востока веяло ветерком-прохладой, па западе полная луна повисла над горизонтом, по селу распевали петухи, в саду высвистывал соловей, из клуни доносились пьяные голоса, казаки тянули старинную:

Ой да по широкою каза... каза-а-а-чий по-олк идет.

В дальнем углу двора смутно белела маленькая хатка-мазанка, служившая хозяевам летней кухней, и тут Егор вспомнил про Мотрю. Дальше все произошло как во сне. Он помнил, как, скрипнув дверью, вошел в мазанку, вспомнил испуганный вскрик Мотри, а затем жадный порыв молодого, горячего тела жалмерки.

Ранним утром Мотря с великим трудом растолкала Егора.

— Вставай, Грицко,— ласково шептала она, целуя Егора, а рукой перебирала его еще мокрые колечки чуба,— вставай, любый, скоро ваша труба заиграе.

Егор только мычал что-то в ответ, мотал головой, поворачивался на другой бок.

— Вставай,— тормошила Мотря,— зараз маты проснется.

— Отвяжись.

— Вставай, кобеляка проклятущий!— уже сердито прикрикнула Мотря и, ухватив Егора за чуб, приподняла его с подушки.— Ты що, сказывся? Тикай, тоби кажуть, а то як возьму рогача...

Егор наконец проснулся и, сообразив, где находится, вспомнил обо всем происшедшем. Превозмогая головную боль, он рывком поднялся с кровати. Собрав с полу свои сапоги, портянки, он сунул их под мышку, направился к выходу, но тут его за рукав придержала Мотря:

— Подивись же на меня, Грицю.— Голос Мотри звучал просительно, ласково, она заглянула ему в глаза, добавила со вздохом: — Ох, не чаю, як того вечера дождаты. Прийдешь, серденько?

Егор только крякнул в ответ, нахмурившись, отстранил Мотрю рукой, вышел.

А вечером, едва лишь стемнело, снова пришел Егор к Мотре и ушел от нее на заре. С той поры, таясь от товарищей, стал бывать у нее каждый вечер. Тяжелым, бесстыдным блудом с жалмеркой пытался Егор задушить то горячее, светлое, что было связано с образом Насти, и... не мог. Ночи с Мотрей пролетали как дурной сон, а в глазах по-прежнему стояла Настя, сердце изнывало в тоске по ней, в голову все чаще приходила мысль: может быть, Настя и не виновата, не всякому слуху верь. Он похудел, оброс бородой, стал угрюмым, неразговорчивым с товарищами, утратил былую казачью лихость, радение к службе.

Однажды вечером, выждав, когда его друзья завалились спать, он спустился с сеновала, направился было к Мотре, но во двор из хаты вышла старуха хозяйка. Егор подошел к'воротам и, навалившись грудью на изгородь, задумался. Солнце уже давно закатилось, тихий теплый вечер надвинулся на село, на западе разгоралась заря. У самого горизонта она была светло-шафрановая с зеленоватым отливом, выше нежно розовела а еще выше, там, где в струнку вытянулись темные тучки, заря окрасила их в багрово-красный цвет. Но Егор не замечал этой красоты, теснились в голове его тяжкие думы, тоскливо щемило сердце. Он и не слышал, как к нему подошел взводный урядник Погодаев, окликнул:

— Ушаков!

Вздрогнув от неожиданности, Егор поднял голову, в упор глянул на урядника:

— Чего тебе?

— Ты что это квелый какой-то стал?

— Отцепись!

— Ты со мной как разговариваешь?! — повысил голос Погодаев.— Я кто тебе есть? Лахудра чертова, под шашку захотел?

— Ну и ставь, черт с тобой!

— С тобой по-человечески, а ты дерзить, стервуга! Ты как отличился сегодня на стрельбе-то? И себя позоришь, и весь наш взвод, вить это на дикого рассказ, все пули за молоком послал! Шпарит в белый свет как в копеечку да ишо и сердится.

Погодаев умолк ненадолго, свернул курить и, подавая кисет Егору, при свете зари рассмотрел посеревшее, опухшее от бессонницы лицо казака. Уряднику стало жалко Егора.

— Заболел ты, что ли? — снова заговорил Погодаев, но голос его уже звучал по-иному, в нем слышались теплые нотки дружеского участия. — Али горе какое? Постой-ка, мне ведь кто-то рассказывал, Каюков, однако... невесту у тебя, что ли, кто-то отбил? Ты, значит, из-за этого и горюешь?

— Из-за этого,— признался Егор, тронутый дружеским тоном урядника. Он разоткровенничался и рассказал Погодаеву обо всем, что услышал про Настю.

Погодаев так и встрепенулся, когда Егор упомянул про Бородина, и глаза его так ошалело-радостно полезли на лоб, что Егор осекся на полуслове, заметив восторженный взгляд урядника.

— Бородин! Михаил Иванович? Да это же мой бывший учитель! _ воскликнул Погодаев и так хлопнул изумленного Егора по плечу ладонью, что тот еле устоял на ногах.— Ерунда все это, что ты мне наговорил тут. Чтобы Михаил Иванович позволил себе такое, ни за что не поверю, убей меня на месте, не поверю, это же прямо-таки голубь, святой души человек. Его в нашей станице все, от мала до велика, знают и уважают как родного, ничего, что он на каторге был за политику, а жена его, первейшая раскрасавица, и до сё в ссылке находится. Нет, не-ет, за Михаила Ивановича я голову положу на плаху, не дозволит он себе таких глупостей. Просто бабы наболтали, а ты нюни распустил, ду-ура ты стоеросовая. Я сегодня же напишу Михаилу Ивановичу, и вот увидишь, как бабы тебе мозги запорошили.

Порассказав про своего бывшего учителя, Погодаев попрощался и ушел, а Егор все еще стоял у ворот. От слов урядника у него словно гора свалилась с плеч.

«Правильно говорил Федот,— думал Егор, чувствуя, что

в голове у него просветлело и стало легче на душе,— не может быть, чтобы Настя изменила мне. Моя она и ни на кого никогда не позарится. Какой же я дурак, оболтус».

С легким сердцем посмотрел он на белевшую в сумраке мазанку, где ждала его Мотря, и впервые за эту неделю не пошел к ней. Взобравшись на сеновал, он лег рядом с Молоковым и, как в теплую воду, окунулся в глубокий, без сновидений сон.

Полк на рассвете подняли по тревоге.

Тра-та-та, тра-та-та — всколыхнули утреннюю тишину будоражливые трубные звуки боевого сигнала «тревога».

И по улицам села затопали казаки, устремляясь к сотенским коновязям.

Егор и его друзья кубарем скатились с сеновала, с шинелями и попонами под мышкой бегом через двор. Пробегая мимо клуни, Егор подумал: даже проститься не пришлось с Мотрей, ну да теперь уже не до нее.

На площади у церкви шум, топот ног, звяк стремян и оружия. Обозники спешно разбирали палатки, запрягали лошадей, грузили на фургоны кули, ящики, их поминутно торопил вахмистр на вороном коне. Размахивая нагайкой, он то и дело матюгался:

— Живо, живо...

Не прошло и получаса, как полк, сотня за сотней, на рысях выходил из села и, минуя сады, огороды, левады, взял направление на запад.

Егор, оглянувшись, отыскал глазами знакомую хату, сад, и там, в залитой молочным цветом темной зелени вишен, ему показалось, что он увидел Мотрю.

Казаки оборачивались на ходу, хмурились, недовольно ворчали:

— Кончилась лафа наша.

— Отошла коту маслена.

— Эх, ишо бы такого житья хоть с недельку.

Все дальше и дальше уходил полк. И уже не видно калиновских хат, все слилось в сплошное темное пятно. А на востоке, румяная, ширилась заря, над нею, причудливо раскиданные, розовели маленькие облачка, словно маки, искусно вытканные на голубом фартуке молодой украинки.

Но ни эта красота, ни свежесть майского утра — ничто не радует казаков. Грустно на душе у каждого из них оттого, что кончилась их легкая, праздничная жизнь в гостеприимной Калиновке, а впереди ждут новые походы, смерти и все те невзгоды и горечи, которыми до отказа наполнены будни войны.

ГЛАВА IX

Ермоха с Никитой уже покончили с пахотой и все эти дни работали около дома: сегодня они на двух лошадях возили на отвал навоз, что накопился за зиму.

Сам Савва Саввич верхом на своем Сивке с утра отправился осматривать посевы. Выехал он из дому раненько, когда еще вся приингодинская долина Козлиха была окутана густым туманом. Много падей и отпадков объехал Савва Саввич, вот и туман поднялся выше гор, белыми стайками облаков уплыл куда-то к северу, вот и роса пообсохла, а он все ездит и ездит: поднимается на сопки, кружит по еланям, вброд пересекает многочисленные речки и ручьи, вспухшие после недавнего дождя. В одном месте небольшая до этого речушка так разлилась, что вода залилась на седло. Выбравшись на сухо, Савва Саввич сошел с коня, спутав его чембуром, отпустил пастись, а сам разулся, вылил из ичигов воду, переменил в них стельки, а штаны и портянки высушил на солнце.

И снова старик в седле, снова с елани на елань поторапливает Сивка. А старый конь уже порядком притомился, крутые бока его лоснятся, шерсть на груди и в пахах закурчавилась, потемнела от пота. Все чаще спотыкается Сивко на кочках, в пашнях, ставших топкими, с трудом вытягивает вязнущие по самые бабки ноги, храпя выбирается на межу. По твердому грунту шагать ему легче, с отяжелевших копыт ошметками отваливается закрутевшая грязь, и по яркой зелени межи тянется за Сивком черный след.

Все сильнее припекает солнце, и на Сивка новая беда: появилось множество гнуса — слепней и зеленоголовых паутов, они льнут к нему, жалят нестерпимо, а хозяин не торопится к дому.

После того как кончилось ненастье, прошла неделя, погода установилась хорошая, теплая, и все вокруг зацвело, заблагоухало, кинулось в рост.

— Эка, благодать-то какая уродилась,— вслух рассуждал Савва Саввич, глядя на густую, покрытую сизым колосом ярицу.— Вот ишо во время наливу даст господь хорошей помочки, и сыпанет нонешний год хлебушка. Да-а, прям-таки диво дивное, давно ли чернешеньки стояли пашни-то, а теперь гляди-ка, што деется! Ярица-то под стремя коню, да и пшеница уж в полколена человеку.

Домой Савва Саввич вернулся к обеду. Еще от ворот увидел Макаровну, она на веранде накрывала на стол, ожидая с даль-

них огородов поденщиц, которые вместе с Настей окучивали картошку. Работники уже выпрягли лошадей, пустили их под навес, ушли к себе.

Савва Саввич спешился, привязал Сивка в тень к амбару, пошел к работникам. Когда подошел ближе, в нос ему из зимовья шибануло вкусным запахом вареного мяса, поджаренного лука и свежевыпеченного хлеба.Работники сидели за столом, обедали: в кути около печки, опершись на ухват, стояла Матрена.

— Хлеб да соль! — проговорил Савва Саввич, входя, и, сняв фуражку, перекрестился в кутный угол, где висел маленький образок Ивана Крестителя.

— Обедать с нами,— ответил хозяину Ермоха.

— Спасибо.

Савва Саввич присел на нары, вытерев платком потную лысину, огляделся.

— Эка мухоты-то расплодилось у вас какая погибель. Ты бы их, Матрена, тово... травила чертополохом, все поубавила бы лишних-то.

— Чума их убавит,— не меняя позы, отозвалась Матрена,— дверь-то весь день открыта стоит. Закрывать ее нельзя, жара, каждый день топим.

Она не торопясь достала из печки горшок с гречневой кашей, поставила на стол, кивнула Ермохе на миску: вон оне сразу две упали во щи.

— Ничего-о, муха не проест брюхо.— И, подцепив утопленниц краем ложки, Ермоха выплеснул их на пол, спросил Савву Саввича: — На пашнях был, хозяин?

— Был. Хороши хлеба пошли, слава те господи. Прополку пачинать самое время. Оно хотя и тово... грязновато, но в Сорочьей можно полоть, земля там супесок, а кислицы в пшенице великое множество. Налаживайтесь завтра туда ехать, я на подмогу вам баб позову.

На следующее утро из ограды Саввы Саввича выехали две пароконные подводы. Передней парой правил Ермоха. В телеге у пего, на досках, положенных на облучины, сидели шесть пожилых баб с серпами на плечах.

— Картошка у меня заросла лебедой,— говорит одна,— сегодня полоть ее собиралась, а тут на тебе...

— Да вить и у меня то же самое,— вздохнула вторая.

— А у нас червяк на капусте появился.

— Табаку надо напарить да и полить.

— Марфу Дидючиху попроси, заломит [1] на молодой месяц — и как рукой снимет.

— Кум Степан пишет?

— Вчера было письмо, про Андрюху Макарова прописал,— ранили его шибко.

— Эка бедный, Дуня-то слышала небось.

— Слышала.

У Никиты на задней телеге бабы более молодые, веселые и озорные. Они шутят, смеются над рыжей бородой Никиты, которая так пламенеет на солнце, что одна из баб тянется к ней с самокруткой в зубах прикурить.

— Да хватит вам, цокотухи! — прикрикнула на озорниц чернявая, молчаливая Татьяна Зайцева. Этой не до смеху: муж на фронте, дома трое ребятишек. Даже теперь, по дороге на пашню, не может Татьяна сидеть праздно, на коленях у нее, в сарпинковом запоне, большой клубок пряжи, а в натруженных, цепких пальцах быстро мелькают спицы.

Среди баб не было Насти. Не любила она ездить на тряской телеге, слушать бабьи разговоры. В то время как телеги выезжали из ворот, Настя седлала себе игреневого иноходца.

Новое казачье седло на Игреньке отливает глянцем. Настя, слабенько затянув переднюю подпругу, туго подтянула чересподушечную и заднюю, убавила по своей ноге стремена. Уже сидя в седле, подозвала к себе Матрену:

— За Егоркой посматривай тут, тетка Матрена.

— А что Макаровна-то?

— Да оиа-то само собой, двое-то лучше доглядите, на речку бы не увязался с ребятами.

— Ладно. Я и так, когда тебя нету, слежу за ним, озорной стал, постреленок.

Довольно улыбаясь, Настя продела правую руку под темляк нагайки, тронув Игренька ногой, шагом выехала за ворота.

Вчера вечером Настя опять ходила к Марфе ворожить, и опять ей выпало за картах «скорое известие от червонного короля». Поэтому на душе у Насти спокойно, к тому же и утро такое хорошее, и солнышко ласково греет, а небо ясное, голубое, как чисто выстиранный сатиновый полог. А какая ходкая, плавная иноходь у вислозадого Игренька. Недаром сказал про него Ермоха сегодня утром: «Ездить на Игреньке одно удовольствие, только покачивает, как муку сеет». Потому-то Настя всегда, когда надо было ехать верхом, седлала себе Игренька.

[1] З а л о м и т ь — заколдовать.

Уже выехав на окраину поселка, Настя увидела впереди высокую женщину, прогонявшую на луг телят, и, когда та поравнялась, пошла навстречу, узнала Парушу Лукину.

Сердито глядя на Настю, девушка, не здороваясь, загородила ей дорогу, ухватилась за повод Игренька.

— Подожди маленько, дело у меня к тебе есть.

— Какое такое дело? — удивилась Настя, натягивая поводья.

— Насчет Максима хочу спросить, Агеева, как ты любовь с ним крутишь, мужняя жена.

— Да ты в уме? — начиная сердиться, воскликнула Настя. — Али сорока на хвосте принесла тебе гадость какую-то про меня!

— Замолчи лучше, бесстыдница! Думаешь, не знаю, как шла ты с ним вечером намедни! — скороговоркой сыпала Парушка; на побледневшем лице ее отчетливей выступили коричневые рябинки.— Своими ушами слышала, как он про любовь тебе рассыпался, а ты от радости-то гоготала на всю улицу. Радехонька, что нового казака приманула. Мало тебе, суке, работников-то да учителей...

Если бы не оскорбительное слово, Настя рассказала бы Парушке, как было дело, но та брякнула такое грубое, обидное, что Настя взорвалась, дала волю гневу.

— Дура конопатая, вафля! — воскликнула Настя, и в правой руке ее мелко задрожала махрами увесистая плеть.— Нужен мне твой Макся, как на носу чирей! Это тебе он в диво, а я на него, лохмача поганого, и через порог смотреть не желаю. Ишо обзывать всяко вздумала. За такие слова вот как потяну тебя по пестрой-то харе. А ну, брысь!

Настя замахнулась плетью; испугавшись ее, Парушка выпустила из рук повод, отпрянула в сторону. Игренько рванулся вперед. Настя сгоряча огрела его плетью, он лишь хвостом крутнул, прибавил ходу. Быстрее замелькали мимо придорожные кусты, овраги, заросшие лебедой землянки пахарей на полевых станах.

Утренний бодрящий ветерок освежает разгоряченное лицо Насти, играет концами головного платка, а она никак не может успокоиться, кипит в душе ее злая обида на незаслуженный горький упрек.

«Облаяла ни за что ни про что,— мысленно ругала она Парушку, а затем весь свой гнев перенесла на Максима.— Ведь из-за Макси вся эта канитель произошла. Ах ты мерзавец

непутевый. Ну погоди, попадешься ты мне, подлечина, я тебе, с-сукиному сыну, покажу кузькину мать».

Не скоро пришлось Насте повстречать Максима, случай столкнул их на сенокосе.

ГЛАВА X

Работники Саввы Саввича косить начали, как всегда, на дальних покосах в пади Глубокой. Кроме Ермохи, Никиты и Насти на покос поехали четыре бабы и трое парнишек лет по двенадцати.

Но и с такими косарями дело пошло неплохо: трава нынче уродилась хорошая, дни стояли погожие, ясные, и к концу первой недели сенокоса на пантелеевских делянах красовались четыре островерхих стога и длинный, крутобокий зарод.

Второй зарод метали накануне Ильина дня. Грести начали сразу же, едва высохла роса, и, накатав первый длинный ряд валков, Ермоха с Никитой принялись копнить. Работали до позднего обеда и как-то особенно в этот день податливо-дружно. Когда пошли на стан обедать, Настя оглянулась на широкую долину, густо усеянную копнами, подождала шагавшего позади Ермоху.

— Наворошили копен-то,— сказала она, когда Ермоха подошел ближе,— не справимся с ними сегодня, дядя Ермоха? Половину смечем, поди, а остальное завтра.

Замедлив шаг, Ермоха оглянулся на копны, потом посмотрел на солнце и лишь после этого отозвался:

— Многовато. Копен девяносто будет, не меньше. Оно бы можно оставить и к завтрему, погода ясная, да вить Ильин день завтра, вот штука-то в чем. Нет, Федоровна, праздник большой, грозный, сроду мы в него не робили, придется сегодня вечерку прихватить, да и поднажать как следует быть.— И на изумленный взгляд Насти, улыбаясь, тряхнул кудлатой головой: — Ничего-о, глаза страшатся — руки делают. Оно эдак-то часто бывает на покосах.

Сразу после обеда стали метать сено в зарод. Копны к нему подвозили с трех сторон. За вилы, кроме Ермохи с Никитой, взялись Настя и еще две бабы. Дружно закипела работа, рубахи стариков и кофты баб взмокли, потемнели от пота, липла к ним сенная труха. Уже закатилось солнце, алой зарей окрасился запад, вечерней прохладой потянуло с устья, когда Ермоха, вытерев рукавом рубахи потное лицо, сказал Никите:

— Кидай веревку, вершить полезу.

Молодая веснушчатая бабенка Акулина, впервые работающая на покосе с Ермохой, закинула на зарод грабли, спросила:

— Кто с тобой еще полезет, дядя Ермоха, неужто один?

— А что же, Илья-пророк, что ли, с неба спустится?

— Да вить одному-то тебе не справиться. Вон сейчас Ульяна возьмется за вилы, так мы тебя впятером-то умыкаем, с головой закидаем.

— Умыкала ваша бабушка нашего дедушку. Меня, девка, семеро мужиков закидать не могли, а про вас и говорить-то нечего. А ну-ка, держи вилы.

Ермоха поплевал на руки, ухватился за конец перекинутой через зарод веревки и, крякнув, полез кверху.

И вскоре с зарода гремел его зычный, веселый голос:

— А ну, молодухи, покидывай веселее, живо-о! Так, та-ак! Ульяна, ты чего это пихаешь толчком, ты што, впервой подаешь сено на зарод? Микита, покажи ей, халяве, как надо. Живей, живей, бабы, ну! А ишо закидать собирались... давай, давай, не с вашим носом, дава-ай!

Совсем стемнело, когда зарод наконец завершили, навешали на него связанные вершинами таловые прутья. Ермоха еще разок прошелся по нему от края до края, потребовал веревку, чтобы спуститься на землю. Он только теперь заметил, что день давно уже кончился и тихая теплая ночь опустилась над падью. Потемневшее небо мерцало звездами, светлой полосой пролег по нему Млечный Путь. На западе, где еще не совсем потух закат, сияла яркая зарница, как позабытый на пашне серп, серебрился тоненький, молодой месяц. А вокруг такая чарующая тишина, что отчетливо слышно, как вдалеке журчит, перебираясь по камешкам на перекате, речка, как назойливо тоненько вызванивают комары, а на стану, переговариваясь, стучат топорами ребятишки. Ермоха отправил их пораньше варить чай, приготовить для лошадей на ночь дымокур от гнуса. Там уже ярко полыхает костер, а от этого ночь кажется еще темнее, таинственнее, а дремлющий воздух пропитан сладчайшим ароматом подвинувшей вчерашней кошенины.

Бабы, умаявшись за день, отошли от зарода в сторону, покидали наземь вилы, грабли, сами тут же растянулись на теплых, колючих прокосах, притихли. Лежа на спине и глядя в далекое, звездное небо, первой заговорила Настя:

— До чего же умыкались, господи... даже на стан идти неохота. Так бы и уснула тут... ногой бы не двинула.

— Как и доберемся до балагану,— вздохнула Ульяна,— темень, хоть глаз выколи, тропку не увидишь... кочки.

— Забраться бы где-нибудь в копну,— отозвалась лежащая рядом с Настей Акулина,— да ишо казачишку бы туда, хоть немудрящего какого.

— Ну и греховодница ты, Акулина,— бурчит недовольный голос пожилой женщины.

— А чем же она виновата,— вступилась за Акулину Ульяна,— муж второй год на фронте, а кровь-то ить молодая, бурлит. Я много старше, да и то другой раз хоть вой, казака надо. Хоть бы Микиту нашего расшевелить как-нибудь.

— Гы-гы-гы...

— От Микиты разживешься, пожалуй, как от быка молока.

— Халды бессовестные, тьфу,— раздался из темноты сердитый голос Никиты.— Типун вам на язык, суки блудливые.

Бабы брызнули смехом, и слышно было, как Никита встал, отплевываясь и матюгаясь, побрел к балагану.

К бабам подошел Ермоха. Он уже обмерял зарод шагами и, выбирая из бороды колючие былинки, заговорил, обращаясь к Насте:

— Девять с половиной сажен, Федоровна, девяносто копен, значить, так оно и есть. Ну, молодцы бабы, право слово, молодцы, эдакую громадину отгрохать за день.

— Зато и умаялись вон как.

— Вить чуть не до утра с ним провозились...

— Из сил выбились...

— Ничего-о, завтра спать будем хоть до обеда. Отдохнем, бабочки. А ну, поднимайтесь, двинемся помаленьку. Микита ушел, кажись?

— Ушел,— давясь смехом, ответила Ульяна,— на нас осерчал чего-то.

— Жалко, дранину не захватили,— продолжал Ермоха,— на балагане лежит, смолевая. Зажгли бы ее сейчас и, как с фонарем, пошли бы. Ну ничего-о, за мной держитесь, пошли.

Утром Ермоха поднялся, как обычно, раньше всех. Выйдя из балагана, он протер кулаком глаза и, перекрестившись на восток, огляделся. Всходило солнце. В ясном, голубом небе ни единого облачка, а сумрачная еще, затененная долина Глубокой курилась легким, прозрачным туманом. На стогах, прокосах, на траве, балагане и на телегах холодно блестела роса. Недалеко от балагана, у березовой изгороди, смирнехонько стояли привязанные на ночь лошади. Завидев Ермоху, они задвигались, затопали спутанными ногами. Лежащий возле потухшего дымокура рыжий жеребенок вскочил на ноги, потянулся и, помахивая пушистым хвостом-метелкой, поспешил

к матери, а иноходец Игренько радостно заржал, поворачивая навстречу Ермохе красивую сухую голову.

— Но, но! Смотри у меня, шельмец! — ворчливо-ласковым тоном прикрикнул на него Ермоха и, как был босиком, пошел отвязывать лошадей, чтобы пустить их на пастбище.

Отпустив лошадей он обошел вокруг балагана, подобрал брошенные кем-то кверху зубьями грабли и, воткнув их черенком в землю, посмотрел на солнышко.

— Что же делать-то? — вслух проговорил он, почесывая голую грудь.— Спать расхотелось. Литовки отбивать — баб разбудишь. Схожу-ка я лучше в лес, дров заготовлю да бересты надеру на пайвы[1].

Умывшись холодным чаем и утеревшись кушаком, Ермоха обулся, надел старенькую, из бараньей шерсти шинель и, заткнув топор за кушак, отправился в ближайший колок, что раскинулся у подножия крутой каменистой горы.

Там еще сумрачно, прохладно и тихо, лишь одинокий дятел долбит старую, корявую березу да где-то далеко высвистывают щеглы. Воздух полон ароматами черемухи, смородины, с еле ощутимым запахом грибов и прелого листа.

— Эка дух-то какой приятственный! — проговорил Ермоха, остановившись около сухостойной, суковатой лиственницы, стукнул ее обухом. Гулкое эхо покатилось по колку, отозвалось в горах и сосновом бору. С ближайшего куста черемухи, который Ермоха задел топором, на него градом посыпались капли росы. Он сбил росу и с других кустов, затем сбросил с себя мокрую шинель и, поплевав на руки, принялся рубить.

Когда Ермоха вернулся из лесу, время подходило к полудню. Сбросив у балагана тяжелый, связанный таловым прутом тюк бересты, он нарубил дров, развел костер. Солнце жгло немилосердно. Лошади, спасаясь от жары и паутов, забились в колок, а Ермоха, обливаясь потом, продолжал сидеть у костра, сучил на оголенном колене дратву из конопли, чтобы сшивать ею бересту на пайвы. Услышав позади себя конский топот, Ермоха обернулся и, присмотревшись, узнал в подъезжающем всаднике Максима Травникова. Не доехав до балагана, Максим спешился, привязал коня в тени густой, раскидистой березы, поспешил к Ермохе. Поздоровавшись, спросил:

— А где же народ ваш?

— По голубицу ушли,— ответил Ермоха,— во-он они, отсюда видать, разбрелись по елани.

[1] Пайва = берестовая посудина.

Максим посмотрел, куда показывал старик, подкрутил усы, придумывая, как бы спросить про Настю. Глядя на него, Ермоха подумал: «Эка франт какой, сенокос, а он... и рубаха с иголочки, и штаны с лампасами, и сапоги начистил, прямотаки как на вечерку выщелкнулся... Оно, положим, праздник, да и не малый».

— Хозяйку вашу повидать бы мне,— нашелся наконец Максим,— с братом ихним вместе был на фронте, просил увидать ее, порассказать, что жив он, здоров и так далее.

— Там же она, на ягоде. Скоро придут небось, подожди здесь, чайку попьем.

— Не-ет, ждать-то мне некогда,— заторопился обрадованный Максим.— Лучше я уж схожу к ней на ягодник.

Он крутнулся на каблуках и чуть не бегом, не разбирая тропинок, прямиком через покосы пустился к своей желанной. Саженную ширину речки перемахнул с разбега.

Настю он увидел, как только поднялся на елань. В розовой кофте и белом подсиненном платке, она только что подошла к могучей разлапистой лиственнице. Там у нее стояло на пеньке ведро, чуть не доверху наполненное голубицей. Настя высыпала из туеска в ведро ягоды, повернулась, чтобы уйти, и тут увидела Максима. Он быстро подходил к ней, улыбчивое, потное лицо Максима раскраснелось, радостью светились глаза, шильцами торчали подкрученные кверху кончики усов.

— Федоровна...— Запыхавшись от быстрой ходьбы в гору, он говорил прерывисто, с придыханием.— Здравствуй... дорогая!

— Здравствуй,— пряча руки за спиной, скупо улыбнулась Настя.

— Как живется-можется?

— А тебе это шибко любопытно, Максим Агеич?

— Эх, Настасья Федоровна, у меня уж все сердце но тебе выболело, мне теперь и жизнь не в жизнь без тебя.

— Вот оно что-о! — Догадавшись, зачем пожаловал к ней Максим, Настя вспомнила недавний, столь оскорбительный разговор с Парушкой, и в душе ее заклокотала злая обида.— Я с тобой шутейно, а ты уж и в самом деле! Ты за кого меня считаешь?

Но Максим словно обезумел: он уже не понимал Настиных слов, ни ее сердитого тона, ни того, каким недобрым огоньком заискрились у нее глаза. Он видел лишь, как лицо казачки еще гуще заполыхало вишневым румянцем, а из-под платка на белую круглую шею выбился курчавый завиток.

— Ягодка моя, лебедушка,— продолжал он жарким полушепотом, подступая ближе, а правой рукой пытаясь обнять ее за талию.

— Отстань! — толкнув его в грудь, воскликнула Настя.— Ты еще и лапать вздумал! — Она быстро, по-мужски размахнулась, ахнула его, кулаком по левой скуле.

Может быть, Максим и устоял бы на ногах, но, попятившись от толчка и гневного окрика Насти, он споткнулся о корневище лиственницы и плюхнулся спиной в колючий кустарник.

В довершение беды он, падая, задел рукой строчье гнездо. Потревоженные строки[1] взмыли кверху и кучей накинулись на поверженного кавалера. Он вскочил и кинулся наубег. Опомнился Максим уже у речки, оглянувшись, перевел дух. Погони не было. Вспухшее лицо его горело от укусов, он ополоснул его холодной водой, посмотрелся в речку. На гладкой поверхности ее, как в зеркале, отразилась опухшая, в кровоподтеках рожа, вместо глаз — узенькие щелочки, а под левым глазом багровел, отливая синевой, фонарь величиной с блюдце.

— Штоб тебя громом убило, змея подколодная,— ругался Максим, обирая с перепачканной голубицей рубахи прильнувшие к ней раздавленные ягоды, и, выпрямившись, погрозил в сторону Насти кулаком.

На балаган к Ермохе Максим не зашел, обойдя его далеко кругом, добрался до коня, вскочил на него и уехал.

Когда бабы, набрав голубицы, вернулись на стан, Ермоха уже приготовил им обед, наварил чаю. За обедом спросил Настю:

— Чего же это Максим-то так скоро уехал?

— Не знаю,— сдерживая улыбку, ответила Настя. Бабы переглянулись, засмеялись; они видели, как Максим стреканул от Насти, и догадывались, за что ему попало от их хозяйки.

— Зря,— продолжал Ермоха,— надо бы пригласить человека, угостить чем бог послал...

— А я и так угостила его,— уже не сдерживая смеха, Настя подмигнула сидевшей напротив Акулине,— а больше он чего-то не схотел.

ГЛАВА XI

В мае 1916 года русские войска, которыми командовал генерал Брусилов, перешли в наступление на всем протяжении Юго-Западного фронта — от Черновиц на румынской границе до Чарторийска и Островца на реке Стыри.

[1] Строки — дикие пчелы.

Разгромив железобетонные укрепления, которыми так хвастались немцы, считая их неприступными, русские штурмом взяли Луцк и погнали врага дальше на запад в сторону Карпат, а северное крыло фронта (3-я армия), форсировав во многих местах реку Стоход, устремилось в направлении Владимира-Волынского.

В первые же дни наступления русские захватили у врага огромные трофеи: военные склады, множество орудий, пулеметов, винтовок, снарядов, патронов и более 70 тысяч пленных.

Победа была бы полной, если бы Брусилова поддержали и другие командующие русскими фронтами: бездарный, не любимый солдатами генерал Эверт, который командовал Западным фронтом, и такой же никудышный вояка Куропаткин, командовавший Северным фронтом. Оба эти генерала с места не двинулись, чтобы помочь своему соседу добивать врага, и Брусилову волей-неволей пришлось остановить так успешно развиваемое наступление и закрепиться на достигнутых им новых позициях.

Во время наступления на стыке двух русских армий, 8-й и 3-й, образовался разрыв, куда был брошен кавалерийский корпус генерала Гиллепшмидта, в составе которого находилась и 1-я Забайкальская казачья дивизия.

После того как форсировали многорукавный, мутный Стоход с его многочисленными протоками и топкими болотистыми берегами, дивизия получила приказ: спешиться и занять позицию, окопавшись вдоль левого берега реки.

— Это оно что же такое? — ворчали казаки, дивясь новому приказу.— Только разошлись немца бить — и на тебе, стоп машина.

— А вить как погнали-то его...

— Диковина, братцы, вроде жалко стало немца генералам нашим, не дают добить его до конца, и баста...

— Измена, не иначе...

— Мне писарь наш Игуменов рассказывал, в штабе дивизии был он намедни, там и слышал,— такое творится вокруг, что уши вянут. Мы здесь наступаем, гоним немца напропалую, а другие наши генералы стоят и ухом не ведут.

— Вот оно што-о-о...

— Энтот, какой был у нас наказным атаманом, Выверт, што ли...

— Эверт...

— Во-во, он самый, Эверц! Так вить он же, вражина, истованный немец, какой же ему антирес своих бить!

— Оно конешно, свой своему поневоле друг.

— То-то и оно. Через это самое Брусилов наш видит такое дело и приказал: хватит, говорит, ребята, одним нам зарываться далеко не к чему. А то может получиться по-волчьи: те будто убегают от собак, а сами заманивают их подальше от села, в засаду, а потом как накинутся на них с трех сторон — и каюк собачкам, поминай их как звали.

— Брусилов — генерал башка-а-а...

— Побольше бы таких.

— Этот не какой-нибудь немчуга Виверт или Куропаткин задрипанный. Этого Куропаткина ишо в японскую войну надо бы поганой метлой из генералов-то, а ему опять армию всучили...

— Эхма-а, руки падают от таких порядков. Кабы все-то навалились на немчуру дружнее, вот бы и войне конец.

Казаки, имея лошадей в тылу, примкнули к винтовкам выданные им штыки, залегли в землянках и окопах, огородившись тремя рядами колючей проволоки, заменили собою пехоту.

Вскоре началось ненастье. Казаки в промокших, замызганных грязью шинелях коченели, отбывая очередное дежурство в траншеях, проклиная все на свете: и осточертевшую им войну, и затеявших ее правителей, и этот нудный, надоедливый дождь. А он, по-осеннему затяжной, мелкий, как просеянный сквозь сито, сыпал и сыпал, и казалось, не будет ему ни конца, ни краю.

Натянув на фуражку башлык, Егор, как всегда, добросовестно выполнял обязанности дозорного и не отрываясь, внимательно смотрел в узкое отверстие бойницы. Но там сквозь кисейную сетку дождя он видел все ту же знакомую до мелочей картину: тройную изгородь из колючей проволоки впереди окопов, далее болотистую равнину, редкие, чахлые деревца с обломанными шрапнелью ветками. А еще дальше, в полуверсте расстояния, угадывались вражеские окопы с чуть приметными черточками проволочных заграждений, за ними из немецких окопов кое-где вздымались и таяли синие дымки костров. Такие же костры ухитрялись разводить и казаки. К одному из них после смены подсел Егор, увидев, что Волгин кипятит на нем чай. Казаки жались к огню, грелись горячим чаем, от их грязных, мокрых шинелей валил пар.

— Сдурел дождь-то,— посетовал один,— вторую неделю шпарит без роздыху. Эдак-то будет дальше, так мы заживо сгнием.

— Сгнием,— вздохнув, согласился второй,— и вша заест

до смерти, развелось ее тьма-тьмущая, ить это беда — в этакой грязе и в одеже день и ночь...

— Солдаты вон бегут с позициев почем зря.

— Эдак-то будет, так и мы. лыжи навострим.

Егор, подставив свою кружку, в которую Волгин наливал ему кипяток, через плечо покосился на говорившего!

— Куда же ты побежишь?

— А куда солдаты бегут? Домой!

— Хо, сравнил божий дар с яичницей. Солдату что, один как перст,— случись, по железной дороге не пустят в вагон, он на крышу заберется, все равно поедет, а ты попробуй сунься с конем-то. Да и дома-то к солдатам не так придираются, как к нашему брату казаку. Тут тебя перво-наперво поселковый атаман прижмет, а потом станичный и пошлют голубчика обратно на фронт, да ишо и по этапу.

— Это верно,— поддержал Егора Волгин.— У нас не только атаман, старики-то со свету сживут, ежели узнают, что сбежал с фронту. Не-ет, наше дело особое.— Волгин подгрудил в огонь концы обгоревших сучьев, подбросил туда новых, переменил разговор: — Пополнение пришло в нашу дивизию, молодых пригнали сот восемь. Наверно, и в наш полк добавят из них.

— А то чего же, вить у нас человек по восемьдесят, по девяносто осталось в сотне. Наверняка прибавят, доведут до комплекту.

— И офицеры есть среди них.

— Полно. Все больше прапора[1] новоиспеченные, из студентов, говорят.

— Вот начнут хорохориться над нашим братом, гаже нету этих офицеришек сыромятных.

— Не шибко-то, теперь не мирное время,— ежели досаждать зачнет который, так живо последует к Николаю-угоднику для связи.

В Аргунский полк из нового пополнения прибыло около 200 человек, из них 30 пришлось на четвертую сотню.

Все это были еще не обстрелянные, молодые казаки срока службы 1916 года. В новеньких, еще не испачканных окопной грязью шинелях и чистых фуражках, они выделялись из общей серой массы фронтовиков, как новая заплата на старой шубе. Да и вели себя молодые иначе, чем фронтовики: боязливо

[1] Прапор, сыромятный — презрительная кличка молодых, только что окончивших школу прапорщиков.

косились на амбразуры в окопах, а заслышав приближающийся вой вражеских снарядов или тягучий посвист пуль, бледнели, пластом прижимались к земле, втягивали головы в плечи. Фронтовики подтрунивали над ними:

— Эй ты, серяк, чего кланяешься немцу-то, знакомого увидел?

— Ха-ха-ха...

— Какой станицы?

— Копунской.

— Гужеед, а ты?

— Новотроицкой.

— Богдатской.

— Догинской.

— Ложки получали? Тут вот выдают их недалеко, в землянке.

Молодые, осмелев, посмеиваются:

— Знаем, что это за ложки, нам их в запасной сотне выдавали.

— Степка Секисов вон десять штук получил, пожадничал.

— Ха-ха-ха.

— Ну тогда хоть закурить давайте. У вас табачку, поди, полно, деньги-то ишо домашние, овсяные.

У многих среди прибывших оказались станичники, посельщики, знакомые. Начались разговоры, расспросы: как там дома да какой урожай, но в рассказах молодых не было ничего утешительного: всюду недовольство войной, в деревнях нехватка рабочих рук, недосев, недокос сена, и старики, так же как и фронтовики, ждут не дождутся «замирения».

Вскоре в окопах, в сопровождении есаула Шемелина, появились и новые офицеры-прапорщики: Киргизов, Богомягков и Балябин. Все трое как на подбор высокого роста, но Балябин выделялся из них богатырским телосложением, большого размера офицерская шинель плотно облегала могучие плечи и широкую выпуклую грудь, едва сходилась на нем распущенная на всю длину портупея шашки.

До призыва в армию Киргизов и Богомягков работали учителями, Балябин закончил в Чите землемерное училище. На фронт они прибыли из оренбургской школы прапорщиков, куда были направлены сразу же после мобилизации.

Сидящие у костра казаки встали, посторонившись, ответили на приветствие. Егор, глядя вслед великану прапорщику, восхищенно покачал головой:

— Вот это чертушка! В урожайном месте, видать, зародился.

— Здоровя-ак, этот ежели ахнет кулаком, так не только человека, быка зашибет насмерть.

— Не дай бог, если еще и характером-то крутой окажется, как покойный Токмаков-Зубатка, так он натворит делов...

— По взгляду-то вроде бы ничего-о, не злой.

К костру подошел Волгин, услышав, что речь идет о новом прапорщике, пояснил:

— Станишник это мой, Фрол Емельянович, нашей, Чалбучинской станицы. Я его очень даже хорошо знаю. Вон во второй батарее родной брат его служит, Семен, такой же здоровила. Их шестеро братовей, и все вот такие дубы-силачи, а так ребята славные, худого про них не скажешь. С Фролом, вот этим, раз такой случай был...— Волгин, не торопясь с рассказом, закурил и, когда казаки расселись вокруг костра, продолжил: — Осенью дело было. Ездили мы с Ванькой Исаковым на примерку в станицу. Время уже перед самым покровом, страда закончилась, снопы возили. Едем мы обратно, солнце на вечер покатилось, а день ясный был, тепло, и куда ни глянь, обозы к селу тянутся: там снопы, там зеленку, там сено везут. И впереди нас двое на четырех с гречухой едут. Дорога на косогор пошла, смотрим — один воз хлоп, перевернулся. Ванька говорит: «Ну, обмолотили ребята гречуху, теперь надо разваливать воз-то да перекладывать, обомнут ее, одна солома останется». Я говорю: «Может, помочь ребятам, вчетвером-то, поди, поднимем».— «Что ты,— возражает Ванька,— где же нам справиться, вить воз-то пудов тридцать будет». Едем мы, эдак разговариваем, а они остановились, переднего коня привернули к оглобле. Затем подлезли оба под опрокинутый воз, понатужились, подняли его и поехали дальше как ни в чем не бывало. Ближе-то мы подъехали, узнали, что это Фрол Емельянович с братом Семеном силенку свою показали.

ГЛАВА XII

Вновь прибывших молодых офицеров распределили по сотням. Фрол Балябин достался четвертой сотне.

Настороженно приняла сотня нового прапорщика. Когда он появился в окопах, у амбразур, казаки опасливо косились на крутые, широкие плечи прапорщика, на его здоровенные ручищи и, перемигиваясь, отходили подальше, судачили:

— Интересно, какой же у него конь? Вить эдакую тушу возить битюга надо, на каких ломовики груза возят.

— Не иначе...

— Да и молчаливый какой-то, угрюмый.

— Нелюдим.

Мнение казаков о новом прапорщике, которого они уже в шутку прозвали Битюгом, вскорости же изменилось к лучшему.

Из разговоров с казаками новый прапорщик узнал, что немцы частенько по ночам подползают к русским укреплениям и закидывают в наши окопы ручные гранаты, от которых в четвертой сотне уже выбыло десятка полтора казаков.

Балябин приказал взводным урядникам приготовить несколько шестов, а вахмистра заставил привезти откуда-то длинный рыбацкий невод. Когда стемнело, прапорщик научил казаков, как из невода на шестах сделать укрытие от немецких гранат.

— Ставить его надо ночью и утром чуть свет снимать, чтобы немцы не заметили,— наказывал Балябин вахмистру, когда невод, укрепленный на шестах, казаки выставили впереди окопов.

На следующую ночь немцы вновь подкрались к русским окопам, но кинутые ими гранаты, ударившись о невод, отскочили обратно и разорвались за проволочным заграждением, не причинив казакам никакого вреда. Казаки открыли по немцам беспорядочную стрельбу, затем начали бить по ним залпами, лихо заработали казачьи пулеметы. Егор, внимательно всматриваясь в темноту, ловил на мушку еле различимые мелькающие тени, слал в них пулю за пулей, пока не прозвучал сигнал «отбой». Сразу же оборвалась стрельба: замолчали пулеметы, ружейные залпы, лишь кое-где по линии хлопками прозвучали одиночные выстрелы, и наконец смолкло все.

По-прежнему моросил мелкий, надоедливый дождь. В окопах темнота, сырость, под ногами хлюпает грязь, бренчат стреляные гильзы, пахнет пороховой гарью. Казаки, потревоженные ночным нападением, после отражения атаки расходились по землянкам. Те же, которые отбывали в окопах ночную смену, выставив часовых, жались под деревянными настилами, курили под прикрытием брустверов, перекидывались словами:

— Всыпали немцу...

— А у нас вроде и без урону сегодня.

— Невод-то смотри как пригодился...

— Вот тебе и Битюг!

— Оно и дело-то простое с этим неводом, а нам и в голову не пришло такое.

На следующее утро, когда Фрол появился в траншее, казаки его дружно приветствовали и на вопрос: как дела? — отвечали охотно:

— Хорошо, ваше благородие!

— Помог невод-то! Ни одной гранаты к нам не попало.

Недалеко от Егора Балябин остановился и, привалившись грудью к амбразуре, стал в бинокль осматривать местность во ту сторону проволочных заграждений.

Дождь перестал, но по-прежнему над землей низко плыли серые, лохматые тучи, и в рваные, клочковатые просветы их синими заплатами виднелось небо. В сумеречном свете наступающего дня на кочковатой, мокрой луговине стало видно трупы немцев.

— Четверо убитых,— не отрываясь от бинокля, сообщил Балябин,—а один, очевидно, раненый.

— Так точно, вашбродь,— подтвердил кто-то из казаков,— слышно было ночью, стонал.

— Их больше было, по стонам-то, тех то ли подобрали свои, то ли сами уползли, а этот, стало быть, остался.

В это время немцы выставили из окопов белый флаг с красным крестом посередине, помахали им несколько раз.

Балябин сходил на командный пункт, переговорил по телефону с командованием полка и, вернувшись обратно, помахал немцам белым платком, вздетым на шашку, казакам приказал:

— Не стрелять в немцев, убитых они хотят подбирать.

В бинокль Балябину хорошо было видно, как из немецких окопов поднялись два санитара с повязками красного креста на рукавах. Пригибаясь, торопливо подошли к раненому, положили его на носилки, унесли. За убитыми пришло две пары санитаров, теперь они шли смелее, а казаки, выглядывая из амбразур, переговаривались между собою, и в тоне голосов их не слышалось злобы на врагов:

— Поди, ругают нас немцы за убитых-то.

— А чего им ругать, на то она и война.

— Не мы ее зачинали...

— .Она им тоже небось хуже горькой редьки надоела.

— Тш-ш,— проходивший по окопу мимо рыжеусый казак дернул говорившего за шинель, глазами показал на Балябина,— прикуси язык-то, чучело...

Чем дальше, тем больше ухудшалось положение в армии, менялось настроение солдат и казаков. Воинственный дух брусиловских армий, приобретенный ими во время майского наступления, стал быстро улетучиваться, как только победные,

наступательные действия прекратились по всему Юго-Западному фронту. Война вновь приняла позиционный характер. Все больше и больше падала в войсках дисциплина, в пехотных частях усилилось дезертирство солдат с фронта, а ставшие такими желанными слова «мир», «замирение» не сходили у них с языка.

У казаков еще не было случаев дезертирства, но недовольство войной росло и среди них. А тут еще вскоре после прибытия нового пополнения в окопах стали появляться листовки-прокламации. Откуда они брались, кто их подкидывал в казачьи землянки? Этого никто не знал, но когда они появлялись, казаки накидывались на них, как мухи на мед. Набившись до отказа в землянку, казаки, затаив дыхание, слушали, как один из них читал очередную листовку. И так-то в этих листовках доходчиво и просто объяснялась нелепость, бессмысленность войны, что даже неграмотным казакам становилось понятным, чьи интересы защищают они, убивая немецких мужиков и рабочих, одетых в солдатские шинели. И всегда, сразу же по прочтении листовки, вскипали в землянках жаркие, взволнованные разговоры.

— Всамделе, на кой черт сдались нам какие-то там Балканы? Лоб подставляй за них под пулю, а что нам прибудет от этого?

— Да и немцы-то тоже дураки, не лучше нас, война-то тоже небось нужна им как прошлогодний снег.

— Вот бы эту самую братанию учинить да и втолковать бы немцам-то: давайте, мол, расходиться по домам, оно бы и войне конец, одни-то генералы не шибко развоюются.

— А што ты думал, дойдет ишо и до этого.

* * *

Писарь четвертой сотни Гавриил Вишняков возвращался к себе в сотню из штаба полка, что находился верстах в двух от линии казачьих окопов, в брошенной жителями деревушке.

Шел он знакомой ему тропинкой через небольшую березовую рощу, которая пролегла между штабом и расположением сотни.

Время подходило к полудню. В этот день, впервые за последние две недели, из-за туч выглянуло солнце. Стало похоже на то, что ненастье кончается, все шире становятся прорехи между облаками, разрозненные тучи и хлопья их ветер гонит к северу. Под напором ветра шумела роща, раскачивали мохнатыми верхушками корявые березы и ольхи.

Под сапогами писаря чавкала жидкая бурая грязь. Он шел, выбирая места посуше, и, стараясь ступать на корневища берез, на кочки, то и дело сворачивал с тропинки.

Всякий раз, бывая в штабе, Вишняков встречался там со старшим писарем полка вахмистром Швецовым, с которым познакомился еще в мае прошлого года. Многое узнал Вишняков из разговоров со старшим писарем: он рассказывал не только о положении на фронтах, но и о настроениях среди солдат, о все растущем недовольстве войной. О забастовках в тылу, революционных партиях и их программах. А однажды, это было в ноябре прошлого года, когда 1-я Забайкальская казачья дивизия стояла на Буге, Швецов дал Вишнякову пачку листовок явно запретного характера, чтобы распространить их среди казаков своей сотни.

С тех пор не один раз приносил Вишняков и незаметно разбрасывал среди казаков такие листовки. Небольшой, туго стянутый бечевкой сверток их нес он и сегодня в правом кармане шинели. В первых листовках, которые приносил Вишняков в сотню, говорилось о ненужности войны, о забастовках и нарастающей разрухе, о расстреле царскими войсками митинга забастовавших рабочих в Иваново-Вознесенске. А вот сегодняшние листовки уже призывали к свержению всего царского строя, к превращению войны империалистической в войну гражданскую.

Революция... Сегодня о ней так много и хорошо говорил старший писарь, что у Вишнякова сердце замирало от радости, он и теперь еще находился под впечатлением этих слов, а в ушах его все еще звучал мягкий, бархатистый баритон Швецова.

Не все еще то, о чем говорил старший писарь о революции, было понятно Вишнякову. Но уже одно то, что государством будет управлять не царь, а правительство, выбранное самим народом, радовало его и волновало до глубины души.

«Вот и войне конец,— думал он, и круглое, чуть рябоватое лицо его морщилось в улыбке,— ясное дело, раз будет народная власть; зачем ей войну эту дурацкую продолжать. «Мир хижинам, война дворцам» — до чего же хорошо сказано. Умница Иван Петрович, вот таких, как он, мы и будем выбирать в управители при народной-то власти. Пусть управляют да законы такие создают, чтобы народу легче жилось, землю у помещиков поотобрать и мужикам раздать, заводы рабочим, оно и пойдет. А там уж к тому приведет революция, что не будет ни бедных и ни богатых, никакой нужды не будут знать люди.

Вот к чему все клонится. Ведь это здорово. За такие дела и умереть не страшно будет. Не зря, значит, люди-то на смерть шли, на каторгу за революцию, а мы-то, дураки, не знали ничего этого. Ну ничего-о, теперь-то уж мы грудью встанем за революцию, встанем!»

Последнее слово он, забывшись, сказал вслух и, спохватившись, огляделся вокруг.

И тут Вишняков вспомнил вахмистра своей сотни Вагина, заядлого службиста, родом из Красноярской станицы.

С первыми листовками Вишняков поступил опрометчиво, раскидал их сразу, придя от Швецова, а потому и попал на подозрение к вахмистру. Позднее он стал более осторожным, листовки по наущению Швецова распространял не сразу, а дня через два-три после того, как приносил их из штаба. Раскидывать листовки помогали Вишнякову его друзья-казаки — Егор Ушаков, Молоков, Вершинин, урядник Погодаев, а из третьего взвода — Гантимуров, Дуроевской станицы.

И все-таки" всякий раз, приходя из штаба и встречаясь с Вагиным, Вишняков чувствовал на себе его подозрительный, щупающий взгляд.

С думами о вахмистре подошел Вишняков к тому месту, где у него был небольшой тайник под каменной плитой вправо от тропинки, у березы со сломанной верхушкой.

Убедившись, что в роще никто за ним не следит, Вишняков спрятал под плитой листовки и снова пошагал в сотню, продолжая думать о революции, о Вагине и о том, что таким вот, как Вагин, революция не нужна.

«А ведь их, эдаких Вагиных, полно,— думал он, уже подходя к линии казачьих укреплений,— вон у нас в поселке Потап Назарыч, да и другие, кому неплохо-то живется. На кой черт им революция, вот и зачнется промежду нас резня, не зря же пишут в листовках-то про гражданскую войну...»

За листовками, которые упрятал в роще Вишняков, через два дня отправился Егор, отпросившись у взводного к лошадям, попроведать своего Воронка. Казачьи кони находились в тылу! верстах в трех от линии фронта. Егор побывал на коновязи! повстречал там приставленного к лошадям своего поселыцика Подкорытова. Разговаривая с Подкорытовым, он вычистил своего Воронка и перед тем, как уходить, скормил ему принесенный с собою кусок хлеба и три куска сахару, который только вчера раздавали в сотне.

На обратном пути Егор без труда разыскал в роще листовки и, положив их в конскую торбу, принес в сотню. Все шло

хорошо, Егор уже подошел к своей землянке и тут носом к носу столкнулся с вахмистром.

— Куда ходил? — вахмистр пристально, посмотрел на испугавшегося казака, подозрительный взгляд его задержался на торбе.

— К коням, господин вахмистр, взводный отпустил...

— А в торбе что у тебя?

И не успел Егор ответить, как вахмистр уже завладел торбой, извлек из нее сверток. Листовки были завернуты в газету, на которой крупным шрифтом чернело: «Социал-демократ».

— Вот оно што-о! — багровея лицом, протянул вахмистр, серые глазки его заискрились.— Значит, это ты такими делами занимаешься, сицилист... твою мать. Идем к командиру.

В офицерской землянке, когда вахмистр доставил туда Егора, находился лишь прапорщик Балябин и только что пришедший к нему из второй сотни прапорщик Богомягков.

Злость у вахмистра уже прошла, кирпично-красное лицо его рдело затаенной радостью,— шутка ли, проявил такую бдительность: самолично изловил бунтовщика-социалиста. Как же тут не радоваться вахмистру: и от этих листовок проклятых сотню оборонил, и начальству, наверное, угодил — тут и благодарность может быть в приказе, а то и повышение по службе.

Дернув Егора за рукав, вахмистр одним лишь движением бровей приказал ему стоять возле двери, а сам, приложив руку к козырьку фуражки, вытянулся перед Балябиным во фронт:

— Дозвольте доложить, ваше благородие.

Фрол, сидя за низеньким, наскоро сбитым из досок столиком, по.вернулся к вахмистру, положил руки на стол.

— Ну, что случилось? Опусти руку.

— Тут у нас, ваше благородие, прокламации всякие бунтарские стали появляться. Я, конешно, слежу за такими делами, на писаря сумлевался попервости, а оказалось, вот он, смутьян-то, Ушаков, нашей сотни,— сегодня я его, голубчика, сцапал с поличным и сразу к вам. Вот и прокламации эти анафемские,— вахмистр положил сверток на стол.— Прикажете рапорт подать?

— Не надо,— сердито буркнул Балябин,— сам напишу.

Егор, глаз не сводивший с Балябина, видел, как лицо прапорщика побурело от злости, а на левом виске его вздулась голубая жилка. Он взял сверток в руки и почему-то не раз-

вернул его, а, хмуря черные брови, стал рассматривать газету, в которую были завернуты листовки.

— С-сукин сын, мерзавец! — процедил он со злобой сквозь стиснутые зубы и, подняв голову, скользнул по вахмистру взглядом, полным ненависти.— Я с тобой поговорю еще! — закончил он, глянув на Егора, и снова к вахмистру: — Ступай. И минут через пятнадцать двух конвоиров сюда, понятно?

— Слушаюсь, вашбродь! — Лихо козырнув, вахмистр крутнулся на каблуках, вышел.

— Морду бить за такие дела! — заорал Балябин, глядя вслед вахмистру, и так грохнул кулаком по столу, что одна из досок треснула посредине.— Дай бумаги, Георгий.

Но вместо того чтобы писать, Балябин развязал сверток, вынул из него листовки. В землянке стало тихо, снаружи доносились чавкающие по грязи шаги уходящего вахмистра.

— Ты что же это, Ушаков, сплоховал? — Глядя на Егора, Балябин укоризненно покачал головой. Но ни во взгляде его, ни в тоне голоса не было и тени недавней злости. Ничего не понимая, Егор лишь глухо кашлянул в ответ, нерешительно переступил с ноги на ногу.

— Вахмистр видел эти листовки? — спросил Балябин.

— Никак нет, вашбродь, не видел.

— Добро. А ты сам-то грамотный?

— Никак нет, вашбродь, неграмотный.

— Совсем хорошо. Сделаем так: дадим тебе газет и в штаб полка тебя направим. И что бы там ни спрашивали, говори одно: газеты нашел в окопе, подобрал на курево, а что это за газеты, понятия не имею, неграмотный — и все. Про листовки ни гугу, понятно?

— Так точно, вашбродь! — гаркнул обрадованный Егор. Он только теперь понял, что эти прапорщики не хотят причинить ему зла, напротив, они сами, как видно, за революцию, о которой теперь втихомолку поговаривают казаки.

— Да, вот в чем закавыка-то! — уже обращаясь к Богомягкову, продолжал Балябин.— К командиру сотни отослать его, а тот наверняка этого прохвоста вызовет, вахмистра, и дело может плохо кончиться.

— Да-а...— Богомягков, наморщив лоб, подумал с минуту, а потом решительно махнул рукой: — Нет, к командиру посылать опасно, отправь его на свой риск в штаб полка.

Ничего не ответив Богомягкову, Балябин побарабанил пальцами по столу, решился.

— Схожу к командиру, ход придумал.— Он рывком поднялся из-за стола, торопливо надел шинель, шашку, Богомягкову посоветовал: — Ты листовки-то возьми, раздашь у себя в сотне, а вместо них положи каких-нибудь газет.— И, пригибаясь в дверях, вышел.

Обратно Балябин вернулся веселый, с пакетом в руках и еще от порога, улыбаясь, подмигнул Богомягкову:

— Удачно получилось. Писарь Вишняков, сообразительный парень, настрочил бумаженцию в штаб, а есаул подмахнул ее, в числе других, не читая. Так что теперь, можно сказать, дело в шляпе.

— Чудесно! — Богомягков встал из-за стола.— А я тут сверток приготовил, газет в него положил и с Ушаковым разговорился, учить его буду грамоте, я уж набрал с десяток желающих. Славные ребята, сменятся с заставы — и за учение. И знаешь, как придумали? Тетрадей не хватает, так они на земле: стешут в окопе стенку шашкой и пишут на ней штыком, прямо как на классной доске. Вот и Ушаков хочет так же.

— Что ж, хорошее дело, учись, Ушаков.

— Рад стараться, вашбродь!

Егор так и цвел в довольной улыбке. Он уже не боялся теперь за листовки, за свою оплошность, понимая, что за одни газеты с него невелик спрос. Он даже радовался в душе, что случай свел его с этими вот прапорщиками, которые явно стремятся помочь ему вырваться из беды. Но больше всего радовало Егора то, что давнишняя мечта его — научиться грамоте — так неожиданно может сбыться.

Снаружи послышались шаги, в дверь постучали, и в землянку, в сопровождении двух вооруженных казаков, вошел вахмистр. Козырнув Балябину, доложил:

— Конвой прибыл, ваше благородие.

Конвоиры, с винтовками к ноге, стали у дверей, оба они, старые, заросшие бородами фронтовики, глядя в землю, угрюмо молчали. Балябин подозвал к себе одного из них и, передав ему пакет со свертком газет, кивнул головой на Егора:

— Доставить арестованного в штаб полка!

— Слушаюсь! — Казак повернулся к Егору, тяжело вздохнув, показал глазами на дверь: — Пошли!

ГЛАВА XIII

На фронте наступило затишье. В это утро по всей линии окопов не было слышно ни одного выстрела, словно кончилась война, наступило мирное время. Изменилась к лучшему и

погода: дни после длительного ненастья установились ясные, теплые. Земля подсохла, не стало грязи в окопах и землянках. Казаки, поскидав шинели, приободрились. Собираясь вокруг костров, они забавлялись горячим чаем, куревом, разговорами. Сизые дымки вставали и над окопами немцев.

Во второй сотне, в запасном окопе позади передней линии, собралось человек сорок казаков и с ними прапорщик Богомягков. Шло необычное занятие — обучение казаков грамоте. Богомягков, по специальности учитель, провел с ними уже не одно занятие, многие казаки полностью заучили буквы, а теперь писали их штыками на песчаной, гладко стесанной стенке окопа.

Среди «учеников» были и казаки четвертой сотни, в том числе Егор Ушаков. Весь углубившись в столь интересное дело, Егор старательно вычерчивал винтовочным шомполом: «МА-МА», «РА-МА», «БА-БА», «БАК». Он чуть поразмыслил, приставил к последнему слову еще две буквы слева, и получилось: «ТА-БАК», еще подумал немного, потом стер первую букву и вместо нее написал К, получилось: «КА-БАК».

— Вот здорово-то! — вслух сказал он, восхищаясь своей смекалкой, и вздрогнул, услыша за спиной голос учителя:

— Ого! Ты уж сверх заданного писать начал!

— Так ведь любопытно же, ваше благородие,— смутившись, оправдывался Егор,— букву к букве подставишь, смотришь — слово получилось! Заместо этой другую напишешь — и слово другое! До чего же умственно придумано.

— А ну-ка напиши «казак».

— Казак? — переспросил Егор и вывел на песке: «КА-КАЗ».

— Получилось «ка-каз», а верно ли? Подумай-ка хорошенько!

Егор наморщил лоб, поскреб пятерней в затылке: «Ага-а, понял! Эту вот надо сюда подставить» — и, стесав написанное, начертил: «КА-ЗАК».

— Верно. Продолжай дальше.

До полудня шло занятие. Казаки так заинтересовались учением, что и на обед расходились неохотно. В этот день Егору повезло: подошла его очередь на букварь, которых было четыре штуки на сорок учеников. Впервые в жизни пришлось Егору держать в руках книжку и даже заучивать по ней слова. Потому-то и помчался он в свою сотню, не чуя под собой ног от радости.

«Только бы не угодить сегодня в дозор,— думал он, прижимая к себе книжку,— уж я-то ее, голубушку... постараюсь.

Вот бы такую книжицу навовсе заполучить! Эх! Скорее бы научиться, чтобы и письма от Насти читать самому, и ей писать, и матери».

* * *

Новые прапорщики — Балябин, Богомягков и Киргизов — хотя и были назначены в разные сотни, жили все трое в одной землянке. В этот вечер они долго не спали. Днем Киргизов получил письмо от одного из своих однокашников-учителей — Трофима Бочкарева. Тот писал, что получил место учителя в могочинской переселенческой школе. Писал он и о других учителях, и о том, что вместо Богомягкова в село Куларки на Шилке поехал учительствовать их общий друг Павел Размахнин, за высокий рост прозванный в семинарии Пашкой Длинным.

После того как письмо прочитали вслух, разговорились, вспомнили студенческие годы, марксистские кружки и подпольную организацию социал-демократов большевиков на Чите-первой. Там-то и приобщились к революционному движению будущие учителя и землемеры. Пламя революции они разнесли по станицам и селам Забайкалья, занесли его и в воинские казачьи части. Последнему обстоятельству невольно посодействовал даже сам войсковой наказный атаман генерал-лейтенант Кияшко, мобилизовав в армию учителей и землемеров без всякого разбору. Таким образом, в Аргунский полк под видом офицеров попали три активных члена партии большевиков.

Проговорили до глубокой ночи. Больше всех эти разговоры взволновали Богомягкова, и, когда оба его друга уже спали, он лежал на своей койке с открытыми глазами, улыбаясь в темноту, вспоминал Куларки. Вновь видел он в своем воображении школу, учеников, добродушных хлебосольных стариков, хозяев своей квартиры.

Особенно ярко вспомнился Георгию весенний вечер на рыбной ловле. Дед Микула Ананьин знал хорошие места и водил туда учителя рыбачить. Один из таких вечеров на рыбалке надолго запомнился Богомягкову. Вот и теперь так и видит себя Георгий на берегу Шилки. Широкая, полноводная река стремительно катит свои воды к востоку, но здесь, в небольшом омуте, тихо, как на озере. Глубокое зеркальное плесо отражает крутые голые утесы правобережья, окрашенные зарей по вершинам в темно-багровый цвет. Тишина, даже комары перестали зудеть над ухом, только кузнечики стрекочут на лугу за спиной

да изредка всплеснет выпрыгнувшая на поверхность рыбка. Пахнет илом, шиповником и сладостным душком цветущей черемухи, белый куст которой склонился с яру к воде недалеко от рыбаков.

Уже двух карасей выудил дед Микула; снимая добычу с крючка, ворчит с плохо скрытой радостью в голосе:

— Попался-а, хитрец! Полезай в мордушку, вот так, щучки в кучки, карасики — врозь!

У Георгия долго не клевало, но он не жалел об этом, сидел, любуясь рекой и окружающей его природой. Но вот и у него дрогнул хорошо видный на воде поплавок. Еще раз... еще... и совсем затонул. Георгий быстро схватил удилище, дернул и с радостно заколотившимся сердцем потянул из воды тяжелую рыбину. Еще миг, всплеск воды, мягкий шлепок о берег — и рыбина, сочно белея в сумерках брюхом, затрепыхалась на песке.

С рыбиной в руке Георгий к старику:

— Дедуся, смотри-ка!

— Ого-о! Здоровяк, фунта на четыре будет, а то и больше.

— Краснопер?

— Краснопе-ер! Давай его сюда, а то ищо упустишь, я его тут на сдевку присобачу. А ты поправь наживу-то да закидывай живее, жди другого: они, красноперы-то, парой ходят.

С рыбалки возвращались рекой, когда кончился клев. Георгий пристроился на носу старого, выдолбленного из громадной сосны бота. В ногах у него плетенная из тальника мордушка, доверху наполненная рыбой: тут и караси, и сазаны, и серебристые чебаки, а рядом вздернутый на прутик краснопер и большой, длиною в аршин, сом. Ловко орудуя шестом, дед Микула стоял на корме. За многие годы жизни дед наловчился ходить на боту с шестом, потому-то бот, не отдаляясь от берега, но и не тыкаясь в него носом, стрелой летел против течения.

Георгий, облокотившись на пучок сухого камыша, полулежал на носу бота. Прислушиваясь к журчанию воды за бортом, он любовался проплывающими мимо темными громадами утесов, рекой, отражающей звездное небо. И так-то хорошо было тогда Богомягкову, что он от души пожалел, когда бот замедлил ход и, зашуршав по гальке, приткнулся к берегу. Приехали.

Долго ворочался Георгий с боку на бок, сон не шел к нему. Наконец он встал, засветил лампу и, присев к столу, принялся за письмо.

«Пашка! Милый мои, дорогой, хороший товарищ! — писал он своему другу Павлу Размахнину.— Сегодня из письма

Трошки Бочкарева Киргизову узнал, что тебя назначили на мое место учителем в Куларки. Ах, какое это расчудесное село! Ты передай всем кулярцам от меня, что я им низко кланяюсь, особенно хозяевам моей квартиры, деду Микуле и, если встретишь, дьякону Гевласию Кутейкину. Интереснейший тип этот дьякон. Ну кто поверит, что он, лицо духовного звания, является пропагандистом революционных идей? Не знаю, Пашка, получил ли ты от меня письмо, в котором я писал тебе, что по дороге из Нерчинска повстречал отца Гевласия. Он мне сообщил кое-что интересное, показал журнал нашего объединения, передал письмо от тебя. Радости моей не было конца. Тогда я отправил в Куларки с Гевласием нашим друзьям (тебя еще там не было) послание социал-демократического направления, с революционным огоньком, с призывом открыть в селе читальню.

Пашка, вот бы нам теперь вместе, а? Да мы бы с тобой гору свернули. Ты жди меня, ведь я вернусь к учительству. Я, Пашка, не знаю дела более лучшего и благородного, чем воспитывать детей, прививать им любовь ко всему лучшему: к родине, к природе, к труду, к революции, к людям с мозолистыми руками и чистым сердцем. Эх, скорее бы сбылись мои мечты и желания.

Пашка, пиши мне скорее, ирод! Да поподробнее, не ленись, пиши, как там наша кооперация, наш рукописный журнал? Где теперь наши Назарка, Сидорка, Ванька Бутин и все другие?

Да, Пашка, я теперь воин, или в бозе почивший для нашей творческой жизни. Я теперь «ваше благородие», защитник кармана капиталистов, опора господствующих классов, борец за право власти, произвола и угнетения трудового люда. Я достиг того положения, когда свободно могу плевать в благородное, поистине благородное, лицо честного труженика-рабочего. Так вот, Пашка, милый мой товарищ, пойми ты мою душу, состояние моего «я».

Пашка, люби все живое, честное, бодрое, люби всех защитников угнетенных и борцов за свободу, равенство и братство народов, за установление вечного мира среди народов. Да и сам, Пашка, вставай в ряды «безумно храбрых».

Дорогой мой Пашка! Верь, недалеко уж то время, тот момент, когда мы встанем друг около друга в рядах армии труда, и отольются тогда вековым волкам пролитые народом слезы и кровь. Тогда уж и моя казацкая нагайка походит по жирным спинам буржуев,— грубо немного, ты прости меня за это.

Как хорошо, что здесь в полку я не одинок: со мной Степка Киргизов и наш «буйвол» Фролка Балябин. Сейчас они дрыхнут, черти полосатые. Ну конечно, мы здесь не сидим сложа руки, кое-что делаем для революции, и казаки теперь уже не те, что были в начале войны. Даже совсем недавно, когда мы только что прибыли в полк, был такой случай: отбили мы ночную атаку противника и даже трех немцев в плен взяли. Казаки наши накинулись их рубить, хорошо, что я тут пригодился, не дал. «Вы что, говорю, осатанели, кого убиваете?» Взял одного немца за руку и показываю им, а у того рука как подошва, вся в мозолях. Чуть было не наговорил тогда лишнего. Теперь-то казаки другие стали, начали понимать, что к чему.

Эх, Пашка, Пашка! Мне так жалко тебя и всех вас там, добрых, милых, честных, смелых. Я благодарю тебя, горячо благодарю за то, что ты в своих письмах дал образы, характеристики своих товарищей. При чтении этих строчек мне так было тепло, я чувствовал с ними общность, связь и какую-то родственную близость. Так радостно, так хорошо, когда соприкасаешься с личностями чистыми, верящими, жизнерадостными. Так хочется видеть вокруг себя побольше таких честных, любящих товарищей. Хочется заглянуть в лицо, в глаза, в самую душу смелой, жизнерадостной, свободолюбивой девушки-товарища, встретить теплый, бодрящий взгляд, услышать голос ласковый, живой, чтобы, если случится, уйти за черту нашей жизни бодрым, верящим, что поднимется великая, грозная народная рать и что Русь ополчится на борьбу с исконным врагом труда. Ну как тут не вспомнить чудесные стихи Одоевского:

Мечи скуем мы из цепей,
И вновь зажжем огонь свободы,
И с ними грянем на царей,
И радостно вздохнут народы.

Помнишь, как читали мы их в семинарии, заучивали наизусть?

Пашка, приведи в порядок школу, организуй библиотеку, привлекай в нее взрослых, учи их уму-разуму. Еще к тебе большая просьба, надеюсь, ты ее выполнишь. Там против школы избушка беленькая, живет в ней мой ученик, замечательный малец, Митькой звать. Золото, а не мальчик! Такой любознательный, смышленый, ума палата, а какая у него тяга к учению! Ведь он, не закончив трехлетку, вздумал бежать в Читу, чтобы поступить в учительскую семинарию. Ах, бесенок!..»

Богомягков отложил перо, подперев щеку рукой, задумался, вспомнил Митьку. Это было в первый год появления Богомягкова в Куларках. Тяга к учению, мысль самому стать учителем не давали Митьке покоя, и задумал он бежать в Читу. То, что он учился всего третью зиму, не смущало Митьку. Он полагал, что стоит ему добраться до Читы, хорошенько попросить, и его примут в ту большую школу, где обучают самих учителей.

Представлялось Митьке, как он заявится в Куларки уже взрослым, учителем, в романовской шубе, в папахе из черной мерлушки, а с собой привезет полнехонький мешок книг.

Собрался Митька и морозным зимним утром улизнул из дому. От больших слыхал он, что дорога на Сретенск, а там и на Читу идет вверх по Шилке, заблудиться негде. Мороз Митьке не страшен: на ходу не замерзнешь. Не боялся он и волков, потому что за поясом у него большой кованый нож в деревянных ножнах. За плечами у Митьки мешок, а в нем праздничная сатиновая рубаха, учебник Вахтерова, булка хлеба, а в кармане деньги... двадцать восемь копеек, завернутые в тряпочку. Деньги эти он сэкономил от продажи рябчиков, которых ловил всю осень сетями, продавал их попадье, а на выручку покупал матери чай, соль, а иногда и сахар.

Верст шесть отшагал Митька от дому, и тут его повстречал сосед, Иван Егорович, ехал он из лесу с дровами. Понял Иван намерения Митьки, и как тот ни отбивался, как ни плакал, ничто не помогло: силой усадил Иван Митьку на воз и представил его обратно в село, но не к матери, а прямо к учителю Богомягкову. Тут-то Георгий и познакомился по-настоящему с Митькой, растолковал ему, что надо для поступления в семинарию.

«Пашка! — снова взявшись за перо, продолжал Богомяг-ков.— Давай вместе поможем Митьке. Готовь его к поступлению в семинарию, а я ему буду посылать деньги. Жалованье я получаю, порядочное, а на что мне здесь деньги? Пусть лучше они уйдут на доброе дело. Поможем, Пашка, сделаем из Митьки человека, полезного для общества, для нашего дела. Надеюсь, что ты возьмешься за это со всей присущей тебе страстью, и Митьку мы выведем в люди. Итак, берись за Митьку, муштруй его, муштруй. Кстати, дай прочесть ему это письмо, думаю, будет нелишне, пусть пропитывается нашим духом.

Ну, кажется, все, Пашка. До свидания скорого и лучшего.

Г е о р г и й».

До рассвета просидел за письмом Богомягков, а когда уснул, то снова увидел во сне Митьку, деда Микулу, Куларки, нагие громады утесов и розовую зарю над Шилкой.

ГЛАВА XIV

Ноябрь перевалил на вторую половину, когда Савва Саввич вернулся из Читы, пробыв там около недели. Вечером сразу же после ужина он уединился с Семеном в горнице, чтобы поделиться с ним результатами своей поездки.

В горнице светло, уютно, в переднем углу золотом отливают иконы, мерно тикают стенные часы. Топится печь-голландка, сухие лиственничные дрова так и гудят, потрескивая, стреляют искрами.

Савва Саввич, веселый по случаю удачной поездки, был в той же праздничной одежде, в какой приехал из Читы: в голубовато-сером пиджаке со светлыми орлеными пуговицами и в черного сукна шароварах с лампасами.

Заложив руки за спину, он медленно прохаживался по комнате, рассказывал Семену о своих делах: о том, что заключил он в Чите три контракта на поставку для фронта и военного ведомства мяса, сала, шерсти, овчин и сырых кож.

— Жалко, прошлый год упустили мы,— посетовал Савва Саввич.— Люди-то нажились не по-нашему. К примеру, Темников, Атаман-Николаевской станицы, тысяч пятнадцать в банк положил, а Белокопытов, из Чиндант-Борзинской, так тот более двадцати тысяч нажил чистого барышу. А мы с тобой проворонили. Да-а, верно говорят, что и на старуху бывает проруха. Хорошо ишо, што в этом году взялись за ум.

Затем оба с Семеном принялись подсчитывать: сколько надо забить на мясо своих быков и коров, сколько прикупить на стороне. Овец у Саввы Саввича достаточно своих, двухтысячный гурт их пасет круглый год бурят Доржи Бадмаев. Вспомнив о пастухе, Савва Саввич, улыбаясь, погладил бороду.

— Доржишка, брат, мастер своего дела, молодец. Всю зиму напролет пасет, и тово... урону не бывает, и к весне овцы жирны! Прям-таки удивительно. Ягниться стали веснусь, чуть не у каждой двояшки! И как это у него получается, то ли он слово какое знает, траву ли какую, чума его знает. Значит, овец-то своих заколем тыщу голов. Подсчитай-ка, сколько получим за каждую овцу, себе оне стоят рубля по три с полтиной за штуку, не больше.

Семен подсчитал, получилась солидная сумма: только овцы сулили барышу шесть с половиной тысяч да более четырех тысяч от рогатого скота.

— Вот и я так же подсчитывал, одиннадцать тысяч, каково! — ликовал Савва Саввич, радостно потирая руки.— А вить это капитал, Семушка, положи его в банк — и живи не тужи. Деньги лежат в надежном месте, кормов никаких не требуют, а ишо тово... проценты дают. Вот они, овечки-то, нынче в каких сапогах ходят. Приятственная скотинка, расходов на них, забот почти што никаких не требуется, уплатить Доржишке по двадцать копеек с головы, и все расходы, а доход-то, вот он какой. На весну, ежели живой-здоровый буду, опять к бурятам подамся, овец молодняка приобрету у них голов тыщу, а то и две. Война-то, она может затянуться не на один год, на все будет дёр. Только умей шевелить мозгой, денежки сами посыплются в карман.

— Разговоров будет полно всяких,— вздохнул Семен,— и теперь-то болтают навроде того, что от этой войны кому беда, а кому нажива, народ-то у нас знаешь какой.

— Э-э, Семушка, это ерунда, мало ли чего наговорят всякие завистники. Мы ежели и наживаем деньгу, так законным путем. Каждый так может, кого бог умом не обидел. Дурной народ, честное слово! Самое лучшее, Семушка, тово... не обращать на всяких там болтунов внимания. Дело делать, а они пусть треплют языками... Да, чуть не забыл: Трофима я повидал в Чите-то.

— Ну и как он там, все еще в запасной сотне?

— Перевел я его в интендантство, знакомых у меня теперь полно там, ну и окромя этого пришлось пораскошелиться на угощенье и еще там кое-чего, зато Трофим теперь при хорошем месте. Тут от него и пользы больше, и в безопасности будет. От Иннокентия было письмо?

— Было. Пишет, школу окончил, получил чин хорунжего, назначение в Первый Читинский полк и уже на фронт попал.

— Та-ак,— только и сказал посуровевший при этом известии Савва Саввич. Продолжая ходить по горнице, он надолго замолчал.

Новое дело — поставки — доставило Савве Саввичу немало хлопот. Два дня носился он но селу как угорелый, вечером второго дня, сидя за ужином, жаловался Семену:

— От ног отстал за эти дни. Должников много, а пользы от них как от козла молока. Пятнадцать бойщиков насилу набрал. К кому ни сунься — то дома нету, то хворь его под-

хватила, лежит на печи. Лодырь народ. Брать все умеют, а отработать — и нос в сторону. Из-за вагонов на станцию дорогу проторил, насилу уладил. Теперь ишо осталось бойню устроить, да можно и тово... начинать.

Семен, кончив обгладывать баранью кость, вытер руки полотенцем, спросил:

— Где ее будешь устраивать, бойню?

— На заимке хочу, там будет лучше. И скот на месте, и овец Доржишка туда же пригонит.

— Так ведь под мясо-то еще амбар надо. Того, который там есть, не хватит.

— Обойдемся и так. Мясо будем замораживать и складывать поленницей под навес. То ж самое и овчины и кожи. Лежать ему долго не придется, закончим побойку — и сразу же тово... начнем возить его на станцию, лошадях на пятнадцати. Отправить на бойню Лукича хочу, мельника. Мужик он толковый и, значит, тово... на все руки мастер. Завтра мы с ним на заимку поедем: он зачнет бойню оборудовать, а я посмотрю, как молотьба идет.

Утром следующего дня, когда над далекими зубчатыми сопками на востоке чуть забрезжил рассвет, Савва Саввич с Лукичом уже выезжали за околицу села. Подмораживало крепко, поэтому оба оделись по-зимнему на Савве Саввиче поверх дубленого полушубка доха из барловых козлин, на голове шапка-ушанка из лисьих лап с голубой лентой на макушке. На Лукиче старая, с заплатами на груди и рукавах овчинная шуба, а шапка на нем из черной мерлушки.

Совсем рассвело, когда выехали за поскотину, и правивший лошадью Лукич свернул с летнего проселка па недавно промятый кем-то зимник. Рыжий жеребец, не дожидаясь кнута, резво мчал небольшую кошевку.

В этом году снег выпал вскоре после Дмитрия-рекостава, да такой глубокий, что сразу же установился санный путь. Дорога пролегла серединой широкой пади, по обе стороны которой тянулись заснеженные елани и сопки. Тишина, словно все живое уснуло под белым, пушистым покровом, даже кошевка не скрипит, бесшумно, как по маслу, катится по не прикатанной еще зимней дороге.

Савва Саввич, уже посвятивший Лукича в свои планы, сидел к нему вполуоборот и, откинув ворот дохи, продолжал зудеть свое:

— Ты уж, Лукич, постарайся, чтобы все, значит, тово... по порядку шло, как я тебе рассказал, чтобы разрублено мясо

было по правилам, и штоб чистое, и все такое. Выполнишь все хорошо — и от меня тово... обижен не будешь.

Лукич, очень польщенный тем, что Савва Саввич оказывает ему такое большое доверие, так и цвел в горделиво-радостной улыбке.

— Сав Саввич, да рази ж я, господи... да я для тебя в лепешку расшибусь...

— Я к тому, Лукич, што народ-то у нас никчемный: и украсть мастера, и всякую подлость учинить, и кожу могут испортить, и мясо опачкать в крови, штоб досадить хозяину, мало ли чего. Так што за ними глаз да глаз надо...

— Это уж, Сав Саввич, будь покоен. Все будет в лучшем виде, не беспокойся. Мне, брат, такое дело не впервые, у самого Разгильдеева в десятниках ходил на Карийских промыслах...— И Лукич принялся рассказывать Савве Саввичу о том, как в молодости пришлось побывать ему на Каре, об ужасных порядках и жестокости начальства которой ходило в народе много страшных рассказов.

На заимку приехали перед восходом солнца. Привязав коня к прясло, Лукич следом за хозяином отправился в зимовье. Шли широким проулком, по одну сторону которого расположились вместительные, крытые соломой стайки, по другую — открытые дворы, обнесенные изгородью из жердей, в которые скот загоняли на день для кормежки.

Не доходя до зимовья, Савва Саввич остановился, хозяйским взором окинул свои владения.. Всходило солнце. Сначала от него порозовела вершина, потом вся ближняя к зимовью сопка, елань, а вот уже и крыша зимовья и белая поляна за воротами заискрились под солнечными лучами, словно усыпанные алмазами. На сеновале так и загорелся, как будто вспыхнул зеленым пламенем, омет остречного [1] сена, а на гумне, откуда доносилась гулкая дробь ручной молотьбы, зазолотился ворох сегодня намолоченной пшеничной соломы.

Лукич, залюбовавшись картиной зимнего утра, проговорил со вздохом:

— До чего же хорошо здесь у тебя, Сав Саввич!

_ Угу,— мотнув головой в ответ, промычал Савва Саввич. Его интересовало другое: скот, заполнивший четыре двора. В ближнем, маленьком дворике находились телята, среди которых выделялись три годовика симментальской породы,

[1] О с т р е ц — трава, изобилующая в степных районах Забайкалья. Остречное сено по праву считается лучшим.

крупные, упитанные, черно-пестрой масти. Полюбовавшись ими, Савва Саввич перевел взгляд на дойных коров, которых знал всех по мастям, отыскал глазами свою любимицу буренку.

— Вот она, матушка, где,— вслух проговорил Савва Саввич и, обернувшись к Лукичу, пояснил: — Это про корову я. Во-он бурая-то, возле прясла стоит. Во, голову подняла, однорогая, видишь?

— Вижу.

— Хор-рошая, братец ты мой, коровка. Ведерница, и што ни год, то теленок. Да-а... бычки все от нее родятся, а охота тово... телку дождать, да такую, штобы в мать пошла.

В этом дворе, в черно-пестром месиве скота, мелькали двое подростков-работников в рваных шубенках. Проворно орудуя деревянными вилами, они задавали скотине корм, раскидывали по дворам сено и овсяную солому. Работы у подростков вдоволь, надо весь скот накормить, вовремя напоить, вычистить в стайках, приготовить к ночи подстилку.

«Ребятишки, видать, тово... боевые»,— подумал про них Савва Саввич и снова заговорил с Лукичом, показывая рукавицей на быков:

— Вот бычки-то, Лукич, эти дадут мясца.

Старики постояли еще немного, определили место для устройства бойни, подальше от дворов, и лишь после этого отправились в зимовье.

ГЛАВА XV

Жарко топилась русская печь. Настя и молодая, бойкая работница Акулина сидели в кути на лавке, чистили к обеду картошку. В зимовье прибрано по-хозяйски, земляной пол застелен ржаной, хрустящей под ногами соломой. Стол, стены, нары промыты, проскоблены дожелта, глиняная печь и кутняя стена чисто побелены, на дощатой полке разложена посуда: глиняные миски, деревянные ложки, туески и чумашки из бересты. На нарах вдоль стен рядком уложены свертки потников, шубы — постели работников.

Тут же на нарах играл пятилетний Егорка, вылитый Егор Ушаков: такой же нос, подбородок, такие же светло-русые, слегка вьющиеся волосы и голубые глаза. Разложив вокруг себя бабки и самодельные игрушки: маленькие саночки, тележки, деревянные лошадки — все это ему смастерил по вечерам Ермоха,— мальчик так увлекся игрой, что и не заметил вошедших в зимовье стариков. Лишь когда Савва Саввич заговорил, мальчик оторвался от игры, сел спиной к печке и, прижимая к себе деревянное ружье, с любопытством уставился на вошедших широко открытыми глазами.

Старики перекрестились на висевший в кутнем углу образок Николая-угодника, поздоровались. Савва Саввич распоясался, снял с себя полушубок и, обрывая с бороды ледяные сосульки, обратился к Насте:

— Чайку бы нам, Настасья, горяченького, посогреться с дороги-то, да калачиков мороженых, шанежек крупяных.

Настя поднялась с лавки, вытерла руки фартуком.

— Садитесь, чай сейчас будет, чугунка вон ключом вскипела. Акулина, сходи-ка за хлебом в кладовку, мяса принеси да молока кружок.— И к старикам: — Вам какого чаю-то?

— Да уж карымского бы, Федоровна, сливанчику,— попросил Лукич,— люблю сливанчик. Ты как, Сав Саввич?

— Можно и сливанчику, я тоже им частенько балуюсь.

— А мой отец, покойник, царство ему небесное, жеребчика любил до старости. Накалит, бывало, в печке камней дозла — и бултых их в кастрюлю с холодной водой, вскипятит таким манером и чай засыплет. И такой получится жеребчик, прямтаки пьешь — больше хочется.

— Пивал жеребчика и я, приходилось.

— Всякого попили чайку, Сав Саввич, а теперь вот только у тебя ишо и водится он, а в лавках-то шаром покати — ничего не стало. Мы со старухой и скус чайной забыли, чагу пьем. И все это из-за войны этой, трижды клятой.

— Ничего не сделаешь, Лукич, терпеть надо. Садись.

Старики уселись за столом, Савва Саввич завел разговор о предстоящей побойке, Лукич соглашался с ним, поддакивал, а сам украдкой поглядывал на Настю. «Хороша бабочка, прямтаки малина,— думал он, поглаживая тощую бороденку,— вот муженьком-то ее бог обидел, да-а».

Изменилась за эти годы Настя: повзрослела, стала полнее, степеннее, и от всей ее ладной, крепкой фигуры веяло здоровьем и деловитой домовитостью. И хотя лицо Насти по-прежнему было кровь с молоком, на лбу ее уже пролегла первая упрямая бороздка, а в карих задумчивых глазах Накрепко затаилась печаль. Никто не знает, не ведает, сколько слез пролила она в бессонные ночи, когда от Егора полгода не было писем. Лишилась тогда Настя аппетита, истомилась вся, похудела, белый свет стал не мил, из рук валилась всякая работа.

А как дождалась письма, где Егор сообщил, что был ранен, лежал в госпитале и только что выписался, снова воспрянула

духом. Повеселела Настя, поправилась, а тоску свою по милому глушила в работе, в хлопотах по хозяйству. И вот теперь даже Савва Саввич, наливая себе четвертый стакан сливанчика, подумал о невестке: «Гляди-ко ты, порядок-то какой навела, любо-дорого посмотреть, хозяйка, ничего не скажешь». Вслух же заговорил о другом:

— Вот куда поместим людей-то? Баб-то уж к тебе придется, Настасья, поселить. Три их будет, а может, и четыре, так ты уж тово... потеснись как-нибудь. Побудут они немного, дней десять, самое большое.

— Ладно,— нехотя согласилась Настя и, усевшись на скамью, снова принялась за картошку, Акулину отправила за водой.

— А мужиков здесь поселим,— продолжал Савва Саввич, поглаживая бороду ц обводя взглядом зимовье,— человек десять их наберется. Тесновато будет, ну да ничего, не взяла бы лихота, не возьмет теснота. Места на нарах не хватит, так можно и тово... под нары, соломки свеженькой накидать побольше, и чудесно будет.

— А потом ишо и бурят с семьей заявится,— подсказал Лукич.

— Не-е-ет,— отмахнулся Саввич,— тому зимовье не потребно, у него, братец ты мой, своя хатина — юрта. Место облюбует под котон[1], сразу же юрту установит, и сам черт ему не брат.

— Может быть, и нашим такую же штуковину устроить, балаган из соломы?

Савва Саввич так и просиял в довольной улыбке:

— А ить верно, Лукич! Соломы-то нам не занимать, навалить ее потолще на балаган, внутрь накидать, сверху потники-двоесгибники[2]. Шубы я им дам новые, одеяла овчинные. Заберутся в балаган, дверь соломой же заткнуть, надышат — и прекрасно. Тогда, значит, так: ты иди маракуй насчет бойницы, а я пойду на гумно, посмотрю, как молотьба идет, и под балаган место облюбую.

И снова Савва Саввич шагал по широкому проулку. Снова любовался своим хозяйством: коровами, телятами, быками. Все это принадлежало ему, он один здесь полновластный хозяин, что хочет, то и делает. Радостно на душе у Саввы Саввича!

[1] К о т о н — расчищенная от снега и огороженная щитами площадка для ночевки овец.

[2] П о т н и к - д в о е с г и б н и к — сложенный вдвое войлок.

Ведь вот война, кругом разруха, а у него все идет по-старому, во воем полный порядок: хлеб убран вовремя, снопы свозили в клади после того, как они просохли, выстоялись в суслонах, молотят на льду, а провеянная на ветру лопатой пшеничка эта будет лежать в хорошем амбаре хоть десять лет.

И снова мысли Саввы Саввича перекинулись на военные поставки, уж больно по душе пришлось ему это дело.

«Шутейное дело, такую коммерцию вести, одному на всю станицу,— думал он, все так же неторопливо шагая по проулку,— деньги деньгами, а почет какой! Вить ежели и дальше так пойдет, то и награда может выйти. А очень даже тово... может быть, приказ по войску — так и так, старшему уряднику Заиграевской станицы Пантелееву объявить благодарность за помощь фронту. А там, глядишь, и медаль могут повесить серебряную «За усердие», на аннинской ленте. Все может быть, да-а, кому война, кому нажива»,— неожиданно вспомнились слова, услышанные Саввой Саввичем от Феклы Макаровой.

Надо же так случиться. Зашел вчера к одному из своих должников, Герасиму Макарову, чтобы позвать его поработать на бойне. Сам Герасим ничего, посулился прийти, а жена его Фекла, и бабенка-то — смотреть не на что: маленькая, плюгавая,— прицепилась как банный лист, давай доказывать, что за долг уже все отработано. Пришлось Савве Саввичу посулить Герасиму плату. Все уладилось по-хорошему, но, когда Саввич, уже попрощавшись, тронулся к выходу, проклятая баба брякнула совсем некстати: «Кому эта война горе да слезы, а кому она мать родная».

«Эка непутевая бабенка, штоб тебя громом убило, чирей тебе на язык! — Савва Саввич даже плюнул с досады.— А того не подумает, холера, что кто-то должен же помогать фронту, кормить, одевать воинов-то. Нажива! Што же я, по-вашему, должен помощь оказывать, да ишо и бесплатно! До чего же паскудный народ, и все от зависти. Оно конешно, все знают, что при таком деле будут и дивиденты, так вить для того кузнец и клещи кует, чтобы руки не жгло».

С этими думами прошел Савва Саввич на гумно, где пятеро работников вручную молотили пшеницу.

На работу они вышли еще до рассвета и обмолачивали уже третий посад 1. Молотить впятером легче, но тут нужна большая сноровка.

[1] П о с а д — снопы, уложенные двумя рядами, колосом на середину, яерез всю длину тока.

Три-та-та-та — выбивали увесистые молотила[1] залихватскую чечетку.

— Ах ты мать честная, прям-таки хоть пляши,— сказал Савва Саввич, остановившись на краю посада и любуясь дружной работой.— Так, так, молодцы, так... Тра-та, тра-та-та, вышла кошка за кота. Ладом, Ермошенька, ладом! Вот так, докажи молодым-то, как старики молотить умеют...

Ермоха, не видя и не слыша хозяина, потому что стоял к нему спиной, как всегда, работал с увлечением, старательно. От его пропоченного, старенького ватника валил пар, а усы, борода и баранья шапка старика густо, как снегом, покрылись куржаком.

Рядом с Ермохой тяжкие сыпал удары с левой руки рыжий Никита. Впереди них трое молодых парней-поденщиков, пятясь задом, крепко в лад бухали по снопам молотилами.

Посад уже обмолачивали на второй ряд, разбивали снопы на солому. Молотьба то чуть затихала, когда Ермоха ловким ударом сбоку отшибал вымолоченную солому в сторону, то усиливалась, когда все дружно переходили на следующий сноп.

Под частыми и тяжкими ударами сырых березовых колотушек над снопом вздымается желтоватая копоть мякины, сноп подпрыгивает, вязка на нем лопается, миг — и начисто обмолоченная солома, ловко подхваченная молотилом Ермохи, клубом отлетает в сторону.

С гумна Савва Саввич прошел на облюбованную им площадку, где ожидал его Лукич. Посоветовал мельнику, где устроить балаган для людей, навес, куда складывать туши мяса, и уехал, пообещав вскорости прислать бойщиков.

ГЛАВА XVI

Зимнее солнце только что показалось из-за далеких заснеженных сопок, когда к заимке на вороном рысаке, запряженном в легкие санки-беговушки, подъехал Савва Саввич.

На бойне уже полным ходом шла работа. На расчищенной от снега широкой площадке вморожены столбы с толстыми на них перекладинами, по краям площадки расставлены бочки, ящики, большие корзины. Рядом горит костер, где на вертелах

[1] Простейшее приспособление из двух палок в центральных областях России называли «цеп», в Забайкалье — «молотило».

жарится свежая печенка. В морозном воздухе мешаются запахи крови, дыма и вареного мяса.

Работало на бойне человек двенадцать мужиков и баб. Они подтягивали за ноги к перекладинам забитых быков, снимали с них кожу, разделывали туши, подмороженное мясо складывали под соломенный навес, устроенный тут же рядом с бойней; бабы чистили кишки, брюшины, сортировали сбои, сало, замораживали все это на снегу. Работы хватало всем. Главным бойщиком был здесь Нефед Лощилин, привезенный Саввой Саввичем откуда-то из другой станицы. Свирепого вида, рыжебородый Лощилин, в забрызганном кровью полушубке и с пятифунтовым молотом в руке, работал уверенно, быстро. Даже самых крупных быков валил он одним коротким ударом и, пока подводили другую скотину, показывал мужикам, как быстрее снять кожу, правильно разрубить тушу на части. Тут же хлопотал, больше всех суетился Лукич.

Савва Саввич, на ходу стряхивая рукавицей куржак с бороды, приветствовал работников веселым, бодрым голосом:

— Здравствуйте, молодцы!

В ответ разноголосо:

— Здравствуй, здравствуй, хозяин.

— День добрый...

— Как дела?

— Дела идут,— ответив на приветствие хозяина, залебезил Лукич.— Мяса вон набили сколько, не меньше как два амбара будет. А мясо-то — любо посмотреть.

Лукич так и сыпал словами, успевая и с хозяином поговорить и на работников прикрикнуть:

— Липат, ты чего это кожу-то плохо расправил, растяни ее хорошенько! Тетка Фекла! Живее посудину под кровь-то, не упусти ее наземь.— И к хозяину: — Мы ее в бочки сливаем, кровь-то. Ведь это же еда, да еще какая! И шекшу[1] из нее вари, и колбасу кровяную с гречневой кашей — объеденье! А тут ее скопится — на всю станицу хватит!

— Верно, Лукич, верно.

Савва Саввич, довольно улыбаясь, гладил бороду; разговаривая с Лукичом, подсчитывал в уме, сколько еще надо затратить денег на закупку быков со стороны.

В тот же день к вечеру прибыл на заимку и бараний пастух Доржи Бадмаев. Приехал Доржи на двух верблюдах, запряженных в сани. На одном он привез разобранную юрту и всякий

Ш е к ш а — вареная скотская кровь.

домашний скарб, на втором — щиты из тальника, которыми он всегда загораживал котон от ветра. Два старших сына пастуха, Жаргал и Бадма, кочевали со стадом позади, на место ночлега они прибыли уже в сумерки.

На житье Доржи остановился в полуверсте от заимки, у подножия горы, что хорошо защищала котон от северного ветра.

На следующее утро от Доржи пригнали первую сотню отборных овец и приступили к их забою.

Савва Саввич еще с утра собирался пойти к пастуху. Надо и поговорить с ним, и отдать заработанные им шестьдесят рублей, которые следовало уплатить еще к покрову, когда кончался пастбищный год, но уходить с бойни не хотелось, хорошо пошло тут дело.

Савва Саввич с удовольствием наблюдал, как ловко и быстро разделывал Нефед овец, молча обучавший этому искусству других работников.

— Мастер, мастер,— одобрительно улыбаясь, покачал головой Савва Саввич,— и быстро и чисто, молоде-ец!

К великой радости Саввы Саввича, все овцы были на редкость хорошей упитанности. Осмотрев их, Савва Саввич решил поговорить с Нефедом. Окровавленный, с топором в руке, Нефед, оглянувшись на оклик, остановился, кинул на хозяина тяжелый, исподлобья взгляд.

«Ну и страшилище, боже ты мой,— невольно робея, подумал Савва Саввич,— не приведи господь повстречаться с эдаким чертом где-нибудь в лесу».

— Спросить тебя хочу,— заговорил он, избегая встречаться с бойщиком взглядом,— как овечки на вес, обойдутся по полтора пуда на круг?

— Больше,— буркнул Нефед,— по пуду тридцати фунтов будут.

— Неужели правда? А насчет сала как, Нефед Пудыч?

— По пятнадцати фунтов на круг, не меньше.

Слова угрюмого Нефеда прозвучали в ушах Саввы Саввича приятнее всякой музыки, и даже Нефед не показался ему теперь таким страшным.

«Уж этот слов мимо не кинет, а сказал, так оно и будет,— восторгался в душе Савва Саввич и по привычке уже подсчитывал в уме барыши: — Значит, ишо прибавится к прежнему счету по десяти фунтов мяса с овцы да по пяти фунтов сала,— соображал он.— Ого-о, куда оно скачет! Две тысячи целковых верняком прибавится. Да-а, каков Доржи-то молодец, право

слово молодец! Надо будет отнести ему деньги, да прибавить ишо за хорошую пастьбу рубликов двадцать пять, а то и все тридцать». И с этими мыслями Савва Саввич направился к пастуху.

Около юрты пастуха Савву Саввича встретил сам Доржи. Он только что пришел с котона, где обкладывал снегом щиты. Лежавший около юрты здоровенный серый кобель-волкодав зарычал на Савву Саввича.

— Хотчо! Цыц! — прикрикнул на кобеля Доржи. Тоi сразу же успокоился, лег на свое место.

Савва Саввич приветствовал пастуха по-бурятски»

— Сайн байна нухэр!

— Сайн да-а.

— Хэр байнат?

— Барог да-а 1.

На этом знание Саввой Саввичем бурятского языка кончилось, и он заговорил по-русски:

— Как пастьба-то идет, все ли в добром здоровье?

Широкоскулое, задубевшее на ветру и морозе безбородое лицо Доржи на секунду озарилось улыбкой.

— Овца-то? Ничаво-о, пасем.

— Скоро с пастьбы-то пригонят?

Доржи посмотрел в ту сторону, где должно находиться стадо, затем вытянул из-за пазухи маленькую металлическую трубку-ганзу на длинном мундштуке, набив ее табаком, закурил и лишь тогда ответил хозяину:

— Однахо не шибхо схоро, вечером.

«Эка тварина какая,— подосадовал в душе Савва Саввич на медлительного пастуха,— пока от него слова дождешься, умереть можно и ожить».

ГЛАВА XVII

Неразговорчивый Доржи пригласил хозяина в юрту и усадил его около костра на волчью шкуру.

В тесной, прокопченной кострами юрте пахло дымом, овчинами и вареной бараниной. Савва Саввич окинул ее взглядом, брезгливо поморщившись, заговорил о деле:

[1] — Здравствуй, друг.
— Здравствуй,
— Как дела идут?
— Благополучно.

— Поблагодарить пришел я тебя, Доржи, за твое старание. Хорошо откормил овец, прямо-таки на первый сорт, жирные. Спасибо тебе, Доржи, большое спасибо.

Савва Саввич не торопясь откинул полушубок, достал из кармана приготовленные 85 рублей.

— Деньги я тебе принес за прошедший год все сполна. А за хорошую пастьбу ишо и наградить хочу тебя...

В это время жена Доржи Догма поставила перед хозяином берестовый чуман, поклонившись, сказала по-русски: «Кушай».

В чумане лежала вкусно пахнущая вареная баранья голова, и тут Савву Саввича внезапно озарило.

«Экий я дурак,— мысленно ругнул он сам себя,— вить баранья-то голова у них самое лучшее угощение. На кой ляд ему деньги, одарю его головами, ему хорошо будет, и мне ладно: головами питаться будет — моих же овец меньше заколет на еду».

— Хорошее дело,— кивнув на голову, сказал Савва Саввич,— вы их любите, я знаю. Да кто не любит их, для меня баранья голова самое лучшее кушанье. Вот я и подумал, Доржи: за хорошую пастьбу твою бери с бойни бараньи головы сколько захочешь.— И дружески хлопнул пастуха по плечу! — Хоть все забери, мне для тебя, Доржи, не жалко, хороший ты человек, спасибо.

Затем Савва Саввич отсчитал 60 рублей и протянул их пастуху:

— Это твои, заработанные, чистоганом.

Доржи взял деньги; не пересчитывая, сунул их за пазуху тырлика 1 кивнув головой, сказал «спасибо» — и снова взялся за ганзу.

«Эка до чего беспутная тварь! — принимаясь за баранью голову, подумал Савва Саввич.— И деньги ему отдал сполна, и головами одарил, а ему хоть бы что. Другой на его месте благодарил бы хозяина, радовался, а этот сидит как чурка с глазами, будь ты неладен. Тварь, так она и есть тварь бездушная, живет в этой грязи не человек и умрет — не покойник».

А Доржи знай себе сидит, поджав калачиком ноги, сосет свою ганзу, поплевывает сквозь зубы и думает о том, как хорошо в юрте: тепло, спокойно и сытно, всегда бы так.

Курит Доржи, смотрит, задумавшись, куда-то выше огня, а перед мысленным взором его встают картины недавнего прошлого. Вспомнилась прошедшая весна. Уже май наступил, давно оягнились овцы, матки с окрепшими ягнятами уже влились в общее стадо, лишь сотни полторы их с меньшими ягнятами-поздышами паслись отдельно. Вот уже отцвел, побелел ургуй, зазеленели еще недавно черные от весенних палов пади, а Доржи все еще не начинал стрижку овец. Он по каким-то одному ему известным приметам ожидал изменения погоды, потому и задержался со стрижкой, и даже решил откочевать с излюбленного им пастбища в более гористую местность.

Там знал Доржи один небольшой отпадок — Кременушку, с трех сторон обставленный крутыми сопками, где ему уже не раз приходилось укрываться с табуном овец от мартовских метелей.

Бабы, которых Савва Саввич послал к Доржи для стрижки овец, не нашли его на стойбище. Проблуждав целый день по степи, они вернулись в Антоновку ни с чем.

Обозленный Савва Саввич приказал оседлать иноходца и верхом на нем сам отправился разыскивать пастуха. Доржи он нагнал лишь на второй день, когда тот расположился со своим стадом на отдых на широкой елани недалеко от речки, в одном переходе от Кременушки.

День тогда был по-весеннему ясный и теплый. Степь словно вымерла, вокруг, куда бы ни глянул, кроме Доржи с его стадом, ни души. Лишь недалеко от юрты, что видится возле небольшого кургана, мельтешит маленькое стадо. Это старший сын пастуха, Жаргал, пасет там овец с ягнятами-поздышами. Сам Доржи неотступно находился при главном стаде. Его средний сын, Бадма, с конем в поводу стоял на пригорке, откуда ему видно всех овец, что рассыпались по широкой елани.

Савва Саввич спешился, ослабил у иноходца подпруги, разнуздав его, спутал чембуром, оставил пастись, а сам отправился к пастуху. Доржи сидел вот так же, около костерка, курил неизменную свою ганзу, на приветствие хозяина он коротко бросил:

— Здравствуй!

— Ты это што выкамариваешь? — сразу же напустился на Доржи Савва Саввич.— Бабы стричь овец поехали, а тебя надо искать по степи с собаками. Забился вон в какую даль, тебе там што, места мало было?

Доржи спокойно, не торопясь вынул изо рта ганзу, покрутил головой.

— Шурган будет, однахо, надо сопха ближе пасти.

— Ну и гнал бы в Березовку, к нашей заимке.

[1] Тырлик — летний халат.

— Пошто Березовка гнать-то! Речьха большой, болото, хах ягненка пойдет? Худо будет.

— Шурган какой-то затеяли,— горячился Савва Саввич,— во сне его увидел небось. Вон какая теплынь стоит, слава тебе господи, да и время-то — Микола над головой, овсы сеять пора подходит, а ты про шурган толкуешь. Я не меньше твоего живу на свете и сроду не слыхивал, чтобы в такое время пурга бывала. Небылицы выдумываешь, а про дело и забыл, стричь овец-то когда будем? В сенокос, что ли?

— Будет шурган, однахо,— упрямо твердил Доржи.— Птишха весь улетел худа-то, мышха сарана в урган тасхает. Беда, шибко плохо будет, голый овца пропадет.

Но и Савва Саввич так же упрямо стоял на своем:

— Мыши, оне всегда сарану запасают. А ежели ненастье и будет, так тово... тоже не беда, ишо лучше будет, ежели бог дождичка пошлет. Люди-то вон не боятся, давным-давно остригли овец, а мы все-то шеперимся, а шерсть на овцах-то, однако, уж потником скаталась. А теряется ее сколько, ты посмотри-ка! — Он совал под нос Доржи клочья подобранной в степи свалявшейся, сорной шерсти, продолжал плачущим голосом: — Вить это беда на мою голову, разор, сколько добра пропадает...

В ответ Доржи бубнил одно и то же:

— Худо будет голый овца, пропадет.

Накормил тогда Доржи хозяина вареной бараниной, но убедить его повременить со стрижкой овец так и не удалось.

Пообедав, Савва Саввич засобирался домой и, уже сидя на коне, еще раз подозвал к себе Доржи.

— С этого места,— сдерживая загорячившегося иноходца, Савва Саввич концом нагайки показал на елань,— до моего приезда никуда не укочевывай. Я, наверное, послезавтра приеду, баб привезу штук двадцать, стричь начнем, хватит уж волынить.

И, не слушая возражений Доржи, взмахнул нагайкой, дал иноходцу воли.

Пурга началась как раз в тот день, когда Савва Саввич намеревался приехать к Доржи с бабами-стригалями. Небо с утра заволокло густыми серыми тучами, стал моросить мелкий дождик.

Доржи велел Жаргалу с его маленьким табуном держаться с наветренной стороны котона, рассказал, как укрыться с матками и ягнятами за щитами в случае пурги. Сам же Доржи, понимая, что все стадо за щитами не укрыть и не удержать,

решил гнать его как можно скорее вдвоем с Бадмой в сторону Кременушки. Но не отошли они и четырех верст, как ветер усилился, похолодало, в воздухе вместе с дождем замелькали снежинки. Беспокоясь за Жаргала, Доржи отправил к нему на помощь Бадму. Сначала он хотел послать его пешком, но тут же и передумал: ведь когда посветлеет, на коне-то один из сыновей скорее догонит его, разыщет в степи, поэтому отправил Бадму на коне, а сам остался со стадом пешком, один с двумя лишь собаками-волкодавами.

Быстро менялась погода, все гуще и гуще, мокрыми хлопьями валил снег, и вскоре все вокруг скрылось в мутной, белесой мгле. Теперь Доржи оставалось одно: следовать за стадом, куда его погонит ветер. Хорошо еще, что овец не успел остричь, теперь бы добраться до Кременушки, укочевать куда вовремя помешал Савва Саввич. Но если все время держаться по ветру, то Кременушка останется левее, и Доржи начал действовать: он забежал вперед стада с правой стороны и при помощи собак стал оттеснять головных овец наискось ветру к востоку. Все сильнее злилась пурга, ветер гнал целые тучи снегу, валил Доржи с ног, слепил ему глаза, а он упрямо продолжал свое: бежал впереди стада и все отжимал и отжимал его к востоку.

К вечеру Доржи удалось-таки добраться до Кременушки. Пока дошли до нее, с десяток овец ослабло, погибло дорогой, двух из них Доржи доколол и даже успел ободрать, а овчины тащил на себе до самой Кременушки.

В Кременушке, за ее крутыми горами, было гораздо тише. Доржи, опять-таки с помощью собак, удалось остановить стадо, подгрудить его и уложить у подножия горы. Пурга над горами бушевала всю ночь. Усталого, измученного и голодного Доржи борол сон. Он заколол овцу, мясом ее накормил собак, сам съел сырую теплую печенку и, укрывшись от снега овчиной, побрел вокруг стада. Всю ночь бродил Доржи, с трудом передвигая отяжелевшие, словно свинцом налитые ноги. Несколько раз засыпал на ходу, очнувшись, натирал лицо снегом и снова брел, в темноте спотыкаясь о кочки, два раза упал и в кровь расцарапал лицо о колючки.

Мутный, вьюжный рассвет не принес Доржи ни радости, ни облегчения. Отдохнувшие, голодные овцы рассыпались лавой, лезли на сопки в поисках пищи, и удержать их, но выпускать из падушки Доржи стоило больших усилий. И здесь пастуха выручали его верные друзья — собаки.

К вечеру пурга утихла, небо прояснилось, выбившийся из сил Доржи еле держался на ногах. И все-таки он продолжал

двигаться, боясь заснуть, замерзнуть. И тут-то его, чуть живого, разыскал Жаргал.

Радостно загорелись глаза Доржи, когда он увидел подъезжающего к нему сына. Жаргал привез с собой котел, чуть не полный мешок сухого аргала и первым делом развел костер. Пока он натаял из снега воды, чтобы сварить в нем баранину, Доржи уже крепко спал на кожаном мешке, кинутом прямо на снегу, сверху укрывшись овчиной.

После пурги Доржи вернулся со стадом на старые места, куда вскоре же заявился и сам хозяин с целой оравой бабстригалей. Приехал, как и раньше, веселый, ласковый к своему пастуху и не жалел слов на похвалу. Он хорошо понимал, что если бы Доржи послушался его и остриг овец, то во время пурги погибло бы все стадо. В благодарность за это Савва Саввич решил наградить Доржи: привез ему в подарок новый сатиновый кушак и бутылку водки.

— Спасибо тебе, Доржи, спасибо, родной, за хорошую службу,— благодарил тогда Савва Саввич своего пастуха, усердно подливая ему водки в деревянную чашку.— Чокнемся давай да выпьем за то, чтобы твой бурхан послал тебе здоровья и всякого добра.

Доржи молча кивал в ответ головой; выпив, принимался за баранину, которую ел он по-своему, ножом отрезая возле губ жирные, сочные куски.

Расхваливая Доржи и осыпая его словами благодарности, Савва Саввич так и не догадался тогда спросить его, как добрался он во время пурги до Кременушки, как уберег его стадо от гибели. Ни единым словом не обмолвился об этом и сам Доржи, считая, что пурга и борьба с нею обычное явление в его пастушьей жизни. Ведь это же не первый, да и не последний раз застигает его пурга в степи с хозяйским стадом. И всегда ему, хотя и с большим трудом, удавалось спасти хозяйских овец, не допустить до гибели.

Много мог бы порассказать хозяину Доржи и о том, как приходилось ему оберегать овец от волков. Однажды в зимнее время отбивался он от целой волчьей стаи. Знают об этом лишь сыновья его, Жаргал да шестнадцатилетний юнец Бадма. В память об этом хранится в юрте Доржи пять волчьих шкур. На одной из них сидит теперь Савва Саввич.

«Смотри-ка, какого волчугу застукал Доржишка,— думал он, гладя рукой густой ворсистый волчий мех.— Ну чем ему не жизнь, живет на всем готовом, и заработок хороший, да ишо между делами и охотой занимается. Прямо-таки лафа. Ну да господь с ним, пусть пользуется моей добротой».

Вернувшись от Доржи на бойню, Савва Саввич засобирался домой. Но прежде чем уезжать, он еще раз осмотрел сложенное под соломенным навесом мясо. Проходя между двумя штабелями скотских и бараньих туш, он трогал их руками, некоторые, что лежали сверху, приподнимал, пытаясь определить их вес. За ним по пятам следовал Лукич, ног не чувствуя под собой от радости, что Савва Саввич оказывает ему такое доверие и, уезжая, оставляет его здесь за хозяина.

— Ден пять проезжу, не меньше,— пояснял Лукичу Савва Саввич,— надо мне в Сосновку съездить да ишо и в другие поселки, там я тово... коров присмотрел купить, кое-кому и задаток уже выдал. Голов тридцать прикуплю, да и хватит.— Затем он рассказал Лукичу, сколько надо заколоть овец, а также и коров из своего стада, посоветовал, где устроить еще один навес для мяса, кож и всего прочего...

— Ты уж, Сав Саввич, не беспокойся, все будет сделано в лучшем виде,— лебезил Лукич, всем своим видом выказывая собачью преданность хозяину.

Работник уже запряг рысака в санки, принес из зимовья доху, а Савва Саввич все еще поучал Лукича, как и что надо делать на бойне.

— На тебя у меня вся надежда, Лукич,— говорил он, уже сидя в санках, одетый в козью доху,— действуй тут, как я рассказал. Дел, Лукич, нам с тобой хватит. Закончим побойку хорошо, займемся отправкой мяса и всего прочего в Читу. Да, чуть ведь не забыл, тут придет к тебе пастух Доржи за бараньими головами, так ты их ему тово... давай, сколько он попросит.

— Под запись али как?

— Можно и записать, но брать с него ничего не бери, пусть хоть все возьмет, это я ему тово... в награду отсулил за хорошую пастьбу. Знаешь, я какой человек, люблю добро людям делать. Вижу, человек старается для меня, и я для него не пожалел.

— А ведь оно, Сав Саввич, не зря говорится: «За богом молитва, за царем служба не пропадет».

— Верно, Лукич. Ну, будь здоров, прощевай.

— Добрый путь, Сав Саввич, добрый путь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Уже третий год, как оскудели станицы и села взрослыми работниками, все полевые и зимние работы легли на плечи подростков и стариков. Война - и бывшие хлеборобы не плугами пашут кормилицу-землю, а снарядами дальнобойных орудий,

сеют на вражьи окопы ружейный и пулеметный огонь , и не траву-муравушку косят они на родимых полях, а самих их косит смерть на далеких Карпатах, на какой-то там Буковине и на горных кручах Кавказа.

Первым с Кавказского фронта в морозный январский день пришел на побывку в родную Антоновку Иван Рудаков. Пришел он на костылях, был ранен в правую ногу и только что выписался из госпиталя, исхудавший, заросший бородой и обозленный бессмыслицей войны; на вопрос отца: «Как там воюете-то?» — ответил:

— Воюем, а за что — и сами не знаем!

— То исть как же это вы не знаете? — удивился Филипп Иванович.— Это каждому известно: за царя, значить, за отечеству нашу и за веру православную, я это так понимаю.

— Ерунда! — отмахнулся Иван.— На отечество наше никто не нападал, веры нашей не касаются, а так просто царь наш, по дурности своей, ввязался в чужую драку, а мы теперь кровь пролием ни за что ни про что.

Слушая такие рассуждения, Филипп Иванович хмурился, теребя дегтярно-черную кудель бороды, но в споры с Иваном не вступал.

По случаю прихода служивого Филипп Иванович гульнул с родственниками, а после гулянки снова впрягся в работу.

Время за работой летело быстро, и вот, следом за январем, миновал уже суровый в этом году февраль, наступил март. Уже в последних числах февраля погода круто изменилась, после сорокаградусных морозов наступила оттепель, да такая, что за три-четыре дня крыши домов освободились от снега, черными стали южные склоны сопок, начали портиться дороги. В лесу, в степи слепит глаза начавший таять снег. Прилизанные ветрами сугробы, растопленные солнцем, днем становятся рыхлыми, пропитанными талой водой, но по ночам подмораживало еще крепко, отчего на сугробах твердой коркой образовывался наст.

Нога у Ивана поджила настолько, что он стал легонько приступать на нее, однако костылей все еще не бросал. В один из таких дней, в начале марта, сидел он у окна в передней комнате за починкой хомута. В оттаявшее окно видно Ивану чисто подметенную ограду, унавоженный за зиму, заваленный соломой двор, где лежит, греясь на солнышке, корова. Под крышей гулко воркуют голуби, возле завалинки копошатся куры; хлопая крыльями, горланит огненно-красный петух. С улицы мимо окон, что-то крикнув соседу, торопливо прошагал Филипп Иванович. Войдя в избу, он, не снимая ни шубы, ни рукавиц, прошел в переднюю комнату.

— Вот так новость,— заговорил он, опускаясь на скамью рядом с Иваном,— царя сбросили.

Иван, не выпуская из рук хомута, удивленно воззрился на отца. В это время в доме появился сосед Елизар Демин.

— Слыхали? — заговорил он, едва переступив порог.— Царя сверзили! Сейчас мне Филька Макаров сказывал. В сборне уж красный флаг вывесили!— Елизар остановился посреди избы, недоумевающе развел руками: — Как же мы теперь жить-то будем? Ведь это в семье без большой головы и то плохо бывает, а тут теперича вся Расея-матушка без хозяина осталась!

— Значить, произошла-таки революция! — К удивлению Елизара, Иван ничуть не огорчился, а даже повеселел, услыхав такую новость, и, отложив в сторону хомут, радостно улыбнулся.— Дожили и мы до свободы, сбросили царское ярмо! У нас еще на фронте поговаривали про революцию-то. Только верно ли?

— Да уж куда вернее, своими ушами слышал,— подтвердил Филипп Иванович, и в голосе его не слышалось той радости, что так и светилась в глазах Ивана.— Писарь Сенька при мне газету читал, атаман там был, начальник станции, стариков наших человек десять. Телеграмму-то насчет этого еще третьего дня получили, да прикрыли ее, боялись объявить народу, думали, не подвох ли какой. А сегодня из станицы получили гумагу и газету, где обо всем пропечатано подробно. Так что никакого сумления, отстранили царя, как, скажи, поселкового атамана, отобрали насеку — и всего делов. Вот они какие дела подошли.

— Худо, однако, будет... — покачал головой Елизар.— Мысленное дело — без головы остаться!

— Не тужи, дядя Елизар,— успокаивал Иван,— без головы не будем, сами выберем власть-то, свою, народную.

— Господь его знает,— вздохнул Елизар, усаживаясь на табуретку,— может, оно и к лучшему. Может быть, и мы воздохнем при новой-то власти.

— Посмотрим ишо, што это за власть будет такая,— сурово сдвинув мохнатые брови, Филипп покосился на сына,— а я, по своему умишку, так кумекаю, што радоваться-то и нечему, спокон веков жили при царях и бога хвалили, а тут ишо неизвестно, как заживем.

— А тебе, значить, хорошо жилось при царе?

— Всяко бывало, а штобы улучшилось при новой-то власти, это, брат, на воде вилами писано. Сенька-писарь читает и поясняет, што теперича будет распублика, это как же понимать?

А так, што заместо царя-то управлять кому-то падо, вот и собралось их там с Камы, да с Волги, да с быстрых рек, и один не тянет, другой не везет, и получилась распублика, одним словом, полная неразбериха-растатура. А ить враг-то дремать не будет, он этим моментом враз воспользуется и прижмет нас на склизком. Вот тогда-то мы запоем лазаря. Он худой царь был, да свой, русский, а как попадем под власть немчуры, тогда помянем царя Давида и всю кротость его, только он близко будет, локоть-то, да не укусишь его.

Иван, смеясь, отрицательно покачал головой:

— Ерунда все это! Нам-то уж нечего царя жалеть. Што ни говори, а учитель Бородин-то правду говорил про рабочую, выборную власть. Вот она теперь у нас и будет. Она и войну закончит, и тюрьмы распустит. Ох и обрадуются казаки наши и на фронте, и в тюрьме какие сидят, особенно Чугуевский наш со Шваловым.

— Учитель-то наш, Михайло Иваныч, тоже в тюрьме.

— Выпустят и его, всем манифест объявят.

А в это время в сборне собрались чуть ли не все жители поселка. Писарь — горбатый Семен — уже в который раз сегодня прочитал замусоленную, зачитанную до дыр газету «Сельский вестник». В газете говорилось о февральских событиях в Петрограде, где царь Николай Второй отрекся от престола и уже организовано новое Временное правительство. Часто упоминались новые, неслыханные до этого слова: республика, комитет, пленум, фракция, делегаты, социал-демократы, большевики, меньшевики и т. д.

Собравшиеся слушали с большим вниманием, по-разному реагировали на столь неожиданное известие. Одни искренне радовались, что наконец-то избавились от царской власти, другие — а в сборне их было большинство — не разделяли этой радости, они или сердито хмурились, или, сокрушенно вздыхая, недоверчиво качали головами. И как только Семен кончил читать, сразу же возник разговор:

— Значит, дали Миколашке по шапке? Та-ак.

— Ты поаккуратнее, Федот, придержи язык-то, не наступили бы на него.

— А што мне? Теперь, паря, слово свободы, слыхал? Што хочу, то и говорю.

— Может, ишо все это зря наболтали?

— Так ведь в газете же об этом пропечатано, чего тебе ишо надо? Ведь ее небось умные люди печатают, не то што мы с тобой.

— Какое может быть сумление, хватит ему, поцарствовал, теперь, может, и мы вздохнем? Посмотрим, какая она из себя, свобода-то.

— Как бы эта свобода боком нам не вышла.

— Вот и я так же думаю. Оно при царе-то хоть какой ни на есть, да был порядок, а теперь-то ишо неизвестно, как получится. Видишь, сколько их там появилось, и комитеты какие-то, и сицилисты, даже и пленные туда же лезут в управители.

Писарь Семен сердито покосился на говорившего деда Михея:

— Чего мелешь, старик, не пленные, а пленум. Соберутся вместе несколько делегатов, это и есть пленум.

— Я про то же и толкую. То один был у нас царь, одному и жалованью платили, а теперича видишь сколько их понабилось, как вшей в гашнике. А вить они даром-то служить не будут, кажин себе жалованью потребует, да ишо дворцы заставят новые строить — царских-то им не хватит, а там, гляди, кареты потребуются золоченые, прислуги.

— Все может быть.

— Выходит, те же штаны, только задом наперед.

— Хуже во сто раз,— продолжал дед, ободренный вниманием слушателей,— потому что все ихние затеи вот куда нам лягут,— дед похлопал себя рукой по затылку,— так што радоваться-то нечему. Одно ярмо скинули с нас, так оно хоть деревянное было, а как наденут заместо его железное, так уж то не скинешь по гроб жизни.

— Совершенная правда.

— Уж не немцы ли придумали эту канитель? Видят, што дела у нас плохи, они и подкатили коляски под нашего царя, потому што без царя-то мы как стадо без пастуха. Ну, а если немец заберет нас, тогда конец всему, ложись и помирай, он с нами церемониться не будет.

— А я так считаю, што другие прочие державы не допустят этой республики, окружат нас со всех сторон и заставят обратно царя принять. А нет, так давануть всем-то скопом — и только мокренько от нас останется, всю Расею к нолю подведут. Ведь уж были рога в торгу, в Китае-то в девятисотовом году так же было.

— А ить верно, на усмирение-то мы ходили, и тоже у них были большаки.

— Большие кулаки.

— А это не то же самое?

— Холера их знает. Может быть, они самые.

— Последние года подходят, конец свету.

Позднее всех пришли в сборню Филипп Иванович с

Елизаром, следом за ними на костылях появился Иван, к нему сразу же обратились с вопросами:

— Ты как, Иван Филиппыч, насчет царя-то думаешь?

— Растолкуй, Ваня, ты человек служивый, больше в энтих делах понимаешь.

— Сумлеваемся мы, к добру ли это?

— А чего тут сумлеваться? — Иван сел на освобожденное ему место на скамью, костыли прислонил к стене.— Што царя-то сбросили, так нам от этого хуже не будет, и война скорее кончится, и вопче, раз власть будет выборная, народная, значит, о нас, о простом народе, позаботится в первую очередь. Облегченье будет нам, ясно как день.

— С обмундировкой теперь как будет, неужели по-старому?

— Ничего подобного! Раз царя долой, то и законы царские ко всем чертям. Служить, может быть, и придется, потому што нельзя же без войска, а обмундировка будет казенная, это уж точно.

— Я так же думаю, Листрат Фомич, слышишь? Господин атаман, насчет седла-то Федотке моему, раз такое дело, прошу покорно не притеснять теперь.

— Подожди с этим делом, съезжу в станицу, узнаю, што там скажут.

В ответ негодующие выкрики:

— Нечего их спрашивать, ясное дело!

— Они и сами-то ничего не знают.

— Раз свобода, какая может быть мундировка!

— Правильно-о-о!

— Не желаи-и-имм!

До поздней ночи старики толкались в сборне. Судачили на все лады, спорили, высказывали свои предположения, никто толком не знал, что будет дальше, и эта неизвестность страшила многих. Слушать их пересуды, доказывать, что без царя жить будет легче трудовому народу, Ивану уже надоело, и, махнув рукой, он предложил отцу с Елизаром идти домой.

На дворе безлунная, но ясная звездная ночь. После душной, пропахшей табаком сборни, на свежем воздухе дышится легко, полной грудью. На улицах, схваченная ночным морозцем, затвердела шершавая, комкастая грязь, под ногами крошится, похрустывает ледок. Первым заговорил Елизар:

— А как думаешь, Иван, война-то скоро теперь закончится?

— Конешно, чего нам завоевывать? Большую гору Арарат, так она нам вовсе без надобности, пшеницу на ней не посеешь

— Ох, скорее бы, до чего же надоела она, проклятая, хуже горькой редьки...

Весть о свержении царя взволновала и обрадовала Настю не меньше, чем Ивана Рудакова. Чутье подсказывало ей, что теперь-то — при новой власти — сбудется ее мечта о совместной жизни с Егором, что и к ней нридет долгожданное счастье.

Но вместе с радостью в душу Насти вкрадывалось и сомнеиие. Смущало то, что все еще продолжается война.

«И когда она, проклятая, кончится? — тяжело вздыхая, думала Настя.— Скорее бы уж замирение вышло да вернулся Егор живой-здоровый, и все было бы хорошо».

Как угорелая ходила в этот день Настя, всякое дело, за что бы ни бралась она, валилось у нее из рук, и, дождавшись вечера, решила сходить к Архипу. Она, так же как и Егор, подружилась со стариком Лукьяновым, особенно с той поры, когда Егор письма свои стал посылать ей через Архипа. Так и повадилась она ходить к добродушным, гостеприимным старикам. Архипа почитала как родного дядю, поверяла ему сердечные тайны и делилась с ним своими маленькими радостями и большими горестями семейной жизни.

Архип только что пришел из сборни и сидел со старухой за столом, ужинал. Ответив на приветствие Насти, старик пригласил ее к столу. Настя поблагодарила, села на скамью.

— Ты мне, дядя Архип, расскажи, что там было, в сборнето, власть-то какая теперь будет?

— Ни черта, девка, не поймешь. Каких-то много там по газетке вычитывал твой Семен. Названия какие-то чудные, холера их упомнит. А народ, известно, кобылка, мелет, кому што в голову взбредет, я слушал-слушал, да и плюнул, будьте вы неладны.

— Насчет войны-то что говорят? Скоро ее прикончат?

— Должно быть, скоро.— И тут Архип передал ей все, что слышал в сборне и что говорил на эту тему Иван Рудаков. Настя слушала старика затаив дыхание, и сердце ее трепетало от радости.

ГЛАВА II

Уже шестой год перевалил на вторую половину, как Андрей Чугуевский и Степан Швалов прибыли на каторгу в Горный Зерентуй. Время наложило свой отпечаток на внешний облик бывших казаков: морщины избороздили высокий лоб Андрея

Чугуевского, на грудь его веером опускалась черная, волнистая борода. Постарел возмужавший Степан Швалов, бороду он брил, а усы, густые, черные, колечками закручивал на концах. Многое повидали и пережили друзья на каторге: и жестокие выходки тюремного начальства, и борьбу с ним политических заключенных, голодовки и карцеры. Были свидетелями многих побегов из тюрьмы. В памяти друзей надолго сохранилось, как и они в числе других готовились к большому побегу, когда решено было сделать подкоп. В работах но устройству подкопа участвовала вся шестая камера. В стене под нарами, как раз в том месте, где спали Чугуевский и Швалов, сделали дыру, искусно заслонив ее картоном, покрытым известью под цвет стены. Отсюда и начинался тайный ход внутри стены: сначала его провели наверх, с выходом на чердак, чтобы было куда выносить мусор, битый кирпич и землю из подкопа, а затем — вниз, под фундамент. Трудились в подкопе по три человека в смену, работа не останавливалась ни на один час круглые сутки, и сладостен был узникам этот труд, суливший им свободу.

Несколько месяцев велась упорная, тяжелая работа в подкопе, все шло хорошо, благополучно прошли стену, до самого ее основания, подземный ход проделали через всю ограду, миновали фундамент каменной стены, вплотную подошли к саду, еще день-два напряженной работы, и опустеет шестая камера, шестьдесят два человека политических вырвутся на свободу. На воле купец Квасов уже приготовил для беглецов десяток охотничьих бердан с достаточным количеством к ним патронов, сухарей в небольших мешочках, соль, две брезентовые палатки, два компаса и четыре топора. Уже были намечены маршруты, которые ежедневно обсуждались в часы досуга перед вечерней поверкой, когда «политики» занимались обычно чтением книг, учением, слушаньем лекций. Для виду они и теперь держали в руках книги, газеты, а сами горячо обсуждали план побега. Мнения о маршрутах расходились: одни предлагали бежать на китайскую сторону — до пограничной реки Аргуни всего восемнадцать верст,— а там пробираться в Хайлар или Харбин; другие собирались идти тайгой до Сретенска.

— А насчет еды не беспокойтесь,— заверял своих единомышленников Чугуевский,— с берданами в тайге не пропадем, да и хлеба достать в наших селах пустое дело. Жители наши, особенно те, что живут на окраинах сел, к ночи обязательно кладут на полочку над крыльцом булку хлеба, крынку молока,

а то и табаку-зелепухи папушу, этим мы и воспользуемся, проживем за милую душу!

Все шло хорошо, еще день-два — и прости-прощай каторга; люди, отбывая очередную смену в подкопе, работали не щадя своих сил, и вдруг, как снег на голову, подкоп обнаружили!

Надзиратель Евсеев поднялся зачем-то на чердак и там увидел «политика» Михлина, который в это время вытряхивал из парусинового мешочка землю. Гремя шашкой, Евсеев ринулся вниз по лестнице, поднял тревогу.

Вскоре же в тюрьму прибыло начальство, свободные от дежурств надзиратели, конвойные солдаты. По приказу начальника тюрьмы два надзирателя и солдат-конвоец с фонарями в руках спустились в подкоп, прошли его до конца.

В подкопе они нашли инструменты, веревки с мешочками, шахтерские лампочки и бутылки с горючим; все это усердные служаки подняли наверх и доложили начальнику, что подкоп велся из шестой камеры, куда они открыли замаскированный лаз.

По распоряжению начальника тюрьмы подкоп в тот же день засыпали уголовники, они же принялись заделывать, цементировать стену. А из шестой камеры стали уводить людей на допросы.

Провал подкопа подействовал на узников политической камеры удручающе: загрустил, пригорюнился Степан Швалов, ниточки ранней седины засеребрились в окладистой бороде Чугуевского, приуныли и остальные их товарищи по несчастью. Бодрее всех в камере держался староста их Борис Жданов.

— Не унывать, товарищи, не унывать! — восклицал он, потрясая зажатой в руке брошюрой.— Послушайте, что принесла нам сегодня наша «почта». Провал нашего подкопа совершеннейший пустяк по сравнению с событиями, которые назревают в России. Вот что пишет вождь нашей партии товарищ Ленин:

> «Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 год) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистической войны между высоко развитыми буржуазными странами. Как бы ни казались велики трудности такого превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала фактом» [1].

Вы понимаете, товарищи, что это значит? — Жданов обводил притихших узников повеселевшим, улыбчивым взглядом.— Война империалистическая породит войну гражданскую, революцию! И не только у нас, но и в Германии и в других странах!

«— Но ведь это же позор! — воскликнул эсер Пухлянский, краснея от возбуждения и потрясая жиденькой бородкой.— Желать поражения своему отечеству — это предательство! Измена родине!

— А посылать на убой рабочих и крестьян за чужие интересы, за чужой кошелек — это не позор? Не измена своему народу? — вскипел в свою очередь Жданов, и в камере разгорелся спор, забылась на время и горечь от неудачи с подкопом.

И в этом споре горячее участие приняли и Чугуевский со Шваловым, после статьи Ленина вновь воспрянувшие духом. Для них тюрьма стала школой, где они многому научились и к началу войны уже не были теми малограмотными казаками, которые по приказу «отцов-командиров» не рассуждая шли «поражать врагов, внешних и истреблять внутренних». Теперь они уже разбирались в политике и оба стали членами партии большевиков. Оба принимали участие в спорах, которые часто возникали в камере между меньшевиками и эсерами, с одной стороны, и большевиками — с другой. Споры и разногласия между этими группами особенно усилились в годы войны.

В тюрьме же, работая в мастерских, научились друзья и столярному делу.

Жарко топится печь-плита, в мастерской тепло, пахнет клеем, сухой березой и смолой от пышных сосновых стружек й досок. Вдоль стены с зарешеченными окнами длинные раздвижные верстаки. У стены напротив и вверху, на поперечных балках, сложены доски, различные бруски и кряжи сухого березняка. На грязном полу опилки, стружки, обрезки досок, на стенах пилы, долота, сверла и прочий столярный инструмент. В дальнем углу ровно гудит ручной токарный станок.

На одном из верстаков орудует фуганком Швалов, рядом с ним пожилой, медлительный в движениях Григорий Конопко. Чугуевский на токарном станке обтачивает ножку для стола.

[1] В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 21, стр. 17—18.

— Степан! — крикнул он, остановив токарное колесо и оглянувшись на Швалова.

— Чего такое? — отозвался тот, продолжая фуговать доску.

— Достань-ка блюдо-то, высохло небось!

— Это можно.

Отложив в сторону работу, Швалов, загремев кандалами, встал на табуретку и откуда-то сверху достал выточенное из березы, чудесно отполированное блюдо, а к нему такую же вилку и нож. Все это было сделано по просьбе всех политических шестой камеры руками Швалова, Чугуевского и молчаливого Конопко. С порученной им работой друзья справились на редкость удачно. Казалось, все это выточено не из дерева, а из слоновой кости. На дне блюда Конопко мастерски вырезал рисунок: Горно-Зерентуевская тюрьма в окружении венка из кандалов, а по краям надпись из букв коричневого цвета: «Дорогому нашему другу Тихону Павловичу Крылову в день его пятидесятилетия от политкаторжан Горно-Зерентуевской тюрьмы на добрую память».

Тут же условились унести сегодня приготовленный подарок к себе в камеру, чтобы торжественно вручить его Крылову В тот день, когда фельдшеру исполнится пятьдесят лет.

Следующий день начался в тюрьме обычным порядком: утренняя поверка, завтрак, вывод на работы, сердитые выкрики конвоиров и ни на одну минуту не молкнущий кандальный звон.

В тестой камере также приготовились к выходу на работы в мастерские, где «политики» трудились столярами, слесарями, кузнецами и сапожниками. Одетые в серые суконные бушлаты и куртки с бубновыми тузами на спине, они толпились у дверей в ожидании конвоя, сидели на нарах, курили, изредка перекидывались словами. Сквозь железные решетки окон виднелось хмурое мартовское небо, в открытые форточки из села доносился колокольный звон: шел великий пост, звонили к ранней обедне.

Но вот в коридоре послышались торопливые шаги, оживленный говор, звяк ключей, дверь распахнулась, и в камеру бомбой влетел фельдшер Крылов, красный от возбуждения и с бумагами в руке.

— Господа! — еле выговорил он, запыхавшись от быстрого бега.— Телеграмма... вот... революция... царя свергли!

— Что, что такое? — загомонили вокруг.

— Где?

— Когда?

— Откуда телеграмма-то?

— Читайте скорее!

Вокруг фельдшера сомкнулся тесный круг. Получая через своих друзей с воли революционные газеты и книги, заключенные шестой камеры были в курсе событий на фронтах войны, внутри страны и за границей; революцию они ждали, и все-таки сообщение Крылова явилось для них неожиданностью. В первые минуты, когда Жданов прочитал телеграммы, все словно окаменели, притихли, в наступившей тишине стало слышно прерывистое, тяжелое дыхание астматика Филева да доносившийся с улицы гул колокола. И лишь после того, как кто-то тихонько сказал: «Свершилось наконец-то», поднялся несусветный шум: люди кинулись обнимать друг друга, поздравлять со свободой, Ч угуевский даже прослезился от радости и то обнимал Швалова, то отстранял его от себя, тряс за плечи, бубнил прерывающимся от волнения голосом:

— Свобода! Степан, вот тебе и вечная каторга! Да ты слушай, домой поедем, а? Одиннадцатый год, как из дому я. Наташка-то моя, а сын-то...

— Едем, Андрюха, едем,— Степан мотал головой, заливаясь счастливым смехом, хлопал друга по плечу,— да как это оно сразу-то, даже не верится. А то бежать собирались, подкоп-то помнишь?

А вокруг них по всей камере весенним бурным потоком бушевала радость. Все говорили, перебивая один другого; восторженные возгласы, крики «ура», звон кандалов — все смешалось, слилось воедино.

— Товарищи!! — напрягая голос, чтобы перекрыть весь этот гвалт, вопил Жданов.— Внимание, товарищи, внимание! — Он подождал, пока приутихнет шум, продолжил: — Товарищи, разрешите от вашего имени поблагодарить Тихона Павловича за радостную весть.

...Последние слова Жданова захлестнуло волной бурных приветствий, кто-то крикнул:

— Качать Тихона Павловича! — И, подхваченный десятком дюжих рук, Крылов трижды подлетел чуть не до потолка.

А в это время надзиратель закрыл камеру на замок, что обнаружили, когда стали провожать Крылова. Жданов крепко постучал в дверь, волчок открылся, и надзиратель с плохо скрытой злостью в голосе буркнул:

— Что такое?

— Господин надзиратель,— заговорил Жданов,— во-первых, потрудитесь выпустить из камеры фельдшера, товарища Крылова. Во-вторых, пригласите в нашу камеру начальника

тюрьмы или его помощника. Передайте ему, пожалуйста, что мы требуем освободить нас из тюрьмы. Вы поняли меня?

— Понял.

Надзиратель открыл дверь, выпустил Крылова и снова закрыл ее, ключ с давно знакомым скрежетом дважды повернулся в замке.

— Вот тебе на! — Михлин, все такой же розовощекий весельчак, изобразив на лице ужас, комически развел руками.— При царе нас держали здесь за пропаганду революционных идей, а теперь-то за что?

— За революцию,— смеясь, подсказал Швалов.

Наконец через полчаса в сопровождении старшего надзирателя появился начальник тюрьмы, высокого роста, бритоголовый, с седыми усами на кирпичного цвета лице, полковник Кекс.

— В чем дело, господа? — засунув правую руку за отворот шинели, спросил начальник. Он старался и говорить и держаться спокойнее, но левая рука его, которой он теребил темляк шашки, нервно вздрагивала.

— Господин полковник,— наморщив высокий, бугристый лоб и тщетно пытаясь поймать глазами взгляд начальника, заговорил Жданов,— я уполномочен своими товарищами по камере заявить вам претензию. Дам стало известно, что в Петрограде произошла революция, что вместо сверженного царя и его правительства создана новая, революционная власть, то есть свершилось то, за что мы боролись и отбывали наказание! Так почему же мы все еще находимся в тюрьме и в кандалах?

И некогда грозный начальник стушевался, растерянно пожал плечами.

— Понимаю вас, господа,— заговорил он упавшим, хрипловатым голосом,— но освободить вас сейчас не в моей власти. Я еще вчера доложил начальнику каторги, запросил Читу, как быть с вами, и вот получил ответ: «Ждать распоряжения губернатора, а пока... э-э... никому никаких амнистий».

— Позвольте, но ведь распоряжения губернатора теперь уже не имеют никакой силы, к тому же в одной из этих вот телеграмм сказано, что он сбежал из Читы!..

Камера всколыхнулась шумом негодующих голосов:

— Это произвол!

— Издевательство!

— Чего вы боитесь?

— Вы не имеете права держать нас в каземате!

— Мы свободные граждане!

Но, как ни возмущались бывшие узники, получить свободу

им в этот день не удалось. Договорились с начальником лишь о том, чтобы немедленно расковать кандальников, которых в камере больше половины, и разрешить подать телеграммы в Петроград и Читу.

Весть о революции разнеслась по тюрьме с поразительной быстротой, после обеда никто не вышел на работу. Ликовали не только политические, но и уголовники, понимая, что революция облегчит и их участь. Вся тюрьма гудела, как потревоженный пчельник. В камерах всех этажей без умолку говорили, спорили, радовались, пели революционные песни; многоголосый шум этот гулом заполнил тюремные коридоры, через открытые форточки вырывался на улицу и не смолкал до глубокой ночи.

Весело было вечером в шестой камере, люди кучками сидели на нарах, одни вспоминали прошлое: неудачу с подкопом, зверства тюремщиков, погибших здесь товарищей. Какую-то веселую историю рассказывал друзьям Михлин. В группе, где находился и Чугуевский, шел разговор о том, чтобы сразу же после освобождения из тюрьмы пойти к фельдшеру Крылову, поздравить его с наступающим пятидесятилетием и вручить ему подарок.

Швалов почти не принимал участия в разговорах, его обуревала буйная радость; он словно помолодел, лицо порозовело, весело заискрились карие глаза, будто и не было за его плечами шестилетней каторги. Ему никак не сиделось на месте; освободившись от кандалов, он, не чуя под собою ног, носился по камере.

— Легко-то как без них, Андрюха, отзвенели наши колокольчики! — Хлопнув Чугуевского по плечу, Степан нагнулся, достал из-под пар кандалы и, потряхивая, зазвенел ими, как бубенцами.— Эх, мать честная, даже расставаться с ними жалко! Привык к ним, как старая кляча к хомуту.

— Я свои не брошу,— отозвался на шутку Чугуевский,— с собой возьму на память.

— А ведь и верно,— не выпуская из рук кандалов, Швалов сел на нары,— дети-то наши, внуки не будут знать про такие штучки. Возьму и я свои, пусть потомки любуются, чем забавлялись мы на каторге.

Освободили политических лишь на третий день утром, помогла-таки телеграмма, поданная Ждановым Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

В то же утро во всех камерах огромного каземата стало известно, что «политики» из шестой камеры выходят на волю.

а когда они гурьбой вышли на широкий песчаный двор, вся тюрьма вновь загудела от множества голосов. Кричали со всех этажей в открытые форточки, мелькали руки, просунутые сквозь решетки. Из сплошного, слитного рева лишь отдельные выкрики наиболее горластых долетали до слуха освобожденных:

— Постарайте-есь!

— Насчет манифесту-у!

— Свобода...

— Путь добрый!

— Нас там не забывайте.

«Политики» ответно махали руками, сорванными с головы шапками. А Пирогов за всех отвечал, крича ядреным басом.

— Товарищи! Будет амнистия и вам, буде-е-ет! До свидания!

И вот дежурный надзиратель-привратник уже распахнул перед недавними узниками массивные, окованные железом ворота. Пришла наконец-то долгожданная свобода!

В тот же день, когда солнце перевалило за полдень, Чугуевский со Шваловым выехали из Горного Зерентуя. Зимняя дорога уже сильно испортилась, поэтому ехали в телеге. Тройка разномастных сытых лошадок с коротко подвязанными хвостами резво бежала, правил ею угрюмый, молчаливый бородач в черном полушубке и серой казачьей папахе. Из-под колес телеги и конских копыт ошметками отлетал грязный, пропитанный талой водой снег. Он еще лежал по обе стороны дороги — в падях, на полях, еланях — и, растопленный поверху вешним солнцем, слепил глаза.

Кутаясь в ямщицкий, пахнущий дымленой овчиной тулуп, Швалов посмотрел на белое трехэтажное здание тюрьмы, проговорил со вздохом:

— Прощай, тюрьма наша белокаменная, попила ты из нас кровушки.— И, помолчав, толкнул Чугуевского локтем: — Во-он мостик через речку-то, помнишь, Андрюха, как гнали нас тогда в партии-то? К этому мостику подошли, совсем из сил выбились, и тюрьма уж на виду, и ноги не несут. А у меня тогда еще одну-то ногу кандалой потерло, ох и мучение же было.

— Помню, Степан,— вздохнул Чугуевский,— все помню, разве можно забыть такое?

ГЛАВА III

Небывало бурное время наступило в Забайкалье во второй половине марта 1917 года. Это было время массовых митингов, восторженных оваций, уличных демонстраций. Одно за другим

следовали события большой политической важности: оформилась новая, «революционная» власть — «Комитет общественной безопасности», были распущены тюрьмы Нерчинской каторги. Здесь новая власть совершила большую ошибку, выпустив на свободу заодно с политическими заключенными и уголовников, не считаясь ни со сроком отбывания наказания, ни с тяжестью свершенных ими преступлений. Революционный пафос охватил и казачество, потому-то на областном казачьем съезде, делегатами которого были в большинстве своем казаки-фронтовики, было решено: уничтожить в Забайкалье сословное различие, отрешиться от казачьего звания.

Однако революционный пыл начал охладевать, когда стало очевидным, что новые правители, такие щедрые на обещания и пышные речи, на самом деле не могут дать народу ни мира, ни хлеба. Недовольство в народе росло и вскоре дошло до того, что рабочие Читы-первой, в противовес «Комитету общественной безопасности», создали свою власть — Совет рабочих и солдатских депутатов, который явился в Забайкалье зародышем советской власти.

Таким образом возникло в Забайкалье двоевластие, и между обоими органами власти сразу же началась борьба: большевики из Совдепа обвиняли «Комитет общественной безопасности» в измене рабочему классу, в соглашательстве с буржуазией, а те, в свою очередь, метали громы и молнии на головы большевиков, объявляя их бунтарями, зачинщиками гражданской войны. Борьба эта обострилась, когда докатилась до Читы весть об июльских событиях в Петрограде и о корниловском мятеже. И тут читинские комитетчики вспомнили о казаках! Вспомнили затем, чтобы восстановить забайкальское казачество и в нем иметь себе опору в случае возникновения в области гражданской войны.

Так, с благословения читинских правителей, в конце августа генералом Шильниковым и депутатом бывшей Государственной думы Таскиным вновь был созван в Чите областной казачий съезд.

В Заиграевской станице делегатами на съезд избрали станичного атамана Комогорцева, урядника Кривошеева из поселка Сосновского и Савву Саввича Пантелеева.

— Не обмишультесь там, как атамана выбирать будете,— наказывали делегатам участники станичного схода.

— Чтобы из боевых генералов, а не абы кого.

— А в войсковой круг стариков побольше, заслуженных.

— Фронтовиков остерегайтесь.

— Будьте спокойны, господа станишники,— от имени выбранных заверял стариков Савва Саввич, очень польщенный оказанной ему честью и доверием схода,— *уж* мы-то постараемся для миру православного, постоим за казачество наше славное, не сумлевайтесь.

В Читу Савва Саввич выехал дня через три после станичного схода.

Рассчитавшись с извозчиком, Савва Саввич, с мешком провизии на плече, поднялся на второй этаж. В комнате, где отвели ему место на деревянном топчане с матрацем, набитым соломой, поселилось еще человек двадцать делегатов, и почти все седобородые деды из сел и станиц второго отдела. Такие делегаты по душе пришлись Савве Саввичу. Не понравился ему лишь один — скуластый, похожий на тунгуса казак. По его поведению, разговорам Савва Саввич определил, что это обольшевиченный фронтовик, которых он терпеть не мог в своей станице. Когда один из дедов, по фамилии Морозов, заговорил что-то о большевиках, скуластый фронтовик сердито возразил ему:

— Кабы не большевики, так мы и до се ишо на фронтах гибли.

— На то она и война,— повысил голос дед Морозов,— кому погибнуть суждено, тому честь и слава, а домой возвернутся — так героями, грудь в крестах или голова в кустах!

— Тебя бы туда хоть месяца на три, посмотрели бы мы, какое ты геройство окажешь...

— Доводилось повоевать и нам не меньше вашего! — Малорослый, щуплый Морозов выпрямился, багровея лицом, стукнул себя в грудь жилистым кулачком.— Доводилось, а присяги сроду не нарушали и домой-то пришли казаками, а не фулиганами-беспогонниками.

— Нашел чем попрекнуть, геро-ой...

«Большевик, с-сукин сын,— подумал Савва Саввич, косясь на фронтовика, спорившего с дедом,— што наш Ванька Рудаков, што этот — одного поля ягода».

Зато порадовал Савву Саввича другой делегат — молодецкого вида казачина с темно-русым кучерявым чубом, такой же, из кольца в кольцо, бородой и умными карими глазами. На вид ему можно было дать лет сорок пять, хотя и чуб его, лихо взбитый на фуражку, и окладистая борода уже густо припудрены сединой. Более всего умилило Савву Саввича то, что на груди этого делегата серебром и золотом отливали четыре георгиевских креста и три медали.

«Полный кавалер! — мысленно воскликнул Савва Саввич, не сводя с бравого казака восторженного взгляда.— Герой! Не чета вот этому паршивцу большевику».

Он первый поспешил познакомиться с кавалером. Ответив на приветствие Саввы Саввича, тот назвал себя: атаман Заозерной станицы Уваров Иван Спиридонович.

— А как думаешь, Иван Спиридонович, для чего нас собрали здесь, какие дела вырешать?

Не торопясь с ответом, словно обдумывая каждое слово, Уваров разгладил усы;

— Перво-наперво казачество восстанавливать будем, чтобы как по-прежнему было, это самое главное. Ну и, само собой понятно, войскового наказного атамана изберем, членов круга и так далее.

У Саввы Саввича дух захватило от радости.

— Истинная правда, Иван Спиридонович, истинная правда. Вить это на что же похоже, додумались умные головы перевести нас в мужики! Раньше, бывало, только за большие провинности лишали казачьего звания, позором считалось такое дело! А теперь, на поди, собралась всякая шваль, шиша да епиша да колупай с братом, и вырешили лишить нас казачества! А спрашивается, какое они имели полное право эдакий приговор выносить?

— А что толку-то в ихнем приговоре,— презрительно улыбаясь, ответил Уваров.— По всей области как было, так и осталось по-старому — и станицы и атаманы, потому что у делегатов первого съезда не было и полномочий от станиц решать, быть или не быть забайкальскому казачеству. А теперь вот другое дело: у всех делегатов, с какими я тут разговаривал, приговоры станичных сходов, и все в голос за казачество. Ну конечно, немало разговоров было и против, вот хоть бы и в нашей станице, к примеру,— а большинство-то все-таки за казаков.

— Совершенно верно, казаками мы родились, казаками и умрем.

Съезд проходил в Мариинском театре. Савва Саввич прибыл на него в компании уже знакомых ему стариков и с удовольствием наблюдал, что большинство делегатов — пожилые, заслуженные, зажиточные казаки. Многие из них в старомодных длиннополых мундирах, с крестами и медалями на груди, с разномастными, врасчес, бородами. Все выглядят солидно, благопристойно. Отдельно от стариков держатся фронтовики. Их набралось человек тридцать, иные прибыли на съезд прямо

со станции с винтовками, в заношенных грязных гимнастерках и шароварах защитного цвета. Этим Савва Саввич не доверял. Зато любо было ему посмотреть и на сцену: там, за длинным столом под красной скатертью, восседал президиум съезда: генералы, офицеры, штатские из новых руководителей области и особо заслуженные казаки, в числе их Заозерной станицы атаман Уваров и фронтовик — полный георгиевский кавалер в погонах подхорунжего.

Частенько бывавшему в Чите Савве Саввичу приходилось иметь дело с военными, с крупными чиновниками, встречаться с большими начальниками, он гордился этим и теперь охотно пояснял старикам.

— Вон энтот,— Савва Саввич показал на сидящего в президиуме господина в сером костюме,— с карандашиком-то в руке, это Сергей Афанасьевич Таскин, депутат думы, башковитый человек. Я его очень даже хорошо знаю, из казаков он, Монкечурской станицы. Умница. Побольше бы таких, не то бы и было!

— Слыхал про Таскина, слыхал. А эти вот, Савва Саввич, генералы-то, кто они такие?

— Вон тот, что рядом с Таскиным сидит, Шильников, боевой генерал. А слева от него — Зимин. Шибко его хвалят, так што, ежели бы в наказные избрать, промашки не было бы.

— А вон тот, голенастый, в очках-то?

— Завадский его фамилия, из нонешних управителей, и тоже приплелся сюда за каким-то лешим.

Докладывал съезду генерал Зимин, среднего роста, плотно сбитый и крепкий еще старик с моложавым энергичным лицом, дымчато-серой, богатой шевелюрой и такими же усами.

—Господа делегаты, посланцы казачьих станиц славного забайкальского войска,— рокотал он звучным, густым баритоном,— в годину тяжких испытаний и больших политических событий, которые переживает наша многострадальная родина, мы собрались здесь, чтобы решить: быть или не быть нашему славному, героическому забайкальскому казачеству. Господа! Как вам известно, весной этого года подлое сборище изменников и предателей вынесло решение об упразднении в области казачьего сословия. Это решение не было и не могло быть законным, ибо съезд-то не был казачьим, это был съезд изменников, самозванцев и всякой шантрапы, которая и понятия не имеет о таких вещах, как любовь к родине и долг перед отечеством.

— Правильна-а-а...

— Верна-а-а...— гудел в ответ зал.

— Господа, вы все отлично знаете,— продолжал воодушевленный поддержкой генерал,— что настоящий казак — это верный слуга и защитник отечества, врожденный воин. Он дорожит и гордится своим званием с самого раннего детства. Еще младенец, он уже тянется ручонками к отцовской шашке и нагайке, а чуть вырастет из пеленок — гордый сыном родитель уже садит его на своего казачьего коня, и сын не роняет чести отца: впивается как клещ в гриву коня, хохочет, понукает его ножонками. Днем казачонок играет с товарищами в войну, а вечером, пристроившись на завалинке, слушает, замирая, рассказы дедов о службе, о походах, о подвигах и в мечтах своих не может дождаться того счастливого часа, когда вскочит он на боевого коня и под священными казачьими знаменами соколом помчится в бой за любимое отечество...

Обладал генерал Зимин красноречием, уж так-то он пронял стариков, что они разомлели от приятных речей, расчувствовались, а Савва Саввич даже прослезился от избытка волновавших его чувств. Вытирая слезы ситцевым платком, шептал умиленно:

— Вот это генера-а-ал! Душа человек. Пошли тебе господи добра и здоровья.

— Верно, все верно,— вторил ему дед Морозов,— уж так-то все хорошо да правильно все обсказал, адали[1] медом напоил...

Свою двухчасовую речь генерал закончил призывом проголосовать за восстановление забайкальского казачества, за верность его присяге и долгу казачьему.

Волной приветственных возгласов, криками «ура» и аплодисментами захлестнуло последние слова генерала. Довольно улыбаясь, он сошел с трибуны.

После небольшого перерыва начались прения по докладу Зимина. Вслед за выступлением депутата Четвертой думы Таскина, так же горячо поддержанного стариками, слова попросил представитель фронтовых казаков урядник Веслополов. На съезд он прибыл прямо с фронта, загорелый, обожженный южным солнцем, в грязно-песочного цвета гимнастерке, перекрещенной на груди ремнями от шашки и патронташей.

— От имени казаков Кавказского фронта,— начал фронтовик глуховатым баском, полуобернувшись к президиуму,— я заявляю, что мы не согласны с тем, о чем разорялся тут генерал Зимин...

[1] А д а л и — как будто; все равно что *(обл.)*.

Что говорил оратор дальше, уже не было слышно из-за поднявшегося в зале шума, топота, рева многих голосов. Старики словно обезумели, топали ногами, орали, стараясь перекричать друг друга!

— Большеви-и-ик!

— Изменни-и-ик!.. твою ма-ать...

— Гоните его в шею!

Фронтовик тоже что-то кричал, жестикулируя руками и багровея от напряжения, стучал кулаком по трибуне.

Шум, гвалт затих лишь тогда, когда на трибуне появился новый оратор: здоровенный дядя в темно-зеленом мундире, с двумя крестами на груди, с рыжеватой, надвое расчесанной бородой и коричневой шишкой над левым глазом.

— Воспода делегаты! — забасил он, сразу же завладевая вниманием всего зала.— Говорят, теперича у нас слово слободы, а это, я так понимаю, говори слободно, что у тебя на душе накипело, верно или нет?

Старики в зале одобрительно захлопали, загомонилш

— Верно-о!..

— Режь правду-матку!

— Про-о-си-им!

— Так вот и я хочу сказать от всей, значит, правды,— продолжал басить казак.— Жили мы, никаких революциев не знали, и одна была у нас печаль-заботушка: вспахать получше, посеять побольше да убрать вовремя. А ежели службу отбывать приходилось — и служили верой-правдой, и воевали, не пятились, честью-славой казачьей дорожили. А теперича дозвольте вас спросить; за какие такие провинности наказать-то нас хотят, казачьего звания лишить? Да мало того, уж и притеснять нас начинают в счет земли, вот послушайте такой пример. Возле нашей станицы деревня есть крестьянская, мужицкая то есть, Ермиловка. От нас до нее двадцать верст. Граница, где мужицкие земли начинаются, проходит около нашей пади Солонешной. И вот нынче весной заявляются к нам на сходку пятеро ихних: дескать, так и так, раз теперича вы не казаки, а такие же, как и мы, граждане, то и земли у нас должно быть поровну, падь-то Солонешную давайте-ка нам по нижнему броду, видели как? — Дед на минуту умолк, обвел взглядом притихший зал и, полуобернувшись к президиуму, продолжал: — Там ишо ничего не известно, а мужикам уже земельку подай! Ну мы, конечно дело, проводили их сухим-немазаным и тут же приговор написали, что от казачества мы не отказывались, а как

были, так и будем казаками отныне и до веку. Приговор наш станичный сход утвердил, а мне дали наказ: стой, Лука Филимоныч, за казачество крепко-накрепко!

И вновь хлопаньем, одобрительными криками стариков, гневными репликами фронтовиков всколыхнулся зал, когда бородач, поклонившись президиуму, двинулся с трибуны. Снова выступали фронтовики, и снова их не пожелали слушать, тогда, разъяренные, в знак протеста они покинули зал.

— Нехристи-и-и! — неслось им вслед.

— Предатели-и-и!

— Убирайтесь ко всем чертям!

— Мужики-и-и...

Старикам за всех ответил тот казак, которому в самом начале не дали выступить от фронтовиков. Остановившись в дверях, он крикнул что было силы:

— Чего расходились, снохачи проклятые, контры! Вас бы туда вшей покормить, другое бы запели.— И к президиуму: — А вы чего возрадовались? Смешно вам, гадам! Посмотрим ишо, чья пересилит, не довелось бы вам ишо слезьми умыться! — И, погрозив кулаком генералу Зимину, вышел.

Галдеж в зале еще более усилился, Савва Саввич даже на ноги вскочил, кричал, размахивая руками:

— Вить он нас оскорбил, подлец! Взять его, сукиного сына!

— Взя-ать...

— Арестовать!

— Держи-и-те его!

Но догнать, арестовать фронтовика что-то никто не решился, погорячились старики, покричали и мало-помалу успокоились.

К вечеру этого же дня была поставлена на голосование резолюция, в заключительной части которой говорилось:

«...восстановить забайкальское казачество, сохранить историческое и почетное звание казака. Вступить во Всероссийский союз казачьих войск».

Резолюцию приняли подавляющим большинством голосов. Но даже и среди стариков нашлись такие, что не голосовали за казачество. Глядя на них, Савва Саввич осуждающе качал головой, бубнил сквозь зубы: «С-сукины дети, мерзавцы! Плетей бы вам всыпать, окаянные перевертыши, плетей!»

К вечеру, после окончания первого дня работы съезда, многие делегаты разбрелись по городу: кто к родне, кто к знакомым, к сослуживцам бывшим. В комнате, где поселился Савва Саввич, осталось человек десять стариков. Радехонькие, что на съезде получилось так, как они хотели, деды развязали

языки: вспоминали выступления ораторов, ругали фронтовиков, хвалили генерала Зимина и уже прочили его в наказные атаманы.

За разговорами время незаметно подвинулось к ужину. Один из них приволок откуда-то ведро кипятку, поставил его на большой стол, стоявший посредине комнаты. Старик Морозов высыпал в кипяток пригоршню толченой чаги, забелил его сметаной и шутливо пригласил стариков:

— Пожалуйте, гостюшки дорогие, к нашему котлу-тагану кушать.

Старики начали усаживаться вокруг стола, развязывать свои мешки. Люди подобрались все справные, зажиточные. Зная, как плохо теперь с питанием в Чите, харчишками запаслись из дому. На столе вмиг появились и вареные яйца, и холодная баранина, и свежепросоленные огурцы, и пироги с начинкой из свежих карасей, а также чайная посуда: эмалированные кружки, деревянные, выдолбленные из березового корня чашки, стаканы из обрезанных шпагатом бутылок.

— Беда ноне с посудою...— Медвежковатый, пегобородый батареец, судя по его красным лампасам, достал из мешка фаянсовый стакан, расколотый пополам и крепко опоясанный берестяным обручком. Вытирая его кушаком, продолжал сетовать: — Раньше в Чите-то, бывалоча, зайдешь в магазин — глаза разбегутся; чего только там не было, господи боже мой, рази што птичьего молока.

— И не говори, сват,— с живостью подхватил словоохотливый Морозов,— все куда-то провалилось.

— Война эта проклятая всему причиной. Даже спичек не стало в лавках-то, а про чай и спрашивать нечего, забыли, как он и пахнет.

— У старухи моей попервости-то голова болела без чаю, а потом как навалилась на чагу — и приобвыкла, даже хвалит.

Делегаты принялись было за чай, но в это время заозернинский атаман Уваров, подсевший позднее всех, выставил на стол черного стекла ромовую бутылку с водкой, предложил старикам:

— Выпьем, господа, за хорошие дела на съезде нашем да за то, чтоб в войсковой круг завтра хороших казаков выбрать!

Дедам такие слова слаще меда. Все, выпивая, похваливали хлебосольного атамана, желали ему здоровья.

— За твое здоровье, Иван Спиридонович!

— За то, чтоб быть тебе членом войскового круга!

— Верно-о-о, достоин!

— Спасибо, господа старики.

— Молодец, Иван Спиридонович, — похвалил его и Савва Саввич, выпив свою порцию, — уважил стариков. Ну, а теперича, значит, тово... и наш черед подошел.— И, хитро подмигнув старикам, поспешил к своему мешку.

Отправляясь во всякого рода поездки, любил Савва Саввич запастись провизией, чтоб и самому не голодать в дороге, и нужного человека угостить при случае. Старики только ахнули, когда на столе появился зажаренный в русской печи поросенок и четвертная бутыль с водкой. При виде такого угощения все заулыбались, загомонили:

— Вот это по-нашенски.

— Ай да Савва Саввич!

— Молодец станишник!

— Хорошего человека сразу видать!

А Савва Саввич уже разливал водку, не меряя, до краев наполнял каждому в его посуду, себе налил в серебряный с чернетью бокал и, подняв его, провозгласил:

— Выпьем, господа, за казачество наше храброе, за то, чтобы кончилась скорее заваруха эта анафемская, чтобы снова вознеслась наша матушка Расея и чтобы казаки наши образумились и так же стояли за землю русскую да за веру православную, как и мы стояли за нее, бывало.

Все встали, чокнулись, хотя и без звону, выпили, налегли на поросенка, а Савва Саввич принялся разливать по второй. Старики повеселели, а после третьей чарки за столом стало шумно, как на крестинах.

Рыжебородый дед, расплескивая из чашки водку, тянулся через стол к Савве Саввичу, хрипел:

— Савва Саввич, да я как тебя увидел, сразу подумал: вот это каза-ак! Компанейский человек, герой! Ты сотника Мунгалова знавал?

— Сав Саввич...

— За ваше здоровье!

— Станишники...

Медвежковатый батареец, упираясь обеими руками в стол, пытался запеть:

Антилеристом я ро-о-о-дился-а-а...

Но продолжить мешал ему сидящий рядом дед, весь вечер донимавший батарейца рассказами о зяте:

— Ить я его как родного принял... говорю: Иван, ты мне, стало быть, заместо сына...

Батареец, не слушая деда, тянул:

В семье бригадной о-о-буча-а-ался,
Огне-ем-картечею крести-и-ился...

А дед бубнил свое:

— Оделил его, с-сукиного сына, всем, на ноги поставил, а он, стервец, на меня же при всей сходке: ты, говорит, контра! Это каково же мне сносить? За все добро мое я же и контра!

Батареец согласно кивал головой:

— Правильно, сват, правильно,— и снова заводил:

Антилеристом я ро-о-одился-а...

Слегка охмелевший Савва Саввич подсел к Уварову и, обнимая его за плечи, негромко, вполголоса говорил ему:

— Докуда же мы их терпеть-то будем, большевиков этих трижды клятых. Неужто нельзя сговориться всем миром, дружнее, да и жмякнуть чертей, чтобы и духом их поганым не воняло в области.

Уваров, улыбаясь и поглаживая бороду, качал головой отрицательно:

— Нельзя этого, Савва Саввич, никак нельзя.

— Иван Спиридонович, да вить от них одна вредность да смуты всякие. А много ли их, на полную бочку одна поганая капля.

— Согласен, Савва Саввич, вполне согласен. А вот попробуйка тронь их, и увидишь, что из этого получится: за них, мил человек, сейчас и рабочие и мужики, да что греха таить, и казаков наших немало переметнулось к большевикам. Так что с ними, брат, шутки плохи. Подождать надо, Савва Саввич, народ образумится, отшатнется от большевиков, вот тогда-то мы и произведем их в крещеную веру. А сейчас надо другое делать. В станицах надо порядки наводить. Укреплять власть-то нашу, а молодежь приструнивать покрепче, к дисциплинке приучать, да чтобы стариков слушались. И за фронтовиками присматривать, чтоб не мутили народ, не сбивали с правильной пути.

— Эх, Иван Спиридонович,— тяжелехонько вздохнул Савва Саввич,— моя бы на то воля, я б энтих большаков тово... в бараний рог согнул!

На следующий день съезд продолжал работу. Был создан войсковой казачий круг, членом которого избрали и атамана Заозерной станицы Уварова. Войсковым наказным атаманом утвердили генерала Зимина.

ГЛАВА IV

На второй день после приезда делегата из Читы атаман собрал сходку, где Савва Саввич рассказал старикам о съезде, о восстановлении в области казачества,

Многим старикам сообщение Саввы Саввича пришлось по душе, но нашлись и такие, что не радовались этому, угрюмо молчали. Больше всех хмурился Филипп Рудаков, он не вытерпел-таки, спросил, тая в губах недобрую усмешку!

— Та-а-ак, значит, сызнова омундировку заводить заставят?

— Нет-нет! — поспешил успокоить его Савва Саввич.— Обмундирование теперь будет за счет казны. Даже за коня, ежели казак на своем поедет, заплатят.

Пока старики судили да рядили да расспрашивали Савву Саввича о том, чего там в Чите слыхать про войну да скоро ли выйдет замирение, писарь, горбатый Семен, уже настрочил приговор. Один из стариков, залюбовавшись, как бойко орудует Семен пером, одобрительно качал головой: эка, до чего насобачился писать-то!

— Как водой бредет,— поддакнул другой,— пишет-пишет, да еще и вильнет, то кверху, то книзу, будто ячмень молотит!

— Вот она, ученость-то!

А Семен и в самом деле за многие годы службы писарем наломал себе руку в этом деле. В приговоре, который Он уже набросал, было складно написано о том, что антоновские «казаки и урядники» приветствуют решения областного съезда, что они по зову своих атаманов, в случае нужды, все как один грудью встанут на защиту от врагов родного края и казачества.

И когда атаман, поднявшись из-за стола, спросил: «Ну как, воспода обчественники, ладно будет эдак-то?» — со всех сторон послышалось:

— Вроде ладно!

— Чего же ишо надо!

— Лучше этого сроду не напишешь...

— Давайте подписываться, и то засиделись вон до какой поры.

— Кум Федор, расчеркнись там за меня.

Хорошо получилось у Семена на бумаге, но в жизни все оказалось далеко не так складно. Вот уже и осень подошла, а того порядка и мира, которого с нетерпением ждут в селах и станицах, все нет и нет. Войне, кажется, и конца не будет, идут оттуда лишь тревожные вести, а люди если и возвращаются оттуда, так только раненые да калеки. Вот и бывший работник

Саввы Саввича Антон Сухарев заявился домой на деревяшке, заменившей ему левую ногу. Он-то и рассказал старикам Вершининым, что единственный сын их Артем погиб на глазах Антона, когда вместе шли они в штыковую атаку на окопы немецкой пехоты.

Помрачнел, сгорбился Филипп Рудаков, хотя и старался не выдавать своего горя, скрывал от жены полученное из станицы извещение, что средний сын его, казак 1-го Нерчинского полка, второй сотни, Павел Филиппович Рудаков «пал смертью храбрых на поле брани под городом Львовом».

В один год постарела, утратила былую красоту чернобровая, дебелая казачка Федосья Никитична. Пятерых сирот, из которых старшему пошел двенадцатый год, оставил ей муж Герасим Плотников, вахмистр пятой сотни 2-го Аргунского полка, убитый под городом Ваном.

Да разве всех перечтешь. В одной лишь Антоновке насчитывалось шестнадцать человек, сложивших свои головы где-то там, в далеком Полесье, на Буковине, в Карпатах и на горных кручах Кавказа. А тут к тому же разруха кругом, слухи о надвигающемся голоде, и чувствовалось по всему, что самое-то худшее впереди.

Тревожные дни наступили и для Саввы Саввича. Не оправдались его надежды, что восстановление в области казачества— это уже начало гибели революции, что, как говорили об этом в Чите, все двенадцать казачьих войск объединятся и при помощи иностранных держав навалятся на революцию, сотрут ее в порошок.

Крепко надеялся на это Савва Саввич, уж больно досадила ему революция. Шуточное дело, денежки его в банке, тридцать пять тысяч, как в огне сгорели! А впереди, если утвердится революция, мерещились ему еще большие беды.

Но время шло, а казаки что-то не объединялись, и все более горшие вести доходили до села из центра.

Со стороны казалось, что все у Саввы Саввича обстоит хорошо: и дом, что называется, полная чаша, всего полно, всего довольно, и не страшно ему никакое лихо. У станичников из деревенской бедноты недосев, забота, как прокормиться, обзавестись семенами, для Саввы Саввича это к лучшему: подорожает хлеб — будет и барышей больше, и дешевые работники.

Но все это уже не радует Савву Саввича, ходит он темнее осенней тучи. При встрече с поселыциками уже не сыплет ласковыми словами с шутками-прибаутками, на их приветствие лишь коротко бросит: «Здравствуйте!» — а то и молча кивнет головой

и шагает дальше походкой усталого, придавленного большим горем человека.

Из газет, из разговоров с Семеном Савва Саввич скорее других сельчан узнавал о событиях в России. Так узнал он и о том, что корниловский мятеж, на который Савва Саввич возлагал большие надежды, провалился. Не одолели казаки революцию: мало того, теперь за нее, проклятую, не только рабочие да мужики встали, но и казаки-то раскололись надвое: одни за старые порядки, за казачество, а другие против — с большевиками заодно. От всего этого голова кружится у Саввы Саввича. А тут еще и в семье нелады да неурядицы: Настя и так-то часто ссорилась с Семеном, а теперь и вовсе смотреть на него не хочет, ходит веселая и, откровенно радуясь, ждет возвращения Егора. От всего этого загорюнился Савва Саввич, целыми днями ходил он сердитый и ни с кем, кроме Семена, не разговаривал. Когда Семен приходил домой, Савва Саввич запирался с ним в горнице, и они там тихо подолгу разговаривали, а о чем — никто из домашних не знал.

Ночь. Все в доме спят, тишина. В горнице мерно тикают старинные стенные часы. Савва Саввич, закинув руки за голову, лежит на кровати, рядом, отвернувшись лицом к стене, спокойно спит Макаровна. Старику не спится, обуревают его мрачные думы.

«Поломалась жизнь, поковеркалась,— думает . он, тяжко вздыхая,— и какой черт выдумал эту погань — революцию, ни дна бы ему ни покрышки, жили без нее и бога хвалили, а жили-то как?» И вспоминалось Савве Саввичу его прежнее житье-бытье. Все шло у него как по маслу, во всем был лад и порядок, работников всегда было достаточно, всякое дело начиналось и заканчивалось вовремя, поэтому и хозяйство росло, ширилось год от году, на зависть другим. А как хорошо наладил он поставки сырья и продуктов для фронта, какие выгодные контракты заключал с военными интендантами. Вспомнилось, как привозил в Читу крупные партии мяса, кож, овчин, шерсти и масла. Все это Савва Саввич сдавал по договорам оптом, денежки так и плыли на его счет в банке. А какой почет оказывали ему читинские купцы и коммерсанты. Даже от самого наказного атамана получал он благодарность за помощь фронту. Хорошее было время, не то что теперь. Савва Саввич досадливо крякал, ворочался с боку на бок, но сон не шел, а в голову лезли новые думы.

Да-а, выгодное было дело эти поставки. Уж так-то они пришлись по душе Савве Саввичу, что и опять не утерпел он,

забил несколько сот овец и полсотни крупного рогатого скота, надеясь, что к зиме эта канитель — революция — кончится, появится настоящая власть и можно будет поехать в Читу с торгом. Но тут, по всему видать, не будет хорошей власти. А при таких порядках какая же может быть торговля, и деньги пошли никудышные, только и пригодны, что ящики ими оклеивать. А главное-то еще и в том, кому продавать? Этим голякам да рабочим, какие революцию учинили? «Ну уж не-ет.— Савва Саввич даже зубами заскрипел от злости.— Я лучше собакам скормлю али выброшу все это мясо к чертовой матери, чем повезу его этим паршивцам, пусть подыхают с голоду, голодранцы проклятые».

Часы хрипло пробили два часа, а Савва Саввич все еще не спит, думает. Ему жарко под стеганым ватным одеялом, а тут еще от Макаровны так и пышет теплом, как от русской печки.

— Подвинься ты, буреха,— сердито буркнул он, толкнув жену локтем. Макаровна пошевелила жирным плечом, промычала что-то сквозь сон.— До чего же беззаботный человек,— Савва Саввич горестно вздохнул,— дрыхнет, и горюшка ей мало.

Долго не мог уснуть Савва Саввич, с ума не шел амбар, доверху набитый мясом. Куда теперь с этим добром? Заснул он с намерением увезти все, что заготовлено, за границу китайским купцам.

Утром Савва Саввич, посоветовавшись с Семеном, решил окончательно ехать за границу. Встал вопрос: как ехать? На предложение отца везти мясо на лошадях Семен протестующе замахал руками:

— Что вы, тятенька, ведь это надо снаряжать лошадей пятнадцать, не меньше. А как проехать такому обозу? Времена-то видишь какие подошли, в любом поселке могут вас застопорить, и пиши пропало. Надо хлопотать вагон, иначе нельзя.

— Мда-а,— Савва Саввич поскреб рукой лысину, сокрушенно вздохнул,— хлопотное дело, одного вагона не хватит, надо брать два, за них заплатить, да не меньше того начальнику сунуть, все это тово... расходы.

— Зато спокойнее будет на душе и надежнее.

Савва Саввич подумал немного, согласился:

— Ладно, уж так и быть, пойду на станцию.

При помощи выпивки и взяток дело с получением вагонов Савва Саввич уладил в тот же день, а назавтра его работники занялись подвозкой на станцию и погрузкой в вагоны мяса, кож и всего, что было заготовлено для продажи.

Покончив с погрузкой и оформлением документов, Савва Саввич на следующее утро уехал в сопровождении двух работников на станцию Маньчжурия.

Домой Савва Саввич вернулся после казанской 1. Приехал он повеселевший, бодрый, всем своим видом показывая, что поездка получилась у него удачной. Из-за границы он привез множество всяких покупок, в том числе шагреневые полусапожки и кашемировую шаль Макаровне.

ГЛАВА V

Вечером из управы пришел заметно удрученный чем-то Семен. Савва Саввич, поняв, что с сыном произошла какая-то неприятность, прошел следом за сыном в горницу, плотно прикрыл за собой дверь и, встав на табуретку, зажег висячую лампу-«молнию». Когда же он, сойдя с табуретки, оглянулся на Семена, тот сидел, с головой утонув в кресле, закрыв ладонью лицо. Старик поспешил к сыну, погладил его по голове:

— Что случилось, Семушка?

— Пропали мы,— еле слышно ответил Семен. Открыв лицо, он взглянул на отца, и в синих глазах сына Савва Саввич увидел слезы.

— Сема, ты чего это, Христос с тобой,— голос старика взволнованно дрогнул,— али обидел кто?

— Пропали, тятенька,— хриплым, стенящим полушепотом повторил Семен,— одолевают нас эти варвары, большевики. Сейчас иду, а навстречу мне... Ванька Рудаков... Э-э, да чего там...— Он отвернулся, вытер платком глаза, высморкался и надолго замолчал.

Савва Саввич стоял рядом, ни о чем не спрашивал, лишь молча гладил его по голове.

— Худо дело,— немного оправившись, вновь заговорил Семен.— Петроград забрали большевики, да и Москву, наверное... Объявили уж эту ихнюю... болыневицкую власть.— И опять голос Семена обиженно задрожал, срываясь на низкие хриплые ноты.— Из станицы сегодня сообщили об этом... а босяк Ванька вперед нас узнал обо всем... узнал и, никого не спрося, созвал своих голодранцев, собрание устроил. Радуются, с-сукины дети... власть новая появилась, советская. В Красную гвардию записались человек двадцать и делегата

[1] Религиозный праздник в честь иконы казанской божьей матери, в первых .числах ноября.

на съезд в Читу… Ваньку же и выбрали. Видишь, что творится… Там еще неизвестно, что будет, а они уж здесь к съезду готовятся. Они не спят, подлецы, к власти подбираются, а уж как захватят ее — и конец нам, крышка. То, что в России натворили, мерзавцы, то же и у нас произойдет, разграбят все, растащат, раздадут этим дармоедам, а нас… даже подумать страшно…— Семен снова замолчал, похрустел пальцами.— А власть они заберут, хоть и ненадолго, а заберут. Этот их Ленин умен как бес, он сразу понял, чем народ к себе приманить: мы-де за то, чтоб войну прекратить, фабрики-заводы рабочим отдать, землю крестьянам! А голытьбе да солдатне того и надо. Народ, дурак, верит ему, после-то и хватятся, да уж поздно будет.

— Кто же он такой, Ленин-то этот?

— Вот он-то и есть самый главный у большевиков, через него все это и происходит.

— Неужто одолеют большаки?

— Одолеют. Заберут всю Россию. Да и чего же им не одолеть-то? Вот хоть бы и у нас в Чите: сидят ротозеи, правители нынешние, в комитетах своих, а заправляют всем они, большевики. Тут бы теперь не комитет этот задрипанный, а настоящую крепкую власть, навроде прежнего Ренненкампфа, посадить, да помощников ему из хороших казаков, вот и был бы порядок. Он бы их всех произвел в крещеную веру, этих комитетчиков паршивых разогнал бы к чертовой матери, а тех мерзавцев большевиков перевешал бы всех до единого. А иначе и нельзя, с ними не миндальничать, а бить их, гадов, без всякой пощады! Чтобы начисто! С корнем! — Все более распаляясь, Семен весь преобразился, синие глаза его заискрились злобой, на бледном лице пятнами выступил багряный румянец. Он вскочил с кресла и забегал по комнате.— Бить, крушить хамов! — хрипел он, задыхаясь от злости.— Но кто, кто сокрушит их? Некому! Не стало у нас настоящих казаков, измельчали все, перевелись к чертям ссбачьим…

— Нет, Семушка,— перебил Семена Савва Саввич,— не перевелись ишо казаки в нашем Забайкалье. Сейчас в Маньчжурии один такой объявился, есаул Семенов. Порасспросил я про него тамошних людей и даже в лицо его видел мельком: молодча-ага, рыжеусый такой, среднего росту. А родом из наших казаков, второго отдела, Дурульгуевской станицы.

— Слыхал я и про Семенова,— успокоившись, заговорил Семен. Порыв ярости у него прошел, он снова сел в кресло, положил руки на подлокотники.— Слыхал и читал в газетах,

он на станцию Маньчжурия приехал добровольцев вербовать и Монголо-Бурятский конный полк и с ним должен был выступить на фронт.

— Во-во, это самое,— с живостью подхватил старик,— только теперь у него уж не полк, а целая армия. Это, братец ты мой, как поскажут, башка-а, чин у него тово… не шибко большой, а ума на десять генералов хватит. Ну сам подумай: есаул, а целой армией командует, даже генералы у него в подчинении. Интендантство у него большое, полковник им заведует, хоро-оший человек, я ему пудов двести мяса и два бочонка масла сдал… Ну, это к слову, теперь о главном, о Семенове, значит.

Савва Саввич покосился на дверь, потом встал со стула, бесшумно ступая ногами, обутыми в мягкие козьи унты, открыл дверь. Там было пусто. С кухни доносились голоса Макаровны и Матрены, бряканье посуды, вкусно пахло поджаренным луком. В соседней комнате стучала швейная машина, Настя что-то шила. Вернувшись обратно, Савва Саввич придвинулся со стулом ближе к Семену, заговорил вполголоса:

— Так вот, Семушка, он, этот Семенов самый, и есть то, что нам надо. Это наш спаситель, дай ему господь удачи во всем. Он уж и с Японией союз заключил, и с китайскими генералами, какие за старые порядки стоят, стакнулся, одним словом, тово… большого размаха человек, потому у него в армии и оружия, пулеметов, пушек, всяких припасов, обмундирования, провианту —всего хватает. В походные атаманы его уже прочат, и правильно, это, братец ты мой, управитель будет тово… почище твоего Реденькампа. В Маньчжурии тоже было эта мразь — большевики появились, так он их, братец ты мой, живо к рукам прибрал. У него, брат, суд короткий: раз-два — и тово… записывай в поминальник за упокой.

Семен, одобрительно улыбаясь, кивнул головой:

— Правильно, чего с ними валандаться. Да-а, это атаман будет действительно, теперь только такой и нужен.

— Я давно говорю, что без строгости нам никак нельзя. А посмотрел бы ты, какой у него в армии-то порядок, прямотаки как при царе: на казаках полушубочки новые с погонами, а на левом рукаве у каждого эдакий вот,— Савва Саввич начертил на рукаве своей рубахи ромб величиной со спичечную коробку,— черный лоскуток, а на нем желтые буквы «О. М. О.», это значит: Особый маньчжурский отряд. Винтовки у них японские, коротенькие такие, карабины называются, у пехоты винтовки тоже японские, и штыки у них наподобие кинжалов. На-

род к нему подбирается отчаюги, молодец к молодцу, и наши казаки, и буряты, монголы, харчены какие-то, всяких там полно, а он все ишо продолжает набирать, силы накапливает. Кстати, Семушка, и я побывал у него в штабе, разговаривал там с полковником Бакшеевым, тоже из наших казаков, не то Маккавеевской, не то Титовской станицы, отделом он заведует, где людей вербуют в семеновскую армию. У них, братец ты мой, во всех наших станицах свои люди есть, какие казаков к ним вербуют, даже и в Чите, под самым носом у этих комитетчиков плюгавых.

— Да этих слюнтяев,— Семен осклабился в презрительной улыбке,— им и бояться нечего, они даже рады будут, если Семенов большевиков уничтожит.

— Наверно, так оно и есть. Так вот, Бакшеев, оказывается, и меня знает по читинским поставкам, он в германскую войну в интендантстве работал в Чите. Ну, разговорились мы с ним, и очень просил он меня тоже заняться этим делом, людей к ним вербовать, и я, Семушка, недолго думая, тово... согласился... Как ты на это смотришь?

— Правильно, тятенька.— Розовея от радости, Семен пристукнул ладонью по подлокотнику.— Хорошее дело! Нам стоять в стороне от него было бы совестно, и я тебе помогать буду. Какие у них условия для добровольцев-то?

— Значит, не ошибся я,— обрадовался Савва Саввич,— а условия у них такие...— И он рассказал сыну, что Семенов обещает каждому поступившему к нему на службу бесплатное обмундирование, коня с седлом и все, что требуется казаку, и, кроме того, двести рублей в месяц жалованья.— И нас, Семушка, не обидят. За каждого казака, какого мы уговорим и отправим к Семенову, нам особая награда будет.

— Да бог с ней, с наградой, — отмахнулся Семен,— я согласен своего отдать им половину, лишь бы дело у них получилось.

— Получится. У такого молодца атамана да чтоб не получилось! Он их вдребезги разнесет, всю эту Совдепию поганую вместе с Лениным ихним. А нам, Семушка, от своего отказываться тоже не след, дело делом, а что мне причитается, вынь да положь.

В этот вечер у отца с сыном разговор затянулся надолго. Макаровна уже раза два стучала в дверь, звала ужинать, а Савва Саввич, ответив ей: «Сейчас, Макаровна, сейчас», снова продолжал разговор.

— Ну, съездил я, слава богу, хорошо, все продал в доброй

цене, оптом, кое-чего приобрел для домашности, а остальные деньги в русско-азиатский банк перевел на твое имя.

Семен благодарно кивнул отцу головой:

— Спасибо, тятенька, большое спасибо.

— Не стоит, Семушка. Я там ишо и тово... домишко присмекал на всякий случай. Кто его знает, как оно дальше-то обернется, а запас карману не дерет...

— Это, тятенька, тоже верно. Может такой момент подойти, что из своего дому бежать придется.

— Вот об этом-то я и думал. Все может случиться, а теперь, в случае какой неустойки, махнем в Маньчжурию, а там и угол свой будет, и денежки в банке. Переживем эту канитель, а там видно будет. А теперь пойдем-ка поужинаем.

* * *

К вербовке казаков в белую армию атамана Семенова Савва Саввич приступил на второй же день после разговора с Семеном. Первым к нему сам пришел Костя Тюкавкин, широкоплечий здоровяк с огненно-рыжим чубом. Пришел он попросить для работы лошадь.

Уже очутившись в ограде Саввы Саввича, Костя струхнул, так как знал за собой еще не отработанный долг.

К радости Кости, Савва Саввич принял его ласково, про долг не упомянул и даже пригласил в горницу.

Костя хотя и вытер унты о домотканый половик, шел за хозяином на носках, боясь наследить. В горнице Савва Саввич пригласил гостя сесть, спросил:

— За каким случаем ко мне?

— Коня бы мне, Савва Саввич, из молодых, чтобы обучить его и поробить на нем, пока зимняя дорога,— можно будет?

— А чего же не можно-то, возьми. Поди, уж присмотрел какого?

— Буланый приглянулся, выложили нынче которого, вот его бы, Савва Саввич?

— Глаз у тебя, братец ты мой, тово... наметанный.— Савва Саввич усмехнулся, провел рукой по бороде, сел на стул напротив Кости.— Мда-а, Буланко этот, ежели кому тово... года подошли служить, так в строевики лучше и не сыскать.Ты сам-то какого сроку службы?

— Девятнадцатого, на будущую осень на выход.

— Во-от как! Значить, Буланко-то тово... как раз подойдет тебе в строй.

— Да уж лучше-то этого Буланка и желать бы не надо, только где же нам...— Костя, потускнев лицом, с трудом подавил в себе тяжелый вздох,— не подойдет, не по карману, Савва Саввич. А потом, я ишо так слыхал, что кони-то теперь от казны будут казакам.

— Это, братец ты мой, ишо на воде вилами писано, власти-то вон ноне как меняются: то Керенский, то Совдеп, то комитет какой-то там, сам сатана не разберется в нонешних властях. Так что тово... понадеешься на казну и останешься без коня... А Буланко, братец ты мой, стоит только захотеть, и твой будет.

У Кости глаза полезли на лоб от удивления.

— Мало бы я чего захотел, а платить-то за него, рази што в долг поверишь, Савва Саввич?

— Никакого долгу. Расписочку напишешь мне, и Буланко твой, а деньги за него казна выплатит. Ну конечно, это в том случае, если ты в гвардию запишешься, и не на будущую осень, а теперь же.

— В гвардию? — загораясь надеждой, переспросил Костя.— Это к Ивану Рудакову, што ли?

— Ну што ты, бог с тобой, не-ет.— Презрительно сощурившись, Савва Саввич покачал головой.— Какая это гвардия, собралась там всякая рвань. На коне-то, окромя Ваньки, ни один сидеть не умеет, а тоже мне гвардейцы, даже подумать страмно. Не-ет, Костюха, наше казачье дело подальше от эдакой мрази, ну их к лешему. Я тебе, братец, тово... в настоящую гвардию советую поступать. Находится гвардейский полк этот на станции Маньчжурия, полковник Семенов им командует, — прилгнул Савва Саввич, произведя есаула Семенова в полковники.— Ну конечно, там не всяких принимают, эдаких вон архаровцев, каких Рудаков насобирал, там и за версту не допустят, а тебя примут. Казак ты по всем статьям подходимый, я за тебя головой поручусь, потому и Буланка отдать не жалею, знаю, что не подведешь.

Савва Саввич рассказал Косте, какие льготы, какое жалованье сулит добровольцам-белогвардейцам их будущий атаман Семенов. И после того как Костя, не раздумывая долго, согласился, Савва Саввич повел разговор и о других парнях:

— Вас вить, однако, тово... людно, с девятнадцатого году-то?

Костя, припоминая, наморщил лоб, провел рукой по волосам.

— Человек, пожалуй, пятнадцать только в нашем поселке, а во всей-то станице и до сотни наберется.

— Тогда ты тово... один-то не поступай туда, а подбери

с собой ребят хороших, чем больше, тем лучше, и отправляйтесь с богом. Послужите верой-правдой, постойте за казачество наше православное. Оно большой-то артелью и ехать вам будет веселее, да и служить со своими-то не в пример способнее.

— А насчет коней как?

— Коней дадут, когда в полк зачислят. А у кого есть, то на своем-то лучше, за коня ему деньгами выплатят. Ехать туда можно на санях человека по четыре на пароконную подводу, милое дело. Ну а в крайнем случае, не будет хватать коней, выручу, дам из своих. Харчей на дорогу приготовлю, только не тяните, собирайтесь побыстрее.

Повеселевший Костя уходил от Саввы Саввича с твердым намерением обучить Буланка, сделать из него строевого коня. Мысль о том, что служить ему предложил Савва Саввич в белой армии, мало беспокоила Костю. «Подговорю Андрюшку с Петькой Кузьминым да ишо человек пять-шесть, и махнем в эту самую гвардию,— думал про себя Костя,— получим мундировку, винтовки, а там видно будет, какому богу молиться».

Савва Саввич проводил гостя до крыльца и на прощание сказал, понизив голос:

— Только уж ты, Костюха, тово... о чем говорили мы с тобой, никому ничего. А будешь себе товарищов подговаривать, делай также втихаря, сам понимаешь, военное дело, секретное.

— Будь в надежде, Савва Саввич, не проболтаюсь.

— То-то же. Да и с этой шпаной, што у Ваньки, не связывайся, знай свое дело и помалкивай. А Буланка можешь икрючить, обучай его, как своего.

ГЛАВА VI

В октябре 1917 года двадцать четыре делегата 1-й Забайкальской казачьей дивизии выехали из Тернополя в Киев на общеказачий фронтовой съезд.

В числе делегатов был и Егор Ушаков. Вместе с ним от 1-го Аргунского полка ехали казаки: Варламов, Исаков и Федот Погодаев, за боевые отличия вновь произведенный в урядники и награжденный георгиевским крестом 4-й степени. Грудь Егора также украшали два Георгия — 4-й и 3-й степени — и Две медали. Второй крест Егор получил за то, что в бою под Бродами захватил в плен немецкого офицера и живьем доставил его в штаб своего полка.

Сначала делегаты ехали в теплушках, но потом, хотя и с великим трудом, удалось пересесть в пассажирские вагоны.

При посадке густая серошинельная масса пассажиров, хлынувших к вагонам, разъединила наших делегатов, и в намеченный ими вагон попали лишь Егор с Исаковым, остальные расселись по двое и по трое в другие вагоны.

Егору удалось захватить среднюю полку, отдыхали на ней поочередно с Исаковым. Заматеревший, раздавшийся в плечах Егор лежал на полке, задумчиво смотрел на мелькавшую за окнами вагона бурую, заветошившую степь, на пробегающие мимо телеграфные столбы, полустанки, серые, разоренные войной деревушки. В вагоне теснота, накурено — не продохнуть, шум, гам, до слуха Егора из хаоса слитых воедино голосов доносятся отдельные слова, обрывки фраз:

— ...Хватит, навоевались.

— ...Вот и я говорю, какой же я теперь работник с одной-то рукой.

— А ну, подвинься, дед, убери мешок, ну!

«Как-то теперь там живет Настя,— думает Егор,— давно уже не получал от нее писем. Да и какие теперь письма, вон какая идет кутерьма кругом. Эх, Настя, Настя, доведется ли увидеть-то?»

Егор и не заметил, как уснул под мерное покачивание вагона, а когда проснулся, наступил уже вечер. За окнами синели сумерки, а в тускло освещенном фонарями вагоне стало еще многолюднее. На нижней полке рядом с Исаковым сидел бородатый солдат в черной маньчжурской папахе.

— Далеко едешь, земляк? — допытывался он у Исакова.

— В Киев, на съезд.

— На съезд! На какой съезд? Общеказачий? Та-ак. В счет чего же он собирается?

— Фронтовые дела решать.

— Фронтовые! В счет замирения, надо гутарить, а фронтовые и так надоели, я вот третий год...

— Эка беда какая — третий год, я вот уж восьмой чертомелю, да и то молчу.

— Вот молчать-то и не надо, Милай, требовать надо замирения, потому как...

Солдат не докончил, из дальнего края вагона донесся дружный гул голосов:

— Верна-а, правильно-о!

— ...-а-а-а...

— ...партия большевиков — да, да.

— Тише, товарищи!

— Позвольте.

— Нет, не позволю, и нечего нам очки втирать, большевики, они правильно говорят — долой войну!

— Правильно-о-о!!

— Га-а-а...

Солдат, разговаривавший с Исаковым, поднялся, положил на свое место вещевой мешок.

— Поблюди, земляк, чтоб никто не занял. А я схожу зараз послухаю, чегой-то там вроде антиресное гутарят.

В Киев приехали как раз к открытию съезда.

Егор с любопытством разглядывал делегатов. На фронте ему приходилось видеть донских казаков с их синими погонами и красными лампасами, а также уссурийских, амурских и семиреченских казаков с такими же, как и у забайкальцев, желтыми погонами и лампасами. Здесь же довелось посмотреть казаков всех двенадцати казачьих войск. Тут были и с красными, с желтыми и даже с голубыми — оренбургские казаки — лампасами. Понравилась Егору форма кубанских и терских казаков, их черные, с газырями на груди черкески. Из серо-зеленой массы армейских казаков выделялись рослые, щеголеватые атаманцы лейб-гвардейских полков. Восхищало Егора и то, что в этом зале казаки заседают вместе с офицерами. Даже в президиуме съезда, наряду с генералами, полковниками и штабными офицерами, находились казаки,— правда, было их там немного и все полные георгиевские кавалеры.

— Вот оно што, бра-ат,— восторженно шептал он, толкая локтем в бок Федота Погодаева,— видишь как, и мы вместе с офицерами голос имеем.

Федот скосил на Егора глаза, улыбнулся:

— Нашел чему радоваться.

— Как же не радоваться, Федот, ведь перемена же произошла. Мыслимое дело, нашему брату казаку вместе с полковниками дела решать! Разве было такое при старом прижиме?

— Ничего, паря, они нас и при новом прижмут, как лисицу в капкане. Согнут в бараний рог.

В то время как на съезде говорились зажигательные речи о верности казачьему долгу, о великом и святом деле спасения родины от анархии и беспорядка, о мире и благоденствии, которые якобы принесет России Учредительное собрание, за кулисами съезда шли тайные переговоры. Созданный на съезде исполнительный комитет уже установил полный контакт с «Советом союза казачьих войск» в Петрограде, а в Киеве с Центральной радой, возглавлявшей контрреволюцию Украины,

заручился поддержкой Антанты в борьбе против пролетарской революции.

А съезд продолжал свою работу. Егор к концу третьего дня, почти не слушая ораторов, повторяющих один другого, сидел, отбывая скучную обязанность, терпеливо ожидая перерыва.

После речи одного из заправил съезда, Богаевского, на трибуну поднялся эсер Дружинин, чернявый человек в очках, с острой бородкой. Излагая позицию своей партии по отношению к объединенному казачеству, говорил он так скучно, таким вялым, монотонным голосом, что своей речью усыпил чуть ли не половину съезда. Вместе с другими задремал и Егор.

* * *

Вечером в общежитие, где находился Егор с делегатами 1-й дивизии, пришли гости.

Под общежитие делегатам отвели женскую гимназию. В классной комнате, где поселились забайкальцы — двадцать человек 1-й дивизии, поместили десять амурских казаков и двенадцать семиреченских. Остальные забайкальские делегаты разместились на третьем этаже гимназии.

Пришедших было трое, все из 2-й Отдельной Забайкальской казачьей бригады: прапорщики Гавриил Аксенов, Прокопий Поздеев [1] и поселыцик Егора, батареец Игнат Козырь.

— Игнат! — обрадованно воскликнул Егор, много лет не видевший поселыцика.— Здравствуй!

— Здравствуй, поселыцик! — радостно улыбаясь, Козырь обеими руками потряс руку Егора.— Здравствуй, милок, живого видеть. Вот оно, брат, где пришлось встретиться!

— Как же я тебя на съезде-то не видел?

— Да я только вчера на него заявился. Отстал от своих на станции Казатин. Повстречал там поселыцика нашего Петра Уварова да сослуживца своего Гараньку Булдыгерова, Новотроицкой станицы. Вместе с ним всю действительную находились в первой батарее. Ну конечно, гульнули ради такого случая. Гаранька где-то спирту разжился целый чайник, мы с радости-то два дня не просыхали. Я не помню, как они меня

[1] Аксенов Гавриил Николаевич, впоследствии командир красных партизан в Забайкалье. В апреле 1919 года убит белыми в г. Хабаровске.

Поздеев Прокопий Иосифович, в 1919—1920 годах политкомиссар Красной Армии в Забайкалье. Умер в сентябре 1957 года в Москве.

и погрузили на товарняк. Очухался уж дорогой, да вот вчера и нарисовался здесь.

Взяв Игната под руку, Егор отвел его в сторону. Отыскав свободную койку, оба сели, и начались расспросы, рассказы. Их хватило бы на всю ночь, так как у обоих было много чего порассказать, но Козырь, вспомнив, зачем они пришли, заговорил о другом:

— Подожди, Егорша, мы еще с тобой поговорим и завтра и послезавтра, а сейчас давай о деле потолкуем.

— О каком деле?

— О таком. Ты какой партии придерживаешься? На большевиков, к примеру, как смотришь?

— Ну как, вообще-то я не против большевиков.

— Правильно, Егор. Это самая для нас подходимая партия. Ежели большевики власть возьмут, они в момент замирятся с немцами и все пойдет как по маслу. А тут, я так понимаю, нас затем и собрали, чтобы на большевиков науськать, а на кой нам черт такое дело, ить верно?

— Может быть, и так. Ты вот мне что скажи, где это ты насобачился так: и в партиях стал разбираться, и разговаривать как студент.

Козырь, улыбаясь, разгладил кулаком усы, полез в карман за кисетом.

— Насобачишься, брат, как послушаешь добрых людей. Закуривай, махорки-то я у Булдыгерова разжился, вахромеевская, братец ты мой, первый сорт, давно такой не куривал. А насчет партиев этих всяких так дело было. На отдыхе мы стояли под Бердичевом. Мы со Степкой Ляховым попали на фатеру к рабочему, фамилия ишо у него чудная — Рябокляч. Книг у него полно всяких, сам сморчок, смотреть не на что, а как зачнет читать, бывало, вечером да объяснять, так откуда што и берется. Ох и башка-а, и так-то он все распетрошил нам про большевическую партию, что я теперь оберучь за нее ухватился. Даже и записался бы в большевики, кабы грамотный был.

Козырь сожалеюще вздохнул, притушил самокрутку о подошву сапога.

— А тут на съезде не утерпел-таки: вижу, прапорщик наш забайкальский Аксенов, во-он сидит у окна на койке, на тунгуса походить, агитирует казаков записываться в какую-то группу. Я пригляделся, послушал, вижу, группа эта тоже навроде большевической, на нашу сторону тянет, а раз так, взял да и записался. Ишо со мной наших забайкальцев человек пять туда же вошли, а потом донских, кубанских, амурских да ишо

там всяких казаков человек тридцать набралось. За старшего избрали Автономова 1, хорунжего из донских казаков, а его помощником тоже наш забайкалец, прапорщик Поздеев. Ты как, запишешься?

— А что я там делать буду?

— Аксенов скажет, а вообще-то мы должны разъяснить казакам всю правду и не допускать, чтобы казаки против народной власти пошли, вот как. Согласен с этим?

— Конечно.

— Я так и знал, молодец, Егорша, идем к Аксенову.

Аксенов и Поздеев сидели в окружении казаков на койке Егора, и вокруг них уже разгорался спор. Одни охотно соглашались с Аксеновым и уже записались в «левую группу», другие, во главе с сотником 1-го Читинского полка Белокопытовым, возражали.

— На черта сдались нам эти группы самые, — горячился однополчанин Белокопытова урядник Чупров,— какой нам резон от всего казачества откалываться? Насчет свободы? Так нам еще какую свободу надо! Власть у нас и так выборная, атаманов, станичных доверенных, почетных судьев сами выбираем, земли у нас до черта, паши сколько кому угодно. Ну, правда, обмундировка для нас была обременительна, а теперь-то и она будет от казны, так какого же рожна нам еще желать? Царства небесного? Так оно и так придет, только живи на этом свете по-божески и после смерти аккурат в самый раз угодишь без пересадки в рай.

— В рай-то в рай, да как задом на край, так не возрадуешься, оборвешься и прямо в ад.

— Во-во!

— Ха-ха-ха!

— Тише вы, жеребцы, о деле надо говорить, а они только зубы скалить.

— Нет, в самом деле, нам это ни к чему.

— Это почему же ни к чему? Ты за всех-то не говори, у нас еще покедова своя голова на плечах держится.

Казаки заспорили; сотник Белокопытов, меряя Аксенова ненавидящим взглядом, сощурился в презрительной улыбке, цедил сквозь зубы:

— М-да, напрасно затеваете, прапорщик, всю эту канитель. Не поймать вам казаков на эту явно большевистскую удочку.

[1] А. С. Автономов, в дальнейшем главком Кубано-Черноморской Красной Армии, умер в 1920 году.

— Почему на явно большевистскую?

- Потому что вы, прикрываясь «левой группой», тщетно пытаетесь протащить на съезде большевистские идейки. Натравливаете казаков против мероприятий съезда, толкая их на путь измены родине.

Белокопытов говорил, все более багровея от злобы; слушая его, Аксенов чуть приметно улыбался. Стоявшие и сидевшие вокруг них казаки притихли, с любопытством наблюдая за спором, разгоревшимся между двумя офицерами. Егор, впервые видевший Аксенова, сразу же почувствовал к нему симпатию и с удовольствием отметил про себя, как в этом споре прапорщик побивает сотника.

— Теперь у многих недалеких людей,— говорил Аксенов,— стало модным в спорах на политическую тему, за неимением веских аргументов, обзывать противников большевиками. Но это, господин сотник, неубедительно, да и... неумно.

— Вы это на что намекаете, прапорщик?

— На то, что все мы видим ежедневно.

— Меня это не касается, я говорю о ваших действиях на съезде, и не без-до-ка-за-тельно!

— А что вы мне доказали? То, что мы, «левая группа», против предложения Богаевского об отозвании казачьих частей с фронта на Дон. Это, по-вашему, измена родине? А то, что он предлагает, не измена? Патриотизм! Стало быть, для успешного ведения войны надо оттянуть с фронта полумиллионную армию казаков? Хм, наводит Богаевский тень на ясный день, и находятся простачки, верят ему. Дальше, зачем это, спрашивается, понадобилась концентрация всех казачьих частей на Дону? Против каких таких беспорядков призывают нас на борьбу? Против митингов, что рабочие устраивают, демонстраций? Так это же их право, у нас теперь свобода слова, печати, собраний.

Аксенов уже не мог говорить спокойно: худощавое лицо его пятнами крыл румянец, зло искрились умные серые глаза. Воодушевленный поддержкой, которую он чувствовал и во взглядах и в репликах окружавших его казаков, он говорил все более страстно, взволнованно:

— Вам хочется вновь науськать казаков на рабочий класс! Не выйдет, господа хорошие, это вам не девятьсот пятый год, и казачество, трудовое казачество, уж не то, что нагайками полосовало рабочий люд.

Сотник рывком поднялся с койки и, еле владея собой, хрипел в ответ: . . . . . .

— Подделываешься, симпатию завоевываешь на всякий случай! Мы вас, таких...— И, не докончив, обернулся на своих казаков, движением бровей показал им на выход: — Пошли, ребята!

Пятеро казаков 1-го Читинского полка поднялись как по команде, двинулись следом за сотником.

Аксенов и Поздеев еще долго сидели, разговаривали с казаками, и перед уходом Поздеев объявил новым членам «левой группы» о намеченном на завтра групповом заседании.

ГЛАВА VII

Богатый новостями оказался следующий день. Первую из этих новостей услышали на утреннем заседании, когда председатель съезда Агеев зачитал письмо генерала Каледина. Атаман Всевеликого Войска Донского приглашал делегатов для продолжения работы съезда переехать в Новочеркасск.

Приглашение Каледина приняли охотно, без возражений. Да и чего же возражать, когда гостеприимный атаман любезно обещает обеспечить делегатов суточными, хорошим жильем и отличным питанием за счет своего войска.

После голосования объявили перерыв на десять минут, и делегаты потоком хлынули из зала, густые толпы их в момент заполнили просторное фойе, курительную, гардеробную и смежные с ними комнаты.

Войдя в фойе, Егор поискал глазами своих забайкальцев, большую группу их увидел в дальнем углу — там, где висела картина Васнецова «Богатыри». Подойдя к ним и закуривая из кисета однополчанина Варламова, прислушался к разговору земляков. Говорил урядник Чупров:

— Вот это атама-ан, не то что наш скупердяй Кияшко! Полную плепорцию нам сулит. И жить будем в графских домах, и кормить будет как князей, я так полагаю, что перед обедом и угощение будет, по чарке на брата.

— Оно бы и неплохо, а то эта капуста опротивела, как цыгану теща.

— Баламуты чертовы, и больше ничего! — Широкоплечий рыжебородый казак 2-го Аргунского полка ожесточенно плюнул на пол, растер плевок ногой.— Надо о деле речь вести, а у них одно на уме — харчи. Голодной куме только хлеб на уме. .

— Ты о чем? Насчет миру, што ли?

— О чем же больше-то? Ведь это же беда, который месяц слышим: революция, свобода, а война как шла, так и идет, ни конца ей, ни краю не видно. До каких же пор это будет?

— Это-то верно...

— Вот бы о чем сказануть на съезде-то...

— В Новочеркасске об этом скажем.

— Не ты ли выступишь?

— Кончай курить, братцы, звонок.

Отдельно от всех, под сенью раскидистого фикуса, стояли и тихонько разговаривали два офицера: забайкалец прапорщик Поздеев и хорунжий Войска Донского Автономов. Загорелое, обветренное лицо хорунжего, крутой волевой подбородок и смелый, пронизывающий взгляд его серых глаз говорили о том, что это один из тех боевых рубак офицеров, которых любят казаки, но не всегда жалует высокое начальство. После того как фойе опустело, Поздеев также двинулся следом за делегатами в зал. Автономов же зашел в гардеробную, проворно надел шинель, папаху и, на ходу застегивая портупею шашки, отправился в город.

В этот день вечернее заседание отменили и объявили, что будет производиться посадка на поезда. К общежитию шли, как всегда, строем, а на этот раз даже с песнями.

Что-о-о на горке ка-алина,—

запевал высокий чернобровый уссуриец. Песня эта была широко известна казакам всех войск, а поэтому и припев ее дружно подхватили несколько сот голосов:

Ка-а-алина, калина-а, чубарики-чуб-чики, калина...

Шагая в одном ряду с Варламовым, Погодаевым и прапорщиком Аксеновым, Егор видел, что в городе сегодня многолюднее и оживленнее, чем обычно. Среди частной публики много рабочих, один из них, молодой, в черном, до блеска замасленном ватнике, что-то кричал казакам, размахивая сорванной с головы кепкой, но за грохотом ног, гулом поющих голосов слов его никто не расслышал.

Вот и общежитие, короткая команда:

— Колонна-а-а, стой! Р-р-разойдись! – И делегаты с шумом, с гамом устремились по лестнице и коридорам в свои общежития.

На втором этаже Егор увидел прапорщика Поздеева, он стоял на лестничной площадке, облокотившись на решетчатые

перила. Ответив на приветствие своих земляков — забайкальцев, Поздеев подошел к Аксенову и, взяв его под руку, отвел в конец коридора.

— Новость, Гавриил Николаевич,— радостно улыбаясь и почему-то понижая голос, сообщил он Аксенову.— В Петрограде большевики организовали восстание, власть уже в руках рабочих, Временное правительство арестовано, Керенский сбежал.

Скуластое, монгольского типа лицо Аксенова расцвело в улыбке.

— Вот это здо-о-о-рово! Где слышал-то?

— Автономов был в городе, там — в комитете большевиков — ему и рассказали обо всем. Вот какие дела-то. И здесь тоже все на ниточке держится, идут аресты, большевистские газеты конфискованы, а на заводах митинги, рабочие бастуют.

— Здо-орово, здорово, наверно, и переезд наш в Новочеркасск сорвется?..

— По-видимому, нет. Заправилы наши намерены переезжать, а рабочим-то за каким чертом нас задерживать? Усилить здесь контрреволюцию? Нет, Николаевич, эшелон с делегатами из Киева выпустят беспрепятственно, а от комитета большевиков по линии дано указание задерживать эшелон на некоторых станциях, чтобы казаки во время этих остановок могли узнать всю правду о событиях в Петрограде, понял?

— Чего же тут не понять? Правильно и поступают.

— Для верности Автономов предлагает и нам с тобой выехать немедленно на эти станции, проверить, что и как, а если понадобится, то и помочь товарищам приготовиться к встрече эшелона.

— Немедленно, говоришь, хм.— Аксенов, не торопясь с ответом, достал из кармана шинели пачку папирос, раскупорил ее, протянул Поздееву: — Закуривай асмоловских, а насчет поездки... я тут с ребятами собрался сегодня... ну да ладно, раз ехать, так ехать, какие могут быть разговорчики.

— Ну и хорошо.— Поздеев, чиркнув спичкой, прикурил, протянул огонь Аксенову.— Тогда я сейчас разыщу Павла Гуменного, позову его с нами. У него чуть ли не на каждой станции есть свои люди. Ты казакам-то пока что не говори, собирайся быстрее.

— Какие у меня сборы? Одна шинель, да и та на мне, нищему собраться — подпоясаться.

Не более как через час со станции в сторону Дона вышел паровоз с одним товарным вагоном. В вагоне ехали пять рабочих ремонтной бригады и вместе с ними прапорщик Поздеев, Аксенов и кубанский казак Павел Гуменный.

А к вечеру двинулись на станцию и все делегаты. Шли колоннами в порядке войсковых фракций. Впереди, под бравурные звуки духового оркестра, юго-восточная фракция. Первыми в ней двумя большими колоннами шли донские казаки. За ними с песнями следовали кубанцы в малиновых бешметах и терцы в черных, с алыми башлыками за спиной.

Второй шла дальневосточная фракция, состоящая из желтолампасных казаков Забайкальского, Амурского, Уссурийского и Сибирского войск. Командовал колонной боевой забайкальский офицер — есаул Золотухин. Подкрутив русые усики и лихо заломив на затылок серую папаху, он шагал сбоку, зычным голосом подсчитывал шаг:

— Ать, два, три, с левой!

— Кр-репче ногу! Ать, два, три!

Сегодня казакам повезло: перед отправкой на станцию их не только угостили хорошим ужином в гарнизонной офицерской столовой, но и выдали по чарке водки. Поэтому настроение у них поднялось, и на предложение Золотухина «запевай» согласились охотно, забыв на время все тяготы, невзгоды войны, тоску по дому. Запевалой и здесь оказался Игнат Козырь. Прокашлявшись, он, не сговариваясь с казаками, затянул широко известную в то время песню про ворона:

Знаю, ворон, твой обычай,
Ты сейчас от мертвых тел...

И сотни голосов подхватили, грохнули под левую ногу!

Ты с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел...

Шествие замыкала юго-западная фракция. Эта фракция, в отличие от дальневосточной, пестрела разнообразием казачьих лампасов. Тут были и желтые семиреченских и астраханских казаков, и красные уральских, и голубые оренбургских.

В хмурой истоме истекал день. Краем глаза видел Егор алое пламя зари на западе и окрашенную зарей понизу мохнатую, темную тучу, что медленно надвигалась на город с юга. И еще видел Егор озабоченных, спешивших куда-то людей, густые толпы их собирались на площадях, по улицам двигались войска. Мимо, навстречу колоннам делегатов, торопливо прошли две роты юнкеров. Следом за ними на рысях прошли три сотни донских казаков. И, глядя на все это, Егор смутно догадывался, что в городе происходит что-то неладное.

В пассажирских вагонах делегаты разместились по-довоенному просторно: по одному человеку на спальное место. Забайкальцы чуть не все поместились в шестом вагоне. Пробил третий звонок, загудел паровоз, и поезд плавно тронулся, медленно набирая скорость. Мимо окон вагона поплыли слабо освещенные темные силуэты станционных построек, купы тополей, каштанов, желтые в сумрачной мгле фонари, чугунные арки моста через Днепр.

Казаки, собираясь кучками, дымят махоркой — ее сегодня выдали по две осьмушки на человека. И снова среди них нудные, как осенний дождь, разговоры все об одном и том же: скоро ли конец войне, скоро ли по домам и так далее. Оживление внес Игнат Козырь: во время короткой стоянки на каком-то полустанке он выскочил на перрон и там услыхал от рабочих о событиях в Петрограде. Вместе с Козырем там были казаки и из других вагонов, поэтому новость эта в момент облетела весь эшелон.

В шестом вагоне казаки до отказа заполнили купе, где находился Козырь, плотной массой забили коридор, заняли все ближние, средние и верхние полки. Красный от возбуждения Козырь рассказывал:

— Ночесь все и произошло. Рабочие, с какими мы разговаривали, и газетку нам показывали, где об этом пропечатано. Советская власть объявлена. Д-а, братцы, теперь-то уж всамделишная революция. Рассказывали они, как и министров арестовывали, сначала-то они не сдавались, заперлись в царском дворце и охрану вокруг с пулеметами выставили, всё офицерья с юнкерами. Битвы с ними было немало, потом уж с какой-то судны ка-ак ахнут прямо по дворцу и — в атаку. Ну конечно, каких-нибудь час-полтора, и готово дело. Раскидали всю охрану, многих побили и министров прямо тепленьких взяли голыми руками.

— Дела-а!

— Теперь куда же их, на распыл?

— Судить будут.

— В одном сплоховали, — продолжал Козырь,— самого-то главного, Керенского, проворонили, сбежал, подлюга. Видит, дела-то плохи, он и сообразил, холера его забери,— в бабскую одежу нарядился и сиганул из дворца.

— В мамзелю нарядился министр!

— Ха-ха-ха.

— Вот это прокурат, небось и шляпу с пером нацепил, и зонтик, как полагается?

- Жалко, Чегодаева нашего не было там, уж он бы не пропустил никакую мамзелю. Он на них дока.

— Так, значит, и смылся?

— Как в воду канул. Ему што, только бы из дворца-то выбраться, а там в автомобилю — и поминай как звали.

Сообщение Козыря подтвердилось на первой же остановке. Железнодорожники станции Хмара отказались пропустить поезд дальше, машинист и вся поездная бригада исчезли как дым в утренней синеве. Остановка длилась около двух часов.

Пока руководители съезда улаживали создавшийся конфликт при содействии начальника местного гарнизона, добивались пропуска, казаки из всех вагонов хлынули к вокзалу, в момент заполнили просторный зал ожидания и буфет. Большая толпа их собралась на перроне, где молодой рабочий, взмостившийся на пустой ящик около фонаря, читал им большевистскую «Правду». Несколько экземпляров «Правды» и «Нашего знамени» гуляло по рукам казаков. Одну из газет удалось заполучить Козырю, и он впервые увидел в ней портрет лобастого человека в штатском костюме и при галстуке. Досадуя на свою неграмотность, Козырь поискал глазами кого-либо из знакомых грамотеев и, увидев в толпе Егора, поспешил к нему.

— Егорша, ты ведь, кажись, маракуешь по-печатному-то? Прочитай-ка, кто это на натрете-то?

— Да это же Ленин.

— Ле-е-нин! — Козырь слыхал о Ленине, вот и сегодня о нем вспоминали часто, но видеть главного руководителя большевиков Игнату еще не доводилось, и он, тормоша Егора за рукав, говорил, заглядывая поселыцику в глаза: — Вот он какой, оказывается, а? Ведь вон каких делов натворил, а по виду-то самый обнакновенный человек, по одеже-то навроде как купеческого звания. Накиких отличиев, смотри...— Козырь уже поднял левую руку, намереваясь показать Егору портрет поближе, да так и ахнул от изумления: газеты в руке не оказалось.— Это что же такое! Матери твоей сто чертей! — Плюнув с досады, Козырь окинул взглядом близстоящих казаков.— Только что держал в руках и даже не заметил, как он ее спроворил! Штоб ему, собаке, подавиться этой газетиной! Ох, узнать бы, кто это обработал, уж я бы ему показал кузькину мать.

Егор, смеясь, подзадорил поселыцика:

— А што бы ты с ним сделал?

— Што сделал! — сердито округляя глаза, повысил голос Козырь.— Да я его, гада, незаостренного в песок воткнул бы

кверху брыком! Знай, подлюга, наших. Вить обидно же, Егорша, ну сам подумай, я за эту газетку целую пригоршню махорки отвалил амурскому казаку, и на тебе, изволь радоваться, махорки лишился и газетой не воспользовался. Эка, паря, народ-то пошел какой сволочной, прям-таки на ходу подметки рвут.

Теперь уже все делегаты съезда были в курсе петроградских событий. Поезд двинулся дальше глубокой ночью, но, несмотря на поздний час, в шестом вагоне, как, впрочем, и в других, долго не смолкали разговоры.

— Ну, братцы, теперь раз рабочие дорвались до власти, то и войне вот-вот конец.

— Большевики, они уже давно за мир ратуют, а раз власть в ихних руках теперь, то, наверно, от слов и к делу перейдут?

— Замирятся, ясное дело.

— Мир-то мир, а что дальше будет? Вопрос!

— Да уж хуже теперешнего не будет.

— Это еще как сказать, как бы рабочие-то девятьсот пятый год нам не припомнили.

— Этого не может быть, мы в тех делах не участвовали, да и вопче, не все же казаки были каратели. У меня другое с ума нейдет,— слышали небось, что в газетах пишут большевики: «Власть рабочим и крестьянам», а про нас, казаков, ни гугу.

— Да, да, и оратель из рабочих так же высказывался на станции-то.

— Значит, на нас ноль внимания, это одно дело. Второе: равенство, землей наделить мужиков, это как? А так: возьмут нашу землю да и наделят ею крестьян, выравняют нас с мужиками, вот вам и равенство.

— Не может этого быть.

— Это, брат, слепой сказал — посмотрим.

— Брехня это. Землю для мужиков возьмут у помещиков да кабинетскую, нас не обидят.

— Посмотрим.

— Много ли ее, земли-то, у помещиков?

— Хо, сказал тоже! Побольше, чем у нас, у них, брат, земли великие тыщи десятин, хватит мужикам.

— Помещики — это другое дело, а ежели нас затронут, так мы им такую землю покажем.

— Верна-а-а.

— Га-а-а-а...

Уснул Егор далеко за полночь, а разговоры в вагоне все еще продолжались. Сквозь дрему до слуха его доносились слова «Ленин», «революция», «земля», «рабочие», но смысл этих слов уже не проникал в сознание.

ГЛАВА VIII

Съезд в Новочеркасске открылся утром 10 ноября в торжественной обстановке. Вместительный зал городского театра был заполнен до отказа. Места в ложах и передних рядах партера заняли гости: члены организованного Калединым «Юго-Восточного правительства», члены «Комитета спасения родины и революции», местная знать, фабриканты, именитые купцы, духовенство, генералы и офицеры. Новые лица появились и в президиуме съезда. За столом в переднем ряду сидели: атаман Войска Донского генерал от кавалерии Каледин, генералы Алексеев, Лукомский, командир туземной дивизии князь Багратион. Из генералов Забайкальского войска в президиуме заседал бывший командир 1-го Нерчинского казачьего полка барон Врангель. Теперь уж в чине генерал-лейтенанта, барон пришел на съезд в полной парадной форме с густыми серебряными эполетами на плечах и при всех регалиях.

С докладом о петроградских событиях выступил генерал Богаевский.

Слушали Богаевского внимательно, долго и шумно аплодировали ему, когда он заявил съезду, что «захват большевиками власти — явление безусловно временное, порожденное случайным стечением обстоятельств» и что «дружными усилиями великого народа многострадальной России большевизм будет сметен с лица земли, и почетную роль в этом деле сыграет верное своему долгу, родине и присяге наше славное, непобедимое казачество».

Свою речь Богаевский закончил тем, что повторил предложение, сделанное им в Киеве: немедленно отозвать все казачьи части на Дон и Кубань, с той, однако, разницей, что в Киеве он предлагал отвести казаков на отдых, здесь же прямо заявил: «Из сведенных воедино казачьих частей мы создадим сильную армию и этот мощный боевой кулак в нужную минуту обрушим на голову большевизма».

— Ишь куда гнет, подлюга! — Игнат Козырь толкнул локтем сидящего рядом Егора, заговорил хрипловатым, злобным шепотом: — На рабочих хочет нас натравить, как в девятьсот пятом году. Да-а, шибко нам это интересно! Не-ет, господин Богаевский, извини подвинься, а нам это вовсе ни к чему.

Егор согласно кивнул Козырю головой. Оглянувшись, он видел хмурые, недовольные докладом лица и других казаков, а в восторженном гуле овации, которую устроили Богаевскому делегаты, он явственно слышал злые выкрики станичников в адрес оратора.

Начались прения. Первым выступил делегат Войска Донского Попов, статный, красивый полковник лейб-гвардии атаманского полка. Появление Попова на трибуне сидящие в первых рядах партера и в ложах встретили аплодисментами. Польщенный таким приемом, полковник приложил руку к сердцу и, мило улыбаясь, склонил голову в почтительном полупоклоне.

— Я полностью поддерживаю и одобряю точку зрения генерала Богаевского,— начал свою речь Попов. Обладая красивой наружностью, полковник Попов был и неплохим оратором. Поэтому-то речь его, в которой он очень красочно описал все те ужасы, голод и разруху, которые несет с собой большевизм народам России, слушали с большим вниманием. Свое выступление Попов закончил обращением к казакам. Тряхнув черными кудрями, он картинно вскинул голову и, выбрасывая правую руку вперед, воскликнул: — К вам обращаюсь я, вольные сыны тихого Дона, Кубани и Терека! Далеких просторов Сибири и Дальнего Востока! Горных долин Урала, оренбургских и астраханских степей! В годину тяжких испытаний мы, встав под наши овеянные порохом победные знамена, бросим боевой клич: «На конь, казаки, к оружию!» Все, от мала до велика, поднимайтесь на защиту священного отечества нашего. Не посрамим чести славного казачества, огнем и мечом сокрушим мятежные банды большевиков, несущих с собой смерть, грабежи и насилия. Защитим от их нашествия наши города, станицы и села. И только тогда вложим шашки в ножны, только тогда вернемся к родным хуторам, когда на территории необъятной России не останется ни одного очага коммунизма!

Зал так и грохнул аплодисментами, даже Каледин похлопал Попову, и суровое лицо донского атамана впервые в этот день озарилось улыбкой.

Попов уже сошел со сцены в зал, на трибуне появился новый оратор, но аплодисменты в адрес полковника не стихали. Вместе с приветственными криками: «Браво, полковник!», «Браво! Ура-а!»—к Попову летели букеты цветов. Какая-то пожилая, солидная дама в черном плакала, прикладывая к глазам батистовый платочек. Седовласый старик генерал встал с кресла, выйдя навстречу Попову, заключил в объятия и трижды облобызал бравого полковника.

Прения продолжались. Ораторы сменяли один другого, словно состязались в красноречии, произносили зажигательные речи и все призывали к одному — к священной войне с коммунизмом. А дружные аплодисменты передних рядов партера подливали масла в огонь.

Почти все выступавшие в прениях ораторы выразили такое единодушие и готовность к борьбе с пролетарской революцией, что Богаевский отказался от заключительного слова.

Председательствующий Агеев, считая вопрос решенным, зачитал проект резолюции, в одном из первых пунктов которой говорилось: «Для успешной борьбы с мятежными бандами большевиков съезд признал необходимым сосредоточить казачьи части всех войск на Дону и Кубани под единым командованием, подчиненным Юго-Восточному правительству».

Едва Агеев кончил читать, как в задних рядах партера раздался звонкий голос Поздеева:

— У меня есть предложение!

Головы всех делегатов как по команде повернулись, и тысячи глаз устремились на дерзкого прапорщика. Сверкнув стеклами пенсне, туда же посмотрел и Агеев.

— Что же вы предлагаете?

— Я предлагаю вниманию делегатов декларацию «левой группы» данного съезда!

— Декларация?.. Гм...— Агеев посмотрел на Каледина, затем на Богаевского, наконец решился: — Хорошо, зачитайте!

Торопливо шагая по узкому коридору, между рядами делегатов, Поздеев на ходу достал из нагрудного кармана гимнастерки бумагу и, поднявшись на трибуну, приступил к чтению. Это была декларация, выработанная вчера вечером членами «левой группы». Но прочитать Поздееву удалось лишь вступительную часть. Едва он произнес слова о «недопустимости отделения казачьих областей от Российской республики и захвата верховной власти войсковыми правительствами», как в зале поднялся невообразимый шум, выкрики:

— Доло-ой!!

— Большевики-и-и-!!

— Изменники!!

— Вон с трибуны!!

— Долой, доло-о-ой!!

— Дайте же сказать! — багровея от злобы и напрягая голос, пытался перекричать Поздеев орущую толпу.— Где же У н а с, свобода... слова? — Но слов его не было слышно.

Злобные выкрики сотен голосов, свист, топот ног слились в сплошной немолкнущий рев.

С минуту стоял Поздеев на трибуне, глазами, полными нескрываемой ненависти, смотрел на злобствующую толпу, откуда в него летели скомканные обрывки газет, апельсинные корки, гнилые яблоки; брошенный кем-то кусок ржавой селедки, ударившись о край трибуны, рикошетом отлетел в президиум, испачкав генералу Лукомскому рукав мундира. Он, брезгливо морщась, долго оттирал пятно носовым платком. Видя, что прочесть декларацию не удастся, Поздеев махнул рукой и, передав ее в президиум, сошел с трибуны в зал.

Красный от возбуждения, с горящими злобой глазами, шел он серединой бурно негодующего зала. Он шел, видя вблизи себя орущие, искаженные злостью лица, а в реве их голосов слышал проклятия и самую отборную ругань. Ему грозили кулаками, топали ногами, а какой-то молодой, безусый прапорщик даже пытался достать Поздеева шашкой. И только когда он дошел до своего места и сел, шум в зале понемногу начал стихать. Позвонив в колокольчик, Агеев призвал к порядку.

— Господа делегаты! — начал Агеев.— Я полностью разделяю ваш гнев и возмущение по поводу столь дерзкой выходки левых. А теперь, ввиду того, что эта их дек-ла-рация вами полностью отвергнута, я ставлю на голосование резолюцию, которую уже имел честь вам огласить.

— Позвольте! — вскочил со своего места Поздеев.— А почему не зачитали наши преложения? Мы требуем!

— Протестуем, зачитать! Требуем! — дружно поддержали Автономов, Аксенов и Гуменный. К ним присоединились все члены «левой группы» и не менее сотни других казаков.

— Зачитать, зачита-а-ать!!

— Не имеете полного права так поступать! — громче всех кричал Козырь.

Но протестующие голоса «левых» и сочувствующих им казаков потонули в новом взрыве возмущения и в неистовом реве большинства делегатов. Декларация «левой группы» так и не была зачитана, и большинством голосов была принята резолюция, предложенная съезду Агеевым.

На утреннем заседании было зачитано сообщение Донского войскового правительства, в котором говорилось, что в Ростове и Таганроге начались беспорядки, а на помощь забастовщикам и мятежным бандам большевиков идут суда Черноморского флота. Часть этих судов встала на якорь вблизи устья Дона, а четыре мелководных судна — тральщики «Роза», «Яков»,

«Федор Феофане» — и линейный крейсер «Капитан Сакен» идут Доном к Ростову.

После обмена мнениями снова выступил полковник Попов. Встреченный аплодисментами офицеров и членов президиума, Попов внес предложение: немедленно открыть военные действия против большевиков Ростова, Таганрога и моряков Черноморского флота, а в дальнейшем начать наступление на Москву и Петроград. Кроме того, Попов предлагал немедленно захватить Донскую и Волжскую флотилии, чтобы запереть от большевиков бакинскую нефть и кубанский хлеб.

И снова выступил Поздеев. Он предлагал: не открывать военных действий, а к морякам послать делегацию, чтобы уладить конфликт с ними мирным путем.

Волей-неволей пришлось Агееву оба эти предложения поставить на голосование, и случилось неожиданное: делегаты съезда — казаки, а их оказалось большинство — проголосовали за предложение Поздеева. Не знали руководители съезда, что декларация «левых», отпечатанная типографским способом, еще вчера вечером гуляла по рукам казаков — делегатов съезда, потому-то и произошел раскол, предложение Попова провалилось. Еще более накалилась обстановка; после голосования зал загудел от хлопков и радостных выкриков казаков:

— Волынинство-о-о!

— Наша взяла-а-а!

— Правильно-о!

В первых рядах петушиным выкриком взметнулся мальчишеский звонкий голос:

— Неправильно! — Тот самый прапорщик, который вчера пытался пихнуть Поздеева шашкой, сорвался с места, кричал, размахивая руками: — Голосовали неправильно! Кто просил этого урядника вмешиваться в подсчет голосов?

— Переголосовать, переголосова-а-ать! — хором подхватили офицеры.

Снова в зале поднялся шум. Агеев, потрясая колокольчиком, тщетно пытался призвать к порядку. Однако, несмотря на шум и гам, Автономову удалось перекричать всех.

— Станичники! — кричал он, обращаясь к казакам.— Раз не верят нам, я предлагаю всем, кто голосовал за наше предложение, покинуть этот зал! Пусть подсчитывают, сколько голосов останется! Айда, братцы!

Казаки разом вскочили со своих мест, двинулись к выходу. В первый раз за все время шли к общежитию без строя, кому как вздумается. В серошинельной массе их беспорядочно

смешались синие, красные, желтые и голубые погоны всех войск. Разговор между ними кипел не переставая.

— Здорово получилось у нас, а? — Донской казак с пламенно-рыжим чубом трогал локтем шагающего рядом с ним Егора, заглядывая в глаза ему, скалил в улыбке желтые от курева зубы.

— Здорово! — соглашался Егор.— Агеев аж побледнел от злости.

— Вот бы так же выступить против войны — и конец ей.

— В Петрограде-то уж выступили.

Эти разговоры не затихали до самого вечера и в общежитии, так как на заседания съезда решили не ходить. А вечером, когда в общежитии загорелся свет, Игнат Козырь принес казакам очередную новость; он один из всей «левой группы» остался на съезде до конца — по поручению Поздеева (сказал он Егору),— и вот теперь, запыхавшись от быстрой ходьбы, он бомбой влетел в общежитие.

— Новость! — только и смог он вымолвить, в изнеможении опускаясь на койку.— Фу ты черт... упарился...

— Чего такое? Что случилось? Говори живее, холера! — тормошили Козыря со всех сторон.

— Подожди, фу ты... черт... съезд закрыли.

— Закрыли?

— Как закрыли?

— Чего мелешь, пустозвон непутевый?

— Закрыли совсем.— Козырь наконец отдышался, заговорил более спокойно: — При мне Агеев объявил, что съезд закрывается, никаких делегатов к матросам посылать не будут и эту... как ее называют... забыл, вычерпали до дна.

— Вот тебе и делегация!

— По-своему таки сделать хотят!

— А вычерпали-то чего?

— Перепутал, Козырь, Агеев, наверное, сказал, что повестку дня исчерпали?

— Не один ли черт — исчерпали или вычерпали. Но главное-то я ишо не сказал, ребят наших арестовали, вот штука-то!

— Каких ребят?

— Хорунжего Автономова и нашего Аксенова.

— Ох ты, черт тебя забери!

— Что же делать-то теперь?

— Выручать надо как-то.

— Где уж там выручить, хоть бы сами-то ноги унесли.

— Слушай, а Поздеева?

— Вывернулся! Где-то достал шинель казачью, и вместе с Гуменным на станцию сиганули. Ищи теперь ветра в поле, они уже, наверное, десятую Казань проскребают. Да и не только Поздеев с Гуменным, а все казаки лыжи навострили. Семиреченцы уже давно умчались на станцию, а сейчас — как шел сюда, видел — амурские, уссурийские туда же поперлись. Надо и нам, пока не поздно.

— А что, ребята, и верно!

— Давайте живее на вокзал!

— Едем, раз такое дело!

* * *

На обширном перроне вокзала шумная, говорливая толпа пассажиров. Преобладают военные, в большинстве своем казаки — делегаты съезда. К каждому отходящему поезду устремлялись целые потоки пассажиров, поднимался невообразимый шум, гам, ругань, нередко доходящая до драки. И хотя многим удалось уехать, толпа на перроне не убывала, так как из города подходили все новые и новые пассажиры.

Уже глубокой ночью нашим забайкальцам удалось попасть на товарняк, груженный углем. Многим посчастливилось открыть люки и через них проникнуть внутрь вагона, расположиться там на грудах угля. Не повезло на этот раз Егору, в вагон он не попал, и, когда тронулся эшелон, пришлось ему с переполненной народом тормозной площадки карабкаться на крышу вагона. Оказалось, что и там уже набралось человек двадцать, и, к радости Егора, среди них несколько забайкальцев, в том числе Варламов и Козырь.

— Сюда давай, Егор! — узнав поселыцика, обрадовался Козырь и, ухватив Егора за рукав шинели, сунул ему в руки конец веревки: — Держись за нее. Это Варламов где-то раздобыл, мы ее одним-то концом укрепили за стойку, и теперь держаться за нее прямо-таки одно удовольствие.

Сидящие рядом казаки засмеялись, а один из них присовокупил ворчливо-шутливым тоном:

— Удовольствие куда лучше, сам Каледин так не ездил, как мы сейчас.

Вот уже остался позади мерцающий огнями город. Поезд нее увеличивал скорость, вагон качало, и, чтобы не свалиться с него, казаки крепко держались за веревку. Холодный ветер свистел в ушах казаков, их поминутно заволакивало густым едким дымом, и вместе с искрами на головы их сыпалась сажа,

5 В. Балябин
449

горячая зола, а с хмурого осеннего неба накрапывал мелкий дождь. Кутаясь в башлыки, казаки теснее прижимались друг к другу.

— Только дождя хорошего нам не хватало,— натягивая на себя башлык, пошутил усатый оренбургский казак,— чтобы сажу с нас смыло.

— Ничего,— отозвался на это Козырь,— хуже бывало в жизни, да пережили, а уж одну-то ночь, куда ни шло, перетерпим. Зато Каледину досадили, ему сегодня и в мягкой перине сна не будет от злости.

Так неожиданно для Каледина и его сподручных завершился, общеказачий фронтовой съезд. Рухнул его план объединить под своим командованием все казачьи войска и начать победное шествие на Петроград и на Москву по маршруту, который он' наметил и уже провозгласил: Новочеркасск — Воронен? — Тамбов — Москва.

ГЛАВА IX

Возвратившись с общеказачьего съезда, делегаты-забайкальцы нашли свою дивизию в районе города Проскурова. 1-й Аргунский полк находился в деревне Ярославке.

С тех пор как дивизия после тяжелых оборонительных боев под Тернополем отошла **Е** тыл, прошло три месяца. За это время дивизия пополнилась молодыми казаками, подошедшими из запасных сотен, бойцы ее отдохнули от боев и тревожной жизни в окопах.

А положение на фронтах становилось день ото дня хуже: дисциплина упала, усилилось дезертирство, а случаи неповиновения начальству принимали все более массовый характер. Казаки хорошо запомнили случай под Тернополем, когда соседствующая с ними 2-я Кавказская гренадерская дивизия отказалась признавать какое бы то ни было начальство. На полковом митинге солдаты этой дивизии заявили, что воевать они не хотят и уходят домой. И лишь после того, как в дивизию приехал сам верховный главнокомандующий Брусилов и поговорил с солдатами, они согласились принять своих командиров обратно и даже держать оборону, но пойти в наступление категорически отказались. То же самое произошло и в 1-м Сибирском корпусе, где возникший конфликт был также улажен Брусиловым. В этот период Брусилов был, пожалуй, единственным генералом, которого слушали и которому еще верили солдаты.

У казаков положение было несколько иное: у них не было случаев дезертирства, неповиновения начальству, однако в настроении их тоже произошли большие перемены. Особенно это было заметно в 1-м Аргунском полку. Три месяца отдыха не прошли для казаков бесследно: полковой комитет, которым руководили офицеры-большевики Фрол Балябин, Георгий Богомягков и Степан Киргизов, развернул в полку такую пропаганду большевистских идей, что аргунцы все до единого приняли сторону революции. Поэтому весть об октябрьских событиях в Петрограде аргунцы восприняли как радость и на полковом митинге по этому случаю без возражений приняли резолюцию «верой и правдой служить советской власти до конца своих дней».

Зимний вечер надвинулся на Ярославку, по одной из улиц которой шагал прапорщик Киргизов. Выполняя поручение партийной организации, он только что провел беседу с казаками третьей сотни о петроградских событиях и договорился с ними, чтобы завтра они пришли на полковой митинг.

Казаки, как всегда, слушали Киргизова охотно, задавали вопросы, не обошлось и без шуток. С последним пополнением прибыл в третью сотню казачок Усть-Уровской станицы Банщиков. Небольшого роста, щупленький, белобрысый Банщиков был простоват на редкость. Казаки сразу же раскусили простака, узнали, что стоит лишь назвать его Савелием Ивановичем, как он расплывается в довольной улыбке и готов будет уважить любую просьбу: спеть, сплясать камаринского, рассказать, как дрался с женой. Но чаще всего приходилось рассказывать Банщикову о том, как он женился, при этом он передавал такие подробности, что казаки покатывались со смеху.

Вот и сегодня, уже перед тем как расходиться, кто-то из казаков не утерпел, спросил Банщикова:

— Савелий Иванович, вот бы тебе в большевики поступить!

Грянул хохот, а Банщиков, не поняв насмешки, с самым серьезным видом посмотрел на говорившего, перевел взгляд на Киргизова:

— А что? Хоть грамоты нет, а смог бы соответствовать, только что не возьмут меня в большаки...

— Савелий Иванович! Чтоб тебя да не приняли! Не может быть этого!

— Чудак человек! Не видишь, ростом-то я какой? Ну?

И, обводя взглядом хохочущих казаков, повысил голос:

— Чего заиржали, жеребцы! Растак вашу мать! Не понимаете ни хрена, а туда же. Они потому и называются большаки,

что туда больших людей подбирают, навроде того как в гвардию, в атамановский полк. Вон Балябин-то какой верзила! А Богомягков? Да вот и его благородие взять, Киргизова, что— не правда?

— Верно, Савелий Иванович, верно!

— Ха-ха-ха-ха...

— В самую точку угадал!

— То-то же, а еще смеются, дураки! Да кабы у меня росту хватило, я бы уж давно в большаках ходил!

— Ха-ха-ха-ха...

— Савелий Иванович, расскажи-ка, как женился-то...

Улыбаясь в черные усы, Киргизов уже вышел на улицу, слыша, как в хате все еще хохотали казаки.

Сегодня Киргизов был помощником дежурного по полку, и вот теперь шел он, чтобы проверить посты патрулей, дневальных у коновязей и многое другое, о чем он но долгу службы обязан доложить дежурному есаулу Шемелину. А главное, надо ему побывать еще и в четвертой сотне и там поговорить с казаками о предстоящем митинге.

* * *

На митинг, устроенный полковым комитетом по случаю прибытия делегатов, казаки пришли все поголовно, из офицеров _ лишь прапорщики: Балябин, Богомягков, Киргизов и командир пятой сотни есаул Метелица.

За боевые заслуги Метелица первым из всех офицеров полка был награжден георгиевским крестом 3-й степени, а накануне октябрьских событий произведен в войсковые старшины. Приказ о повышении в чине Метелица не зачитал, как полагалось, перед строем сотни и по-прежнему ходил в есаульских погонах.

Митинг устроили на небольшой круглой поляне посреди села. Поляна эта полукругом врезалась в село, с одной стороны ее пересекала замерзшая речка, а от села, с трех сторон, обступали вишневые сады, сквозь оголенные ветки которых виднелись укрытые снегом огороды и соломенные крыши хат.

День с самого утра был хмурый, пасмурный. Небо заволокло серо-свинцовыми тучами, ветерок раскачивал вишни, но на поляне, защищенной садами, было тихо, редкие пушистые снежинки кружились в воздухе. Время подходило к полудню, а солнце еще ни разу не показалось из-за туч.

По сигналу полкового трубача сотни пришли на митинг

строем и по команде прапорщика Балябина «вольно» рассыпались по поляне. Густая серошинельная масса казаков сомкнулась вокруг зеленой тачанки, которую прикатила с собой вторая сотня, на ней и устроили трибуну. Когда к этой трибуне прикрепили алое полковое знамя, на нее поднялись делегаты съезда: Егор, Федот Погодаев, Варламов и члены полкового комитета. Балябин открыл митинг, предоставив первое слово Федоту Погодаеву.

Многое запомнил Федот из того, что говорили ему в полковом комитете, и даже записал свою речь на бумажке, подкинув туда и новых словечек, таких, как «социализм», «расслоение казачества», «инициатива» и пр.... Но, понадеявшись на память, Федот упустил из виду то, что выступать на больших собраниях ему еще не приходилось ни разу в жизни. И вот теперь, под множеством устремленных на него глаз, Федот оробел.

— Товарищи! — начал он, почувствовав, как в груди у него усиленно заколотилось сердце.— Казачий съезд собрался... это самое... по инициативе донского атамана, этого... как его... Каледина. Ну конешно, промежду казачества сразу же началось... это самое...— тут он думал сказать «расслоение» и, забыв, замолчал, силясь припомнить проклятое слово. На митинге стало тихо, как в пустом амбаре, и это еще более смутило незадачливого оратора. В полной растерянности сунул Федот руку в карман, но спасительной бумажки там не оказалось, забыл, что сам же положил ее за обшлаг шинели. Выручил его Богомягков, шепнув на ухо:

— Проще, Погодаев, люди-то свои, "расскажи им...

— А казаки, они, конешно, были против этой всякой контры,— заговорил наконец Федот и, подбадриваемый Богомягковым, рассказал про «левую группу», про раскол на съезде и с грехом пополам довел свою речь до конца. Сразу же за Погодаевым выступил Богомягков.

Был он лучшим оратором в полку, потому-то и притихли казаки, замерли, как в строю по команде «смирно».

— Товарищи! — начал Богомягков не очень громко, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону.— Вспомните, как совсем недавно на таком же полковом митинге мы с вами приветствовали зарождение в Петрограде новой, советской власти. Мы радовались тому, что наконец-то сбылись вековые чаяния передовых людей нашего общества, свершилась революция, Рухнул буржуазно-помещичий строй и власть перешла в руки Рабочих и крестьян. Новая, народная власть сразу же встала на защиту интересов людей труда, ее самые первые шаги, первые

декреты, подписанные товарищем Лениным, были о мире, о передаче помещичьих земель крестьянам, а заводов рабочим, то есть о том, чего и ждали все честные труженики, чего ждали солдаты и мы с вами, казаки. И вот в этот момент нас хотят послать на Дон к генералу Каледину, а для чего? Да для того, чтобы создать там мощную, чисто казачью армию из всех казачьих войск и нашими руками задушить молодую Советскую республику, утопить в крови революцию!

Чем дальше, тем громче и горячее говорил Богомягков. Красивое, чернобровое лицо его раскраснелось, карие глаза пылали от возбуждения. Он сорвал папаху с головы и, размахивая ею, кидал в притихшую массу казаков веские, хлесткие, как удары бича, слова. И когда заявил он, что ехать казакам надо не на Дон, чтобы воевать против рабочих, а к себе в Забайкалье и там установить советскую власть, митинг всколыхнулся радостным гулом, громовое троекратное «ура» эхом отозвалось за селом, в дубовой роще.

Речь Богомягкова так взволновала казаков, что после окончания митинга им не хотелось уходить. Казаки повеселели: вмиг забылись недавние бои, походы и все тяготы войны; отовсюду доносились шутки, смех, бурлил не переставая веселый говор, на языке у всех одно и то же:

— Домой, братцы, домо-ой!

— Навоевались, хватит!

— Покормили вшей!

— Хвати-ит!

— Домо-ой!

— Советскую власть устанавливать будем!

Никто и не заметил, как в четвертой сотне появилась гармошка. Развернув мехи, урядник Верхотуров присел на дышло тачанки, и шум многоголосой толпы перекрыла разухабистая трель двухрядки, казаки вмиг расступились, и около тачанки, на утоптанной снежной поляне, образовался широкий круг. Первым вышел на него Афанасий Суетин.

— А ну-ка, шире, грязь, дерьмо плывет! — воскликнул он и на носках, выворачивая икры, пошел по кругу.

Давно не было в полку такого веселья. К тому же Верхотуров так мастерски наяривал «подгорную», а Суетин так лихо отстукивал каблуками, что этой лихостью заразил всех казаков. Гармонист Верхотуров играл на пару с Каюковым из третьей сотни, а в кругу один другого сменяли плясуны. Те же, что не плясали, притопывали в такт музыке, подсвистывали и припевали.

В самый разгар веселья Богомягков объявил от имени полкового комитета, что сотня, чей плясун окажется лучшим, получит приз: ведро турецкого табака из трофейных запасов. После этого пляска вскипела еще сильнее, и между сотнями началось состязание. Из толпы то и дело слышались выкрики:

— Сыпь, Афонька!

— Крой по банку!

— Наша бере-ет!

— Не подгадь четвертую!

— Зарабатывай туретчины!

Плясуны старались вовсю. Суетин долго отстаивал честь четвертой сотни, но его переплясал урядник Томилин, но и тот продержался недолго. Много раз пальма первенства из одной сотни переходила в другую; наконец стало казаться, что приз отвоюет пятая сотня: плясун ее, Федор Зырянов, уже считал себя победителем, но тут появился новый соперник из шестой сотни — Марков. Уроженец Онон-Борзинской станицы, кавалер двух крестов, малорослый Николай Марков оказался залихватским плясуном. Он откалывал каблуками такую дробь и такие затейливые выкидывал коленца, что загнал Зырянова в тупик. Признав себя побежденным, Федор махнул рукой, сошел с круга, от взмокшей шинели его валил пар, инеем оседал на папахе и на соломенного цвета чубе.

По условиям состязания победитель должен пройти три последних круга с вызовом очередного соперника. И если на его вызов никто не выйдет, он имеет право на получение приза..

— А ну, кто желает, выходи! — весело гаркнул Марков и с легким приплясом пошел по кругу, слыша со всех сторон одобрительные выкрики:

— Молодец, Марков!

— Веселись, шестая!

— Покурим турецкого!

— Доказал пятой!

— Хватит ей призы срывать!

— А это мы еще посмотрим, хватит или нет! — раздался звонкий голос, и в тот момент, когда Марков пошел на третий круг, на площадку выскочил есаул Метелица. Он торопливо снял с себя шашку, шинель и, кинув их своим казакам, остался в одной гимнастерке и широченных синих шароварах с лампасами. Такие шаровары носили казаки-приискатели Аркиинской станицы, которых больше всего было в пятой сотне.

— А ну, Верхотуров, веселее! Э-эх, милая! — И, взмахнув руками, есаул плавно, едва касаясь носками земли, словно

доплыл по кругу. Против тачанки он как-то по-особенному ловко, обеими ногами враз, топнул, выстукал каблуками чечетку и пошел вприсядку. Плясал Метелица на редкость красиво и легко. Приседая, он словно отталкивался от земли, И, как резиновый мяч, отскакивал то в одну, то в другую сторону, успевая в воздухе хлопнуть ладонями по голенищам, затем ногой об ногу или, ухватив руками носок левой ноги, шел вприсядку на одной правой. Каких только номеров не показал казакам боевой есаул: то он, высоко подпрыгнув, кувыркался в воздухе через голову; то вертелся на одной ноге, и вздувшиеся пузырями штаны делали его похожим на запущенный волчок; то, опрокинувшись на спину, плясал на руках и ногах. Закончил свою пляску есаул тем, что прошелся колесом по всей площади.

И когда он, под восторженные крики всего полка, пошел по кругу, вызывая себе соперника, желающих состязаться с ним не оказалось. А в то время казак Пешков уже сбегал в сотню за торбой, потребовал с Богомягкова приз, заработанный командиром.

ГЛАВА X

Холодным декабрьским утром аргунцы покинули Ярославку, где пробыли около двух месяцев.

Солнце огромным красным шаром выкатилось из-за далеких плоских гор, когда казачьи сотни, колыхая пиками и равняясь на ходу, двинулись в поход. Настроение у казаков бодрое, лица веселые, шутка ли — поход! И не куда-то на фронт ненужной, бессмысленной войны, а домой, в этом все они уверены, в родное Забайкалье.

Улицы села, припудренные инеем сады наполнены шумом: скрежетом по снегу обозных фургонов, пулеметных тачанок, лязгом оружия, стремян и грохотом кованых копыт. И сквозь этот грохот слышны возбужденные, веселые голоса казаков:

— Прощай, матушка Украина.

— Дядя Охрим! До свиданья, не поминай лихом!

— А и хороши же здесь девчата!

— Губа-то у тебя не дура!

— Афонька, запевай!

Суетин, улыбаясь, разгладил кулаком усы и, тряхнув чубом, завел служивскую, из тех, что сложили казаки в эту войну:

По долинам карпатским и дальним
Проезжал молодой казачок.

И сотня, давно уже не певшая так охотно, дружно подхватила:

Он лицом своим бледным, печальным
Обращался порой на восток.

В Казатин дивизия прибыла в последних числах декабря. Ближайшие к Казатину деревни — Сестреновка, Лебедяны, Вернигородок, а также и окраины самого городишка до отказа заполнили казаки, набившись по четыре, по пять и более человек в каждую хату. Улицы запрудили обозными фургонами, тачанками, походными кухнями, фуражом и коновязями. В садах и в улицах заполыхали костры.

К великой досаде казаков, дело с отправкой по железной дороге оказалось не легким, вагоцов не хватало, приходилось ждать. Лишь 1-му Читинскому полку посчастливилось захватить два эшелона двухосных товарных вагонов. Читинцы сразу же загнали эшелоны в тупик, спешно принялись оборудовать теплушки для казаков и конские вагоны.

В комнатушке, которую хозяева отвели постояльцам, вместе с Егором поселились еще три казака: Молоков, Каюков и Гантимуров.

Вернувшись с вечерней уборки лошадей, Егор застал дома одного Молокова. При свете керосиновой лампы Молоков чинил порванную чересподушечную подпругу.

— А где ребята? — спросил Егор.

— Ушли. Каюков на кухню, за ужином, а Гантимуров на коновязь, дневалить.

— Побриться, что ли? Ты будешь?

— А чего же, налаживай бритву.

Попробовав на поясном ремне новую, с перламутровым черенком, найденную у убитого австрийского офицера, бритву, Егор попросил у хозяев горячей воды, приладил к лампе осколок зеркала и уже намылил щеку, когда в комнату к ним зашел Афанасий Суетин.

— Ушаков, живой ногой к Балябину.

— Чего такое?

— Не знаю.

— Ну ничего, подождет одну-то минутку, не с мылом же на морде бежать.

— Брейся живее.

Егор, наскоро побрившись, надел шинель, шашку, ушел. Суетин, большой любитель чужого табака, заговорил было о куреве, но Молоков уже взялся за бритву, мылил себе бороду.

Пришлось Афоне ждать, тешить приятеля разговорами. И когда тот кончил бриться, заговорил о главном:

— Закурим, Митрий, твоего, я, брат, сегодня обестабачел.

— Да у тебя вечно так! — Покосившись на Афанасия, Молоков вытер полотенцем бритву, убрал со стола мыло и лишь после этого вытянул из кармана кисет с табаком.— И до чего же привык ты на чужбинке прокатываться.

— Мне свой табак курить доктор отказал, для здоровья, говорит, вредно,— свертывая самокрутку, пошутил Афанасий и, прикурив от спички Молокова, заговорил серьезно: — Это меня сегодня пулеметчики разорили, мать их за ногу. Хотел одного угостить, а их, откуда ни возьмись, набежало целый взвод, ну и весь кисет у меня в один момент как ветром выдуло.

— А там, поди, и табаку-то было воробью на одну понюшку!

— Полнехонький кисет был, Митрий, ей-богу!

— Э-э, была у собаки хата!

Вскоре пришел Егор, огорошил вопросом:

— Хотите в гости пойти?

Молоков взметнул на Егора белесыми бровями:

— В гости, это куда же?

— В Читинский полк. Он, оказывается, на Дон идти налаживается, а казаки небось не знают ничего, вот и надо им мозги вправить. Я там, кстати, и с братом повидаюсь.

— Сходить-то можно бы,— согласился Молоков.— У меня там тоже знакомые есть, да отпустят ли?

— Отпустят. Балябин сам велит пойти туда. Из пятой сотни пойдут ребята.

— Меня с собой возьмите! — попросил Суетин.— У меня там станичников людно, поговорить есть с кем.

— Идем,— согласился Егор.— Беги к писарю Вишнякову, он тебе увольнительные выдаст на всех.

В комнате появился Каюков с тремя котелками гречневой каши. Пока Суетин ходил к писарю, друзья поужинали, и все четверо отправились к читинцам.

До станции шли вместе и, лишь разыскав эшелоны читинцев, разошлись по разным сотням. Егор шел мимо длинного ряда товарных вагонов, откуда уже доносился шум, людские голоса, густо дымили трубы железных печек. В некоторых вагонах еще стучали топоры, размеренно шаркали пилы, а в открытые двери виднелись работающие там казаки, при свете фонарей заканчивающие оборудование теплушек.

Егор подошел к большому костру, вокруг которого сидели, разговаривали, кипятили в котелках чаи человек пятнадцать казаков; поздоровавшись, спросил:

— Какой сотни?

— Третьей,— полуобернувшись, ответил бородатый казак.

— Мне бы Ушакова повидать...

Казак, в полушубке и серой папахе, только что подцепил концом шашки котелок, потянул его из костра; при последних словах Егора дрогнул, расплескивая кипяток, сунул его на землю и, бросив шашку, выпрямился.

— Егор! — воскликнул он, шагнув навстречу брату.

— Миша!

Братья обнялись, трижды поцеловались. Егор отступил на шаг и, держа Михаила за плечи, осмотрел его с головы до ног. Перед ним стоял широкоплечий, черноусый казачина, чуть пониже его ростом.

— Какой ты, брат, вымахал за три-то года! — радостно волнуясь, проговорил Егор.— Попадись на улице, и не узнал бы, пожалуй.

— Так вить уж старый казак, четыре года отломал, подобру-то увольняться пора бы.

— Что ж поделаешь. Я вот семь лет с коня не слажу, а конца-то все еще не видно. Письма-то хоть получаешь от мамы?

— Давно не было, не знаю, как она там, жива ли.

— Я тоже ишо летом, когда из-под Касторны отступали, получил от нее письмо, да вот и до теперь нету.

Когда порыв первой радости прошел, Михаил обернулся к казакам:

— Ребята, гость у меня дорогой, родной брат припожаловал.

Казаки, оборвав разговор, оборачивались на братьев, один из них предложил:

— Спрыснуть бы не мешало встречу-то.

— Всамделе, Ушаков,— поддержал другой,— какого же ты черта, давай загоним эти хреновины-то да и выпьем на радостях.

— Верно, садись, Егор, мы тут мигом.

Усадив брата на свое место у костра, Михаил ушел куда-то с двумя казаками, вернулся один, подсел к Егору.

— Сейчас ребята приволокут молочка от бешеной коровки.— Михаил, улыбаясь в усы, перемигнулся с казаками, пояснил Егору: — Осенесь австрийского офицера раздели мы убитого, аппарат был при нем фотографический, взяли, да ишо какую-то штуковину, на часы вроде похожа. Вертели мы ее, вертели и так и эдак, ни черта не поняли и забросили ко мне в седельные

сумы. А здесь показали жиду одному, и он нам две четверти самогону давал за обе эти штуки. Мы заартачились чего-то, три просили — не дает, на том и разошлись. А сейчас решили за ради такой встречи отдать за две, черт с ними. Вот ребята и потопали к жиду, скоро должны появиться.

И действительно, посланцы вскоре вернулись, принесли с собой цинковое ведро, чуть не доверху наполненное самогоном. Один из них, черпая из ведра кружкой, стал разливать самогон в чашки и консервные банки, которые поочередно подставляли казаки. Откуда-то появилась большая буханка хлеба, Михаил изрубил ее шашкой на полене и, собрав куски в конскую торбу, поставил к костру посредине круга:

— Вот и закусить есть чем, начнем!

Все подняли кружки.

— С гостем тебя, Ушаков!

— Спасибо.

— Доброго здоровьица всем!

— Дай бог не по последней!

Егор, принимая от Михаила кружку с самогоном, предложил:

— За скорую встречу с домашними!

— Давай бог!

— Поскорее бы...

Закусывая хлебом, Егор размышлял, как бы начать задуманный разговор, и не мог решиться, смущало то, что казаки еще были незнакомы, особенно не нравился ему горбоносый, звероватого вида урядник.

А самогон уже развязал языки казакам. Разговорившись, вспоминали родные станицы, рыбную ловлю на Аргуни, охоту на тарбаганов[1], а один казак рассказал, как он с отцом ловил капканами волков, травил их стрихнином.

Самогон в ведре убывал, и, когда допили остатки, Михаил предложил перейти в вагон, все охотно согласились и, захватив с собой котелки с кипятком, покинули догорающий костер.

В вагоне жарко. Казаки поснимали с себя полушубки, расположились кто где: одни улеглись на нары — головой на средину вагона, другие расселись вокруг печки на груде угля, на досках и поленьях: Егор, сидя около стены на перевернутом кверху дном ведре, рассказывал Михаилу о казачьем съезде.

— Я уже слыхал про этот съезд;— не дав и договорить Егору, заметил Михаил,— большевики, говорят, подстроили там раскол, им ить до всего дело есть. Я-то, сказать по правде, ни черта не разбираюсь в этих партиях всяких. Ты-то хоть чего-нибудь маракуешь?

[1] Тарбаган — сурок.

— Я за большевиков, за советскую власть.

— И думаешь, нам лучше будет при этой власти?

— Во сто раз лучше,— уверенно заявил Егор.— Да вот взять хоть бы такой пример: хозяин мой, Савва Саввич, вон какой капитал имел, под пашни целые пади захватил, скота полнехонек двор, коней табун, овец, а налогов платил одинаково с нами, это правильно? А теперь шалишь, брат,— много имеешь, много и платить будешь, а с нашего брата, бедняков, никаких налогов, ни податей, да ишо и вольготности всякие: учить будут за казенный счет, а наймешься в работники — хозяина заставят цену платить настоящую, как рабочему...

— Ну, это ишо куда ни шло,— согласился Михаил,— а дальше что?

— А то, что такого уж не будет, чтобы один богател, а другие на него работали. Для бедняков кооперативы устроят.

— А что это такое?

— Это... — Егор, на минутку замявшись, почесал за ухом.— Рассказать-то я не сумею, однако. Словом, так: в каждом поселке устроят такое всем обществом, где и торговля будет своя, а барыши в общий котел пойдут. Там и хлеб закупать будут у жителей, и машинами торговать. И все это для того, чтобы бедному люду легче жилось. В случае нужды так люди не к Савве Саввичу пойдут с поклоном, а в свой кооператив, там тебя и семенами выручат на посев, и коня приобресть помогут, даже и машину, ежели захочешь. Да-а, у вас, по всему видать, большевиками и не пахнет, потому и гонят вас, как стадо овец, куда-то к черту на кулички, на Дон.

Михаил удивленно посмотрел на брата, словно видел его впервые:

— Чудно ты толкуешь. Мы-то и рады бы не поехать, так вить приказывают.

— Мало ли что, нам тоже приказывают на Дон следовать, а мы поедем к себе, в Читу.

— В Читу-у! — Сидевший рядом с Михаилом чернобородый казак от удивления даже уронил из рук полушубок, к которому пришивал крючок.— Неужто правда? Ребята, слыхали? Аргунцы-то не едут с нами, в Читу хотят драпануть...

— Чего, чего такое?

— В Читу-у?

— Кто сказал?

— Не может быть...

Головы всех повернулись к Егору, с верхних нар, крякнув, спрыгнул горбоносый урядник, за ним последовали другие, около печки стало тесно от сгрудившихся вокруг нее казаков. И после того как Егор рассказал, что не только Аргунский, но и 1-й и 2-й Верхнеудинские полки пойдут не на Дон, а в свою область, вагон забурлил говором многих голосов:

— Раз они домой, то и нам домой надо!

— А может, враки все это?

— Тебя, станишник, не большевики подослали, случаем?

— Надо нам самим в энти полки понаведоваться.

— Пошлите меня.

— Чего вы взбулгачились,— начальнически строго заговорил горбоносый урядник,— мало чего хотят аргунцы, так их и пропустят домой, как же! Не дальше как до Киева доедут и за нами же повернут, следом. Это ведь приказ-то не кого-нибудь, а самого Главковерха.

В ответ негодующие голоса:

— Катись-ка ты со своим гладким верхом!

— И с Доном вместе!

— Чего мы там не видели!

— Дураки-то перевелись теперь!

В эту ночь долго не спали казаки, растревоженные сообщением Егора. Он уже лежал на верхних нарах, где Михаил устроил ему постель из шинели и конской попоны, а вокруг раскаленной доала печки кипел такой же жаркий разговор.

«Расходились читинцы»,— улыбаясь, думал Егор, очень довольный тем, что выполнил порученное ему дело и завтра такие вот разговоры возникнут во всех сотнях полка. Об этом же заговорил и Мишка, подсаживаясь к брату.

— Расшевелил ты... сотенщиков... моих,— бурчал он, кряхтя, с трудом стягивая сапог с левой ноги,— эдакие разговорчики... пойдут... дак и мы... повернем оглобли...

Сняв сапог, он выпрямился, продолжал все про то же:

— Война-то, брат, нам тоже шею намозолила, а вот как с тобой поговорили, еще пуще потянуло на родину. Эх, Егор, вот бы домой-то заявиться к масленице — и блинцов поели бы досыта, и на бегах, на вечерках повеселились бы вволюшку. Помнишь, как с сопки-то катались на больших санях, ишо старуху Демиху тогда напугали...

— Вспомнив что-то забавное, он засмеялся, оглянувшись на Егора, и тому показалось, что на него смотрит тот прежний озорник парнишка, которого водил он с собой на Ингоду удить карасей.

ГЛАВА XI

Приказу князя Кекуатова: «Дивизии следовать в Донскую область» — подчинился лишь 1-й Читинский полк. Остальные три полка, вопреки приказу, двинулись на восток, в Забайкалье.

Вместе с непокорными казаками последовал и штаб дивизии во главе с командиром. О приказе комдива словно забыли, в защиту его не выступили ни сам командир, ни чины его штаба. Офицеры самоустранились от командования, по ночам, собираясь где только можно, пьянствовали, картежили, хозяевами положения стали полковые комитеты.

Багрянцем истекал на западе декабрьский день, когда последний эшелон аргунцев двинулся со станции Казатин. В классном вагоне этого эшелона поместились офицеры полка.

Командир четвертой сотни есаул Шемелин занял второе купе, вместе с ним поселились третьей сотни есаул Фомин и шестой — хорунжий Мамонтов.

В расстегнутом кителе, из-под которого виднелась далеко не свежая сорочка, Шемелин сидел возле окна. Напротив, на верхней полке, с книгой в руках лежал Мамонтов, Фомина в вагоне не было, ушел куда-то в другой эшелон.

Шемелин, грузный, с разлатыми бровями, брюнет, с крутым волевым подбородком и усталыми карими глазами, изнывал от тоски. Угнетало его вынужденное безделье, неизвестность.

Мерно покачивался вагон, колеса постукивали на стыках, в сумеречной мгле за окном угадывались темные силуэты деревьев. Иногда скупой свет фонаря на полустанке выхватывал из темноты то припудренный инеем сад, то соломенную крышу украинской хаты.

Есаул закурил, серебряным портсигаром постучал по стенке. В купе вошел небольшого роста, белобрысый казак-вестовой.

— Слушаю, вашскобродь! — Былая преданность вестового не позволяла ему назвать своего хозяина по-новому: господин есаул.

— Казбека перековал? — спросил его Шемелин.

— Так точно, вашскобродь, перековал.

— Ну, как он теперь?

— Да ничего-о, чуток спал с тела, а теперича поправится небось.

— Овса достали?

— Так точно, достали.

— Гм... ну ладно...

— Можно идти?

— Можно, хотя нет... Ты вот что...—Есаул хотел было послать вестового за вахмистром, чтобы расспросить его, как там и что в сотне, но, подумав: «А на кой черт мне это нужно, не все ли равно?» — махнул рукой: — Ладно, ступай...

Казак вышел, и есаул, облокотившись на стол, опять надолго задумался. Вспомнилось недавнее совещание офицеров у командира дивизии князя Кекуатова, куда были приглашены лишь самые надежные, верные присяге офицеры. Это было накануне отправки дивизии из Казатина, князь сообщил им о положении в Забайкалье.

Райской музыкой прозвучали в ушах офицеров слова князя о том, что на приграничной китайской железнодорожной станции Маньчжурия уже формируется, для борьбы с большевиками, отряд так называемой белой гвардии. Организатором и вождем этого отряда является офицер 1-го Нерчинского казачьего полка есаул Семенов.

— Но надо трезво оценивать обстановку,— говорил князь.— Большевики в области есть и будут; они разовьют бешеную агитацию за Советы, будут стараться заразить казаков и крестьян Забайкалья идеями социализма. Хотя главный козырь большевистской агитации — борьба за землю и волю — не будет иметь в Сибири такого значения, как в центральных областях России, и основная масса забайкальцев за большевиками не пойдет, но найдутся люди, которые попадут в их сети: одни потому, что поверят большевистской брехне о социалистическом строе, другие просто в поисках приключений и грабежа,— и гражданская война в нашей области неизбежно вспыхнет.

Все это отчетливо всплыло в памяти есаула. На этом совещании князь полностью согласился с доводами войскового старшины Бакшеева, что следует подчиниться силе; не вступать с полковыми комитетами ни в какие конфликты, имея в виду главное: сохранить свои кадры для борьбы с большевизмом в дальнейшем.

И когда князь заговорил о гражданской войне, лицо его побагровело от ярости, воинственно ощетинились белые усы. Свою речь он закончил словами:

— ...Мы очистим область от красной заразы и будем драться за новую, но не советскую, не обольшевиченную Россию.

В Киеве стоянка поезда затянулась, чувствовалось, что произошла какая-то задержка. Из офицеров почти никто не вышел на перрон, откуда до слуха Шемелина доносился многоголосый шум, топот ног, звяк оружия.

Постучавшись в дверь, в вагон зашел подъесаул Тирбах.

— Заминка произошла, не пропускают наши эшелоны,— злорадно улыбаясь, сообщил он друзьям,— комитетчики наши зас. . . . хлопочут, бегают, эти болваны, Балябин с Богомягковым, в город уехали на автомобиле, а у паровозов и на тормозных площадках караулы выставили с пулеметами.

— Ага-а,— оживился Шемелин,— значит, заваривается какая-то каша.

Мамонтов отложил книгу, сел, спустив ноги с полки.

— Может, наша помощь потребуется, спихнуть бы комитеты эти к чертовой матери.

— Не-ет, старик наш приказывает сидеть всем спокойно и не рыпаться, я за этим и зашел к вам. Черт с ними, не наш конь, не наш и воз. Давайте-ка лучше махнем на станцию втихаря, ресторанчик тут шикарный бывал раньше.

— Сказал тоже! — Блеснув очками, Мамонтов отрицательно покачал головой.— Да теперь если и есть какой-то там ресторанишко, так в нем этой сволочи всякой набилось как сельдей в бочке.

— Я тоже не пойду,— решительно заявил Шемелин.

— Трусы вы, как я погляжу,— с досадой в голосе проговорил Тирбах и, помолчав, сожалеюще вздохнул: — А одному идти не хочется. Сеньку, что ли, позвать Березовского.

И вышел, не простившись.

Мамонтов опять улегся на койку, взялся за книгу, а Шемелин снова уставился в окно глазами, задумался. В памяти есаула возникали картины далекого прошлого. То вспоминаются ему школьные годы, катанье на саночках с горки, то увлекательные поездки с отцом в станицу: стрелой мчится пара бегунцов, легонькая кошевка едва касается полозьями земли, в передок ее стучат комья снега из-под копыт, ветер сечет Мишке лицо снежинками. И радостно Мишке от быстрой езды, и жутко, боязно, обеими руками он крепко держится за кушак отца. А тот, охваченный азартом, выкрикивает одним дыхом:

— Прибавь, милыя-а, приба-авь! — Лисья шапка отца, борода его, крытый плисом мерлушчатый тырлик — все закидано снегом, но старик не замечает ничего и все твердит свое: — Прибавь, родныя-а-а, приба-авь!

В летнее же время любил Мишка охотиться на дзейранов [1], на тарбаганов и на волков. В степных районах Забайкалья

[1] Дзейраны — разновидность диких коз, водятся в степных районах Забайкалья.

по-особому уничтожают волков: тут на них не ставят капканы, не травят стрихнином, а догоняют на лошадях и ловят арканами.

Первый раз охотился Шемелин на волков, когда со второго класса гимназии приехал домой на летние каникулы.

На охоту с хозяйским сыном отправился давнишний работник Шемелиных, пожилой, тунгусоватый Прохор. К седлу у него приторочен волосяной аркан с петлей на конце, в руках длинная, похожая на пику палка.

Выехали ранним утром. Над горизонтом, огромное, багровое, поднималось солнце. От обильной росы степь искрилась радужными блестками, курилась в низинах легким туманом. Вдалеке, рассыпанные по степи темными пятнами, угадывались гурты овец. А кругом, в голубом разливе остреца, маленькими озерцами поблескивали гладкие плешины солончаков. На бурых, заросших сизым полынником бутанах[1] виднелись тарбаганы. Они то проворно сбегали с бутанов в траву, то вставали на задние лапки, тявкали на всадников.

Мишка нарадоваться не мог, глядя на все это: ему уж хотелось мчаться вперед навстречу утреннему ветерку, да так, чтобы в ушах свистело, но Прохор не давал ему воли, сердился, хватая Мишкиного Каурка за чембур.

— Куда! Остынь, шальной, а то поверну обратно, и всего делов. Умаешь коня попусту, а того не думаешь, как потом волка догонять? То-то и оно.

Прохор первый увидел волка, показал на него концом палки:

— Вон он, миляга.

У Мишки от радости захватило дух.

— Где, дядя Прохор, где?

— Во-он, возле большого-то бутану мельтешит.

— Вижу, дядя, вижу! Давай живее! — торопил он Прохора, глаз не сводя с волка, и уже приподнимался на стременах, горя нетерпением мчаться скорее за добычей.

— Не горячись, не горячись, никуда он от нас не денется, не первый снег на голову...

Прохор не торопясь отвязал аркан, приладил его петлей на палку; передавая Мишке, посоветовал:

— Со спины закидывай, с загривку, сразу же задерни — и вперед, пока не удавится.

Сначала ехали на рысях, Прохор в который раз сегодня наказывал Мишке:

[1] Бутаны — небольшие бугорки над тарбаганьими норами.

— Смотри у меня, крепче держись на седле. Конь-то под тобой икрюшник настоящий, он как собака-волкодав. Ежели волк вилять зачнет по сторонам — и Каурко за ним, так что не зевай, а то ишо головой-то колодец выроешь.

Коней подняли в галоп, когда волк, заметив опасность, пустился наутек. Но и Мишкин каурый уже почуял зверя, рванулся за ним, прибавил ходу.

— Не правь, не правь теперь! — еле поспевая за Мишкой, кричал Прохор. — Брось чизгины[1] на луку! Оберучь за икрюк, гриву прихвати!

Расстояние между охотниками и волком быстро сокращалось. Каурко, низко опустив голову, с плотно прижатыми ушами и нацелившись на волка глазами, вытягивался в струнку в бросковом намете.

Первый бросок оказался неудачным. Хлестнув волка меж ушей, петля скользнула мимо головы. Мишка так и взвыл с досады и чуть не вылетел из седла, потому что Каурко прянул в сторону за вильнувшим туда волком. Мишка сам на ходу наладил икрюк и в ту же минуту снова кинул его на волка. Сердце его птицей затрепыхало от радости, когда петля захлестнулась на шее у серого. Он пробежал еще с полверсты вперед, волоча за собой на аркане задохнувшегося зверя. Затем перевел коня на рысь, поджидая приотставшего Прохора, и, когда тот подскакал, оба спешились, с конями в поводу подошли к волку; он лежал кверху лапами, истерзанный, окровавленный, из разинутой клыкастой пасти вывалился почерневший язык.

— На-ка, подержи Гнедка-то,— сказал Прохор и, передав Мишке коня, вынул из деревянных ножен большой кованый нож,— я его сейчас донага раздену.

Много раз после того приходилось молодому Шемелину охотиться на волков, тешиться бешеной скачкой по бескрайней степи.

— Жив ли он теперь, Каурко мой любимый? — сам того не замечая, вслух проговорил есаул.

Мамонтов, оторвавшись от книги, сверкнул на Шемелина стеклами очков.

— Что вы сказали?

— Да так себе...— Словно очнувшись от сна, есаул потянулся, хрустнул суставами.— Места родные вспомнил. До чего же хороши они, наши степи даурские, скачи но ним на. коне хоть целый день, и все степь привольная. И это не помещичьи,

[1] Чизгины — поводья.

не барские, а наши войсковые, казачьи земли. Прав был князь, тысячу раз прав, когда говорил о том, что у нас в области не будет почвы для большевистской агитации.

— С вашей точки зрения это верно,— тая в губах усмешку, ответил Мамонтов,— но если вникнуть в дело глубине, это далеко не так. Почву для своей агитации большевики найдут, и, как это ни странно, более всего в земельном вопросе.

Шемелин удивленно вскинул бровями на собеседника.

— Это уж вы, Павел Григорьевич, загибаете. Где же она, эта почва? Свобода у нас полная и демократия тоже, атаманов, судей и прочих правителей казаки сами ьыбирают. А про землю и говорить нечего, у нас ее более чем достаточно: паши, хлеб сей, скота плоди кто хочет и сколько хочет, никто не запретит.

— Вы, Михаил Сергеевич, сколько мне известно, сын богатого скотовода, так?

— Так.

— И сколько же вы имеете скота?

— Перед войной у нас было лошадей с тысячу, рогатого скота раза в два больше, ну и овец тысяч тридцать приблизительно.

— Почему же приблизительно?

— Пастухов у нас бараньих бывало по десять — двенадцать, и у каждого гурт тысячи в три, вот я и считаю, что всего тридцать тысяч с гаком, что называется.

— А разве не считали их?

— Нет. Проверку отец производил один раз в год.

Лицо есаула озарилось улыбкой; продолжая улыбаться, он закурил, протянул раскрытый портсигар Мамонтову:

— Закуривайте,..

— Спасибо, не курю.

— И хорошо делаете.— Щелкнув портсигаром, Шемелин положил его на стол, продолжил разговор: — Отец у Меня большой оригинал, малограмотный, а хозяйством управляет так, что дай бог всякому. Так вот как он проверку Делал своему хозяйству. Там у нас к югу от станицы места начинаются холмистые, а где пастухи наши обретаются, падь громадная с речкой посредине, и недалеко от стойбища пастухов — ладушка Синичиха, небольшая такая, круглая, с трех сторон сопками огороженная. Вот ее-то и облюбовал отец для своих проверок; в назначенный день пастухи поочередно загоняют свои гурты в Синичиху, а отец стоит на сопке и смотрит: полна падушка или нет? И уж его не проведешь, глаз у старика наметанный; если у какого пастуха неблагополучно что-то в стаде, сразу

определит, и смотришь — верно: или во время пурги тот не уберег стадо, или падеж был. Таких отец гнал к чертовой матери, пастухов подбирал надежных, специалистов своей профессии, и дело шло лучше некуда.

— Словом, отец ваш тот же самый помещик и, как выражаются социалисты, эксплуатирует и землю казачью и самих казаков, что победнее. Вот вам и почва для большевистской агитации.

— Ну уж это вы, батенька мой, через край хватили, где же тут эксплуатация? Землю отец никому не сдает в аренду, и все казаки нашей станицы имеют на нее одинаковые права.

— Иметь-то они имеют...— начал было Мамонтов, но Шемелин, не слушая его, продолжал свое:

— Пастухи у нас вольнонаемные, и знаете, как они работали? Вот послушайте. Нанимаются они к нам обычно целыми семьями, оборудуют себе землянку, получат хозяйский гурт, своих овечек, каких-нибудь десятка полтора-два, туда же пустят и пасут круглый год. На пропитание колют хозяйских овец, а свои плодятся, да еще каждый год к своим ягнятам наших подклеймивают[1] десятка два-три, кто их проверит. Пропасет такой пастух у нас лет десять — двенадцать и сам становится хозяином, собственный табун овец имеет. Вот вам и эксплуатация.

— А сколько за это время он даст прибыли хозяину? Ведь пастух-то и десятой доли этих прибылей не получит, как же это назвать, Михаил Сергеевич?..

— Так что же вы хотите?..

— Обождите, дайте мне закончить. О земле теперь: если бы она была у вас раздельная, то отцу вашему, чтобы прокормить такие табуны, не хватило бы своих наделов, пришлось бы арендовать землю-то у других казаков. А при таком положении он пользуется ею бесплатно, получает от земли большие доходы, а те казаки, у которых нет скота, ничего не получают! Согласитесь сами, что это крайне несправедливо и это большой козырь для большевистской агитации.

Офицеры заспорили. Мамонтов, сунув книгу под свернутую шинель, служившую ему вместо подушки, спрыгнул с полки, но в это время в дверь постучали, и в вагоне снова появился подъесаул Тирбах в сопровождении грузного, седоватого войскового старшины Резухина. На Тирбахе папаха без кокарды

[1] То есть вырезают на ушах ягнят свое клеймо — присваивают их себе.

и серая казачья шинель с погонами младшего урядника. На Резухине поверх шинели мохнатая кавказская бурка. Оба офицера порядком навеселе. У Тирбаха в левой руке боковая сумка, оттуда выглядывает серебристая головка бутылки.

— А вот и мы! — воскликнул Тирбах, едва за ним захлопнулась дверь.— Принимайте гостей, хозяева.

Широко улыбаясь, он прошел к столу, поставил на него сумку.

— Посмотрели бы вы, что там на станции творится, жуть,— без умолку тараторил Тирбах, извлекая из сумки три бутылки коньяку и две банки консервов.— Народу всякого: и чехи, и горцы, и казаки наши, донские, уральские, бабы из батальона смерти, юнкера — словом, столпотворение вавилонское.

Шемелин, не слушая Тирбаха, с вожделением посмотрел на бутылки, улыбаясь, тронул рукой усы:

— Где это вы разжились такого добра?

— Э-э-э, брат, волка ноги кормят. Звал вас, так не пошли, а под лежачий камень вода не подтечет.— Тирбах кинул на полку порожнюю сумку, пояснил: — Каптера нашего встретил, Бянкина, золотой человек, доложу я вам. Дела он тут всякие обделывает, связи большие имеет.

Оба гостя сняли шинели, подсели к столу. Шемелин принялся перочинным ножом вскрывать консервы. Мамонтов нарезал хлеба. Тирбах распечатал коньячные бутылки, и гулянка началась. Наутро Шемелин проснулся поздно, косые солнечные лучи освещали купе, у окна напротив сидел Мамонтов. У есаула сильно болела голова с похмелья, тошнило.

— С добрым утром! — приветствовал его Мамонтов, заметив, что есаул проснулся.

Шемелин промычал в ответ что-то нечленораздельное, покрутив головой, прохрипел:

— Нет ли там чего опохмелиться?

— Есть немного, со стакан осталось коньяку.

— Дайте...— Стуча зубами о кружку, есаул выпил поданный Мамонтовым коньяк и сразу же почувствовал облегчение. Поблагодарив Мамонтова, он сел на полку, огляделся: — А где же Фомин?

— Не приходил, наверное, все-то картежит. Заходил Тирбах, пробовал будить вас, не добудился. Проститься заходил.

— Как проститься, куда он задумал?

— Уже уехал. Оба с Резухиным переоделись в казачью одежду и махнули на другом поезде, пока наш задержался на одной станции.

— Куда же они?

— До Читы пока, а вообще-то за границу, к Семенову.

— Да-а, жалко, что вчера разговор об этом не зашел... я, пожалуй, тоже присоединился бы к ним...

ГЛАВА XII

В тяжелых условиях наступал новый, 1918 год. Голод и разруха надвигались на Забайкалье вместе с суровой сибирской зимой. На станциях уныло стояли замороженные паровозы, места в поездах захватывались с бою, люди научились ездить на крышах, на подножках и буферах вагонов. Из-за недостатка топлива закрывались школы. Многие из горожан отогревались тем, что разбирали по ночам на дрова заборы, выдирали доски из деревянных тротуаров, тащили кресты с кладбища. На дверях магазинов висели огромные замки, а те, которые еще не были закрыты, неприветливо зияли пустыми полками. За хлебом, за ржавой, подорожавшей вдесятеро селедкой выстраивались длиннейшие очереди. Более оживленно было лишь на толкучем рынке. Там по невероятно вспухшим ценам можно было достать мясо говяжье и конину, картошку, квашеную капусту. Спекулянты из-под полы продавали спирт, который ухитрялись доставать из-за границы, со станции Маньчжурия. Они же торговали мылом, солдатским бельем, валенками, полушубками и ботинками на толстенной подошве с подковками на каблуках.

И зима в этот год настала на редкость суровая. Над городом висел густой морозный туман, люди в очередях мерзли, отогревая ноги топтанием на месте, ругались, проклиная новые порядки.

Второго января на имя председателя Читинского Совдепа Жданова была получена непонятная, но полная зловещих намеков телеграмма.

В Совдепе только что окончилось заседание, и члены президиума, депутаты уже расходились по домам, многим из них предстояло выходить на работу в цеха в ночную смену.

У Совдепа не было ни платного аппарата, ни своего печатного органа, ни средств связи, ни денег, там никому не полагалось никакого жалованья, и депутаты, даже занимавшие ответственные посты, по-прежнему работали машинистами, механиками, токарями и шахтерами. Слесарем паровозного депо работал и председатель Совдепа Борис Жданов.

Лобастый, с голубыми, как ясное майское небо, глазами, Жданов был человеком подвижным, энергичным, да и сравни-

тельно молодым. Шел ему тридцать второй год, хотя темно-русые волосы его на висках уже тронула седина.

В Совдепе кроме Жданова задержались еще два депутата: член президиума Борис Кларк, пришедший на заседание прямо из мастерской, где он работал токарем, и командир Красной гвардии, усатый, угрюмого вида механик Цветков.

Жданов два раза прочитал телеграмму и, передав ее Кларку, сказал:

— Плохи дела. Эти бандюги в Маньчжурии совсем обнаглели, и наши товарищи, большевики тамошние, в лапы к ним попали, как видно.

— Да что ты говоришь! — Круглолицый, как мохом обросший курчавой бородкой Кларк пробежал телеграмму глазами, зачитал ее вслух: — «Чита. Совету депутатов. Маньчжурские большевики получили по заслугам, точка. Посылаю вам новогодний подарок, точка. Предупреждаю, то же самое ожидает всех вас, если не оставите Читу добровольно. Семенов». Д-да-а,— хмуря тонкие брови, Кларк потеребил бородку,— с маньчжурцами беда случилась, это ясно. А вот о каком подарке этот бандит пишет?

— А это что? — кивнув на телеграмму, буркнул Цветков.— Маньчжурцев, наверное, угробили и нам сулят то же самое. Вот вам и подарок, чего еще тебе надо?

— Так-то оно так, а может, еще и хуже какую-нибудь каверзу выкинут, от этих мерзавцев всего ожидать можно.

— Словом, надо готовиться к схватке, — заключил Жданов.— У тебя как дела обстоят с батареей?

— Дела как сажа бела. Батарейцев набрали из бывших фронтовиков, а пушки-то сам знаешь какое дерьмо.— Махнув рукой, Цветков сердито сощурился: — Из эдакой артиллерии воробьев пугать на огороде, только на это она и сгодится.

— А что Иркутск?

— Да вот на них и вся надежда. Сообщили, что три полевых орудия и снаряды к ним отгрузили. Жду их со дня на день.

— Торопи их, товарищ Цветков, телеграфируй, людей шли.

— Все это уже сделано, придут, куда они денутся.

— Прийти-то придут, но ведь их сейчас надо.

— Сам понимаю, что дорога ложка к обеду.

— Ох, скорее бы...— Жданов поглядел на карманные часы, поднялся из-за стола.— Ну, товарищи, пора уходить. Мне сегодня в ночную идти, надо забежать домой, перекусить чего-нибудь.

* * *

Над городом злилась лютая стужа, мороз обжигал лица редких прохожих, куржаком покрывал их бороды, усы и одежду, а на Ингоде от него трещал и гулко лопался лед. Еще холоднее стало к утру, на рассвете город укутало густой, морозной копотью, сквозь которую тусклыми расплывчатыми пятнами желтели фонари железнодорожной станции. В сумеречном свете наступающего дня мельтешили силуэты людей, это рабочие ночной смены расходились из мастерских.

Позднее всех вышел из депо Жданов, одетый в поношенное черное пальто и барашковую шапку. Рядом с ним шагал старший мастер Захар Хоменко, широкоплечий здоровяк с вислыми седыми усами. На Захаре старый, засаленный до блеска полушубок; на ногах валенки, подшитые кожей, а на голове плоская мерлушковая кубанка с алым верхом.

Уже совсем рассвело, но морозная копоть стала еще гуще, и не видно было из-за нее ни города, ни станции, где все еще горели фонари.

Оба шли молча, Жданов все думал о телеграмме, с ума не шла тревога за маньчжурских большевиков.

Беспокойно на душе и у старого Хоменко. К тому же Захар был обременен большой семьей: семерых сыновей народила его дородная, когда-то очень красивая Оксана. Старший, уже женатый сын Андрей работает помощником машиниста. Учеником слесаря трудится и второй, молодцеватый парняга Иван. А дома на руках еще пятеро, и учить их надо, кормить, одевать сорванцов, а это по нонешним временам не легкое дело.

Шагает Захар, под валенками его хрустит снег, мороз пощипывает за нос, за щеки, он трет их холодной как лед рукавицей, досадливо крякает, а мрачные думы все лезут и лезут в голову. Много забот свалилось в эту зиму на голову Захара: уйма всяких дел в профсоюзном комитете, где его выбрали председателем, да еще комиссаром роты красногвардейцев, хоть пополам разорвись! А дома нужда, недостатки, и такая покладистая, веселая раньше Оксана, словно подменили ее, стала несговорчивой, всегда ворчит и ворчит на Захара. Корит его: «Не за свое дело взялся, старый дурак, в твои ли годы лезть в какие-то начальники, да хоть бы польза была от комиссарства этого».

Никак не поймет она, что совесть старого большевика не позволяет Захару стоять в стороне, когда революция в опасности. Да разве растолкуешь ей? У нее одно на уме: то мука на

исходе, то мяса не стало, то соли, то дров. Хорошо еще, что картошки своей запасли на зиму, а то и вовсе бы… конец.

Вышли на Преображенскую улицу. Захару уж и до дому рукой подать, но тут, словно из воды, вынырнул из тумана Борис Кларк. Оказалось, что он спешил к ним в депо.

— Что случилось? — Жданов по встревоженному виду Кларка понял — произошло что-то неладное — и подумал: уж не с пушками ли какая беда? — Цветкова видел?

— Видел, пушки ушел принимать... А там опять какая-то беда стряслась на товарном.

— Что такое?

— Кузнецов звонил по телефону, вопит как помешанный: вагон какой-то прибыл, кого-то убили…

— Идемте туда, живее!

Все трое повернули обратно; наискось шагая через рельсы, ныряя под вагоны, прямым путем поспешили к товарному двору.

А там у раскрытого вагона грудились рабочие, и толпа их все увеличивалась.

— Что тут такое, товарищи? — спрашивал Жданов, пробираясь сквозь толпу.— Что слу…— и осекся на полуслове, глянув в раскрытые двери товарняка.

Вагон был наполовину заполнен трупами людей. Набросанные как попало, избитые, изрубленные люди замерзли в лужах собственной крови. От нее на полу вагона образовался сплошной красный лед, а из-под раздвинутых дверей бахромой свисали алые сосульки. Лица мертвецов, их волосы, бороды и одежда густо покрыты куржаком.

Лежали мертвецы в самых разнообразных позах: один, в серой солдатской шинели, сидел, привалясь спиной к куче трупов, уронив голову на грудь и прижав руки к сердцу; из-под скрюченных пальцев солдата на шинели широкой полосой замерзла кровь. В ногах его лежал человек в черном поношенном полушубке и без головы, зарубили его, очевидно, где-то во дворе, потому и налипла на косом срезе шеи солома и сенная труха. А рядом совсем молодой человек в черной студенческой шинели, с выбившейся из-под барашковой шапки светло-русой курчавой челкой и удивленно вскинутыми кверху белесыми бровями. Лежал он на спине и словно спал, а на теле ни ран, ни увечья, лишь на груди его шинель опалена порохом вокруг маленькой дырки.

Безмолвно стояли рабочие, с ужасом глядя на изуродованные трупы, среди которых вмерзли в лужи крови отрубленные

головы, руки и ноги. Лишь в одном сивоусом, кудрявом мертвеце узнал Борис Кларк знакомого железнодорожника. Узнал и, обнажив голову, проговорил срывающимся, охрипшим голосом:

— Федор… Яковлевич… машинист...

Захар Хоменко тоже признал машиниста, потянул с головы кубанку. По суровому, опаленному морозом лицу старого мастера покатилась одинокая слезинка и прозрачным шариком застыла на усах.

Жданов хотел что-то сказать и не мог. Он помял рукой горло и словно вытолкнул оттуда одно-единственное слово:

— Закройте.

Затем он повернулся к Захару и Кларку, кивком головы показал им на Совдеп и пошел сутулясь, не разбирая дороги.

ГЛАВА XIII

Медленно, с большими задержками на станциях продвигались на восток эшелоны 1-й Забайкальской казачьей дивизии. В городах и на станциях продовольствие, фураж для лошадей добывали с большим трудом. На станции Белой местный гарнизон Красной гвардии пытался разоружить дивизию. Густые цепи солдат, ощетинившись штыками, начали окружать поезда, но казачьи теплушки вмиг обросли стволами винтовок, с переднего эшелона захлопали выстрелы, короткую очередь выстукал пулемет, а на артиллерийских площадках грозно задвигались жерла полевых орудий. Солдаты подались назад, залегли в садиках, за кучами шпал и в канаве за тополями позади станции.

Приготовившись к отражению атаки, Егор, в числе других казаков с винтовками на изготовку, прилег за кучу мешков с песком в своей теплушке (мешки эти все время лежали у казаков под нарами, теперь пригодились). Он видел, как мимо вокзала куда-то дальше в город торопливо прошли: Балябин, Киргизов и с ними три казака — члены полкового комитета. Солдаты пропустили их беспрепятственно. Вскоре снялись со своих позиций и солдаты. Все вокруг притихло, из вагонов, гремя шашками, начали выскакивать казаки, сразу запрудив перрон. В толпе казаков на минуту мелькнула красная фуражка начальника станции, следом за ним орущая толпа хлынула в станционное здание. Бледный как полотно начальник, прижимаясь спиной к стенке, что-то говорил, отчаянно жестикулируя, показывал

рукой в сторону города, но слов его не было слышно. В сплошном реве казаков улавливались отдельные слова и злобные крики:

— Врешь, стервуга...

— Это тебе не старый прижим!

— Тыловая крыса... твою мать!

— Где наш паровоз?

— Под колеса его, гада!

— Отвечай, подлюга!

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в самый напряженный момент кто-то от дверей из улицы крикнул:

— Братцы, винный склад раскрыли наши!

— Кто?

— Где-е?

— Ванька! Правь за мной, живо-о!

Толпа хлынула обратно. В дверях сразу же образовалась давка. А от поездов мимо станции, обгоняя один другого, мчались казаки с флягами, котелками и ведрами в руках.

Егор немного припозднился, и когда добежал до склада, там уже творилось что-то несусветное: у железных, настежь распахнутых дверей большого каменного полуподвала толклась огромная толпа казаков. Одни старались пробраться в погреб, другие, уже пьяные, лезли оттуда обратно. Шум, гам, матерная брань... внутри погреба хлопали выстрелы. Тут же, прямо на снегу, недалеко от выхода лежали уже двое мертвецки пьяных, третий, еле держась на ногах, блевал, обхватив рукой телеграфный столб.

Вклиниваясь в толпу охотников до спиртного, Егор приналег плечом, но в это время увидел вынырнувшего из погреба Молокова. Без шапки, но с винтовкой за плечами, потный и красный, как вареный рак, Молоков, с трудом пробираясь вперед, обеими руками держал брезентовое ведро, до краев наполненное спиртом. Увидев Егора, крикнул:

— Ушаков! Куда тебя черти несут, гребись ко мне.

Выбравшись из толпы, он подождал Егора и, сияя радостной улыбкой, глазами показал на ведро:

— Видишь, сколько цапнул! Разведем — и два ведра водки. Хватит на весь наш вагон. Вот бы ишо жратвы раздобыть!

— Жратва будет. Каюков откуда-то конины приволок, целое стегно.

— Добро, гульнем теперь! Пошли.

Оба поспешили к поезду, откуда навстречу бежали все новые, жаждущие даровой выпивки. Иные останавливались, с завистью глядели на «счастливцев».

— Хоть бы кружечку, станичники!

— По-дружески!

— Пошли к черту! Сами добывайте! — отмахивался Молоков и, торопливо шагая, рассказывал Егору: — Такое творится там, что не создай господь. Казачий нашей набилось жуть, как сельдей в бочке. И все лезут и лезут с руганью, до драки дело доходит. А как доберутся, прямо-таки осатанеют! кто под кран с посудиной, кто сверху черпает, а кто из винтовки хлопнет в эту самую цистерну, пробьет дырку— и подставляй под струю, что тебе надо. На полу налилось спирту вполколена, у кого посудины не пригодились, нагнется и прямо с полу пригоршнями хлещет, как воду. А один казак, второй сотни, кажись, так и утонул в цистерне.

— До смерти?

— Не знаю.

— Вы-то чего же смотрели! — возмутился Егор.— Человек гибнет, а вы... только бы глотку свою залить.

— Да ты что! — повысил голос Молоков.— Я-то тут при чем, вить не я его толкал в цистерну эту самую. Сам виноват, не жадничай.

— Почему не спасли?

— Вот я-то как раз и спасал его, из-за него, из-за черта, и папаху утопил в спирту.

— Ну и что?

— Вытащили мы его втроем: Калашников, шестой сотни, я да ишо урядник Бахметьев.

— Значит, это его и несли на носилках-то?

— Его, наверное, кого же больше-то?

А в это время местные власти для спасения спирто-водочного склада от казачьего нашествия бросили команду пожарников и отряд рабочих-красногвардейцев. Вооруженные винтовками грузчики, слесари и железнодорожники, с красными лентами на замасленных ватниках и полушубках, разделились надвое, полукольцом охватили казаков и начали теснить их от склада. Пожилой, седоусый шахтер в черном полушубке протиснулся в самую гущу казаков, пытался убедить их словами, отговорить от грабежа.

— Товарищи! — взывал он, локтем левой руки прижимая висевший на плече английский карабин, а правой хватая казаков за рукава, за полы шинелей.— Что вы делаете! Опомнитесь, ведь вы же народное добро грабите!

«Отвоевать» склад помогли красногвардейцам вовремя подоспевшие казачьи комитетчики с прапорщиком Балябиным во главе.

— Отставить! — громовым голосом рявкнул Балябин.— Расходись по вагонам, посадка началась, едем сейчас, живо!

И, словно подтверждая слова Балябина, загудел паровоз первого эшелона. Все это подействовало на казаков отрезвляюще, толпа их подалась обратно, раздались голоса:

— Посадка, братцы, едем!

— По вагона-а-ам!

— А спирт-то как же?

— Черт с ним, гори он ясным пламенем!

— Не отставай!

И казаки с такой же резвостью, с какой бежали к складу, рванулись обратно. Площадка около склада опустела. Казаки большей частью сами разбежались по вагонам, других увели, лежачих унесли на носилках.

Комитетчики уходили последними, а в складе уже стучали молотки, тяжко ухали кувалды. Рабочие, выставив наружную охрану, принялись исправлять повреждения: заклепывали изрешеченную пулями цистерну, ведрами черпали разлитый по каменному полу спирт, сливали его в железные бочки.

Старый шахтер проводил офицеров до станции, откуда уже тронулся в путь первый эшелон забайкальцев. Из теплушек, перекрывая шум и грохот поезда, доносились пьяные выкрики и песни. То же самое творилось и в других эшелонах, которые готовились к отправке:

За Ура-алом за рекой
ка-а-азаки гуля-а-ют...
Гей-у-гей, э-э-эх, не робей,
ка-а-а-за-аки гуля-а-ют.

А рядом, в другом вагоне, высокий тенор заводил;

Пускай мой добрый конь споткнется,
Летяа-а во вражество стрело-о-ой.
Узде-е-ечка...

Запевала на высокой ноте обрывает песню, и сразу же хор спевшихся голосов подхватывает:

...бра-а-а-нная порве-е-е-тся-а-а,
И стремя ло-о-о-о-о-пнет под ного-о-ой.

А чуть подальше веселье выплеснулось на заснеженную площадку. В раскрытые двери теплушек казаки, вытягивая шеи,

любуются, как там, в окружении хохочущих сослуживцев, пьяный бурят-казак третьей сотни Санжеев потешает однополчан пляской. Топчется Санжеев, словно глину месит кривыми ногами (а кривы они потому, что вырос Санжеев в седле, с детства работая пастухом), и, смешно коверкая слова, припевает по-русски:

Ты подгорна хосогорна,
Широваха улицо.

Хохот, одобрительные выкрики:

— Молодец, Цырен!

— Носочки почисти.

— Вприсядку урежь.

— Вот та-ак!

— Ха-ха-ха...

Краем глаза Фрол видел, что и у старого шахтера усы подпрыгивали от смеха, а от уголков глаз по лицу расходятся мелкие морщинки. У Фрола на сердце кошки скребут, стыдно за своих казаков. А шахтер, словно угадав мысли Фрола, заговорил примирительным тоном:

— Веселый народ. Оно и понятно, домой едут.

— Набедокурили...— начал было Фрол, но шахтер перебил его, не дав договорить:

— Не стоит об этом. По правде-то сказать, не ваши казаки зачинщики были этой катавасии.

— Вот и я то же самое слышал,— с живостью отозвался Киргизов,— казаки говорили мне, что они уже на готовенькое прибежали.

— Совершенно верно. В городе появились анархисты, они что-то затевают, а для этой цели и учинили налет на спиртоводочный склад, чтобы втянуть в пьянку воинские части. Хорошо, что вовремя обнаружили...

Паровозный гудок не дал шахтеру договорить. Заверещал свисток кондуктора, от головного вагона послышалась команда: «По вагона-ам!»

Торопливо попрощавшись со старым шахтером, офицеры кинулись бегом к своему поезду, в вагоны прыгнули уже на ходу.

ГЛАВА XIV

Теплый февральский день только наступал, когда эшелоны аргунцев прибыли в Гомель. Все железнодорожные пути станции Гомель были густо забиты воинскими составами. На перро-

не, в станционных залах и на улицах города шумно, многолюдно. Все спешат, рыскают по городу в поисках съестного. Казаки, набегавшись по городу, или режутся в карты, или часами сидят возле костров, что пылают по ночам вдоль воинских поездов, ведут бесконечные разговоры.

— Долго ишо будем торчать здесь?

— А чума его знает.

— Сено кончилось.

— Говорят, солому привезут к вечеру.

— Хо, тащи назад такой фураж!

— На коней смотреть жалко.

— Говорят, вся дивизия наша здесь, окромя Первого Читинского.

— Я сам видел казаков из Первого и Второго Верхнеудинских полков, нашей станицы ребята есть.

— Застопорили всю дивизию.

— Через чего же это?

— Не разбери-поймешь, одни говорят, что на фронт завернуть нас хотят, другие — что мосты впереди разрушены, а третьи — что разоружать нас будут, вот и разберись тут попробуй.

— Ну-у уж разоружать-то дудки, Марья Ивановна! В Белой-то шибко разоружили?

— Чего же комитетчики-то наши думают, не добиваются пропуску?

— А как тут насчет винных складов?

— Ишь чего захотел!

— Нет, брат, отошла коту маслена.

Оживились казаки, лишь когда услышали, что фуражиры раздобыли где-то прессованную овсяную солому и на десяти пароконных фургонах доставили ее к поезду. Все кинулись помогать фуражирам разгружать солому, разносить ее по вагонам, где голодные кони их грызли деревянные перегородки и кормушки.

Дневальным по вагону, где находился Егоров Воронко, в тот день был Афанасий Суетин. Егор помог ему сносить в вагон тюки соломы, задать корм лошадям, в первую очередь накормил своего Воронка. Берег Егор Воронка, холил его; когда не хватало кормов, весь свой хлеб отдавал ему. Вот и сегодня,— когда увидел, что Воронко грызет кормушку, не вынес: достал из седельной подушки пару белья, отнес на рынок, выменял там ковригу хлеба, ведро картошки и все это скормил коню.

Вечерело, когда Егор, накормив Воронка и подбросив ему соломы на ночь, отправился в свой' вагон. Но не успел он сделать и десяти шагов, как сзади его окликнули; оглянувшись на оклик, Егор остановился и в подходившем казаке в урядницких погонах узнал Федота Погодаева. Урядник был чем-то взволнован, лицо его раскраснелось, зло искрились глаза и нервно вздрагивал крутой подбородок.

— Ты чего это,— спросил Егор,— подрался, что ли, с кем?

— Да тут,— отмахнулся Федот,— поспорил с одним типом из Первого Верхнеудинского, нашей станицы, гад, а такая контра. Ну да черт с ним. К тебе у меня есть дело.— И, заглядывая в глаза Егору, заговорил торопливым шепотом: — На собрании был я, в самом комитете городском, большевистском, понимаешь? Только што оттуда. Порешили там переворот сделать в дивизии нашей.

— Какой переворот?

— Тише ты, дуролом, это дело секретное.— Федот оглянулся вокруг, кивнул головой в хвостовой конец поезда: — Отойдем вон туда.

Миновав казачьи теплушки, Федор с Егором очутились в тупике между разбитым, с обгорелыми стенками вагоном и грудой старых шпал. Федот остановился, посмотрел в сторону поезда, озаренного кострами, возле которых мельтешили казаки. Приглушенный расстоянием, доносился оттуда людской говор, здесь же было тихо, темно и пустынно, тишину нарушали лишь пронзительные гудки маневрового паровоза да скрежет передвигаемых им вагонов. Федот присел на выступ шпалы, потянул за собой Егора:

— Садись, не торчи столбом и слушай. Так вот, насчет перевороту: офицеров наших арестовывать будем сегодня, даже и самого генерала Кукуватова, чтобы всех их в здешний ревтрибунал доставить.

— Ну это уж ни к чему,— глухим, зачужавшим голосом возразил Егор,— ведь не все же офицеры злодеи были, нашего взять, к примеру, есаула Шемелина, чем он был плохой для казаков? Да хоть бы и сам полковник Хлебников, казаки на него сроду не жаловались, их-то за что же арестовывать?

— Эх, Егор, ветер у тебя в голове, и больше ничего. Послушал бы ты, что на собрании говорили сегодня: в Первом Нерчинском полку тоже был такой вот хороший офицер Семенов, а как до революции дело коснулось, оказался самой что ни на есть контрой. Он, подлюга, уже целую армию сорганизовал супротив революции.

— Так то Семенов,

— А эти чем лучше? Одного поля ягода! Они хороши были, когда мы с ними заодно шли, чины им помогали зарабатывать. А теперь мы за революцию, а она всем им, какие побогаче да познатнее, как кость в горле, пойдут они с нами? То-то и оно! Ясное дело, что все они к Семенову перемахнутся, да ишо и казаков за собой потянут. Да я бы их, гадов, прикажи мне революция, сейчас же на распыл пустил бы.

— Ну не-ет, я на такое не согласен. Ни за что ни про что убивать своих же русских людей, это, знаешь... самовольство, неправильно это.

— А когда они зачнут нас расстреливать, правильно будет? Эх ты-ы, а ишо к большевикам себя причислял, за революцию ратовал.

— Я и теперь за революцию! — зло выкрикнул Егор, вскакивая на ноги.— Чего ты пристал ко мне как банный лист?!

— Да не ори ты, чума тебя забери.— Федот тоже вскочил на ноги и, ухватив Егора за портупею шашки, заговорил с придыханием, чеканя каждое слово: — За революцию, говоришь?.. Так это она и приказывает нам... арестовать офицеров. Ясно тебе?

— И пойду арестовывать, если приказано, а убивать людей ни за что все равно не дам.

— Убивать их никто и не думает, это я к примеру сказал. Наше дело арестовать их, представить в трибунал, а там без нас разберутся, что к чему, понял теперь?

— Понял.

— Не подведешь?

— Я тебе что, сто раз одно и то же повторять буду? Сказал, пойду, чего тебе ишо?

— Ты не горячись. Из вашего вагона, окромя тебя, можно взять Молокова, Вершинина, Каюкова и Варламова, ты будешь за старшего, с вечера сообщи им по секрету, чтобы часам к двум ночи были готовы при полной боевой. Ночью-то я зайду разбужу вас, и вы тихонько на станцию, все там соберемся. А что и как, там расскажут.

— Ладно.— Егор повернулся, зашагал к поезду.

ГЛАВА XV

Вечером у себя в вагоне Егор выкликал по фамилии всех четверых своих помощников, с которыми уже договорился обо всем, объявил во всеуслышание:

— Патрулить сегодня нас назначили после полуночи. Приготовиться надо с вечера.

И получилось замечательно просто, казаки восприняли это как должное. Сосед Егора по нарам, Сутурин, почесывая грудь, осведомился:

— Меня там нету в списке? Ну и ладно, хоть отосплюсь сегодня, ночесь чуть не до утра с этими картами, будь они прокляты, провозились.

— Замучили этими нарядами,— притворно сердитым тоном отозвался Егор, — даже и в дороге-то нету спокоя от них.

— Ничего-о, теперь уж недолго.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— И то уж восьмой год терплю.

Все пятеро начали собираться, винтовки свои составили около дверей, подсумки с патронами, шашки положили возле себя и, не раздеваясь, легли, чтобы соснуть до назначенного часа.

Приснилось Егору, будто он у себя дома и совсем еще маленький парнишка, с оравой таких же босоногих сорванцов забрался в огород к старику Лыкову, за огурцами. Заправил Егор рубаху в штаны, расстегнул воротник, рвет огурцы, сует их за пазуху и вдруг видит, что это вовсе не огурцы, а бутылочные гранаты.

«Так вот они где растут!» И только он это подумал, как из-за стены гороха выскочил старик Лыков. Испугался Егор, кинулся бежать, чувствуя, что левый бок ему давят гранаты. Придерживая их, чтобы не стукнулись, прыгнул Егор через плетень, но старик догнал-таки, ухватил за ногу. Холодея от страха (не взорвались бы), рванулся Егор что было силы, но и проснувшись, чувствовал, что тянет старик за ногу.

— Вставай, шалава, ну!

Приподнявшись на локтях, Егор сел и только теперь сообразил, в чем дело: за ногу его тянул Погодаев, а левый бок больно отлежал, подвернулся под него подсумок с патронами.

— Вставай живее,— тормошил Федот,— идти уже время.

— Сейчас— Егор громко зевнул, спрыгнул с нар, под каблуками его захрустел просыпанный на полу уголь, скрипнула половица. Кто-то, видно совсем недавно, подкинул в печку угля, и он, разгоревшись, гудел в трубе, а крышка и бока круглой чугунной печки раскалились докрасна. Поэтому в вагоне тепло и даже светло так, что видно двойные нары и спавших на них вповалку казаков.

— Ну так ты живее,— шепнул Погодаев,— буди своих — и на станцию. А мне надо ишо в два вагона забежать.

Федот ушел. Егор разыскал на верхних нарах Варламова, подергал его за ногу и, когда тот, проснувшись, сел, сказал ему:

— Буди Молокова-то, пора,— а сам, чиркнув спичку, осветил нижние нары, принялся будить Каюкова и Вершинина.

Вскоре все пятеро шагали между рядами теплушек, направляясь к станции. Ночью выпал небольшой снежок, девственно чистый, покрыл он все вокруг: железнодорожные пути, крыши вагонов, станционных зданий, похрустывал под ногами. В большие прорехи между облаками виднелось темно-синее небо, ярко серебрился наборчатый пояс Ориона. Взглянув на него, Молоков проговорил со вздохом:

— Не скоро ишо рассветет, Кичиги[1] только што повернули на утро. Самое бы теперь поспать.

— Ох, паря, и спать ты, Митька, горазд.

— Тихо вы, черти, нашли время для разговорчиков.

— Уж и сказать нельзя.

— Отставить!

В просторном станционном здании, когда пришел туда со своей четверкой Егор, казаков набилось до отказа. Не смолкая кипит сдержанный говор; тесно, а снаружи подходят новые группы вооруженных казаков. Но вот появился и Федот Погодаев, в числе пришедших с ним казаков Егор узнал трубача Макара Якимова, тунгусоватого Волгина и Федора Зырянова. Макар, не задерживаясь у порога, сразу же стал пробираться вперед, послышались сердитые голоса:

— Куда те черти гонят!

— Труба ерихонская!

— Эка медведь какой, легче!

— Не бухти, станица,— отшучивался Макар,— мне к самому главному по срочному делу.— А сам, работая плечом как клином, раздвигал толпу. Следом за Макаром устремились вперед Погодаев и Егор с Молоковым. Так и пробрались они до самых передних рядов, где увидели сидящих за столом прапорщика Киргизова из шестой сотни, бритоголового Новикова и незнакомого бородатого человека в черном штатском пальто и в очках. Откинувшись на спинку стула и поворачиваясь боком, бородач что-то тихонько говорил стоящему позади Богомягкову, тот, слушая, согласно кивал головой. Неподалеку, прислонясь широченной спиной к печке, стоял Фрол Балябин, рядом с ним среднего роста, стройный, подтянутый есаул Мете-

[1] Кичигами в Забайкалье называют созвездие Орион.

* * * *

— А это кто такой?—теребя Погодаева за рукав шинели, допытывался любопытный до всего Молоков.—Во-он в углу-то стоит, за Метелицей?

— Вахмистр Кожевников из Первого Верхнеудинского, нашей руки держится.

— А энтот вот, возле стола-то сидит, бравый такой, по усам-то на вахмистра походит?

— Вахмистр он и есть, Янков по фамилии, и тоже Первого Верхнеудинского полка. Молодчина парень, большеви-ик.

— А смотри-ка, на офицерах и погонов-то нету, и ленты красные понацепили.

Егор обвел глазами офицеров и в самом деле ни на одном из них не увидел погон. Писавший что-то Киргизов выпрямился, и на груди его увидели алый бант. Такой же бантик, только поменьше, краснел на шинели Богомягкова и на серой папахе Балябина, вместо офицерской белозубчатой кокарды.

— Это оно чего же такое-то? — не унимался Молоков.

— Чудак ты, Митрий, мы же теперь в Красной Армии состоять будем, а там погон не полагается.

— Вот оно что-о! Слушай-ка, Федот Абакумыч, а энтот вон батареец с седыми усами...

Ответить Федот не успел, потому что очкастый бородач постучал карандашом, призывая к тишине.

— Товарищи! — начал он и помолчал, выжидая, когда в зале уляжется шум. Казаки уже немало слышали на митингах об Октябрьской революции, о советской власти, о партии большевиков, тем не менее этого оратора слушали внимательно. И хотя многие новые слова: аннексия, Антанта, пленум, аграрный вопрос и пр.— казаки слышали впервые, главное для них было понятно: капитализм не сложил оружия, в стране началась гражданская война, на красных и белых разделились враждующие стороны. Надо быть готовым ко всему.

— Ты смотри-ка, как чешет! — не сводя с бородача восхищенного взгляда, шепчет Молоков.— Больших, видать, наук человек!

— Гомелевский Совет депутатов,— продолжал оратор,— выслушав просьбу ваших полковых комитетов, решил: помочь революционным казакам Первой Забайкальской дивизии освободиться от власти царских сатрапов-офицеров, разоружить их, отстранить от командования и взять под стражу. Революцион-

ный трибунал, в соответствии с постановлениями советской власти, решит дальнейшую судьбу ваших бывших начальников. Вам же, товарищи казаки, мы посоветуем на своих собраниях самим выбрать себе командиров, наиболее способных, достойных и преданных делу Октябрьской революции людей.

Потом слово взял Фрол Балябин. Он разъяснил, кто и куда пойдет выполнять решение об аресте. Для этого собравшиеся казаки должны разделитьсяна четыре группы по тридцать пять— сорок человек. С одной из этих групп Киргизов и Новиков пойдут арестовывать офицеров 1-го Аргунского полка. Со второй Богомягков и представитель Совета депутатов отправятся в 1-й Верхнеудинский. Кожевников и Метелица пойдут с третьей группой во 2-й Верхнеудинский. Балябин и Янков с остальными казаками арестуют командира дивизии и членов его штаба. Кроме того, Балябин предложил всем участникам снять погоны, кокарды и все воинские знаки отличия царской армии.

— Сегодня нам это нужно для того,— пояснил он,— чтобы в темноте не спутать своих с чужими. А потом и вообще у нас не будет погон. Мы казаки Красной Армии, и форма одежды у нас будет другая.

Погодаев одним из первых сорвал свои урядницкие погоны и вместе с георгиевским крестом кинул их под стол. Казаки последовали его примеру, иные делали это неохотно, хмурились, другие с шутками:

— Вот она, слободушка-матушка! Сразу сравняла нас с начальниками.

— А вопче-то ни к чему это,— сердито ворчал Каюков, шашкой отпарывая погоны, насмерть пришитые к шинели. —Мне-то на свои наплевать, а вон Бахметьеву-то каково с вахмистерскими расставаться?

— Не бухти, балабон.

— Нет, верно, ить жалко небось. Старался вон как, заработал серебряные лычки — и на тебе! Сравняли с нашим братом Савкой!

— Отвяжись, смола!

Егор, сняв погоны, швырнул их в угол, а кресты подержал в руке: жалко стало. «Пусть лежат на память»,— подумал он и сунул их в карман шинели.

Когда все вышли на перрон, Балябин отобрал себе тридцать человек, отвел их подальше в сторону и там цояснил:

— Офицеров, которых мы будем арестовывать, двенадцать человек и с ними шесть вестовых казаков; само собой разумеется, что казаков мы не тронем. Проводник там наш, надежный

товарищ, он нам выдаст фонари, откроет двери купе. При аресте их в первую очередь надо обезоружить, действовать решительно, но без грубости. Оружие применять только в самом крайнем случае: обороняясь или при побеге арестанта. Понятно?

— Понятно...

— Чего ж тут не понять-то...

— А ежели он, к примеру, зашебуршится,— широкоплечий здоровяк Добрынин, сдерживая рокочущий бас, перешел на хрипловатый полушепот,— так, поди, можно его и кулаком приласкать разок-другой?

Все вокруг засмеялись, Балябин предостерегающе поднял руку:

— Тише! Можно-то можно, Добрынин, но только не очень-то сильно. Ну все! Действуй, Погодаев!

Федот построил казаков, как было приказано, в две шеренги, Егора отозвал из строя, сказал ему:

— Передовым пойдешь к штабному вагону, часового там предупреди и то же самое проводника.

— Слушаюсь!

— То-то же.— И шепотом на ухо: — Пропуск — Антабка, отзыв — Аткарск. Повтори!

Егор так же тихо повторил.

— Шпарь,— приказал Погодаев, и Егор, придерживая шашку, чтобы не путалась под ногами, быстро пошагал вперед.

Крепким предрассветным сном спал князь Кукуватов, когда в купе к нему пожаловали незваные гости; проснулся он лишь после того, как Балябин тронул его за плечо:

— Потрудитесь встать, господин генерал, вы арестованы!

Седые кустистые брови князя удивленно вскинулись кверху, когда, проснувшись, он столкнулся взглядом с Балябиным.

— Что это значит? — спросил он, медленно приподнимаясь на локтях.

— Вы арестованы! — повторил Балябин.

— Почему? Какое вы Имеете право! — Князь сел, спустив ноги на пол, натянул на себя одеяло и тут увидел, что адъютант его, сотник Зуев, бледный как полотно, сидит на своей постели, натягивает сапоги, а по бокам его стоят два казака.

Все понял князь и, кинув на Балябина взгляд, полный ненависти, процедил сквозь зубы:

— Мерзавец!

Фрол кивнул головой Молокову:

— Позови вестового, пусть поможет князю одеться.

Арест не везде произвели быстро, без шума. В пятом купе, где со своим адъютантом находился полковник Синицын, произошла небольшая заминка. Полковник проснулся, едва в купе появились казаки. Мгновенно сообразив, в чем дело, он сунул руку под подушку, и в руке его матово блеснула вороненая сталь нагана, но тут на него ястребом налетел Янков.

— Но-но, ты! — прикрикнул Янков, ухватив полковника за руку. На помощь Янкову подоспел Добрынин, медведем навалился на Синицына.

— Подлецы, негодяи! Как вы смеете! — дико вращая глазами, хрипел полковник, пытаясь вырваться из рук казаков. Присмирел он лишь после того, как Добрынин поднес к его носу увесистый кулак, посоветовал:

— Заткнись, стервуга, а то как двину, так прильнешь к стене-то.

Хуже получилось в соседнем эшелоне, где Киргизов с казаками арестовывал офицеров Аргунского полка. В первом купе сопротивление заговорщикам оказал сотник Куклин, в которого еще на фронте стреляли казаки, да как-то неудачно. Он, очевидно, еще не спал, когда казаки вошли к нему в купе, успел два раза выстрелить в них и ранил в плечо урядника Чупрова. Тут на него накинулись казаки, обезоружили.

— Ты ишо стрелять, свола-а-ачь! — хрипел Афонька Суетин, ухватив сотника за грудки и вытягивая его в коридор.— Мало поиздевался над нашим братом...

Пятясь задом, Суетин выволок сотника в тамбур, на ступеньки вагона и уже спрыгнул наземь, когда кто-то из казаков ахнул Куклина прикладом по голове. Вылетев из тамбура, сотник чуть не сшиб с ног Суетина, грудью и лицом ударился о мерзлую землю и, вскочив на ноги, завопил диким голосом:

— Бра-а-т-цы! — и сразу же смолк, падая навзничь: как лозу на ученье, срубил его Суетин шашкой.

Расправившись с сотником, казаки ринулись в вагон, снаружи остались двое: Марков и трубач Якимов. Они-то и услыхали, как в крайнем купе зазвенело разбитое стекло и в окно выскочил человек. Марков зачакал затвором, вскидывая винтовку на руку.

— Сто-о-ой! — целясь из нагана, заорал Якимов. Хлопнул выстрел. Беглец хотел нырнуть под вагон и не успел настигли его казачьи пули. В ту же минуту оба казака подбежали к убитому, перевернули его кверху лицом.

— Готов, голубчик! Узнаешь его, Марков?

— Есаул Артамонов, второй сотни...

— А-а-а, худой, говорят, был...

— Зверюга, хуже некуда!

— Значит, туда ему и дорога!

ГЛАВА XVI

Рассвело, когда Егор с казаками вернулся в свой вагон. Казаки уже почти все проснулись, несколько человек их сидели вокруг жарко натопленной печки, курили, большинство же все еще лежало на нарах, лениво переговариваясь между собой. Раздвинув дверь, Егор запрыгнул в вагон, за ним, брякая шашками, полезли остальные.

— Долго дрыхнуть будете? Вставайте живее! — крикнул Егор.— Проспали все царство небесное!

Черный как жук, горбоносый Гантимуров приподнял голову, громко зевнул, спросил:

— Холодно на дворе-то?

— Кому холодно, а кому и жарко. Вставайте, говорят вам! Новостей полно, переворот в дивизии устроили ночесь!

— Какой переворот?

— Чего мелешь?

— В самом деле, офицеров арестовали всех почти что!

— За этим и вызывали нас.

И тут все пятеро, перебивая друг друга, стали рассказывать о событиях минувшей ночи.

Казаки мгновенно повскакали со своих мест и, кто накинув на себя шинель, кто полушубок, а кто и так, в одном белье, окружили сослуживцев, расспрашивали:

— Шемелина нашего тоже забрали?

— Забрали.

— И генерала?

— Тепленького взяли, в постели!

— Ну, а прапоров наших? Богомягкова, к примеру?

— Что ты, голова садовая! Они сами арестовывать ходили, даже заглавными были у нас.

— Собрали мы их всех около станции, человек чуть не под сотню наарестовали, построили по четыре в ряд и под конвоем в трибунал.

— А как обошлось-то, по-мирному, без жертвов?

— Было всякое, кое-кого и на тот свет спровадили, без пересадки.

— Делов наворошили вы...

— А вонче-то правильно, на то она и революция.

— Как же теперь без командиров-то? Вить это все одно что стадо без пастуха.

— Выбирать будем сами, соберемся всем скопом и кого облюбуем, того и произведем в полковники, даже и в генералы, ежели надо будет.

— Дела-а-а.

— Чудеса в решете!

Богатый событиями был этот день в Гомеле. С самого утра, едва казаки управились с уборкой, водопоем лошадей и завтраком, как трубачи заиграли сбор.

— Собрание; наверное, командиров выбирать,— высказал свою догадку Вершинин.

В ту же минуту в дверь вагона просунул усатую голову посыльный:

— На митинок, живо!

— А где он будет?

— На площади за станцией, идти при шашках, без винтовок.

— Насчет чего митинг-то?

Но посыльный уже стучал в двери следующего вагона. Казаки по привычке быстро оделись. Каюков, как старший по вагону, приказал Молокову:

— Ты, Митрий, оставайся в вагоне дневальным, всем-то нельзя уходить, винтовки тут, манатки.

— Скажи на милость,— обиженно протянул уже одевшийся Молоков,— окромя меня, уж и некому?

— Ничего-ничего, я тебе за это наряд засчитаю. А што там будет — придем расскажем.

— И вечно мне, как пасынку. Арестовывать — так Митька иди, а как што-нибудь антересное — дневалить оставайся.

Каюков, не слушая воркотни Молокова, широко раздвинул дверь, скомандовал: «Пошли!» — и первым выпрыгнул из вагона. Казаки как горох из мешка сыпанули следом, вагон опустел.

Держалась еще у казаков дисциплина. Очень хотелось пойти Молокову на митинг, понравились ему слова вчерашнего оратора, но служба, ничего не поделаешь. Приказал взводный урядник — надо исполнять! А любопытство так и распирало Молокова. Сняв с себя шашку и шинель, полез он на верхние нары, надеясь увидеть в люк, что там будет происходить.

В промежутке между двумя вагонами Молоков увидел угол станционного здания, а за ним площадь, густо запруженную

казаками. Посреди площади, в серо-желтом месиве казаков, какое-то возвышение, обтянутое красным, и с красным же флагом на пике. Ветерок колышет алое полотнище с белыми на нем буквами, на возвышении этом тоже люди стоят, штатские и казаки, среди которых узнал Молоков Балябина и Богомягкова. Один из штатских что-то говорил, жестикулировал руками.

Досадуя, что отсюда и видно плохо и ничего не слышишь, Молоков матюгнулся и, спрыгнув на пол, вытянул из-под нар старенькую метлу, принялся за уборку.

Казаки пришли с митинга около полудня. С*приходом их сразу ожил вагон, наполнился шумом, людским говором. Все охотно делились с Молоковым новостями.

— Командиром дивизии Балябина избрали, Фрола,— спешил поведать Молокову один.

— Помощником ему Янкова,— вторил другой.

Третий говорил о Богомягкове.

— Да говорите хоть по одному,— взмолился Молоков,— затараторили, как бабы у колодца, и ни черта не поймешь. Значит, Балябина командиром дивизии избрали, понятно. Помощником ему вахмистра Янкова. Видал его ночесь, боевой, должно быть, казачина. Ну а Богомягков-то кем теперь будет?

— Военным комиссаром дивизии, понял? Это, браток, то ж самое, что и командир, даже и похлеще.

— Ишо кого куда избрали?

— Киргизова начальником штаба дивизии.

— А командиром полка нашего кто будет?

— Прапорщик шестой сотни Лука Новиков.

— Тоже знаю его. А командиры сотен?

— Этих будем избирать сегодня же на сотенских собраниях.

Вдоволь наговорившись, вспомнили казаки и о деле: одни отправились к лошадям,— время подошло поить их, задавать корм; другие с котелками в руках —на кухню за обедом. Егор, отдав свой котелок Вершинину, продолжал рассказывать Молокову:

— После митинга принялись качать новых командиров, а заодно и рабочих, какие на митинге были и красное знамя нам подарили. А потом как зачали погоны срывать, смехота! Всю площадь усеяли погонами, как листопад осенью.

В тот же день еще раз побывали казаки на собраниях, где были избраны сотенные и взводные командиры. В четвертой сотне командиром выбрали боевого казака Корнила Козлова. Против его кандидатуры не выступил ни один из казаков, и все дружно подняли за него руки, а после собрания шутили:

— Повезло тебе, Корнил, из рядовых сразу в есаулы.

— Жалко, погоны-то отменили, подошли бы к его полушубку золотые-то.

— Ха-ха-ха!

— Подобру-то с тебя, Корнил, ведро спирту следует за эдакую честь.

— Отставить! — деланно грозно прикрикнул на шутников новоиспеченный командир.— С кем разговариваете? Вахмистр, под шашку стервецов, на два часа!

— Но-но, шибко-то не ерепенься, а то вить мы тебя и разжаловать могем. Из командиров-то враз произведем в кашевары.

— Вот напугал! Мне же лучше и сделаете.

Во всех сотнях были в этот день избраны новые командиры, из бывших вахмистров, урядников и даже рядовых казаков. Лишь в пятой сотне казаки не пожелали расстаться с есаулом Мелицей, одобрительно отзывались о нем, выставили кандидатом на пост командира сотни.

— Я хочу сказать против,— неожиданно заявил поднявшийся в задних рядах Федор Зырянов.

Казаки недоуменно оглядывались на Федора, задвигались, зашушукались.

— Потому я против,— начал Федор,— дорогого нашего господина... то ись товарища... значит, Мелицы, что ему бы не сотней командовать но его, значит, геройству и то же самое способности, а всем полком нашим! Очень будет он для нас подходимый командир.

И в зале раздались одобрительные возгласы:

— Правильно-о-о!

— Соответствует!

Но тут слова попросил сам Мелица. Поблагодарив казаков за честь, которую они оказали ему, избирая командиром сотни, он возразил Федору Зырянову.

— Мы и права такого не имеем,— пояснил он казакам,— потому что это дело не одной нашей сотни, а всего полка.

— Понятно? — кося глазами в сторону притихшего Зырянова, спросил председатель собрания Денис Губарев.— Значит, поскольку командир полка уже выбранный, то и нечего тут разводить всякую критику, а что касаемо товарища Мелицы и как он, значит, с дорогой душой за революцию, то и вся статья быть ему у нас командиром сотни. Кто за него, прошу поднять руки.— И, посмотрев на дружно взметнувшийся частокол казачьих рук, добавил: — Тут и считать нечего, почти что все. Выбрали,— значит, командуй сотней, товарищ Мелица.

ГЛАВА XVII

Как ни хотелось полковнику Комаровскому провести свой 1-й Читинский полк в область Войска Донского, это ему не удалось: подействовала на его казаков агитация аргунцев. Уже с самого начала похода, едва тронулись из Казатина, в казачьих вагонах разгорелись жаркие споры о том, куда ехать. Или на Дон, иди в свое Забайкалье. Хотя большинство казаков этого полка и были сынками богатых скотоводов верхнеаргунских и приононских станиц, война осточертела им так же, как и всем фронтовикам. Желание ехать не к чужим, а к родным станицам пересилило, и на стихийно возникшем митинге в городе Полтаве казаки заявили, что дальше они не поедут, потребовали повернуть эшелоны на восток.

Митинг проходил на привокзальной площади. Посреди огромной толпы казаков, на принесенном откуда-то дубовом столе, стоял помощник командира полка войсковой старшина Вихров, сам полковник Комаровский пойти на этот митинг отказался. Раскачиваясь, словно ковыль под ветром, то в ту, то в другую сторону, Вихров пытался уговорить расходившихся казаков.

— Братцы! — взывал он, до хрипоты напрягая голос— Одумайтесь, что вы делаете?! Это невыполнение боевого приказа, бунт! Вы забываете о чести казачьей, о присяге! Вспомните, как били мы с вами немцев на Стоходе... вспомните... братцы... мы идем родину спасать...

Но голос его тонул во все нарастающем гуле многосотенной возбужденной толпы, со всех сторон неслись угрожающие выкрики:

— Не желаи-и-м!..

— Вертай назад!

— Катись к едреной матери-и...

— Хвати-ит!

Один из казаков, с усами соломенного цвета, уже взобрался на стол.

— Братцы-ы! Станишники! — кричал он, багровея от натуги.— Дозвольте мне сказать. И вовсе мы не бунтуем,— продолжал он, обращаясь к Вихрову,— а просим то поиметь в виду, что покудова мы там кровь проливать будем где-то на Дону, а дома свои большаки обозначатся, пожгут все, разграбят! К чему возвернемся тогда? Вот мы и просим.

Последние слова казака захлестнула новая волна многих сотен голосов. Из общего гула выделялся густой бас казака третьей сотни Лагунова:

— Врет он, гада! Холуй, блюдолиз офицерский, контре! Сверзить их всех к такой-то матери!.. Комиссию назначить к командиру!

— Верно-о!

— И родину нам спасать не от кого,— гудел Лагунов,— враки все это...

— Правильно-о!..

— Да думаете ли вы о родине-то,— охваченный бессильной яростью, ругался Вихров.— Хамы проклятые! Мерзавцы!

Он окидывал орущую толпу ненавидящим взглядом и повсюду видел красные от возбуждения, злые лица казаков. Все они что-то кричали, иные размахивали кулаками, а кто-то в задних рядах уже крутил над головой обнаженной шашкой, и до слуха Вихрова доносилось:

— Сверзи-ить!

— Влепить ему промеж глаз!

— Дай-ка я его!..

— Что-о-о? — уже не владея собой, вскрикнул взбешенный Вихров.— Грозить мне, хамы! Стреляйте! — Он рванул на груди шинель, так что блестящие орленые пуговицы брызнули по сторонам, шагнул на край стола и вдруг, нагнувшись, оперся рукой на голову высокого казака и спрыгнул прямо в орущую толпу.

И это подействовало на казаков ошеломляюще, смелая выходка войскового старшины многим пришлась по душе. Перед ним расступались, и он шел, ни на кого не глядя, чувствуя на себе восхищенные взгляды казаков, а в бурливом гомоне их слышал удивленные и одобрительные голоса:

— Вот это смельча-а-ак!

— Как он со стола-то махнул!

— Чуть с ног не сбил Ваньку Дубинина...

— Геро-о-ой, волчуга!

После ухода Вихрова митинг закончился тем, что избрали делегацию из пяти человек, в число которых попали и басистый Лагунов, и желтоусый казак, и Мишка Ушаков. Делегация прямо с митинга отправилась к командиру полка, и Лагунов от имени всех заявил полковнику, что казаки ехать на Дон не желают и требуют везти их в Забайкалье.

Волей-неволей пришлось полковнику Комаровскому пойти на уступки и впервые за многие годы службы в армии отменить свой приказ. Полуденное солнце, выглянув из-за белесых туч, на минуту осветило место недавнего шумного сборища: одиноко торчащий на площади стол, а около него на притоптанном

множеством ног снегу золотыми искрами сверкнули две вихровские пуговицы, сверкнули и тут же потухли, как только солнце скрылось за тучи.

А казаки уже занялись обычными делами: водопоем, кормежкой и чисткой лошадей, у походных кухонь выстраивались очереди за супом.

На этом и закончился конфликт между казаками и офицерами 1-го Читинского полка. Крепок еще был в полку казачий дух, верность присяге, беспрекословное подчинение «отцам-командирам».

К вечеру этого же дня эшелоны забайкальцев двинулись обратно, и казаки успокоились, повеселели. Разговоры их все больше сводились к тому, когда и с какой станции повернут их поезда на Сибирь, в сторону студеного, но столь желанного Байкала.

ГЛАВА XVIII

Морозным январским вечером со станции Чита-первая вышел одинокий, без вагонов паровоз. В будке его кроме машиниста ехало еще четверо — делегация по переговорам с казаками 1-го Читинского полка, прибывшего на станцию Кенон. В составе делегации — Борис Жданов, Захар Хоменко, Борис Кларк и бывший счетовод конторы Петр Степанов.

Стужа к ночи усилилась, полная луна тускло светила сквозь густой, морозный туман, но в паровозной будке тепло, жарко пышет от раскаленной топки. Жданов присел на какую-то чурку и только теперь почувствовал смертельную усталость, сказывалась суматоха последних дней. За это время на его голову свалилось столько всяких дел, что спать приходилось урывками и где придется. Борясь с одолевавшей его дремой, он видел, что и Захар Хоменко клюет носом, сидя на кочегарной скамейке, а Кларк уже крепко спит, примостившись на куче угля. Сегодня, как пришел он из ночной смены в Совдеп, так и дома не был; из Совдепа отправился на окраину Читы, где красногвардейцы, готовясь к обороне города, долбили мерзлую землю, устраивали в ней окопы, а батарейцы устанавливали орудия. А вечером экстренное заседание президиума Совета и вот — поездка на переговоры. Рядом с Кларком сидит Степанов, привалившись спиной к стенке, и не видно, спит он или думает о чем-то, уставившись глазами в одну точку.

Проснувшийся Хоменко выпрямился, достал из кармана кисет и, свертывая самокрутку, проговорил со вздохом:

— Сумеем ли поладить с казаками?

— Вряд ли,— отозвался Степанов,— то, что офицеры до сих пор сохранили в полку свою власть над казаками, говорит о многом, и, к сожалению, не в пользу революции.

— Вот и я так же думаю,— согласился Захар,— казаки, они казаками и останутся.

— Ну это, Захар Петрович, не совсем так,— возразил Степанов,— казаки, что вы там ни говорите, все-таки уж не те, что были в девятьсот пятом году. И я уверен, что многие из них пойдут с нами.

Степанов помолчал, потом еще говорил о чем-то, но слова его уже не доходили до сознания Жданова. Сквозь дрему чудилось Борису Глебовичу, что это не Степанов говорит, а где-то рядом журчит, перебираясь по камешкам, речка, пошумливает над нею камыш, мерно выстукивает мельничное колесо, и все тише, тише, и вот уже совсем замолкло. Сон завладел им окончательно. Он не слышал, как приехали на станцию Кенон, как Степанов, пожалев будить товарищей, один пошел разыскивать командира полка, чтобы договориться с ним о встрече.

Когда Жданова и его товарищей разбудил машинист, Степанов уже дожидался их внизу у подножки паровоза. Рядом с ним стоял казак в полушубке с меховой оторочкой на груди и боковых карманах.

— Пошли! — коротко, тоном приказа заявил казак, и все четверо отправились за ним куда-то мимо вокзала.

На дворе все так же злилась стужа, на сером от морозной копоти небе такая же тусклая стояла луна, и вокруг нее образовался широкий белесый круг. Вдали от вокзала мутной грудой темнели казачьи поезда, откуда доносился глухой слитный гул людских голосов, топот кованых копыт по деревянному настилу и скрежет колес по снегу.

— Радехоньки казачишки-то,— заметил Хоменко,— добрались до родных краев и утра не дожидаются, за разгрузку принялись.

Но там, как видно, разгрузку уже заканчивали, слышались слова команды к построению, словно казаки готовились к какому-то выступлению.

Казак довел делегатов до небольшого одноэтажного дома, посторонившись, показал рукой на дверь: проходите сюда.

Делегация вошла в большую, освещенную висячей лампой комнату, совершенно пустую и даже нетопленную, посредине которой, поперек нее, стоял длинный стол. Человек пять офицеров сидели на скамье у стены по ту сторону стола. Еще несколько офицеров кучкой толпились поодаль; разговаривая, они курили, и среди них, к великому удивлению своему, наши делегаты заметили нарсоветовцев 1: эсера Афанасьева, эсера Магазинера и меньшевика Фромберга.

— Всё!-— с отчаянием в голосе тихо произнес Хоменко.— Не будет у нас толку, эти предатели уже снюхались с ними...

— Да, дела наши, по всему видать, незавидные,— поддержал Захара Степанов.

Делегаты подошли к столу, около которого, словно подчеркивая, что разговор будет коротким, хозяева не поставили ни скамей, ни стульев.

С той стороны поднялись со скамьи офицеры: полковник Комаровский, высокого роста, узколицый, горбоносый человек, войсковой старшина Вихров и еще три есаула. В это время в комнату вошел молодой сотник; подойдя к полковнику, он козырнул ему и о чем-то коротко доложил. Полковник, повернувшись к офицерам, отдал какое-то распоряжение, и несколько человек их, во главе с Вихровым, сразу же вышли. Вместе с офицерами ушли и нарсоветовцы. В комнате кроме делегатов остались полковник, пожилой есаул и четыре молодых офицера.

Комаровский с есаулом подошли к столу. Полковник провел насмешливым взглядом по засаленному полушубку Хоменко, по испачканному углем пальто Кларка и заговорил, обращаясь к Жданову:

— Слушаю вас, господа.

— Мы приехали выяснить,— начал Жданов,— ваше отношение к революции, политические убеждения, а также ваши намерения и планы.

Тонкие губы полковника поежились в презрительной улыбке, лукаво заискрились его карие глаза...

— Мы не имеем никаких ни планов, ни намерений,— сказал он,— мы люди военные и выполняем то, что нам прикажут. Что же касается политических убеждений, то мы не против революции и вот здесь, в Забайкалье, признаем новую власть, именуемую здесь «Народным советом».— Полковник замолк, снова медленно обвел глазами делегатов и продолжал чеканить каждое слово: — Воинская, казачья честь обязывает нас подчиниться этой власти и, в случае нужды, защищать ее от всяких... э-э... врагов.

[1] 4 января 1918 года в Чите, на областном съезде, был создан так называемый «Народный совет» (взамен «Комитета общественной безопасности»), главными заправилами которого были меньшевики и эсеры.

— Та-а-ак.— Жданов оперся обеими руками о край стола, встретился с полковником взглядом.— А вам известно, господин полковник, что этот «Народный совет» не признают ни рабочие, ни крестьяне, ни трудовые казаки Забайкалья?

— Мне известно одно: это вполне законный орган власти Временного правительства, которому мы присягали на верность.

— Но позвольте,— вступил в разговор Степанов,— разве вы не знаете, что Временное правительство свергнуто? Народ избрал себе новую форму правления — советскую власть, и законным правительством теперь является Совет Народных Комиссаров.

Полковник утвердительно кивнул головой:

— Да, мы знаем об этом. Но мы знаем также и то, что власть эта навязана народу силой, а поэтому не признаем ее.

— В таком случае,— еле сдерживая вскипавший в нем гнев, вновь заговорил Жданов,— мы предлагаем вам разоружиться, сдать оружие Совету рабочих и солдатских депутатов, иначе мы не пустим вас в Читу.

— Ого! — усмехнулся полковник.— Кто же это помешает, нам войти в город?

— Наша Красная гвардия.

Стоявшие позади полковника офицеры переглянулись, заулыбались, один из них злобно-весело и довольно внятно процедил:

— А мы ее в капусту, вашу гвардию краснорванную, изрубим!

— И Читу вашу первую, скопище бандитское,— уже более громко добавил другой,— во вспаханное поле превратим.

— Господа,— повысил голос Жданов, кинув в сторону офицеров твердый взгляд,— мы разговариваем с командиром полка и просим не мешать нам своими угрозами.

— Кончай, Борис Глебович! — Все время молчавший Кларк дернул Жданова за рукав.— Ни до чего мы с ними не договоримся. Пошли!

— Да,— согласился Жданов,— больше нам говорить не о чем, все ясно.

И все четверо, провожаемые насмешливыми взглядами офицеров, направились к выходу.

А на дворе их ожидала новая неприятность. Едва они отошли от дома, как вдали, по ту сторону железнодорожной линии, заметили темную лавину, что удалялась в тумане в сторону Читы.

«Неужели казаки?» — невольно подумалось каждому, и в

ту же минуту из-за темной груды вагонов справа показалась новая колонна, в которой уже явственно различалась конница. Это отходила уже последняя сотня. Казаки пересекли линию железной дороги, крупной рысью двинулись следом за полком. Сквозь дробный конский топот слышалось звяканье стремян и шашек.

— Дождались,— упавшим голосом проговорил Кларк,— обманули, проклятые, зубы нам заговорили, а сами полк на Читу двинули.

— Ехать надо живее! — выкрикнул Жданов, и все бегом кинулись к паровозу. Но пока добежали до него, забрались в паровозную будку, да еще пришлось подождать отставшего, тяжелого на ногу Хоменко, казаки совсем скрылись из виду. А тут, как назло, оказался закрыт семафор, и с запада доносился гул подходящего поезда.

Жданов, зубами заскрежетав с досады, приказал машинисту:

— Езжай! Я отвечаю за все, давай живее ходу! Давай!

Машинист дал короткий гудок, задвигал рычагами, повернул регулятор, и паровоз, шипя паром, задним ходом двинулся на Читу, все больше увеличивая скорость.

— Прибавь, Денисыч, прибавь! —упрашивал машиниста Хоменко, но тот и так уже развил предельную скорость. Шуровать уголь взялся Кларк, ему, неловко орудуя лопатой, помогал Степанов, а Жданов, лежа наверху угля в тендере, глаз не сводил с окраины Читы, где уже началась стрельба. Мороз обжигал ему лицо, ледяной ветер свистел в ушах, но он, не замечая ничего, видел лишь, как там, на линии окопов, в мглистом тумане вспыхивали отсветы залпов, грохотали орудия. Все ближе и ближе Чита, и когда стало видно окраину, дома, за которыми начинались окопы, стихли орудийные выстрелы. Почуяв недоброе, Жданов кубарем, увлекая за собой груду угля, скатился вниз.

Кларк перестал кидать уголь, по встревоженному лицу Жданова догадавшись: случилось что-то неладное. Понял этой Степанов; выпрямившись, спросил:

— В чем дело?

— Что-то произошло... пушки замолчали...

— Пушки? — переспросил Кларк...— А может быть...— Он на минуту выглянул в окно и, вдруг решившись, швырнул лопату в угол: — Бежать надо туда скорее, затормози, Денисыч!

Жданов ухватил его за рукав:

— Обожди, всем нельзя туда. Вот что: вы с Захаром,— обернулся он к Степанову,— давайте живее в Совдеп, заберите

там документы, партийные дела и, в случае чего, в депо их или в вагонную мастерскую.— Последние слова он произнес, уже стоя на подножке, и в следующую минуту спрыгнул следом за Кларком.

Отбежав немного, оба остановились, прислушались. Стреляли, как показалось им, где-то неподалеку. Вперемежку с частой ружейной трескотней тяжко ухали залпы, длинные очереди выстукивал пулемет.

— Отбились,— уверенно заявил Кларк,— а пушки не стреляют потому, что снаряды берегут.

Жданов хотел что-то ответить и не успел: слух его неприятно резанул конский топот, и в просвете между домами на соседней улице показались казаки. Лавина их стремительно мчалась туда, откуда доносилась стрельба.

«Обошли, зашли с тылу»,— озарила догадка.

Жданов, еле поспевая за Кларком, бегом кинулся туда же, к месту сражения, но было уже поздно. В первой же поперечной улице увидели отступающих красногвардейцев. Они отходили повзводно, отстреливаясь от наседавших на них казаков, под руки уводили раненых.

Было далеко за полночь, когда прекратилась стрельба. Городом завладели казаки. Уцелевшие от разгрома красногвардейцы собрались в вагоноремонтной мастерской, в которой по случаю нападения казаков сегодня не работали.

Усталые, подавленные пережитым разгромом, входили красногвардейцы в мастерскую; растекаясь по ней, усаживались кому где придется. Немногие отваживались на разговоры, большинство же угрюмо молчало, иные протирали запотевшие винтовки, несколько человек сгрудилось около Жданова и Кларка. Пожилой рабочий Демин рассказывал, опираясь на бердану:

— ...Как ахнем по ним залпом, они и ходу назад, а тут орудия зачали бить, пулеметы. Ну, думаем, ладно дело! А того и не заметили, что они надвое разделились. Как нагрянули с тылу — и пошла растатура!.. Где же тут устоять нам — их вчетверо больше, сила! Вот и забрали у нас и орудия, и больше половины разоружили наших... осталось нас три взвода, отбились кое-как. Вот оно какое дело-то...

— Ох, набили наших немало...

— Кочегара Чумилина на моих глазах...

— Напарнику моему Осадчему прямо в грудь угодило!

— Петухова что-то не видно!

— Ранило его в ногу, унесли в околодок!

Слушая печальные рассказы, Жданов оглядывал мастерскую

и повсюду видел суровые, озабоченные лица. Понимая, как тяжко переживают люди горечь поражения, он попытался успокоить их, ободрить, говоря, что не все еще потеряно, что они вновь соберутся с силами, что вся борьба еще впереди... Ему не удалось закончить свою речь: в мастерскую, громко разговаривая, возбужденные чем-то, вошли рабочие, и среди них Степанов и Хоменко.

— Депеша, товарищи, очень важная депеша! — едва появившись в мастерской, воскликнул Степанов. С кучей каких-то бумаг под мышкой, он торопливо прошел вперед, к Жданову, и передал ему свернутую вдвое бумажку. Тот пробежал бумажку глазами, и лицо его посветлело.

— Товарищи, радостная весть! — В голосе Жданова зазвучали торжествующие нотки. — Казаки Первой Забайкальской дивизии совершили переворот в городе Гомеле, они арестовали своих офицеров И полностью перешли на сторону революции...

Это известие так подействовало на красногвардейцев, что все они повскакали со своих мест и, окружив верстак, где стоял Жданов, шумно выражали свой восторг:

— Живем, товарищи!

— Жи-ве-ем!

— Ай да казаки!

— Три полка, каково!

— Здорово!

— Шли бы скорее!

— Теперь мы покажем контре!

Жданов, потрясая над головой бумажкой, призывал к порядку:

— Слушайте дальше, товарищи, слушайте! У казаков уже выборные командиры, полками и дивизией командуют большевики!..

Гул восторженных голосов заглушил слова Жданова.

А Степанов тут же, на верстаке, уже набрасывал проект письма ко всем рабочим и красногвардейцам области, в котором оповещал их о событиях в Гомеле, призывал к сплочению в дальнейшей борьбе против контрреволюции.

ГЛАВА XIX

1-й Читинский казачий полк, после того как он расправился с читинскими красногвардейцами, поместился в казармах на окраине города.

Хотя полком по-прежнему руководили офицеры и сильна

была в нем кадетская организация, среди казаков началось брожение. Случайные встречи, разговоры с рабочими, большевистские листовки и газеты, которые каким-то образом попадали в казармы, делали свое дело, и казаки все чаще заговаривали о революции, о большевиках, о Красной гвардии.

Полдень. У походных кухонь выстроились длиннейшие очереди, казаки с котелками в руках ждут своей череды, делятся новостями:

— Слыхали про дивизию нашу?

— Нет, а что?

— К большевикам подались, все три полка.

— Ври больше!

— Честное слово, письмо получил от брата.

— Чего такое?

Казаки оборачивались на говорившего и вот уже стеной обступили его, слушая новости...

На вечерней уборке Мишка Ушаков чистил своего исхудавшего, как и у всех казаков, коня. В конюшне, слабо освещенной керосиновыми фонарями, сумрачно, густо пахнет конским потом, навозом и прелой соломой. Усердно работая скребницей и щеткой, Мишка не заметил, как в стойло к нему зашел казак Лагунов. Оглянулся он на Лагунова лишь после того, как тот дернул его за хлястик шинели.

— Новость слыхал, Ушаков?

Мишка перестал скрести коня, спросил:

— Какую новость?

— Завтра опять на Читу-первую подлаживайся. Первая сотня пойдет, пятая и наша третья тоже, при полной боевой.

— Ну и што?

— А то, что опять Красную гвардию разоружать заставят, взводный наш, Орлов, рассказал мне по секрету.

— Вот оно што-о.

— А шибко нам это нужно?

— Да вроде бы и совсем ни к чему.

— Знаешь, што мы надумали с Орловым, да ишо тут наших пятеро: махнуть из полка и домой по чистой. Хватит воевать с рабочими.

— Да я-то с дорогой душой на такое дело,— загорелся Мишка.— Да как сбежать-то?

— Ерунда, проще пареной репы. Сегодня Орлов всех нас, какие согласятся, назначит в конный ночной патруль... И даже документы мало-мальские сварганит, и все в порядке, согласен?

— Буду готовиться...

Лагунов изложил Мишке план побега:

— До Дарасуна доедем все вместе, а там по своим станицам.

В тот же вечер Мишка поговорил с урядником Орловым, договорились с ним ехать вместе до Заозерной станицы, побывать у Мишкиной матери.

* * *

Платоновна только что принесла из колодца воды, затопила железную печку и хотела присесть на скамью, но, взглянув в оттаявшее кутнее окно, увидела двух вооруженных казаков, подъехавших к воротам ее усадьбы.

— Миша-а! — всплеснув руками, воскликнула Платоновна и, как была в одном сарафане, кинулась на крыльцо.

Три с половиной года прошло к той поры, как приезжал в отпуск Егор, и четыре минуло, как проводила Платоновна на службу Михаила. И вот теперь, еще не видя его в лицо, она материнским чутьем угадала сына.

— Миша! — только и могла выговорить Платоновна, с плачем протянув руки навстречу сыну. И когда Михаил, бросив коня, подбежал к ней, она упала к нему на грудь, ухватила за папаху, тянула к себе, целовала возмужавшее, опаленное морозом лицо сына.

— Чего же плакать-то, мама, я живой, здоровый!

— Мишенька, и голос-то у тебя другой стал, басистый, как у отца.

— Мама! — спохватился Михаил.— Ведь ты простынешь, идем скорее в избу.

Тем временем весть, что у Платоновны вернулся с войны сын, уже облетела поселок, и в избу к ней начали подходить сельчане. Первым пришел и поздравил казаков с приходом сосед Платоновны, Демид Голобоков. Вместе со старухой пришел родственник Ушаковых Евдоким Дюков, старик Уваров и еще несколько стариков, соседей и родственников. Сафрон Анциферов папахой достал до потолка, здороваясь с казаками, рокотал густым басом:

— Сына моего, Сашку, не приходилось там повстречать?

Казаки еле успевали отвечать, вопросы так и сыпались отовсюду.

— Канитель-то эта, революция, долго ишо протянется?

— Как там в больших-то городах дело обстоит? У нас вот, как прослышим, так порядки-то все хуже и хуже при новой-то власти.

— Слух прошел, землю у нас отрезать собираются да мужиков на нее селить из Расеи, неужто правда?

— Не верь никому, дед, наша земля при нас и останется.

— Вот и я так же думаю, из-за этого с кумом Иваном поспорил.

— А для чего это партиев-то столько расплодилось? Вон как послушаешь, в газетах пишут и Козырь Игнашка рассказывал намедни,— красные появились в Питере, и белые, и черные, и даже серые, навроде волчьей масти.

— Эсеры, дедушка.

— Подождите, братцы, тут нам без бутылки ни за что не разобраться.— Подмигнув старикам, Демид Голобоков взялся за шапку.— Дай-ка, Платоновна, бутыль. Пусть они тут в мастях разбираются, а я к Ермиловне смотаюсь.

Пока Платоновна кипятила самовар, собирала на стол закуску, Демид вернулся с четвертной бутылью самогона.

— Вот оно как получается,— говорил он, извлекая из-под полы тулупа запотевшую, зеленоватого стекла бутыль,— жизнь новая — и выпивка новая. Раньше мы царскую водку да спирт глушили, таперь додумались сами вино делать.

Гости уселись вокруг стола на табуретках и скамьях. Демид наполнил самогоном стаканы, и в это время в избе появился поселковый атаман, все тот же Тимоха Кривой. Бутыль самогона на столе и внешний вид фронтовиков понравились атаману.

— Молодцы, ребятушки, молодцы! — приветствовал он служивых.— Сразу видать, казаки, а не шпана какая-то беспогонная, люблю таких.

У стола потеснились, пригласили атамана, выпили за возвращение казаков, и беседа пошла еще более оживленно и громко.

Атаман, сидевший рядом с Орловым, завел разговор со служивым:

— До урядника, значит, дослужился, та-ак, хвалю. А я вот одиннадцатый год в атаманах хожу, это как! Сроду так не бывало во всей станице нашей. А что поделаешь, время подойдет, народ, кроме меня, не хочет никого другого, упрашивают: оставайся, Тимофей Кузьмич,— и только. Намедни сам станичный атаман... Да, чуть ведь не забыл, как у вас, ребятушки, насчет документов-то? Сами понимаете, я, как местная власть, должен знать все досконально, что и как, дружба дружбой, а служба службой.

Михаил смутился, не зная, что ответить атаману, оглянулся на Орлова.

— Документы у нас в порядке,— толкнув ногой Михаила, уверенно заявил Орлов и, порывшись в карманах гимнастерки, извлек оттуда две сложенные вчетверо бумажки.— Вот они, пожалуйста.

Оба эти «документа» Орлову накануне побега из полка отстукал на машинке знакомый сотенский писарь и даже приложил к ним печать. Хотя печать была не настоящая, на оттиске ее можно было прочесть: «Канцелярия 1-го Читинского казачьего полка Заб. в-ка, для пакетов», но, будучи уверен в неграмотности «местной власти», Орлов смело вручил атаману свои «документы».

Атаман взял из рук урядника «документ» с видом понимающего человека, посмотрел на бумажки, на фиолетовые оттиски печатей и возвратил их Орлову:

— Документ хворменный, с печатью, как полагается. А то вить всякое бывает. Вон Козырь намедни с Петькой Подкорытовым заявились без погон и без документов, не казаки, а прямо-таки бродяги беспортошные. А вить теперь насчет этого строго,— ежели заявится такой тип без документов, за конверт его и в ящик, в станицу, значит, как дезельтира.

— Значит, Козырь-то дезертир? — полюбопытствовал Михаил.

— Хворменный, он и Петька Подкорытов.

— Где же они теперь?

— А чума их знает, убегли в тайгу и как в воду канули.

Веселая пирушка по случаю прихода служивых продолжалась весь день. Три четвертные бутыли самогонки выпили гости; опьянев, посетовали на революцию, поспорили, быть или не быть царем Михаилу, вдоволь попели старинных песен, и, когда стали расходиться по домам, над селом опустилась ночь.

Домой атаман уходил последним. Надевая шубу, долго не мог попасть в рукав, а когда Михаил помог ему одеться, вспомнил-таки о деле:

— Михайло, ты, значит, это, с документами... приди ко мне... завтра... Писарь, значит, входящие всякие там, исходящие...

— Завтра гулять будем, господин атаман. Милости просим к нам с утра, а к писарю послезавтра сходим.

— А я што тебе говорю, послезавтра штоб по всей форме. Так и скажи писарю: господин атаман приказал — и крышка.

Михаил накинул на плечи полушубок, проводил атамана до ворот.

На следующий день гулянка по случаю прихода казаков возобновилась. Михаил с Орловым в компании родственников *м*

друзей переходили из одного дома в другой, вместе со всеми выпивали, закусывали, пели песни. Однако ни вино, ни песни не могли отвлечь Михаила от мрачных дум, с ума не шли слова атамана «явиться к писарю», а как явишься с фальшивыми документами? Остается одно — бежать в тайгу, разыскивать Козыря с Подкорытовым, или к Орлову в Чалбучинскую станицу, там, по словам друга, и безопаснее будет и легче прожить.

— Как у Христа за пазухой проживем там,— уверял Орлов Михаила, когда им удалось остаться вдвоем.— Хозяйство у моего отца большое: десятка три лошадей, рогатого скота больше сотни, и овец, и свиней, и хлеба — всего полно.

— В работниках у тебя буду, значит?

— Ничего подобного, работников у нас и без тебя хватит. Я один сын у отца, а ты мне будешь заместо брата. Будем вместе хозяйством править, работать по своему желанию, а пользоваться будешь всем наравне со мной.

— Далеко это, вот в чем дело-то. В тайге-то я поблизости буду находиться и домой могу понаведываться, мать попроведать.

— Это уж дудки, Марья Ивановна: сбежишь в тайгу, так и про дом забудь, слыхал, что атаман про дезертиров калякал вчера, а? То-то и оно. А матери-то сколько беспокойства из-за тебя: и харчей тебе приобретать, и посылать их как-то надо, а у меня и тебе будет хорошо и матери спокойнее.

— И чего ты обо мне так стараешься?

— Чудак ты, Мишка, ей-богу, я не только о тебе, а и о себе стараюсь. Ежели у нас в поселке нельзя будет жить, так придется махнуть за границу — на китайскую сторону, там у нас своя заимка верстах в сорока от границы. Конечно, одному там жить тоска задавит, а вдвоем, да с такими винтовками, не житье будет, а малина. Населения там никакого, раздолье, тайга, и козы, и кабаны, и медведи там водятся, и пушнины всякой полно, будем охотиться и жить в свое удовольствие, пока эта заваруха-война — не кончится.

— И будем там все время вдвоем?

— Нет, почему же. В сенокос там полно народу, и наши приедут, сено косить будем. Ох, какие там сенокосы, пади большие, широкие, травы родятся такие, что-то особенное, пырей в рост человека вымахает. Поэтому выезжаем косить пораньше, пока он не перерос, не выколосился, а такой, в пояс человеку. Выйдешь рано утречком, а он густой, шелковистый, роса на нем сизая-сизая, махнешь литовкой, эх, мать честная...— Орлов замолк, зажмурившись в блаженной улыбке, потер рука об руку, и видно было, что по душе ему работа на сенокосе и что руки

его соскучились по труду.— Хорошо там во время покосов, а вечером у костра столько веселья...

— Ну хорошо, это летом, а зимой?

— Зимой скот пригонят на заимку, там и девок и ребят полно, весело будет, так что вдвоем нам придется побыть осенью да весной.

— Значит, там и окромя вашей есть заимки?

— В каждой пади полно их, по два, по три зимовья вместе. Домой оттуда сено возить далеко, вот его и скармливают скоту на месте. Наша станица на берегу Аргуни, на самой границе расположилась. Пахотной земли у нас много, а сенокосов не хватает, и лес от нас далеко, верст за пятьдесят. Вот мы всем этим и пользуемся из-за границы, арендуем у китайцев.

Много порассказал Орлов в этот вечер своему другу-однополчанину. От него Михаил узнал и о китайской территории, что граничит с русским Забайкальем, и о том, что впадают оттуда в Аргунь три реки: Хаул, Дербул и Ган, вот почему этот район Северной Маньчжурии именуется в Приаргунье Трехречьем. И что вся огромная территория Трехречья, с ее дремучей тайгой, богатой строевым лесом, с ее не знающими плуга целинными землями и обширными сенокосными угодьями, совершенно не заселена. Лишь по самому берегу Аргуни, против русских казачьих сел и станиц, ютятся глинобитные фанзы и лавки китайских купцов да в тайге по Дербулу изредка встречаются кочующие семьи охотников-орочонов.

— Правда, вот за это время,— продолжал Орлов,— напротив Олочинской станицы порядочно поселилось китайцев, целый городок, Шевисьян называется. А туда — в глубь Трехречья — поезжай за сотни верст и, кроме наших заимок, никакого жилья не встретишь.

Рассказывал Орлов так живо и красочно, что Михаил не устоял от соблазна побывать в тех краях, поохотиться, пережить войну на зимовье друга.

— Ладно,— согласился он,— пусть будет по-твоему, едем к тебе.

Выехать решили завтра же и вечером, когда вернулись домой с гулянки, сообщили об этом Платоновне.

— Мишенька, куда же ты от меня? — Всплеснув руками, Платоновна опустилась на скамью,— Только, глаза показал и снова ехать! Да что же это такое!

— Эх, мама, разве я поехал бы? Я ведь тебе не рассказал, что из полка-то мы самовольно, дезертиры мы с Орловым, вот оно какое дело-то.

— Царица небесная, что же теперь делать-то?

— Вот и едем в Чалбучинскую станицу, к Орлову, там у него место есть надежное, где до конца войны можно прожить.

— Вы, тетенька, успокойтесь,— вступил в разговор Орлов,— жить Михаил будет у меня все равно что дома, писать вам изредка. А здесь ему никак нельзя. Ну сами подумайте.

Продолжая уговаривать плачущую Платоновну, Орлов повторил ей все то, что рассказал Михаилу.

Как ни хотелось бедной матери задержать у себя сына хотя бы на недельку, полюбоваться на него, но, понимая, какая ему грозит опасность, волей-неволей согласилась.

Утром поднялись задолго до рассвета. Пока Платоновна растопила печь и приготовила завтрак, казаки напоили лошадей, оседлали, завьючили их и задали в торбы овса. Когда они вошли в избу, вместе с ними клубами ворвался морозный воздух, густым туманом расстелился по полу.

— Ох и мороз сегодня,—заговорил Михаил, снимая полушубок,— так копотит, что от нас демидовскую избу не видать.

Платоновна, опершись подбородком на сковородник, вздохнула:

— Как же вы поедете в этакую стужу?

— Ничего-о. Мерзнуть будем, спешимся, пробежим с версту, с две, вот и согреемся. Нам это дело привычное.

Завтракали за кутним столом, при свете ярко топившейся печи. На столе перед ними горкой лежали горячие колоба *, тоненько шумел самовар. Ели молча. Михаил загрустил, чувствуя на себе ласковый, тоскующий взгляд матери. Вспомнилось ему детство и почему-то особенно отчетливо одно, вот такое же зимнее утро. Тогда так же ярко топилась печь, так же пофыркивал на столе самовар и тоже ели горячие колоба, а у маленького Мишки тогда было одно желание — отпроситься у матери на Ингоду: там дядя Евдоким с Демидом загородили заездок и в этот день будут поднимать из прорубей— высматривать морды[2]. Воспоминания прошлого теплой волной нахлынули на Михаила, и от них эта старая, с низким потолком избушка, такая теплая, уютная, стала еще милее его сердцу, и он сегодня не променял бы ее на самый лучший дом в станице.

Еще более тяжко переживала предстоящую разлуку Платоновна.

[1] К о л о б — блин из гречневой муки.

[2] М о р д а — рыболовная снасть.

— И что это за судьба такая горемычная,— горестно вздохнула она, глаз не сводя с Михаила,— думала, дождалась одного, второго ждать буду, а оно вон как обернулось. Боже ты мой милостивый, когда же все это кончится?

Слезы душили Платоновну, но она крепилась, страдала молча, лишь сковородник, когда она пыталась подцепить им сковородку, плохо слушался, подпрыгивал в руках хозяйки, выдавая ее волнение.

Первым, поблагодарив хозяйку, вышел из-за стола Орлов, за ним поднялся Михаил. Платоновна прислонила к кечи сковородник.

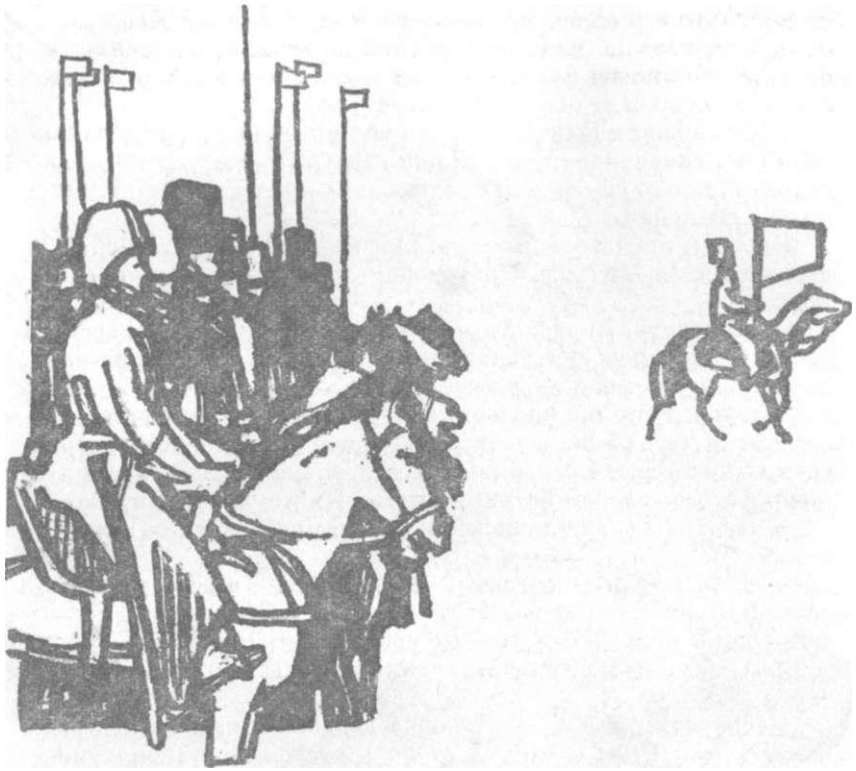
— Мишенька, подожди, родной.— Она прошла в передний угол, сняла икону и, благословив сына, залилась слезами.

Михаил как мог утешил мать, и вот казаки уже засобирались в дорогу: поверх полушубков опоясались патронташами, надели папахи, башлыки, разобрали оружие и, пригибаясь в дверях, гремя о порог шашками, вышли. В стареньком ватнике, накинувшись шалью, следом за ними вышла Платоновна, открыла ворота. Казаки вывели лошадей в улицу, простились с Платоновной.

— Не плачь, мама, ведь не на войну еду, а все равно что в гости к Орлову,— утешал Михаил мать и, поцеловав ее в последний раз, вскочил в седло.— До свиданья, мама!

— С богом, Мишенька, храни тебя казанская божья матерь.

Перекрестив сына, Платоновна долго смотрела вслед казакам. Вот уж и не видно их стало в густом морозном тумане; постепенно замирая, затих топот копыт, а она все стояла у ворот, и слезы крупными горошинами катились и катились из глаз...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Как ни сурова была зима в этом году, во второй половине февраля морозы сдали, наступила оттепель. День к этому времени заметно прибавился, и с крыш, образуя длинные сосульки, зазвенела веселая капель. Оголились южные склоны сопок, почернели унавоженные за зиму, до блеска укатанные дороги, а в свежем, стеклянно чистом воздухе уже улавливались запахи весны: еле ощутимый душок оттаявшей березовой почки, тальниковой и черемуховой коры. Много в эту зиму выпало снегу, и

теперь большие заносы его поверху таяли, слепили глаза лесовозам и охотникам, а по ночам их вновь сковывало морозом, отчего образовывался такой крепкий наст, что местами он выдерживал коня.

Дороги день ото дня портились все сильнее, и люди спешили закончить вывозку сена, запастись дровами и всем тем, что удобнее вывезти из лесу в зимнее время на санях. Об этом и думал Антип Тюкавкин, едучи из лесу с дровами. "

«Да много ли навозишь на одной-то лошаденке,— горестно размышлял он, шагая за возом.— А надо бы жердей запасти, кольев, развалилась городьбишка-то. Да и огород надо подправить, не успеть, никак не успеть. Э-эх, не миновать идти к Шакалу, попрошу на недельку коня под работу, на двух-то все-таки подвезу кое-чего...»

С этими мыслями подъезжал Антип к селу. День еще только начинался, над селом вставало ласковое весеннее солнце, пригревало. В оградах, на пригретых солнышком завалинках копошились, кудахтали куры, радехонькие, что хозяева выпустили их на волю из тесных и душных зимних курятников. Чьи-то ребятишки гнали коров на водопой, а следом за ними баба с ведрами па коромысле. Она-то и рассердила Антипа, перейдя ему дорогу.

— Куда тебя черти несут с пустыми-то ведрами! — грозя кулаком, прикрикнул на бабу Антип.— Не видишь, человек едет, дура лупоглазая, хоть варежку бы кинула в них.

Он хотел ругнуть ее еще покрепче, но в это время увидел шагающего навстречу ему писаря Семена, подумал про себя: «Вот бы поговорить с Сенькой насчет коня-то. Да уж не стоит теперь, пустой разговор».

Но, к немалому изумлению Антипа, писарь сам заговорил с ним, чего Антип никак не ожидал, потому что был он чуть не самым последним бедняком в Антоновке.

— Здравствуй, Антип! — замедляя шаг, первым поздоровался писарь.

— Здравствуйте, Семен Саввич.— Антип остановился, тронул рукавицей шапку.

— Раненько ты из лесу-то.

— Да оно по морозцу легче кобыле-то, а потом на одной-то долго ли взрослому человеку.— И тут Антип, видя, что писарь сегодня в хорошем настроении, решился.— К вам ить я хотел обратиться, Семен Саввич, коня хочу попросить, хоть бы из диких какого, я бы уж обучил его, да и поробил на нем недельку-другую. А что стоить будет, за лето отработаю.

— Ну что ж, можно будет,— согласился Семен и, оглянувшись, понизил голос: — Ты вот что, Антип, приходи к нам сегодня вечером, как стемнеет, я буду дома, поговорим с отцом. Может быть, мы тебе даже из смирных дадим коня-то.

— Спасибо, Семен Саввич.

— Значит, придешь?

— Приду.

— Хорошо, ну'будь здоров.

— До свиданьица, Семен Саввич.

«Што же это оно такое? — удивлялся про себя Антип по дороге к дому.— Перемена какая-то произошла. Раньше, бывало, Сенька не очень-то здоровался с нашим братом гольтепой».

И тут Антип припомнил, что за последнее время, с той поры как сын его Костя ушел в белую армию к Семенову, Савва Саввич тоже переменил свое отношение к Антипу, стал любезно раскланиваться с ним при встречах и ни разу не напомнил о двух мешках муки, которые взял Антип еще в прошлом году.

* * *

Смеркалось. В домах зажигались огни, когда Антип отправился к Савве Саввичу. Ради такого случая он даже принарядился как сумел: надел Костины штаны с лампасами и его же сатиновую рубаху, хотя сам же посмеялся над собою в душе: «Выщелкнулся, как будто в гости иду к Шакалу».

А Савва Саввич в самом деле встретил Антипа приветливо и предложил ему раздеться. Антип снял с себя шубу и, сунув в рукава шапку, кушак и рукавицы, повесил на гвоздик в коридоре, где уже висело множество всяких шуб и полушубков, а из горницы доносились голоса разговаривающих там людей.

«Неужто гости! — смутившись, подумал Антип.— Вот так влип, мать честная».

Но отступать было уже поздно. Пригладив пятерней всклокоченную голову, Антип следом за хозяином прошел в горницу, где уже сидело на стульях более десятка гостей.

Перекрестившись на иконы, Антип робко поздоровался, присел позади всех, около печки, оглядел собравшихся, все еще не понимая, что это за сборище и зачем его сюда пригласили. Собрались здесь люди все более зажиточные, солидные: тут и медвежковатый, хмурый бородач Таврило Крюков, Агей Травников, здоровенный, басистый казачина, почетный судья Христофор Томилин и еще несколько местных богатеев. Из казаков, что победней, Антип увидел Луку Герасимова и Фому Пьянинова, сыновей которых Савва Саввич также завербовал в белую гвардию.

Впереди всех в кресле, рядом с Семеном, сидел станичный атаман Комогорцев, в офицерском мундире с серебряными погонами зауряд-прапорщика. Строгие серые глаза атамана, небольшая бородка и лихие «вахмистерские» усы выдавали в нем старого служаку. С военной службы вернулся Комогорцев вахмистром, а за многолетнее пребывание в станичных атаманах, несмотря на малограмотность, был произведен в зауряд-прапорщики.

Атаман-то и поведал старикам о том, что третьего дня в Чите произошел переворот. Вернувшийся с фронта казачий полк разогнал «Народный совет», и вся власть перешла к большевикам.

Ошарашенные таким сообщением, старики заохали, завздыхали, Агей Травников, крестясь на иконы, шептал:

— Господи-сусе праведный, спаси и помилуй нас, грешных...

Другие осаждали атамана вопросами:

— Что же делать-то нам?

— Теперь и до нас доберутся?

— Ваше благородие, неужто весь полк казачий за большаков?

— Это что же такое, может быть, врут шло?

Морщась как от зубной боли, атаман крутил головой:

— Нет, господа, не врут, а так оно и есть.— Он не стал ждать, пока старики угомонятся, продолжал: — Сам я был в то время в Чите, при мне все и произошло. А началось с того, что в Читу заявился из Аргунского полка, какой целиком перешел к красным, прапорщик Киргизов и с ним взвод казаков-большевиков. Этот Киргизов сразу же с рабочими стакнулся, из Читы-первой, вот и пошло у них, поехало. А тут, как назло, из Верхнеудинска подоспел Второй Читинский казачий полк, и тоже наскрозь болыневицкий. Я даже и командира-то ихнего, выборного, видел, бывший прапорщик Жигалин Яков, из учителей Зоргольской станицы. Вот Жигалин-то с Киргизовым и были главными зачиналами у большевиков читинских, через них все и произошло.

И атаман подробно рассказал старикам, как совершился переворот, как красногвардейцы и революционные казаки завладели городом, а Киргизов с Жигалиным заявились прямо на заседание «Народного совета» и объявили его распущенным. В тот же день была провозглашена новая, советская власть.

— Какая же она из себя-то? — полюбопытствовал Савва Саввич.

Презрительно сощурившись, атаман махнул рукой:

— Такая, что язык не поворачивается называть ее, проклятую, болыпевицкая наскрозь.

— Из казаков есть?

— Куда же они денутся, даже и на больших постах казаки: Бутин Иван, Копунской станицы, Матвеев Николай — Богдатской, Шилов Дмитрий — Размахнинской. Да людно их там, всех-то их холера упомнит, вот в газетах скоро появится, узнаете.

У атамана под левым глазом чуть приметно забился живчик, случалось это с ним в минуты нервного расстройства. Он прикрыл глаз ладонью, склонился над подлокотником, замолк, а горница наполнилась рокотом возмущенных голосов:

— Да какие они, к черту, казаки! Изменники! С рабочими, с жидами заодно!

— Стыд,срам!

— Пороть их, сукиных сынов!

— Раньше бы за такое дело ого-о!

— Сами виноваты,— перекрыл всех густой бас Томилина.— Мало мы их, чертей, били в девятьсот пятом. Надо бы их тогда всех под корень вывести, и жили бы спокойно, и никаких революций не знали. А теперь вот хлебнем горячего до слез.

Все время молчавший Таврило Крюков при последних словах почетного судьи крякнул и, потеребив бороду, обратился к атаману:

— А что же оно будет, ваше благородие, ежели эта власть-то закрепится? К примеру, с нами-то они как поступят?

Атаман оторвал руку от лица, выпрямившись, грустным взглядом окинул стариков.

— Как поступят? — И, покачав головой, невесело усмехнулся: — А так, что наше дело загодя гроб заказывай, знаете, какая у них программа: твое — мое, а ваше —наше.

— Это в каких же смыслах понимать?

— А в таких: заберут у нас все до нитки, из домов переселят в бараки, дадут кому кайлу, кому лопату и заставят уголь добывать да золото комиссарам, а на землю нашу мужиков переселят из Расеи. Вот как будет! А чтоб не допустить до этого, надо нам не сидеть сложа руки, не хлопать ушами, а действовать, восставать против этой власти поганой! — Атаман говорил все громче и громче. Распаляясь во гневе, он уже не замечал, что на левом веке его опять затрепетал живчик, а так и сыпал словами: — Везде, по всей области народ поднимается супротив большевизмы, в вольные дружины записываются

люди, все — от мала до велика. Надо и нам не отстать от добрых людей. У нас в Заиграевой человек полсотни вступило вчера в эту дружину. Думаю, господа, что и вы не ударите в грязь лицом, запишетесь в дружину, за этим я вас и пригласил. По этому случаю нам из области даже предписывают...

Атаман смолк; перегнувшись через подлокотник, достал со стола папку, полистал ее и, найдя нужную бумагу, передал Семену:

— Зачитай-ка, Семен Саввич.

Семен пробежал бумагу глазами; прокашлявшись, начал:

— «Циркулярно, совершенно секретно...»

— Во! — Атаман предостерегающе погрозил кому-то пальцем,— Чуете, совершенно секретно.— Он посмотрел на Савву Саввича, добавил: — Но я думаю, что люди тут все свои, надежные, как раз те, кому и предстоит постоять за правое наше дело, за казачество. Читай, Семен Саввич, дальше.

Семен продолжал:

— «Атаману Заиграевской станицы. Об организации при станицах и поселках «вольных дружин» для борьбы с красными бандами большевиков.

Сим ставлю вас в известность, что доблестные войска русской армии под командой походного атамана Семенова успешно громят мятежные шайки большевиков, освобождая от них села, станицы и станции железной дороги. Но мятежники-большевики продолжают свое гнусное дело. Они захватили власть в Чите и теперь стараются распространить свое влияние на всю область, вербуют людей в свои банды. Большевизм — это враг народа, коварный и хитрый. Большевики сулят народу райскую жизнь на земле, а на деле несут ему обман, грабежи и насилия...»

В конце письма предлагалось всемерно помогать войскам белогвардейского атамана Семенова, а в селах и станицах создавать «вольные дружины» из наиболее надежных и верных Временному правительству казаков, независимо от их возраста. Командование «вольными дружинами» возлагалось на станичных атаманов, а в селах на выборных командиров.

— Вот какое дело, господа,— вновь заговорил атаман, едва Семен закончил чтение.— Имейте в виду, что сначала мы будем действовать тайно, силы накапливать, коней готовить, оружие, какое найдется, шашки точить. Будем держать связь с нашими и в нужный момент выступим. Вот, какие будут ваши мнения?

Старики молчали: уж очень необычное дело свалилось на них как снег на голову. Первым, робко кашлянув, заговорил Агей Травников:

— Это, как я понял, навроде народного ополчения. Только вот не указано, какие года подлежащие, стало быть...

Агей как мешок развязал, заговорили старики.

— Я так кумекаю, што тут вольножелающие требуются,— сказал один.

— Да и я так же понял,— согласился второй.

— Больше молодых касаемо!

— Из нас-то уж теперь какие воители.

— Вы это что же, господа старики,— заговорил Семен, начиная злиться,— труса празднуете! Эх вы-ы-ы, а еще казаками называетесь. Или вы думаете, что большевики-то с вами шутки шутить будут? Неужели вы не понимаете, что вопрос стоит о жизни нашей или смерти. Тут не препираться, а подниматься надо против большевизма всем от мала до велика, вот что от нас требуется. Давайте вступать в дружину, нечего тут отлынивать, я первый записываюсь в нее, хоть и здоровье не позволяет и увечье это проклятое, но раз такое дело, и я не отстану.

Рука Семена, когда он записал себя в список, нервно вздрагивала, буквы получались неровные, корявые, но на стариков слова Семена подействовали.

— Пиши меня,— заявил Томилин и забасил на всю горницу: — Оно и года-то у меня уж не такие, штобы воевать, да што поделаешь, приходится.

— Ничего-о, старый конь борозды не испортит,— поддержал Томилина Савва Саввич,— зато уж ежели таких молодцов полк набрать, так он дороже дивизии будет теперешних казачишек.

— Да уж от нас большакам спуску не будет.

— Волком взвоют красюки.

— Меня запиши,— попросил Лука Герасимов.

Еще записалось два пожилых казака, и тут произошла заминка. Семен строго взглянул на Крюкова и, уже нацелившись карандашом на бумагу, спросил:

— Твоя очередь, Таврило Кузьмич, ну, чего молчишь?

Крюков в ответ лишь почесал в затылке да поглядел на хозяина:

— Ты как, сват, запишешься?

Савва Саввич ухватился за бороду, пугливо оглядевшись вокруг, остановился взглядом на Крюкове:

— Да ты в уме, сват Таврило?! Да вить мне уж тово... за семьдесят, какой же я вояка? — И зачастил скороговоркой: — Этого ишо не хватало, я и так помогаю воинству нашему. Вы-то ишо не у шубы рукав, а я уж пятнадцать казаков набрал да отослал к Семенову и пять што не лучших коньков подседлал им, не

пожалел. И сыновей пошлю, не охну. А вот ты, сват Таврило, пока што тово... в стороне жмешься.

— Это я в стороне? — вскипел в свою очередь Крюков.— Да я на это дело все, што есть у меня, до последнего баракчана отдам, лишь бы супостатов прогнать. Все равно оно прахом возьмется, ежели большаки одолеют, а уж за сыновей прятаться не буду, как другие-прочие.

— Пиши, Сенька! — крикнул Семену Савва Саввич. Он даже усидеть не мог на стуле, вскочил на ноги, лицо его, лысина в момент стали густо-красными, а поперек лба вспухла голубая жилка.— Пиши и меня, раз такое дело,— повторил он и кинул на Крюкова победный взгляд,— а упрекать меня не придется, сват! Не придется!

После этого Гавриле Крюкову ничего не оставалось делать, как записаться.

Все длиннее становился список дружинников, но когда очередь дошла до смирнехонько сидевшего Антипа, он отвел глаза в сторону, пробормотал смущенно:

— Я-то и не прочь бы, да вить мое-то дело особое,— ежели воевать, скажем, куда же тут кинешься: дома ребятишки мал мала меньше, нужда. Парня вот отправил, сами знаете, к Семенову, а самому-то никак не подходимо.

— Не то говоришь, Антип, ох не то! — напустился на него Савва Саввич.— Али тебе все равно, чья возьмет? Не-ет, мил человек, в случае, ежели тово... красные осилят нас, так они и тебя не помилуют за Костю-то, теперь тебе вся статья в дружине быть. А нужды чего тебе бояться, раз ты с нами заодно, завсегда поможем тебе и хлебом, и коня справим, и все, что потребуется...

— Поможем!

— И о бабе твоей с ребятишками позаботимся, решайся, Антип.

— Вместе громить красюков будем,— басил Томилин,— записывайся смелее.

«Черт меня дернул затесаться в эту компанию,— клял себя в душе Антип.— Нам-то чего большевиков бояться. Вот Костю-то зря отправил в эту гвардию ихнюю, свалял дурака».

Но сказать об этом, отказаться от записи не хватило у Антипа смелости.

— Пиши,— уныло сказал он Семену, подумав при этом: «Запишусь, чтобы отвязались, анафемы, а там видно будет».

После Антипа запись пошла быстрее. Когда все записались, Савва Саввич отправился на кухню, распорядиться насчет уго-

щения, а его соратники-дружинники занялись подсчетом, кому чего не хватает, какое у кого имеется оружие и что надо приобретать в первую очередь. Тут же избрали себе и командира — басовитого Христофора Томилина.

ГЛАВА II

На совместное заседание Забайкальского Совета народных комиссаров и облисполкома Жданов пришел одним из первых.

Заседание собралось в том же доме, где помещался пизвергнутый «Народный совет».

Неприятное впечатление произвел на Жданова этот дом сегодня. Множество комнат в нем, где совсем еще недавно взад и вперед сновали чиновники, пулеметными очередями трещали пишущие машинки, а за многочисленными столами сидело не менее сотни всякого рода служащих. Теперь же лишь в двух комнатах работали штабные казачьи писаря, все остальные пустовали; в раскрытые двери видно па столах, на полу разбросанные листы бумаги, обрывки газет, битое стекло, абажуры без лампы, сломанные стулья. Ветер врывался в разбитые окна, шелестел бумагами.

В одной из комнат Жданов увидел пегобородого старика, как видно дворника, в заплатанном полушубке. Дед метлой подметал пол и ею же смахивал со столов бумаги. Жданов к нему:

— Дед, почему это люди-то не работают сегодня?

Старик остановился, опираясь на метлу, покосился па незнакомца, ответил:

— Не хотят, стало быть, вот и не работают. Им што, денежки получили и поплевывают в потолок. Дураков-то, таких, как я, задаром чертомелить мало осталось.

— Плетешь чего-то, дед! — Жданов нахмурился, посуровел глазами.— Что же, по-твоему, при советской власти только ду-" раки работают? Власть-то эта ваша же, народная!

— Да уж хороша власть, лучше некуда. При плохой-то власти я, как подойдет, бывало, двадцатое число, что заработано, мне вынь да положь чистоганом. А теперь вот робить заставляют, а за жалованьем приди — и хозяина не найдешь. Вот завтра двадцатое, а кто мне заплатит? Ванька Ветров?

Дед с ожесточением плюнул на пол, принялся за метлу.

Жданов посторонился, чтобы не мешать старику, подумал про себя: «Вот тебе раз, тут что-то такое вроде забастовки».

Зал заседаний представлял собой обширную светлую комнату на втором этаже. Посредине ее, почти во всю длину, ряд столов в форме буквы Т, под зеленой скатертью и с венскими стульями по бокам.

За передним столом сидели: Бутин, бритоголовый человек в больших очках с роговой оправой, справа от него худощавый, пожилой брюнет в гимнастерке военного покроя, председатель Совнаркома Николай Матвеев. Слева комиссар финансов Леднев и еще трое военных, из которых обращал на себя внимание Янков в генеральской, с красными отворотами, бекеше.

Расторопным боевым вахмистром был Янков в своем полку, но когда, после переворота в Гомеле, его избрали помощником командира дивизии, он начал зазнаваться, задирать нос. А тут, как назло, командиру дивизии Балябнну пришлось поехать в Киев, добиваться там пропуска казачьих эшелонов, Богомягков отправился в Могилев, в ставку главковерха, и в дивизии за хозяина остался Янков. Чувство такой большой власти, почет и лесть подхалимов-собутыльников вскружили голову Янкову, сказалась себялюбивая натура малограмотного вахмистра, возомнившего себя генералом. В Чите, окружив себя адъютантами и ординарцами, он занял в гостинице «Даурня» самый лучший номер, щеголял по городу в генеральской бекеше и везде рекомендовал себя командиром дивизии.

— Здравствуй, товарищ комиссар юстиции,— приветствовал Жданова Матвеев,— как дела у тебя?

— Дела, Николай Михайлович, хуже некуда. Одно звание, что комиссар, а наделе-то — командующий без армии. Ни людей, ни помещения, ни денег, не знаю, за что и браться. Главная беда — кадров нет. Прежние судьи и прочие чиновники, юристы не хотят работать, саботируют. Из всех местных судейских чиновников пришел ко мне и согласился работать один-единственный человек, бывший мировой судья Бахирев. Я его готов был расцеловать за это дело и теперь не знаю, куда его лучше приспособить: или прокурором назначить, или следователем, или судьей народным, такого человека хоть на части разрывай. Да и у вас тут, как я посмотрел, дела-то не лучше...

И тут Жданов рассказал о своем разговоре с дворником.

— Мы только что говорили об этом,— вступил в разговор Бутин,— организованный саботаж. Ты знаешь, какую свинью подложили нам нарсоветчики? Сейчас вот товарищ Леднев докладывал нам: они почти всем служащим выдали жалованье за полгода вперед.

— Да что вы говорите! — ахнул изумленный Жданов.— Неужели такое могло случиться?

— Случилось,— грустно улыбаясь, подтвердил Леднев,— выплатили, мерзавцы, за полгода вперед, да еще и наградных за месяц, и все золотом. Одним выстрелом двух зайцев убили сволочуги: и саботажников поощрили — обеспечили материально, и казну опустошили, теперь у нас в банке, как в барабане, пусто.

— Вот негодяи, вот подлецы! — возмущался Жданов, переводя взгляд с Леднева на Бутина и на Матвеева.— Да их судить надо за такое дело, к стенке поставить!

— Действуй! — кивнул головой Матвеев.— Ты комиссар юстиции, тебе и карты в руки..А с финансами... мы думаем буржуев местных контрибуцией обложить миллиона на три. А насчет золота, которое роздали саботажникам, товарищ Янков интересную мысль высказал.— Матвеев, улыбаясь, провел рукой по усам.— Дело это, правда, необычное, но, по-моему, стоящее. Он предлагает создать комиссию человек из трех, которая обойдет всех чиновников города, отберет у них незаконно полученные деньги — ив банк их.

Тут уж и Жданов не утерпел, засмеялся:

— Вот это здорово!

— А что,— подхватил Бутин,— предложение дельное. Мы это обсудим сегодня, вынесем решение и поручим Янкову же выполнить, посмотрим, как он справится с этим на практике.

— Ну что ж, попытка не пытка; как Янков-то, согласен?

Янков утвердительно кивнул головой:

— Если поручите, не возражаю, дня два на это дело могу уделить.

Тем временем народ в зале все прибывал: члены областного исполкома, комиссары усаживались вокруг столов, многие вынимали блокноты, что-то записывали. Подошло несколько военных, среди которых были и командир 2-го Читинского казачьего полка Жигалин, и Киргизов, и назначенный военным комиссаром высокого роста, кудрявый, красивый казачина Дмитрий Шилов.

Заседание затянулось до глубокой ночи. Было принято много важных решений: о наведении в городе и области порядка и революционной законности, о борьбе с разрухой, о мобилизации рабочих, крестьян и казаков в ряды Красной Армии.

Было много разговоров и по вопросу о финансах, но в конце концов постановили обложить крупных купцов и промышленников области контрибуцией в сумме трех миллионов рублей. Для взыскания контрибуции создали тройку во главе с Янновым, им же поручили отобрать у чиновников незаконно полученное ими жалованье и внести его в банк.

Было раннее февральское утро. Солнце еще не взошло. Над мохнатыми, лесистыми сопками на востоке пламенела заря, багрянцем отражаясь в окнах губернаторского дома, к которому в это время подходил спешенный, вооруженный винтовками взвод казаков 2-го **ЧИТИНСКОГО** полка.

Под сапогами казаков похрустывал затвердевший от холода песок, легкий бодрящий морозец румянил им лица. Снегу и эту зиму, как всегда в Чите и ее окрестностях, выпало мало, и он давно уже стаял. Крыши домов, деревянные тротуары и тополя на площади запорошило пушистым инеем, отчетливо видны далекие и близкие, с трех сторон обступившие Читу сопки, густо покрытые вечнозеленым сосновым бором. Город пробуждается, над домами в безветренном воздухе встают волнистые столбы дыма, улицы постепенно наполняются шумом: на тротуарах появляются ранние прохожие, рысят, шурша резиновыми шинами, извозчики, по булыжной мостовой Николаевской улицы тяжело громыхают ломовики.

Когда казаки подошли к парадному подъезду, командир их, плечистый усач, бывший вахмистр Пинигин, громко скомандовал:

— Взво-од, стой! Равнение нале-е-во, смирно! – И, чуть помедлив, коротко махнул рукой: стоять вольно!

Казаки, приняв свободное положение, закурили, над папахами их закурчавились сизые дымки, сдержанный говорок зашебуршил по рядам:

— Чего же мы приперлись-то в эдакую рань?

— Пришли к родне, а тут собаки одне.

— На выморозку пригнали нас!

— Говорят, буржуев здешних потрошить будем сегодня.

— Говорят, кур доят, а их щупают.

— Вот бы и пощупать буржуев-то,— гляди, разжились бы ребятишкам на молочишко.

— Тише! Товарищ командир, долго торчать здесь будем?

— Приказано ждать, значит, скоро появится.— И, заложив руки за спину, Пинигин стал медленно прохаживаться вдоль строя.

Наконец в доме послышалось хлопанье дверей, шаги, и на крыльце, в сопровождении Попова и Перцева, появился Янков.

По одежде и Попов и Перцев ничем не отличались от рядовых казаков, в руках у них кожаные мешки, в которых обычно возят деньги почтовые курьеры. Совсем по-иному одет был Янков:

на нем генеральская, с красными отворотами, бекеша, на голове новенькая каракулевая папаха с желтым верхом и алым бантиком вместо кокарды; с правого боку его висел маузер в деревянной кобуре, а с левого — кавказская, с серебряной насечкой, шашка.

Внушительный вид Янкова произвел на казаков впечатление: все они сразу же побросали самокрутки, подтянулись и, привычно выравнивая строй, тихонько переговаривались:

— Смотри-ка ты, генерал, а с нами заодно, за революцию.

— Молодча-а-га!

— Герой!

— И апалеты свои не пожалел, снял!

Особенно понравился «генерал» Пинигину, сказалось привитое годами раболепие, преклонение перед воинской субординацией и высоким начальством. На лице его отобразилось почтительное выражение, он крутнулся на каблуках, скомандовал:

— Взво-од! — И голос у Пинигина зазвучал по-вахмистерски зычно, отрывисто, а правая рука его машинально взметнулась к папахе.— Смирно! Равнение направо!

Янков просиял, губы его раздвинулись в самодовольной улыбке: он понял, что казаки принимают его за настоящего генерала, и это льстило самолюбивой натуре лихого вахмистра.

Поздоровавшись с казаками, Янков отвел Пинигина в сторону, пояснил ему:

— Я командир Первой Забайкальской казачьей дивизии Янков.

И опять вахмистерскую руку словно пружиной подкинуло к папахе, а в голосе сплошное уважение и преданность.

— Слушаюсь, товарищ комдив.

— Так вот, пойдем буржуев шерстить, контрибуцию с них стребуем. Твое дело вести казаков за нами и, в случае кого из них арестуем, отвести его на станцию, сдать военному коменданту. То же самое деньги, какие с них получим, сопровождать в банк. Понятно?

— Так точно, товарищ комдив!..

— Действуй!

Пятью минутами позже по Софийской улице топали казаки во главе с вахмистром Пинигиным. Сбоку их по тротуару шагал Янков и члены комиссии.

Столоначальник бывшей городской управы Кирюхин еще спал, когда к нему пожаловали незваные гости.

Пока побледневшая, насмерть перепуганная горничная бегала за хозяином, казаки с любопытством осматривали боль-

шую, богато обставленную гостиную. Все им здесь было в диковинку: и многосвечовая хрустальная люстра, и паркетный пол, и пушистые ковры, и большая, в золоченой раме картина, где изображалась охота на львов.

— Вот как люди-то живут,— вздохнул Перцев,— один занимает эдакую домину! Да тут наших казачьих семей десять поместилось бы, не меньше.

Янков, улыбаясь, подкрутил усы, ответил:

— Ничего-о, вот как установим повсеместно советскую власть, сами в таких домах заживем.

— Ну уж это ты, Михайло Иванович, загнул, даже и не попарил.

— Ничего не загнул, а так оно и будет. Повыгоним буржуев к чертовой матери, а в ихние хоромы сами закочуем.

— А хозяйство куда: коней, быков, коров?

— На черта тебе тогда будут быки да коровы.

— Хлеб-то сеять надо будет.

— Машины будут за все отвечать. Тогда все будет по-новому, по-ученому: хозяин шло где-то там в поле, а хозяйка глянет на часы и уж обед ему готовит, стол накрывает, двенадцать стукнуло, и он тут как тут, на машине приехал. Пообедал, снова в поле, восемь часов отработал — и баста. Поужинал, оделся по-городскому, тросточку в руку, папиросу в зубы и с женой под ручку — марш в тиятру. А ежели дома, то газету почитает, а либо книгу, а то и другими умственными способностями займется, вот как.

— Прямо-таки как в некотором царстве, в некотором государстве...

— А ты што думал...

В это время в гостиной появился хозяин: высокого роста, начинающий лысеть брюнет лет сорока пяти. Быстро окинув казаков взглядом, он приветствовал их легким поклоном головы и, назвав себя, спросил:

— Чем могу служить?

Янков взял из рук Попова тетрадь со списками обложенных контрибуцией, полистав ее, нашел.

— Кирюхин Сергей Маркович, контрибуции с вас нет, та-ак. Где служили?

— В городской управе, столоначальником по гражданской части.

— А почему теперь не на службе?

Хозяин, приподняв плечи, недоумевающе развел руками:

— Гм... не служу... во-первых, потому, что городская упра-

па перестала существовать, и я, так сказать, поневоле остался не у дел. А во-вторых, мне, в числе других чиновников, предоставили... э-э-э... за выслугу лет отпуск.

— Сколько получал жалованья?

— Жалованья? — поморщившись, переспросил хозяин.— Гм... получал сорок пять рублей.

— И за полгода вперед получил, да ишо и за месяц наградных? Ну-ка, Попов, подсчитай: по сорок пять рублей, сколько будет за полгода? — двести семьдесят. Так вот, гражданин Кирюхин, двести семьдесят целковых золотом гони обратно, сейчас же! Попов, пиши ему квитанцию.

Брови столоначальника полезли на лоб, испуг и удивление отобразились в глазах.

— Позвольте,— начал он и, приосмелев, багровея лицом, заговорил громче: — Как же так, по... по какому праву?

— А вот по какому! — Янков сунул руку в карман бекеши, извлек оттуда отпечатанную на машинке бумажку, сунул ее Кирюхину: — Читай!

Тот с дрожью в руках, хмуря брови, пробежал бумажку глазами и, досадливо крякнув, вернул ее Янкову. Он еще раз обвел казаков колючим, злобным взглядом, холеное бритое лицо его покрылось вишневым румянцем. Но, понимая, что сопротивление тут бесполезно, повернулся спиною к Янкову и в сопровождении Перцева вышел в соседнюю комнату.

Вскоре оба вернулись обратно, и столоначальник высыпал на стол восемнадцать золотых империалов царского чекана. Попов пересчитал деньги, положил их в сумку, выписал квитанцию, а Янков, улыбаясь, подмигнул хозяину:

— Давно бы так, а то што да почему.— И уже совсем миролюбиво, даже ласково утешил его: — Не горюй, хозяин, мы ить не одного тебя растребушим, а всех ваших переберем. Да и жалеть-то тебе тут нечего, деньги эти не твои, а народные, и незачем было зариться на них.

Кирюхин не отвечал; меняясь в лице, то бледнея, то краснея, он сел на диван и, нервно похрустывая пальцами, глядел куда-то в сторону.

— А мой тебе совет,— не унимался Янков,— не серчать на советскую власть, а служить ей верой и правдой...

— Пойдем, Михайло Иванович,— торопил его Перцев.

До самого вечера ходил по Чите Янков с комиссией и с казаками, многих в этот день «обрадовал» он своим визитом. Бледнели, сердито крякали и охали именитые купцы. Злобой наливались холеные лица коммерсантов и крупных чиновников,

когда приходилось им раскошеливаться, выкладывать на стол так легко приобретенные золотые пятерки, пятнадцатирублевые империалы и толстые хрустящие пачки «керенок».

Глядя на такое богатство, казаки переглядывались между собой, перешептывались:

— Деньжищ-то у одного человека какая уйма!

— Не по-нашему!

— Сколько быков продать надо бы, чтобы заиметь столько!

— Хоть бы с нами поделились!

— Разевай рот шире!

Попов и Перцев несколько раз уносили в банк крупные суммы денег, чеки на перечисление с одного текущего счета на другой. Двоих, не согласившихся уплатить контрибуцию, арестовали, отправили под конвоем к военному коменданту, а в домах их произвели тщательный обыск.

К вечеру было собрано более миллиона керенками и романовскими ассигнациями контрибуции и восемьдесят пять тысяч золотом незаконно полученного чиновниками жалованья. И все это полностью было сдано в банк.

— Хорошо поработали,— ликовал Янков,— ишо денек-два, и вышибем всю контрибуцию с буржуев и золото, какое эти хапуги растащили. Будут у власти нашей, советской денежки, буду-ут, не будь я Мишка, Ванькин сын!

ГЛАВА III

На другой день кроме казаков, присланных по наряду из 2-го Читинского полка, Янков взял с собой пятерых своих, и среди них любимого ординарца Спирьку Былкова. Рябой, губастый, с зелеными глазами, Спирька считался в 1-м Верхнеудинском полку последним человеком. За мародерство, пьянство и другие художества Спирька был самым частым гостем на гауптвахте. Его поселыцики рассказывали, что у себя в станице Спирьку дважды пороли старики розгами на сходке за пьяные дебоши и кражи и однажды водили его по селу с украденным хомутом на шее. Янкову Спирька понравился тем, что умел он угождать начальству и в любое время раздобыть для него и выпивки и закуски. За это Янков и приблизил к себе Спирьку, сделав его своим ординарцем.

Ноздри у Спирьки хищно раздулись, затрепетали, а зеленые глаза загорелись жадностью, когда увидел он целую кучу золотых монет, которые припертый к стене чиновник выложил на стол. Пока Попов выписывал хозяину квитанцию, пересчитывал

депьги и складывал их в сумку, Спирька глаз не мог оторвать от золота и уже раскидывал^ умом, как бы поживиться от такого богатства. Он стал выжидать удобный момент, чтобы заговорить о своем замысле с Янковым, и момент этот вскоре же подвернулся. Шли по Ингодинской улице. Попова Янков отправил с деньгами в банк, Перцев что-то приотстал и, разговаривая с вахмистром Пинигиным, шел вместе с казаками.

Былков решил действовать, заговорил, до шепота понизив голос:

— Товарищ комдив, неужто себя-то обидишь?

Янков нахмурился, строго оглядел Спиридона с головы до ног:

— Ты это о чем?

— Товарищ комдив,— Спирька оглянулся на Перцева и, нагло улыбаясь, продолжал,— как же это, быть в воде и не замочиться. Десяточка два таких золотушек как бы нам пригодились. А власть ничуть не обеднеет, ежели мы лишнего буржуйчика для себя потрясем.

— Отстань! И чтоб больше я этого не слышал.

— Да я ничего-о,— не унимался Спиридон,— я к тому говорю, что теперь па бумажки эти ни черта не достанешь, с голоду пропадем тут. А по правде-то сказать, власть-то должна в ножки тебе поклониться, вон сколько денег собрал им, а себе ни шиша. Да где это видано, чтобы генерал и без копья денег.

— Ты перестанешь или нет? — Стараясь придать голосу суровость, прицыкнул Янков на своего любимца.— Разживешься ты у меня плетей.

Но по тону, каким сказаны были последние слова, Спирька понял, что «комдив» клюнул на его удочку.

— Мне-то что,— продолжал он деланно равнодушным голосом, пожимая плечами,— я не о себе, а о тебе же стараюсь. Потому что думаю — генерал, дивизией заворачивает, надо же о нем позаботиться, а он...

Подошел Перцев, и Былков оборвал разговор, понимая, что главное сказано. «А что, и в самом деле,—подумал Янков,— если возьму себе полторы-две сотни рублей и попрошу, чтобы вычли из жалованья. А не согласятся, сдать их в банк всегда успею».

Осуществить свой замысел Янкову удалось вскорости. Попов и Перцев с полными сумками денег ушли в банк, а Янков с верным своим ординарцем заявились к чиновнику тюремного ведомства Гольдшугу. Самого Гольдшуга дома не оказалось, и

Янков предъявил свои претензии жене его, полнотелой густобровой еврейке, с двойным подбородком и золотыми серьгами в ушах.

— Не знаю, товарищи, ничего не знаю,— плачущим голосом твердила бледная как полотно хозяйка, прижимая обе руки к подбородку,— мужа дома нету. Денег, он сказал мне, у него нет в наличии, а документы, всякие бумаги он хранит у себя в сейфе.

— В какой сейфе?

— В несгораемом шкафу.

— А ну-ка посмотрим, што это за шкаф такой, веди к нему!

Еле сдерживаясь, чтобы не разреветься, хозяйка провела их в небольшой, уютно обставленный кабинет, показала рукой на массивный стальной шкаф. Янков подошел к нему, потрогал рукой:

— Тяжелый, должно быть. Да-а, так ключей-то, говоришь, нету, тетенька?

— Нету... госпо... товарищ офицер, нету.

— Тогда вот что, мы эту штуковину целиком заберем с собой в банк, а там уж подберут к ней ключи. Былков, зови сюда казаков человек десять, какие поздоровше.

— Ой нет! Не надо, не надо,— запричитала, замахала руками еврейка,— я пойду поищу ключи.

Оставив комиссию в кабинете, она чуть не бегом метнулась по коридору к себе на второй этаж. Этим незамедлительно воспользовался Былков, не сводивший очарованного взгляда с золотых карманных часов, лежавших на письменном столе. Будто рассматривая картину, подошел Спиридон к столу, повернулся к нему боком, и в ту же минуту часы со стола перекочевали в карман его шаровар.

В кабинете, с ключами в руках, появилась хозяйка. Она сама открыла сейф и, уже не в силах сдержаться, всхлипывая, повалилась в кресло, закрыла лицо платком.

Былков, помогая Янкову, выкладывал из сейфа на стол бумаги и пачки денег, пытался утешить плачущую женщину:

— Напрасно, дамочка, убиваетесь. Сами же виноваты, мы к вам со всей дорогой душой, по-честному, а вы —-то ключей нету, то плакать ни с того ни с сего, нехорошо получается.

От Гольдшуга Янков вышел с сумкой, набитой пачками керенок и романовских кредиток, а 80 золотых пятирублевок, аккуратно четырьмя столбиками завернутых в синюю бумагу, положил себе в карман. На шельмоватый вопросительный взгляд Былкова ответил:

— Чего глаза пялишь? Думаешь, присвоить хочу? Ничего подобного. Попрошу в счет жалованья, а не разрешат — сдам в банк, и всего делов.

Сразу помрачневший Спирька сожалеюще вздохнул, проговорил с досадой в голосе:

— Уж вот это здря-а, дадут они тебе, разевай рот. А тут бы безо всяких, и шито-крыто.

— Ты опять за то же самое! — повысил голос Янков.— С кем разговариваешь, шалава непутевая! у

В ответ Спирька лишь рукой махнул, насупился и разговор про деньги больше не заводил.

В этот день обход свой закончили уже вечером, потому что долго провозились с бывшим начальником акцизного управления Тютиным. Он никак не хотел подчиниться, пришлось арестовать его, а в доме произвести обыск.

Когда вышли от Тютина, в домах уже повсюду загорелись огни, на дворе густели сумерки, узенькая полоска зари дотлевала на западе. Казаки уже ушли в свою казарму, вместе с ними отправился Попов, Перцев с сумкой под мышкой обратился к Янкову:

— Как же быть с деньгами-то? Банк теперь закрылся.

— С собой забери, а завтра сдашь.

— Ну што ты, куда я с ними? Живу в казарме, ишо сонрут, чего доброго, а тут их набралось тысяч тринадцать керенскими да романовскими больше тысячи. Лучше уж тебе их взять, надежнее будет.

Янков, согласившись, буркнул:

— Ладно, возьми их, Былков, вместе пойдем. А вы утре пораньше приходите, надо завтра закончить, надоела эта волынка, ну ее к черту.

На этом и расстались. Перцев отправился в казарму, Янков в сопровождении Былкова к себе в гостиницу «Даурия».

Идти пришлось мимо ресторана, откуда доносились веселые голоса, звон посуды и рыдающие звуки скрипок. Ресторан жил своей собственной жизнью. В то время как в области происходили большие перемены, вводились новые порядки, а поезда увозили красногвардейцев на восток к русско-китайской границе, где назревали грозные события, здесь внешне все шло по-старому. По вечерам облысевшие музыканты, в старомодных пиджаках и галстуках-бабочках, пиликали на своих инструментах старинные вальсы и марши. Те же вышколенные, проворные официанты в белых фартуках сновали по залу с подносами в руках и с перекинутыми через руку полотенцами. Все так же

стояли между столами, накрытыми белоснежными скатертями, раскидистые фикусы и пальмы в больших зеленых кадках. Но уже не быйо в ресторане прежнего шика, со столов исчезло и серебро и хрусталь, упростились, хотя и намного подорожали, блюда и вина. Однако завсегдатаи ресторана знали, что есть здесь отдельные таинственные кабинетики, где за хорошие деньги можно заказать себе любое блюдо и вина: коньяк, малороссийскую запеканку, шампанское. Были бы деньги настоящие, золотые, остальное все найдется. Есть еще запасец, и знает, как пополнить его, предприимчивый хозяин ресторана Штигель.

Против дверей ресторана Спирька замедлил шаг, потянул носом запах жаркого, проговорил со вздохом:

— До чего же дух приятный... может, зайдем, товарищ комдив? Ведь с самого утра мытаримся, и маковой росинки не было в роте.

— Оно-то верно,— согласился Янков,— только ведь дорого тут, чем расплачиваться-то будем?

Спирька даже руками хлопнул себя по бедрам с досады.

— Товарищ комдив, да ежели мы и проедим одну-то золотушку из этих, какая же беда! Вон какую сумму собрали для казны, а себе и на ужин не заробили! Да где же это видано? Это прямо-таки стыд псаломщику сказать.

— Ну хватит тебе, зайдем поужинаем.

В ресторане они пробыли не менее двух часов, вышли оттуда в приподнятом настроении. Янков чувствовал себя легко, весело, захотелось быть на людях, поговорить, спеть что-нибудь. За разговорами и не заметили, что идут они не в ту сторону. Сообразили это лишь тогда, когда подошли к другой гостинице, «Селект», нижний этаж которой также был занят под ресторан. Сквозь кисейные занавески на громадных, из цельного стекла окнах Янков различил сидящих за столами людей, слышны были пьяные голоса их, песни и даже выстрелы.

— Что такое? — пробормотал удивленный Янков.— Что это за сборище?

— Да это же монархисты, товарищ комдив,— вспомнив что-то, сказал Спирька.

— Какие монархисты? Чего мелешь, дурак!

— Ей-богу, товарищ комдив. От ребят слышал, да и сам их видел, народ такие хваты, оторви да брось.

— Зайдем посмотрим, што это за шпана собралась тут.

Но дверь и в ресторан и в гостиницу оказалась закрытой изнутри. Это еще более подзадорило Янкова. Любопытство так

и распирало его, а от выпитой водки он чувствовал в себе прилив такой энергии и отваги, что не побоялся бы никакой банды, котя бы и в сотню человек.

— Как же попасть-то к ним,— сказал он, начиная злиться, и уже подумал о том, как бы сломать дверь.

— Я знаю тут ход,— предложил Спирька,— идем!

Они обошли дом, завернув за угол, с трудом перебрались через высоченный забор и очутились во дворе гостиницы. Затем по черному ходу вошли в полутемный коридор, заставленный какими-то ящиками и бочками, миновали громадную кухню и вошли в ярко освещенный зал. В нос Янкову шибануло спертым воздухом непроветренного помещения, где смешались воедино крепкие запахи вина, жаркого и табака, дым от которого сизой пеленой висел под потолком.

Собрались здесь, судя по одеянию и оружию, исключительно одни военные. Здесь были и молодые, и пожилые, и совсем старые люди, и все они пестрели разнообразием одежды: тут и казачьи гимнастерки, брюки с желтыми и красными лампасами, и кавказские черкески, и мундиры всевозможных родов войск. И вся эта разношерстная братия с головы до ног обвешана оружием: куда ни глянь, видны шашки, кинжалы, карабины, а на поясе чуть не у каждого револьверы и гранаты. Даже официанты в белых передниках поверх мундиров были при шашках и со шпорами на сапогах.

Многие из гулеванов перестали пить, поворачивая головы, разглядывали невесть откуда появившихся незнакомцев. Янков, не обращая на них внимания, увлекая за собою Спирьку, направился к самому дальнему столу, где в окружении собутыльников восседал седовласый, кудрявый и бритобородый старик с орлиным носом на худощавом лице и живыми черными глазами. Одет старик в алый, с газырями на груди бешмет, на груди перекрещиваются ремни от шашки и маузера в деревянной кобуре, а на поясе у него кинжал в серебряной оправе.

— Кто такие? — спросил старик, с любопытством оглядывая пришельцев.

— Большевики! — коротко отрезал Янков, кинув на старика дерзкий взгляд.— А ты кто такой?

— Ого-о, боевой парень, боевой! — Старик одобрительно покачал головой.— Люблю таких. Знаешь что, плюнь-ка на этих большевиков своих, переходи ко мне. Я Пережогин, командир отряда анархистов.

— На черта ты мне сдался с твоим отрядом. Я сам командир красной казачьей дивизии, Янков.

— Значит, вместе воевать будем, Гришку Семенова бить!— воскликнул Пережогин, широко улыбаясь.— Садись, дайте им место, браты.— И, толкнув кулаком в бок сидящего рядом верзилу в гусарском ментике, приказал ему: — Давай сюда два стула, мигом! Садись, Янков, рядом, выпьем ради первого знакомства.

Общительный, веселый старик понравился Янкову, онсел с ним рядом, сбоку примостился Спирька, сам раздобывший себе стул. Только теперь разглядел Янков как следует сидящих за столом собутыльников.

Слева от Пережогина сидел рослый бородач в гвардейском мундире и с серебряной серьгой в левом ухе, дальше два казака пропойного вида, густо заросшие давно не бритой щетиной, напротив горбоносый, бровастый черкес в рваном малиновом бешмете, а рядом со Спирькой тот самый здоровяк гусар, которого Пережогин посылал за стульями. Все они были пьяны, хоть выжми, и все еще продолжали пить, громко разговаривая и сквернословя.

— А ну, браты, наполним бокалы,— обратился к ним Пережогин и хлопнул Янкова по плечу: — Выпьем за нашу дружбу!

— За дружбу, будем знакомы! — подхватили все сидящие за столом и потянулись к Янкову с полными бокалами. Он, чокнувшись со всеми, выпил, закусил колбасой.

— Завсегда приходи ко мне,— обнимая Янкова за плечи, продолжал Пережогин,— у нас всегда есть что выпить и закусить. У меня всего хватит, не по-вашему. Скажи по совести, как другу, где ты увидишь такого веселья, а? Вот ты и командир, говоришь, дивизии, а в кармане-то, поди, вошь на аркане? Ха-ха-ха!

— Что-о! — вскипел, разобидевшись, Янков.— Это у меня вошь на аркане, ты за кого меня считаешь! – И, сунув руку в карман, захватил оттуда целую горсть золотых, кинул их на стол.— На, подавись! Хочешь еще?

Охнул побледневший Спирька, всплеснул руками:

— Товарищ комдив, опомнись...

— Молодец, ей-богу, молодец! — Пережогин даже рукой прихлопнул по столу.— Хвалю за гордость. Только мне этих побрякушек твоих не надо. Мы люди идейные, борцы за свободу! Долой капитал, да здравствует анархия, мать порядка!

— Ура-а! — гаркнули гулеваны и вновь наполнили бокалы.

Гнев у Янкова прошел так же быстро, как и появился. Через минуту он уже сидел с Пережогиным в обнимку, а Спирька торопливо собирал со стола золотые, совал их в карманы Янкова, а

Заодно незаметно и себе за голенище сапога. Одна пятирублевка упала, покатилась под стол, Спирька нагнулся, чтобы схватить ее, но на нее кто-то наступил сапогом. А когда он выпрямился и взглянул на стол, там уже не было ни одной монеты.

— Кто взял? — заорал он, краснея от злой обиды и матюгаясь.— Отдайте сейчас же, мать вашу... сволочи, бандиты!

— Это мы бандиты?! — рявкнул гусар.— А ну-ка вякни еще раз! — С этими словами он поднес к самому носу Спирьки кулак величиной с баранью голову.

— Но-но, ты, размахался! — Откинувшись головой назад и загораживаясь локтем, Спирька отодвинулся вместе со стулом.— Уж и сказать нельзя. Кабы они мои были, а то вить казенные.

— Сам ты казенный, сморчок лопоухий.

— Вить потребуют с меня, а где я их возьму теперь?

— Где брал, там и возьмешь.

Спирька хотел что-то возразить, но рядом неожиданно хлопнул выстрел. Это Пережогин, видя, что графины на столе опустели, выхватил из кармана небольшой вороненой стали браунинг и выстрелил в потолок. В ту же минуту к столу подлетел официант, звякнув шпорами, гаркнул:

— Что прикажете, товарищ командир?

— Коньяку, водки и жратвы получше, живо!

Официант крутнулся «налево кругом» и — бегом на кухню. Не прошло и пяти минут, как он уже мчался обратно с большим подносом в руках, на котором в окружении целой батареи бутылок лежал жареный гусь.

При виде такого угощения даже Спирька повеселел, забыв про свою обиду и денежки, так нелепо уплывшие в чужие карманы.

ГЛАВА IV

Веселый пир в ресторане длился больше суток. Уснувший за столом Янков проснулся уже на третий день утром и никак не мог сообразить, где он находится. Лежал он на деревяшшй кровати, укрытый овчинным тулупом. Кто-то, наверное Спирька, позаботился снять с него сапоги. Комната, где он находился, была похожа па крестьянскую, какие бывают в домах зажиточных хозяев. В не закрытые ставнями окна голубел рассвет, в сумеречном свете его Янков различил стол под розовой скатертью, скамьи, стулья, божницу с иконами в переднем углу, а в заднем свою шашку и сапоги на полу.

Из соседней комнаты доносится сдержанный негромкий говор, угадывался женский голос, стук посуды. А голова так и трещит с похмелья, тошнит, в затуманенном мозгу возникают обрывки неясных воспоминаний: гулянка в ресторане, Пережогин, пьяные рожи его собутыльников. Спирька что-то говорил о пропаже денег и что пойдет добывать их у буржуев. «Ах, мерзавец, сукин сын, да ведь это же грабеж, уж доберусь я до него...»

А потом, что же было потом... И тут в памяти всплыл переполненный народом театр, на трибуне Дмитрий Шилов, затем шум, гам, стрельба... И снова в голове все перемешалось, перепуталось...

А голова болит все сильнее, как от побоев ноют бока и грудь. Превозмогая боль, Янков сел на кровати, спустив ноги на пол, крикнул:

— Былков! — и сам удивился своему голосу, хриплому с перепоя, скрипучему, как немазаная телега.

Дверь открылась, и в комнату вошел Спирька, уже одетый и отрезвевший, но весь какой-то взъерошенный, измятый, а левый глаз его заплыл сизо-багровым синяком.

— Где мы? — спросил его Янков.

— В Кузнечных рядах,— так же хрипло ответил Спирька.

— Как же мы здесь очутились?

— Очутишься, когда нужда припрет,— ворчал явно чем-то недовольный Спирька,— ишо за меня моли бога, не я, дак сидел бы теперь на кыче [1].

— Да говори ты толком, чума китайская! И не торчи передо мной, как ржавый гвоздь, сядь и расскажи, что и как было!

— И вот завсегда так, выручи его из беды, а он тебя же облает, да ишо норовит из ливольверта садануть.— Сердито сопя, Спирька сел на стул рядом с кроватью, поскреб всей пятерней в затылке и продолжал, все так же с укоризной в голосе: — Шилова арестовывать вздумал, скажи на милость. Заспорил с Пережогиным, тот начал доказывать, что Шилов теперь большой начальник у большевиков в Чите, а тебе чегой-то не понравилось, ну и похвастал Пережогину: «Сейчас я тебе Шилова за ухо приведу». Вот и привел на свою голову.

— Ну, дальше что?

— Не нукай, не запрег ишо...

— Ты что это сегодня, зараза несчастная! Ты как со мной разговариваешь! — воскликнул Янков, взбешенный развяз-

[1] К ы ч **а,** г у б а — искаженное слово, гауптвахта.

ным тоном Спирьки, и даже пошарил вокруг себя, чем бы запустить в наглеца, но под руку ничего, кроме подушки, не попадало. Спирька даже и глазом не моргнул, продолжал грубить и дальше:

— Чего разорался-то? Я теперь с тобой в одних чинах состою. Откомандовал дивизией, хватит. Теперь тебе одна **дорога**: на губу и в дригунал.

Янков только крякнул, схватился за голову. «Боже **ты** мой, что же это **я** наделал!» — восклицал **он** про себя, поняв наконец, что Спирька прав, что за все то, что натворил он, связавшись с анархистами, его следует отдать под суд. А Спирька продолжал хрипеть дальше:

— Забрал с собой этих монархистов пережогинских человек пятьдесят, ну и меня, конешно, с собой, и марш в киятру. А там народу полным-полно, Шилов стоит высказывается. Ну, мы и поперли напролом, **Пьяны** были в дымину, а тут откуда **ни** возьмись Красная гвардия, казаки, какие с большевиками заодно, за шашки — ну и взяли нас в толчки. А **ты** в это время **давай** из нагана стрелять да заместо Шилова-то в лампу угодил. Я хотел было оттащить тебя, не допустить до стрельбы, а **ты** меня же наганом по харе, как ишо глаз не вышиб.

Янков, слушая Спирьку, только морщился и в душе проклинал себя за все им содеянное.

— Дурак, дурак,— твердил он,— что натворил, под суд теперь, под суд, и правильно, поделом вору и мука.— И, взглянув на Спирьку, сообразил теперь, откуда у него такой фонарь под глазом, пробормотал смущенно: — Ты уж меня извини, Спиридон, может, это **я** как-нибудь нечаянно.

— Да ладно уж, **я** тоже хотел тебе так же нечаянно съездить по уху, да некогда было. Тут такое поднялось, что мы скорее давай бог ноги. Хорошо ишо, что казаки наши тут подвернулись, мы тебя подхватили вчетвером и перли на руках до самой казармы. А там **я** думаю: не-ет, в казарме нам теперь не житье, надо куда-нибудь сматываться с глаз долой. Подговорил **я** ребят, заседлали тихонько коней, да и махнули к моим знакомым в Кузнечные ряды. Вот как мы и очутились тут, понятно теперь?

— Понятно... Ах, ч-черти бы тебя взяли! — Скрипнув с досады зубами, Янков снова ухватил себя за волосы, теперь уже хорошо осознавая весь ужас своего положения.— И черт меня свел с этим мерзавцем Пережогиным. Ну **я** его... вражину, все равно теперь, семь бед — один ответ, убью гада, сегодня же.

— Хо, хватился, он уже теперь десяту Казань проскребает.

— Как, удрал, што ли?

— Сразу же. Видит, что делов наворошили невпроворот, мигом собрал свою банду и на станцию. Там в момент погрузились в вагоны, и поминай их как звали. Они, брат, не по-нашему.

— Вот гад. Ну да ничего, он мне еще, стервуга, под замах попадется.— Янков помолчал немного, вспомнил другое:— Слушай, а где же деньги-то?

— Известно где, в ресторане остались. Ты ить расхвастался, как приискатель али купец самый богатый, давай швырять золотушками в монархистов горстями, а потом и керенки раскидал да за пропой отдал. Пришлось мне вчера пойти с ребятами нашими да поприжать там одного буржуишка. Керенок разжился, ишо больше того, што было, а добрых-то денег всего три волотушки осталось, вот и разгуляйся на них.

— Надо было сдать в банк хоть керенки-то, все бы грехов-то поменьше осталось.

— Только и осталось в банк мне заявиться, ждут меня там, как свет солнца. Да и то сказать, с большаками-то, черти бы их нюхали, нам теперь уж все равно не ручкаться, а деньги в дороге пригодятся. Они хоть и никудышные, а без них ишо хуже. Давай-ка обувайся живее, поедим, да убираться надо подобру-поздорову.

— Ты чего опять задумал, бежать собираешься?

— А чего же больше-то? Ждать, когда за нами придут? Нет уж, извини-подвинься. Может, тебе от большого-то ума отдохнуть захотелось в тюрьме, а мне она в девках надоела. Ну так што, останешься, што ли?

— Отвяжись!

— Скажи на милость! — Спирька поднялся со стула, сердито покосился на бывшего комдива.— Ну ежели так, сиди тут умничай, а мне некогда. Пойду скажу ребятам, чтобы седлали, да ехать надо, пока не поздно.— И вышел.

Уже взошло солнце, когда в доме появился Спирька. Янков, заложив руки за спину, медленно прохаживался по комнате. Солнечные зайчики сквозь разрисованные морозом стекла окон играли на полу, на задней стене, где рядом с папахой висел казачий полушубок с мерлушчатой опушкой на груди и заплатой на левом рукаве. Повернувшись к Спирьке, Янков оглядел его с головы до ног, как будто видел своего ординарца впервые, спросил:

— Конь мой здесь?

— Где же ему быть, здесь.

— Седлай.

— Значит, едешь! — обрадовался Спирька.— Давно бы так. Л то сидит, ни мычит, ни телится. Я же говорю, что наше дело теперь...

— Хватит об этом. Бекеша моя где?

— Была бекеша, да сплыла, туда же последовала, за деньгами. Пережогин форсит теперь в ней, сам же променял ему на полушубок, вот он висит, рукав немного подпорченный, а так ничего, носить можно.

Янков только крякнул с досады, наморщив лоб, молча похрустел пальцами, а Спирька продолжал свое:

— Оно ишо и лучше, в бекеше-то тебя все собаки в Чите знают, а нам это вовсе ни к чему. Наше дело теперь — сторонись встречного и поперечного.

— Ну, хватит тебе, ехать так ехать.

— Сейчас. Ты умывайся пока, а я пойдуконя тебе заседлаю. Позавтракаем, я и бутылочку принес на похмелье, да и ходу. Днем-то охраны меньше, лучше проскочим, сойдем за казачий разъезд.

ГЛАВА V

Тяжкие времена наступили для большевиков и руководителей молодой советской власти Забайкалья к весне 1918 года.

Разруха и голод усилились, казна опустела, у новой власти не стало ни денег, ни аппарата, потому что царские чиновники и служащие продолжали саботировать, а те, очень немногие, что согласились работать, голодали, они уже два месяца не получали жалованья. Выпущенные Центросибирью новые деньги — пятидесятирублевые «молотки» — настолько обесценились, что почти не имели хождения.

В это поистине тяжкое время была получена телеграмма Ленина, адресованная Владивостокскому Совдепу и Центросибири. В телеграмме указывалось на серьезность создавшегося положения, а также говорилось и о том, что и «японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил...» *.

На объединенном заседании облисполкома и Совнаркома решили объявить область на военном положении и всю полноту власти временно передать военно-революционному штабу, в который избрали: И. Бутина, С. Лазо, Д. Шилова, Ф. Балябина, Г. Богомягкова, Н. Матвеева и Гаврилова. Председателем Реввоенштаба избрали бывшего офицера — большевика Д. Шилова.

* В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 199.

Был брошен боевой клич: «Все под ружье! Немедленно записывайтесь в Красную гвардию, вооружайтесь, защищайте себя, свои семьи, свои интересы. Имена павших будут бессмертны...» Заканчивалось это воззвание тем же боевым призывом: «Все под ружье!»

Слова Ленина оказались пророческими: японцы и в самом деле высадили во Владивостоке десант пехоты. А следом за ними во Владивосток же прибыли экспедиционные отряды Англии и Америки. В Маньчжурии вновь поднял голову белогвардейский атаман Семенов. От разгрома, который нанесла ему в марте под станцией Даурия Красная гвардия Сергея Лазо, Семенов уже оправился и набрал новую армию. В этой армии его кроме разношерстной кавалерии из русских беженцов, китайских хунхузов, монголов, чахар, харчен и баргутов была и пехота — 1-й Маньчжурский полк и 2-й Маньчжурский, на желтом знамени которых было написано белыми буквами: «С нами бог и атаман». Но больше всего окрылила атамана активная помощь Японии, она помогала теперь Семенову не только деньгами, обмундированием и оружием, но и живой силой. Первый батальон японской пехоты, под командой майора Кацимуры, ужо прибыл в полное распоряжение атамана.

Громом орудий, криками «ура» и «банзай» возвестил Семенов о своем новом выступлении. Разношерстная кавалерия его густыми лавами ринулась на передовые позиции Красной гвардии, но, встреченная дружными залпами и огнем пулеметов, откатилась обратно. И тут заговорили орудия белогвардейского бронепоезда «Мститель». От тяжких взрывов трехдюймовых снарядов содрогалась земля, рушились окопы красногвардейцев, в щепки разлетались блиндажи, люди десятками выходили из строя. Едва затихла артиллерийская канонада, как на окопы красных хлынула пехота. Солдаты ее — такой же сброд, как и конница,— одетые в песочного цвета японские шинели, с японскими же винтовками и кинжальными штыками на поясе, походным порядком перешли границу и, с ходу развертываясь цепью, перешли в наступление. А по железной дороге следом за бронепоездом шел эшелон японцев.

Красногвардейцы отступили, унося с собой раненых и не успев подобрать тех, что остались лежать надолго в окопах,

вблизи 86-го разъезда и на подступах к пятиглавой сопке Тавын-Талагой [1].

В тот же день семеновцы с боем заняли станцию Мациевскую и, развивая наступление, двинулись дальше. Семенов был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в Чите,— и о воззваниях Реввоенштаба, и о проводимой им мобилизации, и о том, что в городах и селах области формируются новые отряды Красной гвардии. Но он знал также и то, что, пока Лазо соберется с силами, пройдет немало дней, и спешил использовать свое преимущество в живой силе и боевой технике.

Отвоевывая у советских войск станцию за станцией, Семенов продвигался все дальше на запад и в захваченных им станицах также проводил мобилизацию казаков в свою армию.

Хлебом и солью встречали атамана богатые казаки-скотоводы верхнеаргунских и приононских станиц, в качестве подарков преподносили ему гурты овец, крупного рогатого скота и лошадей для нужд белой армии; один лишь Белокопытов из Чиндант-Борзинской станицы подарил атаману тысячный гурт овец и сотню строевых лошадей.

Вахмистр Тюменцев, атаман одной из самых богатых в области Преображенской станицы, день прихода в станицу семеновской армии объявил праздником. По вызову атамана на этот праздник со всех сел станицы прибыли почетные старики, а вместе с ними и охотники до веселых гулянок.

И день выдался по-весеннему теплый, ясный, на улицах праздничное оживление, на станичной площади с утра накапливались толпы. Стайками хороводились разнаряженные девки и парни, и уже кружатся пары под разухабистые переборы тальянки, слышится топот каблуков, смех, песни.

Милый пашенки не пашет,
Белых ручек не марат.
Он в семеновском отряде
Пулеметом управлят.

И среди молодых парней, и в толпе взрослых, пожилых людей, как полевые маки, желтеют лампасы, околыши фуражек, многие старики в форменных мундирах и даже при шашках. Ни на одну минуту ни смолкает говор.

— Здорово, станишник!

— О-о-о, присяга, здравствуй.

— Кум Иван, тебя каким ветром занесло к нам?

[1] Тавын-Талагой — пятиглавая сопка недалеко от русско-китайской границы.

— С праздником, Степан Егорыч!

— Вас равным образом.

Наконец дежурившие за околицей дозорные сообщили о появлении передовых разъездов, а затем и головной сотни семеновцев. Вскоре, в сопровождении конвойной сотни, появился и сам атаман. Как только он въехал на крайнюю улицу, на церковной колокольне ударили во все колокола, малиновый перезвон их взбудоражил станицу.

А на станичной площади Тюменцев выстроил почетный караул из старых казаков. Деды подобрались солидные, бородатые, груди многих украшены крестами и медалями. Лишь один из стариков, по фамилии Югов, был невзрачного вида: малорослый, щупленький, с жиденькой, клинышком бородкой. На Югове новая, очевидно с плеча сына или внука, казачья гимнастерка, она висит на деде как на вешалке, большими складками собрана под ремнем на спине, зато на груди его блестят три георгиевских креста, четыре медали и серебряная цепочка от призовых часов.

Когда на улице показалась кавалькада всадников и впереди них Семенов, деды подтянулись, выровняли строй. Тюменцев, щеголяя воинской выправкой, подкрутил усы и, взмахнув насекой, зычно скомандовал:

— Сотня, смирно-о! Для встречи слева слушай, на кра-а-ул!

Сверкнув на солнце обнаженными шашками, деды сделали ими «на караул», а разномастные бороды их повернулись в сторону подъезжающего к ним атамана.

Под атаманом горячился, колесом изгибая шею, грыз удила вороной красавец бегунец, подарок одного из богачей Абагайтуевской станицы. На плечах совсем недавнего есаула золотом искрятся генеральские погоны; из-под барсучьей папахи, лихо сбитой на затылок, выбился золотистый чуб, рыжие усы пламенеют на солнце, а лицо его озаряет довольная улыбка. Осадив вороного перед строем стариков, атаман приветствовал их, приложив руку к папахе:

— Здравствуйте, господа станичники!

— Здраим желаим, ваше прес-дит-ство! — дружно гаркнули старики.

Атаман поблагодарил их за радушную встречу. Старики ответили ему троекратным «ура», а один из них, с двумя крестами на груди и в погонах старшего урядника, вышел вперед, держа в руках серебряное блюдо с хлебом и солью. Он в пояс поклонился атаману, проговорил заученную речь:

— Здравствуйте, ваше превосходительство, господин походный атаман. Спасибо вам от всех нас, что пожаловали в

станицу нашу. Просим вас быть нашим гостем, принять нашу хлеб-соль.

Атаман спешился, принял от старика блюдо, передал его адъютанту, затем трижды облобызал старого урядника, станичного атамана и, попросив стариков «стоять вольно», обратился к ним с короткой приветственной речью. Он благодарил станичников за их верность казачеству и присяге и обещал им в короткий срок освободить Забайкалье от большевиков, с корнем, как сорную траву, выполоть в области революционную заразу. Свою речь он закончил словами:

— Я буду сурово карать и предавать смертной казни всех тех, кто будет оказывать противодействие моим войскам. Большевикам — изменникам родине и казачеству — от меня пощады не будет.

И снова старики кричали «ура», а самый богатый в станице казак, высокого роста, широкоплечий, с окладистой во всю грудь бородой и с нашивками урядника на погонах, обратился к атаману с просьбой:

— Дозвольте, ваше превосходительство, слово сказать.

Атаман согласно кивнул головой:

— Говори, дед, слушаю.

Старый казак вышел из строя, пристукнув каблуками, встал перед атаманом «во фронт» и, приложив руку к фуражке, заговорил горячо и взволнованно:

— Ваше превосходительство, господин атаман, за то, что вы избавили нас от большевизма, дозвольте отблагодарить вас от всего чистого сердца. Дарю доблестному войску нашему гурт овец в триста голов и двадцать строевых лошадей! А окромя этого вот этот пакет, тут, значит, все переписано, сколько я жертвую полушубков, потников и всего прочего.– И с этими словами передал атаману письмо в конверте.

Обрадованный атаман обнял и крепко расцеловал верного служаку. И лишь после этого вынул из конверта сложенный вчетверо исписанный лист бумаги. Быстро пробежав его глазами, атаман, благодарно улыбаясь, кивнул старику:

— Спасибо, урядник, большое спасибо! – И передал письмо адъютанту.

Дед схитрил, в письме не было ни слова о потниках и полушубках, а был список станичных большевиков и всех тех, кто «тоже к большевизме причасны, они всякие смуты заводят и болыневицкие пропаганды пущают. О чем честь имею доложить вашему превосходительству.

Старший урядник Филатов».

Сразу с площади станичный атаман пригласил Семенова с его свитой, а также и стариков к себе, где для высокого гостя с раннего утра готовили праздничный стол.

Весело было в этот день в просторном, под железной крышей доме Тюменцева: много было съедено баранины, жареных поросят и гусей, много выпито самогонки и даже царской водки. А изрядно подвыпив, старики порадовали охмелевшего атамана еще и тем, что спели ему не одну казачью песню.

Весело было и на улицах села, где также много пьяных и то тут, то там слышатся песни, звуки гармошки и топот каблуков в разудалой пляске. Но можно было увидеть среди гуляющих и таких, что недовольно хмурились, темнели лицом, со злобой поглядывая на белогвардейских офицеров и на гулеванов стариков. Но таких было мало в этой богатой, приверженной Семенову станице.

Гости от Тюменцева расходились поздним вечером. Три старика, в их числе и дед Югов, с трудом передвигая отяжелевшие ноги, медленно брели в обнимку.

— Уподобил господь...— дед Югов даже прослезился от умиления и, протирая глаза сухоньким кулачком, продолжал:— Сам наказной атаман со мной поручкался, ты, говорит, дедушка, герой.

— Уж от этого большевикам спуску не будет, он им наведет решку,— восхищался атаманом второй дед,— по всему видать, наведет.

— Строгость первое дело,— бубнил третий,— без строгости никак нельзя...

А маленький дед твердил свое:

— Герой, говорит, мал ростом, да удал.

— Мне, бывалоча, и сам Мищенко, вот генерал был покойничек, царство ему небесное...

— У меня и в доме во всем строгость.

— Нет, ты скажи, сват, рази же не верно...

И долго еще в улице маячили деды и, не слушая друг друга, говорили и говорили каждый про свое.

ГЛАВА VI

Расчеты Семенова на скорое овладение Забайкальской магистралью, а затем и всей областью не оправдались, красногвардейские отряды Лазо, несмотря на свою малочисленность, отчаянно сопротивлялись, отступая, портили за собой железнодорожные пути и мосты. Дорого доставались Семенову завоеванные

им станции, станицы и села. На подступах к станции Харанор красногвардейская застава из двенадцати человек в течение четырех часов удерживала позиции, прикрывая отступление своего отряда. Несколько раз кидались в атаку на красных спешенные сотни белой конницы и с большими потерями отступали обратно. Отбивать эти атаки красногвардейцам помогало то, что командир их, рабочий Читы-первой Семен Мокрушин, мастерски владел пулеметом. Белые обошли красногвардейцев с тыла, отрезав им путь к отступлению. К этому времени у мокрушинцев кончились патроны, атаковавшую их конницу — баргутов — они приняли в штыки и все до одного погибли под шашками белогвардейцев. Мокрушин так и застыл, обеими руками держа винтовку. Рядом с ним, в луже крови, лежал восемнадцатилетний Майоров, разрубленной головой приткнувшись к горячему еще стволу пулемета.

Когда головная сотня семеновской конницы ворвалась в Харанор, около порубленных красногвардейцев осадил коня офицер, пожилой, чернобородый, в косматой папахе, и с погонами войскового старшины.

— Двенадцать челове-ек! — удивленно протянул он и, обернувшись к подъехавшему сзади есаулу, показывая на убитых, повторил:— Двенадцать человек! Вот как надо воевать.

— Да-а,— вздохнул есаул,— если так будет и дальше...

Не дослушав есаула, войсковой старшина стегнул коня нагайкой, с места поднял его в галоп.

После ожесточенного боя на станции Бырка красногвардейцы отступили, разобрав железнодорожный путь на протяжении двух верст и подорвав небольшой мост. Отойдя до станции Оловянная, они спешно окопались, приготовились к обороне.

Все эти дни погода стояла ясная, теплая. Опаленная весенними пожарами степь побурела и уже начала зеленеть. Склоны сопок голубели от массы цветущего ургуя, сладчайший аромат меда источали желтовато-белые барашки вербы, набрякшие вешним соком, потому-то целыми днями гудели над ними, трудились золотистые пчелы и пестрые дикие осы. Все оживало в природе, просыпалось от зимней спячки, радовалось благодатной весне. И только люди воевали, убивали один другого, на радость черному воронью да серым даурским орлам, что вдоволь попировали на местах недавних сражений и не одному молодцу, которого ждет не дождется домой молодая жена или красавица невеста, выклевали они ясные очи.

Вот уже и над вспухшим от весеннего разлива Ононом, над окопами красногвардейцев, что полудужьем опоясали Оловянную, кружат пернатые хищники, чуя, что и здесь им будет богатая пожива.

Бой начался с самого утра. Первыми, еще на рассвете, цокнулись с белыми красногвардейские разъезды, а к восходу солнца в бой вступили главные силы. И снова, как и на восемьдесят шестом разъезде, левый фланг красных атаковала семеновская конница.

В это время командующий фронтом Сергей Лазо находился на командном пункте, небольшой горке, недалеко от ононского моста. Высокого роста, в светло-серой офицерской шинели, Лазо, не отрываясь от бинокля, наблюдал за ходом боя. Из-под защитной фуражки лоб его наискось пересекала снежно-белая повязка (он был ранен осколком гранаты в бою под Быркой). Отсюда в бинокль Лазо хорошо было видно, как всадники в синих и пестрых халатах мчались на маленьких лошадках на окопы красногвардейцев. С диким воем и ревом размахивали они обнаженными клинками, как некогда свирепые орды Чингисхана. Но в окопах левого фланга залег первый отряд пехотинцев, почти сплошь состоящий из горняков Черновских копей, которым командовал Николай Зыков. Они так дружно ударили по врагу залпами из винтовок и так начали косить семеновских конников из пулеметов, что сразу охладили их пыл, заставили повернуть обратно.

Жуткую картину осветили первые лучи восходящего солнца: поле, откуда отступили семеновцы, было усеяно людскими и конскими трупами.

— Молодцы горняки! —все еще не отнимая от глаз бинокля, сказал Лазо стоявшему рядом с ним командиру второго отряда красной пехоты Недорезову.

— Молодцы, всыпали белякам перцу,— улыбаясь в черные усы, согласился Недорезов и тут же погасил улыбку, а в голосе его зазвучали тревожные нотки:— Сейчас они на нас, наверное, иехоту пустят.

— Несомненно,— подтвердил Лазо.

— Надо туда, к своему отряду, спешить. Можно?

— Да.— Лазо оторвался от бинокля, оглянулся на боевого командира:— Имей в виду, товарищ Недорезов, патронов у нас мало, снарядов еще меньше, береги их, бей только по видимой цели.

— Слушаюсь! А ну-ка там, коня мне, живо!

В ту же минуту верховой ординарец Недорезова рысью подвел его гнедого белоногого скакуна. Бывший слесарь ловко вскочил в седло и прямиком, не разбирая дороги, во весь опор

помчался к окопам, где уже разгорался бой. Густые цепи японцев и белогвардейской пехоты двинулись на позиции красных. По всему фронту захлопали залпы, зарокотали пулеметы, прямой наводкой ударили по белякам красные артиллеристы. К одному из орудий, взамен убитого наводчика, встал сам командир батареи Лазарев. Красные били по семеновцам из их же гаубиц, отбитых лазаревцами в бою под Хадабулаком; теперь эти орудия пригодились, семеновцы, не выдержав их огня, отступили.

Четыре раза кидались семеновцы в атаку и всякий раз откатывались обратно, теряя на поле сражения убитых и раненых.

Бой длился весь день. Хотя белые, наступая по открытой местности, несли вчетверо большие потери, они давили своим превосходством в живой силе и боевой технике, а Лазо уже бросил в действие последний резерв: 1-й Революционный кавалерийский полк, состоящий из казаков Новотроицкой, Ундинской, Ильдиканской и Онон-Борзинской станиц. Полк этот, под командой бывшего прапорщика лейб-гвардии казачьего полка Иннокентия Раздобреева, всего лишь три дня тому назад прибыл в распоряжение Лазо.

Вызванный на командный пункт Раздобреев на вопрос Лазо: «Смогут ли казаки заменить собою пехоту?» — не задумываясь ответил:

— Смогут, товарищ командующий!

— Ну а если дело дойдет до рукопашной схватки, плохо будет вам без штыков?

— Ничуть, в шашки пойдем.

— Хорошо! — Лазо крепко пожал руку отважного командира.— Действуй, товарищ Раздобреев.

— Слушаюсь! — И не успел Лазо глазом моргнуть, а Раздобреев уже был в седле И словно растаял в облаке пыли, взбитой копытами коня. Не прошло и десяти минут, как до слуха Лазо донесло ветерком трубный сигнал, и вот уже спешенные казаки, сотня за сотней, скорым шагом двинулись на передовую линию.

После полудня положение у красных ухудшилось. Белые исправили железнодорожный путь и, хотя не восстановили еще взорванный мост, подвели к нему бронепоезд и с него открыли огонь из дальнобойных орудий, на который красным батарейцам нечем было отвечать.

Первый снаряд белых разорвался где-то далеко за Ононом, но, пристрелявшись, они накрыли цель, тяжелые снаряды их со зловещим воем и свистом обрушились на Оловянную. От

*

тяжких взрывов содрогалась земля, а в окнах домов дребезжали стекла. Багрово-черные клубы огня и копоти вздымались и над окопами и в тылу их, в селе. Охваченные ужасом жители прятались в подпольях, в подвалах, бежали из села в сопки, в лес, но смерть находила их всюду: на улицах, в огородах и в развалинах собственных жилищ, развороченных снарядами.

Около часа длилась канонада, но сломить сопротивление красногвардейцев не удалось семеновцам, и когда густые цепи их снова пошли в атаку на окопы красных, их встретили такими же дружными залпами, как и в начале сражения. На правом фланге казаки Раздобреева перешли в контратаку, приняли беляков в шашки.

Бой длился весь день, все атаки семеновцев были отбиты, но к вечеру стало ясно, что Оловянную не удержать, и Лазо приказал готовиться к отступлению. Эшелон- с ранеными еще днем эвакуировали в тыл, следом за ним отправился и полевой госпиталь. Ординарца-казака, который прибыл от Лазо с распоряжением об эвакуации госпиталя, встретила, стоя на подножке вагона, молодая, но дородная, розовощекая женщина в солдатской гимнастерке и с наганом на боку.

— Мне начальника госпиталя,— обратился к ней казак, не сходя с лошади,— строчно!

— Я за него, начальник раненый лежит.

— Тогда комиссара мне, да шевелись живее, у меня аллюр три креста [1].

— Я и есть комиссар госпиталя Куликова. Ну! — повысила она голос.— Чего глаза-то вылупил, давай, что у тебя там.

Казак поскреб рукой в затылке, решился, молча подал Куликовой небольшой пакет и, уже повернув обратно, дал волю языку:

— Тоже мне комисса-ар! Сатана в юбке, мать твою черная немочь,— вслух ругался он, погоняя измученного за день коня,— дожили, прости господи, бабы уже в комиссарах ходят! Мало своих-то командиров, так ишо и эти вертихвостки командовать нами зачнут! Вот тебе и слобода...— И, яростно матюгнувшись, он снова огрел нагайкой ни в чем не повинного коня.

Вечером, когда на западе алым пламенем горел закат, постепенно затихая, закончился бой. Белые, потеряв множество людей и не добившись никакого успеха, отошли на исходные позиции.

[1] Три креста на пакете обозначали, что донесение весьма спешное н посыльный должен гнать лошадь полным галопом.

Лазо, приказав своим отрядам начинать отступление, одного из командиров вызвал к себе. Всех своих командиров командующий фронтом знал и по фамилии и в лицо, но в прибывшем к нему человеке, черном от копоти, с трудом признал командира первого отряда, пристально вглядываясь в него, спросил:

— Товарищ Зыков?

— Не слышу,— отозвался тот,— оглушило снарядом, разорвался у нас в окопе, пятерых наших... насмерть. Говорите громче!

Лазо придвинулся ближе, крикнул командиру в ухо:

— Приказ об отступлении получил?

— Так точно,— мотнул головой Зыков,— получил.

— Саперы, взрывники есть в отряде?

— Найдутся.

— Не знал я, товарищ Зыков, что тебя контузило, хотел поручить тебе дело серьезное.

— Контузия-то ерунда, вот только оглох немного, а какое дело-то?

— Читай,— Лазо протянул Зыкову листок бумаги, на котором химическим карандашом было написано:

«Командиру 1-го отряда тов. Н. Зыкову.

Сегодня, после отхода всех наших частей, приказываю: взорвать железнодорожный мост на Ононе. Затем вернуться в свой отряд и следовать с ним, согласно данным всем указаниям.

Командующий фронтом С. Л а з о».

Зыков пробежал бумажку глазами, положил ее в карман.

— Сделаю,— сказал он и даже козырнул по унтер-офицерской привычке.— Где прикажете получить динамит?

— У Деревцова, в хозчасти, у него уже есть распоряжение. Возьми с собой моего ординарца Кузмина, он будет у тебя связным. Через него и сигнал к взрыву получишь от меня. Надеюсь на тебя, как на самого себя.— Лазо окинул Зыкова долгим, потеплевшим взглядом, закончил:— Действуй, товарищ Зыков* выручай, браток!

Поздней ночью, после того как все эшелоны, батареи и отряды красногвардейцев перешли на левый берег Онона, ночную тишину разорвал страшной силы удар, от которого дрогнула земля, а в окнах домов повылетели стекла. Высоко в небо взметнулось красно-бурое пламя, громовой гул взрыва,

лязг, грохот рухнувшего в реку пролета эхом отозвались в ближайшей горе, волнами покатились по заононским сопкам и замерли вдали.

ГЛАВА VII

Хоть и тревожным был нынешний год для Саввы Саввича, но в доме у него все шло по-старому, любил он и строго соблюдал все церковные обряды, посты и праздники. И пусть где-то там люди воюют, гибнут, пусть растет вокруг разруха, у Саввы Саввича по-прежнему во всем порядок и достаток.

— Будем встречать пасху Христову по-старому,— еще за неделю до праздника сказал он Макаровне.— Эта власть новая, ни дна бы ей ни покрышки, до нас ишо не дошла покедова. Война тоже ишо далеко от нас, большаков тутошных черти унесли на фронт, штобы им не вернуться, проклятым. Так что ты, Макаровна, тово... готовь к пасхе все как полагается, штоб не стыдно было перед людьми...

Макаровна лишь того и ждала и в страстную неделю с двумя стряпухами пекла, варила, жарила, и пасхальный стол получился на славу.

Яства, которые должны красоваться в горнице всю неделю праздника, еле уместились на двух столах, накрытых белыми скатертями. На самой середине их, на деревянном поставце, оклеенном золотистой бумагой, стоят куличи, облитые поверху сливочным кремом с маком и сахарными голубками на верхушках. Вокруг куличей крашеные яйца на четырех тарелках, а справа от них, и тоже на деревянном позолоченном подносе, свиной копченый окорок, густо утыканный гвоздикой. Слева два запеченных в вольном жару поросенка, стоят они как живые, колечками завернув на спину хвостики.

И чего только не было на этих столах: и курицы жареные, индюки, колбасы трех сортов, сыры с изюмом, и печенья всякого, и множество бутылок с настойками, наливками и коньяком, что зимой еще привез Савва Саввич со станции Маньчжурия от китайских купцов.

Любил Савва Саввич иметь у себя вдоволь всяких запасов и терпеть не мог каких-либо неполадок, убытку в хозяйстве. Вот и нынче, еще в начале великого поста заболела у него большая свинья. Вызванный по этому случаю Лукич поил ее отваром какой-то травы, горло ей смазывал дегтем и даже шею колол шлейным шилом, ничего не помогло, свинья-таки подохла. Тогда Савва Саввич распорядился перерезать ей горло

и опалить, как полагается при убое свиней на мясо. Внутренности свиньи Лукич выбросил на приманку волкам, ловил он их капканами, а опаленную, хорошо обработанную тушу повесили под сараем. Жалко стало Савве Саввичу этакую жирную и большую, пудов на десять, тушу вывозить на свалку.

«Лучше я ее в Читу увезу,— думал он тогда,— да и продам энтим голякам, рабочим. Сожрут. А подыхать зачнут, так оно ишо и лучше, не будут энти самые революции устраивать».

Лукичу же сказал: отправлю ее на мыловарню, там всяких принимают.

— Совершенная правда, чего же пропадать добру-то зазря,— согласился Лукич. Он хотел спросить, зачем же было ее так чисто обрабатывать, но не посмел, а только про себя подумал: «Ох и хитер ты, Сав Саввич, ох и жи-и-ла!»

Ехать в Читу сразу же показалось Савве Саввичу невыгодным: великий пост, спрос на свинину будет не такой, как в мясоед, и, чтобы не продешевить, решил он заняться этим делом после пасхи, а пока замороженную тушу повесил под сарай.

Первые три дня пасхи прошли тихо, спокойно, а в ночь на четвертый день праздника Савва Саввич проснулся от необычайного оживления и шума на станции. Еще сквозь сон слышал он, как туда один за другим вскоре прибыло с востока два поезда. Окончательно проснувшись, Савва Саввич поднялся с постели, накинул на плечи тулуп, вышел на веранду. Он долго стоял там, прислушивался и по свисткам, по шуму передвигаемых вагонов понял: поезда дальше не пошли.

«Неужто отступают красюки? — опалила радостная догадка.— Всыпали им небось, антихристам проклятым...»

Утром, едва солнце приподнялось над горами, на станцию прибыл еще один поезд с востока, и Савва Саввич решил после завтрака сходить к Томилину, порасспросить, не слыхал ли он чего-либо нового.

С тяжелым сердцем шел Савва Саввич по селу, с грустью наблюдая, что на улицах нынче не по-праздничному пустынно, лишь на перекрестке двух улиц ребятишки играют в бабки, а напротив, на солнечном сугреве, старики режутся в карты «в подходную», кружком усевшись на песке; на кону у них те же бабки вместо денег. Слышны азартные выкрики:

— Вышел!

— С нашей!

— С нашей.

— Замирил, хвастай!

— Хлюст козырей!

Томилина Савва Саввич угадал издали; в сером форменном сюртуке и новенькой фуражке без кокарды, он стоял около тесовых ворот своей усадьбы. По тому, как глаза командира дружины светились радостью, а губы расползались в улыбке, обнажая желтые от курева зубы, Савва Саввич понял: произошло что-то отрадное.

— Христос воскресе, — проговорил он, вынимая из кармана шаровар пасхальное яичко.

— Воистину воскресе! — Сняв фуражку, Томилин обнял, трижды поцеловал приятеля и пригласил его сесть с собой рядом на врытую около ворот скамейку.

Савва Саввич, усевшись и заглядывая в улыбчивые глаза друга, осведомился:

— Что слыхать-то? Ты вроде тово... возрадовался чегой-то, так и сияешь, как новенький пятак.

— От хороших вестей, Савва Саввич, бьют наши красюков, так им всыпали под Оловянной, что еле ноги унесли.

— Да пошли ты, господи, чтобы так-то оно получилось.

— Так оно и есть. Мне сегодня сам начальник станции Жданович растолмачил все до тонкости, а уж ему-то все хорошо известно, кажин день передают по телефону, что и как. Красюки только тем и спаслись, что успели мост подорвать на Ононе, а то бы им теперь уж каюк был. Ну сам подумай, Савва Саввич, там сила: и войска у них намного больше, и оружия всякого полно, и пушки, и броневики, а у этих што? Шиш с маслом.

— Так, та-ак...

— Да и командуют там генералы да полковники, а у красюков этот их Лозов хваленый всего-навсего прапорщик, да где же ему с генералами поверстаться...

— Ясное дело, чего там! А скажи, Христофор Миколаич, что это за поезда на станцию-то прибыли сегодня?

— Раненых привезли, полно надыроватили их, проклятых. Часть из них в Читу отправили, а которые не шибко ранены, здесь им лазарет устроят. Да-а-а... По всему видать: последние кафизмы дочитывают комиссары. Оно конешно, все это радостно, а как подумаешь хорошенько, так и страшновато становится.

— Это почему же? — встревожился Савва Саввич, с удивлением глядя на помрачневшего вдруг Томилина.

— А то, что красюки-то у нас обосноваться думают всей ихней бандой. Жданович так мне и сказал: «Ждите, говорит, вот-вот, не сегодня-завтра заявятся». А вить содержать-то их, кормить нас заставят.

— Заставят,— уныло подтвердил Савва Саввич,— тут уж никуда не денешься.

— Да кабы одно это, так черт с ним, но у меня ишо и другое на уме: нет-нет да и придет в башку про дружину-то нашу. Не дай бог узнают, так они нас, особенно меня, в порошок сотрут.

— Это уж ты напрасно,— попытался успокоить приятеля Савва Саввич,— как они узнают, сорока на хвосте им принесет?

— Да вить кто его знает, на грех мастера нет... а меня и так-то с нашими голяками мир не берет. Так что самое лучшее не дожидать, когда их черти принесут, а после обеда заседлаю Чубарку, да и махну в Заиграево. Переживу там у зятя, пока их выкурят отсюдова. Долго-то они все равно здесь не продержатся. А ты как?

— Останусь дома. Подумаю, может, Семена пошлю куда-нибудь, хоть бы и в Заиграево. А самому-то как можно, они тут без меня все вверх дном перевернут. Нет уж, что будет, останусь.

Домой Савва Саввич возвращался, обуреваемый смешанными чувствами радости и досады. Его, как и Томилина, радовало то, что красные терпят поражения, и угнетало, что они намереваются окопаться в Антоновке: и хлопот с ними полно будет, и разор в хозяйстве, да мало ли каких неприятностей могут наделать... особенно свои красногвардейцы. Ведь среди них немало и таких, которых обидел когда-то Савва Саввич, и теперь повстречаться с ними у него не было никакого желания.

Еще по дороге к дому Савва Саввич обдумал, как приготовиться к встрече с красногвардейцами, и, придя к себе, начал действовать. По его совету Семен в тот же день уехал вместе с Томилиным в Заиграево, чтобы переждать там, пока красные находятся в Антоновке. Ермохе Савва Саввич приказал ехать с конями на заимку, где со скотом жили работники и с ними безвыездно находилась Настя.

Проводив Ермоху, Савва Саввич приказал Макаровне убрать со столов все пасхальные яства.

— Красных того и гляди черт пригонит,— пояснил он на недоумевающий взгляд жены.

— Христос с тобой, Саввич! — всплеснула руками Макаровна.— Неужто голые столы оставить на пасхе Христовой? Вить это же грех великий.

— Эка до чего бестолковый человек! — Савва Саввич осуждающе покачал головой.— Ты что же, красюков-то куличами потчевать будешь? Вот как поставят их к нам человек двадцать...

— Да вить я-то думала...

— Ничего ты не думала. Делай, как тебе сказано, позови Матрену и укладывай все это в ящики. Отнести-то в амбар я помогу вам, там и засыплем их гречихой.

Затем Савва Саввич облачился в старенький полушубок, подпоясался плетенным из бараньей шерсти пояском и принялся прятать подальше: новые шубы, дохи, седла, запасные хомуты и другую сбрую, даже швейную машинку зарыл в омете соломы. К обеду все ценные вещи были надежно захоронены в укромных местах, только туша дохлой свиньи по-прежнему висела в сарае, подтянутая за задние ноги к поперечной балке.

«Хорошо я сделал тогда,— размышлял Савва Саввич, заглядывая в сарай,— теперь на этих нехристей доброе мясо пришлось бы расходовать, а чушка-то и пригодилась, и волки сыты будут, и овцы целы. Ничего-о, сожрут, варвары, а подыхать зачнут от моего угощения, так туда им и дорога».

Он даже повеселел при мысли о своей находчивости, подумав при этом: надо будет сказать Матрене, чтоб не сболтнула при большаках чего лишнего.

Незваные гости пожаловали в тот же день к вечеру. Савва Саввич, все в том же стареньком полушубке, ходил по ограде, соображая про себя, все ли, что следует убрать с глаз подальше, он упрятал. Он слышал, как на станцию прибыли эшелоны красногвардейцев, как там началась разгрузка. И вскоре улицы наполнились шумом: грохотом тачанок, топотом ног, сквозь густой слитный говор доносились отрывистые слова команды. Вскоре и за воротами пантелеевского дома послышались голоса, звяк оружия, раздался громкий стук в калитку. С тревожно забившимся сердцем поспешил Савва Саввич к воротам. Отодвинув засов, он открыл калитку и прямо перед собой увидел молодого военного в серой шинели, с наганом на боку, а за ним толпу красногвардейцев. Двое из них сунулись было в калитку, но молодой военный властным движением руки остановил их, спросил Савву Саввича:

— Вы хозяин дома?

— Мы...

— Вот на постой к вам несколько человек, не возражаете?

Савва Саввич тронул рукой бороду, мотнул головой:

— Не возражаем.

Военный повернулся к своим красногвардейцам, приказал:

— Морозов, заводи свое отделение. Остальные за мной, марш!

Пятерых постояльцев Савва Саввич поместил в горнице, остальных семь человек определил в зимовье. Тревожное состояние ожидания какой-то беды у Саввы Саввича прошло, когда

он увидел, что красногвардейцы, в большинстве своем рабочие, не выказывают к нему никакой вражды, ведут себя скромно. Не понравился ему лишь один красногвардеец: диковатого вида, чернявый, с подвязанной к шее левой рукой, казак, судя по одежде и военной выправке. Недобрым огоньком загорелись глаза казака-красногвардейца, когда он, хмурясь, исподлобья оглядывал дом и надворные постройки хозяина. Савва Саввич, избегая встречаться с ним взглядом, поспешил в зимовье, приказал Матрене:

— Чайку приготовь, Матренушка, люди-то с дороги, отощали небось.

— Чай готов,— ответила Матрена,— вон ведерная чугунка скипела, да еще самовар поставлю, хлеба принесу сейчас.

Вскоре шестеро красногвардейцев сидели за столом, пили чай с молоком и пшеничными калачами. Остальные, ожидая своей очереди, сидели на бревне около зимовья, курили. Тут же сидел и командир их Морозов, пожилой, черноусый шахтер в поношенном ватнике, и тот казак, с рукой на перевязи. Он не утерпел-таки, заговорил с Саввой Саввичем, когда тот вышел из зимовья:

— Ну что, хозяин, не по душе гости-то? Клянешь небось революцию-то?

Савва Саввич скользнул по говорившему взглядом, ухватился за бороду, нахмурился:

— Я, товарищ, в энтих политиках разных не шибко-то разбираюсь, по мне што ни поп, то и батька.

— Да-да! Не разбираешься ты, кому-нибудь рассказывай! Вон какое хозяйство развел, ясное дело, чужим трудом, людей эксплуатируешь.

— Чудно ты толкуешь, товарищ,— голос Саввы Саввича обиженно дрогнул,— слова такие непонятные, вроде как в укоризну, и совсем даже напрасно. А ежели и робят у меня люди, так вить тово... не даром, чего же в этом плохого?

— Сыновья-то где у тебя?

— Один сын у меня в станице служит, а второй уж который год отдельно живет, своим хозяйством.

— Только и всего...

— Брось, Викулов, никчемный разговор,— заговорил Морозов,— надо о деле потолковать, насчет ужина. Хозяин, как оно будет, у чаю-то ведь ноги жидки?

— Насчет этого не беспокойтесь,— с живостью отозвался Савва Саввич, донельзя обрадованный переменой разговора.— Скажу Матрене, она вам свинины наварит к ужину, кушайте, пожалуйста. Жирная свинья-то, закололи ее перед пасхой, хотел завялить к весне, но раз такое дело, кушайте на здоровье.

— Спасибо, хозяин. А сварить-то мы и сами сварим; разведем костерок, желобча [1] вон лежит у амбару, на огонь ее, и супу наварим, скорее будет дело.

— Можно и так, только вы уж, ребятушки, с огнем-то поаккуратнее.

— Знаем, дед, не бойся!

ГЛАВА VIII

По Забайкальской железной дороге, что пролегла по левому берегу Ингоды, на всех парах мчится воинский состав. Это вышел из Читы головной эшелон 1-го Аргунского полка.

У раскрытых дверей теплушек грудятся казаки — благо денек сегодня погожий, щедрый на тепло. В числе других около дверей своей теплушки стоит и Егор Ушаков. Глаз не сводит он со знакомых долин, таежных сопок, затянутых дымной пеленой весенних палов. Все это хорошо знакомо Егору, все дорого ему — и проплывающие мимо поселки, станции, тайга, и голые, неприветливые утесы слева от дороги, а справа стремительная, мутная после половодья Ингода, с громадными ледяными глыбами на берегах и на заросших тальниками островах, куда занесло их весенним разливом. Теперь эти рыхлые, ноздреватые, словно изъеденные червями глыбы крошатся, разваливаются на глазах, истекают мелкими ручейками.

Ингода! Сколько воспоминаний связано с нею у Егора, какие чувства возникают при виде родной, милой сердцу реки, возле которой родился и вырос он и только теперь по-настоящему осознал, что любит ее горячей, сыновней любовью.

И радостно сегодня Егору, и грустно от обуревающих его мыслей: грустно потому, что проедет он вблизи своей станицы и не сможет побывать дома, повидаться с матерью. А радостно потому, что полк будет разгружаться в Антоновке и он скоро увидится с Настей, с сыном. Теплой волной наплывает радость, захватывает Его"ра целиком, распирает грудь: «Эх, скорее бы, а тут машинист, как назло, тащится еле-еле». Высунувшись из вагона, Егор кричит, размахивая сорванной с головы фуражкой:

— Крути, Таврило! Ползешь, как неживой! Взял бы меня шуровать уголь-то, уж я бы тебе нагнал паров!

Встречный ветерок освежает Егора, ласкает его лицо,

[1] Желобча — небольшой чугунный чан.

треплет взлохмаченный русый чуб, прочь отлетели все горести, переживания в пути. Из Гомеля, где казаки совершили переворот, аргунцы пробирались до Читы более двух месяцев. На некоторых станциях казачьи эшелоны простаивали неделями, а в Челябинске дело дошло до того, что дивизию разоружили! Не помогла и телеграмма из Ставки, где говорилось: главковерх разрешил эшелонам 1-й Забайкальской кавдивизии, идущим в свою область, следовать с оружием. Но в Иркутске ревкомитет, убедившись в преданности аргунцев революции, вернул им оружие. Поэтому в Читу Аргунский полк прибыл хорошо вооруженный, с пулеметами и приданной ему полевой батареей четырехорудийного состава.

Вспомнилась Егору сегодняшняя встреча аргунцев с жителями Читы. Хотя было еще раннее утро и на востоке пламенела заря, встречать революционных казаков вышло великое множество людей. Рабочие, красногвардейцы и жители города запрудили до отказа украшенный алыми флагами перрон и привокзальную площадь. На вагонах, на крышах мастерских и станционных, зданий — везде понабились люди, а на тополях, словно грачиные гнезда, кучами налипли ребятишки. Посреди этого скопища людей возвышается наспех сколоченная из досок трибуна, на ней члены областного Совета и комитета большевиков, тут и председатель Совета Бутин, и Борис Жданов в рабочем пиджаке и старенькой кепке, и стройный, с офицерской выправкой Яков Жигалин, и молодцеватый красавец с волнистым чубом Дмитрий Шилов, и седоусый Хоменко, и еще несколько старых большевиков и политкаторжан. А у подножия трибуны, желтея медью тпуб, расположился сводный духовой оркестр, которым дирижировал бывший капельмейстер войскового казачьего управления.

Гулом восторженных голосов всколыхнулась площадь, когда из-за поворота показался паровоз головного эшелона аргунцев, над передним вагоном которого полоскалось на ветру алое знамя.

Еще не совсем остановился поезд, а из вагонов на перрон повалили казаки; серошйнельная масса их перемешалась с черным месивом горожан, и на площади стало так тесно, что ни разойтись, ни повернуться. Егор видел, с каким трудом пробирается сквозь толпу к трибуне комдив Балябин, следом за ним устремились Богомягков и Метелица, которого только вчера на митинге избрали командиром полка, взамен заболевшего Новикова.

Рев толпы, восторженные крики усилились, когда Балябин

поднялся на трибуну, где его заключил в объятия и трижды облобызал Дмитрий Шилов.

Открывая митинг, председатель областного Совета Бутин говорил о том, с каким героизмом бьются с врагами революции отряды Красной гвардии Сергея Лазо. Мало сил у Лазо, его отряды отступают, но отступают с боями, и оставленные ими станции, станицы и села достались Семенову ценою больших потерь. При этом Бутин зачитал обращение Лазо, то самое, что вчера читали аргунцам на полковом митинге.

«Всем! Всем! Всем!

Товарищи, приближается день решительной борьбы с Семеновым. Организуйте отряды. Присылайте людей хорошо вооруженными, одетыми, обутыми, у нас здесь ничего нет. Предстоит упорная борьба. Заканчивайте организацию отрядов и выезжайте все, кто хочет защищать революцию. Время не ждет.

Л а з о»[1].

Бутин призвал казаков постоять за революцию и сегодня же отправиться на фронт, влиться в Красную гвардию Сергея Лазо.

После Бутина с речью к казакам обратился Дмитрий Шилов. Никогда еще не слыхивал Егор таких жгучих, хватающих за душу слов, как на этом митинге. Туман застилал ему глаза, он забыл про все: про дом, про мать, про Настю, и, когда Богомягков в ответной речи заявил, что аргунцы не посрамят чести красного казачества, грудью встанут за революцию, Егор, взволнованный до слез, вместе с другими исступленно кричал:

— На фро-онт!

— За револю-ю-цию!

— Даешь приказ!

— Ура-а!

Последним говорил командир полка Метелица. Бравый вид имел бывший войсковой старшина: в неизменной своей гимнастерке с алым бантом на груди, с заломленным на фуражку золотистым чубом и такой же курчавой бородкой, он был великолепен, а серые, лихие глаза его горели отвагой. Речь Метелицы была самой короткой из всех; тоном, в котором чувствовалась уверенность и в себе и в своих казаках, он заявил горожанам, что полк сегодня же, после небольшой остановки на станции Антипиха, выступит на позиции. Тут Метелица чуть помедлил и, запрокидывая голову, властным, командирским голосом воскликнул:

[1] Сборник документов и воспоминаний «Борьба за власть Советов в Забайкалье». Чита, 1947, стр. 117.

— По-олк! Слушать мою команду: по вагона-а-ам... марш!

И сразу же на убыль пошла толпа на перроне, казаки, растекаясь вдоль всего состава, устремились к своим вагонам.

Под бравурные звуки оркестра и крики «ура» эшелон аргунцев двинулся из Читы...

Все это на мгновение вспыхнуло и промелькнуло в памяти Егора, и снова перед глазами его Настя.

«Уж сегодня-то свидимся, сбегу, ежели вахмистр не отпустит...»

События этого дня взволновали всех казаков, потому-то среди них и не молкнет ни на одну минуту говор:

— Опять на фронт, значит!

— Мимо дому ехать приходится!

— До нашей станицы от Карымской два часа езды...

— И откуда его черт принес, этого гада... Семенова.

— Уж доберемся же мы до него...

— А время-то какое, пора уже сеять...

— Неделя остается до Егория...

Долговязый, весь какой-то нескладный Сараев волнуется больше всех, особенно когда поезд стал подходить к станции Маккавеево, где находится и станица и дом Сараева.

— Во-он он, дом-то наш, зеленые ставни,— крепко ухватившись за косяк двери и ни к кому не обращаясь, громко говорит Сараев.— Отец в ограде ходит, ей-богу,‘ отец, кому же больше-то. Не отпустит вахмистр, волк его заешь, а тут пять минут ходу! Бож-же ты мой, восьмой год...

— Плюнь на вахмистра,— басит Молоков,— забеги попроведай, а со вторым эшелоном догонишь, только и делов.

— Забежать, говоришь? — Сараев отрывается от двери, выпрямившись, ошалело-радостно оглядывает казаков и зачастил как из пулемета:— Аить верно! Ах, мать ты моя, матушка, успею со вторым... Ребята, вы там Савраску моего, Митрий, ты уж седло-то мое сохрани... манатки.

— Да хватит тебе, ботало осиновое, ступай живее. Соблюдем и коня, и манатки твои никуда не денутся.

— Бегу, бегу,— Сараев торопливо надел шашку, одернул гимнастерку,— чича-ас, где шинель-то? Вот она. Я мигом, вахмистру скажите, со вторым, мол...

— Беги живее, эко дуролом какой, непутевый...

Поезд замедлил ход, Сараев спрыгнул, не дожидаясь полной остановки, и прямиком через дворы и огороды кинулся бежать, придерживая левой рукой шашку.

В Антоновку полк прибыл перед вечером. Вновь увидел Егор знакомые горы, что с трех сторон окружили поселок, темную полосу леса, а в слитной серой массе домов Антоновки зеленую крышу пантелеевского дома. Казакам приказали разгружать только лошадей, а сами они должны находиться в теплушках, которые подвинут в тупик. На площадке возле тупика для казачьих лошадей уже приготовлено сено и коновязи.

Как только покончили с разгрузкой, Егор бегом к вахмистру, попросил у него увольнительную в поселок часа на два.

— Сходи,— разрешил вахмистр,— да смотри у меня, недолго там.

— Слушаюсь!

По улице Егор мчался не чуя под собой ног. Вот и пантелеевский дом. Сердце у Егора заколотилось сильнее, когда открыл он калитку, шагнул в ограду. Все здесь было так же, как и много лет тому назад: те же сараи, амбары, на том же месте сложены поленницы дров, так же рядком выстроились телеги. Бросилась в глаза какая-то неряшливость в ограде, которую Егор заметил даже при свете зари: ворота в скотный двор не закрыты, и от них до самого зимовья ограда засорена сенной трухой и соломой, чуть не посредине ограды огнище, которого тут никогда не бывало, тут же на кирпичах прилажена большая желобча, рядом валяется топор, и все вокруг засорено щепками.

— Что такое,— встревожился Егор, останавливаясь посреди ограды,— не случилось ли какой беды с Ермохой, уж он-то бы не допустил такого.

Егор посмотрел на притихший большой дом, в котором лишь на кухне светилось одно окно, и пошагал в зимовье, где также горел огонек. Еще подходя к зимовью, он услышал там незнакомый мужской разговор, а когда открыл дверь, на него шибануло запахом табака и свежей соломы. Человек десять красногвардейцев расположились кому где пришлось: кто сидя, кто лежа на нарах, застеленных соломой; трое сидят на скамье, разговаривают, дымят табачком-зеленухой. Один, в защитной гимнастерке, примостился к столу, разобрал и чистит затвор винтовки. На кутней лавке сидит Матрена, опустив на колени жилистые, с узловатыми пальцами руки. Она заметно постарела, осунулась, прядка черных волос, что выбилась из-под ситцевого платка, густо повита серебристыми нитями седины.

Войдя в зимовье, Егор снял фуражку, поздоровался, человека два или три ответили на его приветствие, а тот, что чистил винтовку, покосился на незнакомца, спросил: кто такой?

— Егорушка! — воскликнула Матрена и, подбежав к нему, ухватила за плечи, подтянула его к себе, поцеловала и заголосила.

У Егсра от испуга захватило дух, огнем опалила мысль: уж не с Настей ли какая беда?

— Что такое, тетка Матрена,— с отчаянием в голосе выдохнул он, ловя глазами взгляд Матрены,— что случилось-то?

— Одна я осталась, Егорушка,— причитала Матрена, концом платка вытирая слезы,— старик-то мой, Ефим Нилыч... царство ему небесное...

Егор облегченно вздохнул:

— Вот оно што... умер, значит, дядя Ефим.

— Осенесь. Нутром все маялся, а тут ишо простудился к тому же, распаленье схватил, ну и вот за неделю до казанской богу душу отдал.

— Ну а остальные-то наши как: дядя Ермоха, Настасья?

— Да ничего, слава богу, живы, здоровы, на заимке вить они...

— На заи-и-имке,— разочарованно протянул Егор,— та-ак.

— Ой, да что же это я, старая дуреха,— спохватилась Матрена,— раздевайся, Егорушка, присаживайся к столу, я сейчас сготовлю тебе.

— Не надо, тетка Матрена, не надо,— запротестовал Егор,— некогда мне, вахмистр отпустил ненадолго, уходить пора. Вот ежели чай есть готовый, выпью, уж куда ни шло.

За чаем Матрена рассказала Егору, что Настя всю эту зиму жила на заимке со скотом, что недавно туда же уехал Ермоха с Никитой, что вместе с Настей живет на заимке и сын ее Егорка...

— Семь годов исполнится ему ноне в канун Егорьева дня. Учить его хочет Настасья-то в школе, на осень, ежели все будет по-хорошему. Смышленый парнишка-то, послушный, когда дома-то жили, так часто забегал к нам в зимовье...

Как пение райской птицы слушал Егор Матрену. «Сын, мой сын в школу пойдет,— думал он, млея от радости,— боже ты мой, сегодня же махну туда к ним, не дадут коня — пешком уйду».

Допив третий стакан, он поднялся, заторопился уходить, на уговоры Матрены остаться, посидеть еще, поговорить решительно заявил:

— Нельзя, тетка Матрена, никак нельзя, наше дело военное.

Матре^Ра проводила его до ворот, попрощавшись, наказывала:

— Заходи, Егорушка, заходи, родной. На днях Ермоха приедет, обрадуется, как про тебя услышит, часто вспоминал тебя, заходи.

ГЛАВА IX

Егор пустился разыскивать Федота Погодаева, ставшего теперь командиром сотни. Федот стоял на вокзале у фонарного столба, курил. Егор думал сначала заговорить с ним по старой дружбе, запросто, но передумал: встал, как полагается, «во фронт» и даже каблуками пристукнул, а руку приложил к фуражке.

— Разрешите обратиться, товарищ командир!

— Эко службист какой! — насмешливо сощурившись, съязвил Федот.— Чего ты пялишься-то передо мной, как серяк перед вахмистром! Я што тебе, старый офицер?

— Да ведь неловко как-то,— Егор, улыбаясь, опустил руку,— ты же теперь как-никак командир, не свой брат.

— Не трепли языком-то ерунду всякую, чего тебе?

— Отпусти сегодня на ночь, к утру на месте буду.

— В поселок, что ли?

— На заимку, верст за десять отсюда, коня надо.

— Да ты што, сдурел! Время вон какое, приказ—никого никуда, кругом посты, заставы, а ему на заимку вздумалось, самый раз!

— Знаешь что, Федот,— наливаясь злобой, Егор заговорил отрывисто, с придыханием,— не отпустишь... сбегу... понятно тебе?

— До утра-то можешь обождать, чего тебе так приспичило?

— Не могу я ждать, понимаешь.— Подступая ближе, Егор чуть склонился и, поймав глазами взгляд Федота, продолжал жарким, злобным полушепотом: — Жена у меня там, сын семи годов, понятно тебе? Сколько лет не видел, и кто ее знает, может, последний раз...

— Хватит тебе,— жестом полного отчаяния отмахнулся Федот,— идем на конюшню, скажу там.— И уж на ходу, косясь на шагающего рядом Егора, продолжал ворчать: — Накачало вас на мою голову, вам по гостям разъезжать, с бабами развлекаться, а мне за вас переживать тут. Смотри у меня, чтобы к утру как штык был на месте.

— Не подведу, Федот, не бойся,— уже миролюбиво ответил успокоившийся Егор.

Получив наконец коня и оседлав его, Егор поблагодарил Федота и, вскочив в седло, зарысил по улице, не подозревая, что впереди его ждет новая задержка. Он уже выехал за околицу, подъехал к поскотине, когда впереди из темноты раздался грозный окрик:

— Стой! Пропуск!

— Свой! — осаживая коня, ответил Егор и только тут вспомнил, что второпях он забыл спросить у Федота пропуск.

В ту же секунду к Егору подошли двое; один ухватил за повод коня, другой, клацая затвором винтовки, зашел сбоку:

— Слазь с коня, ну!

— Это что же такое за напасть на меня сегодня! — Егор, чертыхаясь, спешился, передал поводья красногвардейцу, спросил: — Куда идти-то?

— Во-он огонек-то, второй дом с краю, видишь? Шагай!

Караульное помещение, куда красногвардеец привел Егора, оказалось обыкновенной избой с русской печью, на которой похрапывал старик — хозяин дома. На лавках вдоль стен и в кути на полу спали красногвардейцы. Трое сидели за столом, двое в шинелях спиной к Егору, третий, смуглый, черноусый и широкоплечий человек в кожаной куртке, сидел напротив, склонившись над столом, писал что-то при свете керосиновой лампы. На груди его перекрещивались ремни от нягана и шашки.

Когда зашли в избу, дозорный, что привел Егора, прикрыл за собой дверь, пристукнув прикладом берданы, спросил:

— А где карнач-то? [1]

Один из военных обернулся на голос:

— Что такое?

— Задержали вот какого-то.

В это время и тот, что в черной кожанке, поднял голову, взглянул на вошедших, у Егора глаза полезли на лоб от удивления.

— Степа-ан! — медленно выговорил он голосом, в котором смешались изумление и радость. В незнакомце он признал своего бывшего сослуживца Швалова.

— Ушаков! — воскликнул тот, стремительно вскакивая на ноги, и, опрокинув табуретку, на которой сидел, выскочил из-за стола, принялся обнимать Егора.

— Вот здорово-то, а?

[1] К а р н а ч — караульный начальник.

— Семь лет не виделись!

— Я смотрю, што такое, обличье-то вроде...

— А я как глянул,— мать честная, Егор!

Наконец, когда порыв первой радости прошел, Швалов заговорил спокойнее:

— Я вас, аргунцев, с самого утра ждал сегодня. А как прибыли вы, меня дежурным по гарнизону назначили, отлучиться нельзя было из штаба, дело там было такое. Потом уж, как выдалась свободная минута, бегом к своим аргунцам. Разыскал четвертую сотню, Федота повидал Погодаева, он уж, оказывается, сотней командует. Молокова встретил, Подкорытова, Макара Якимова, а ты куда-то провалился.

— У хозяина моего побывал.

— Сказывал мне Молоков. Я там-то был, спрашивал, говорят, нету, был, да весь вышел. Отложил поиски на завтра, а он вот он сам, как на камушке родился. Куда это тебя понесло на ночь-то глядя?

И тут Егор коротко поведал другу, куда и зачем поехал он в столь позднее время.

Получив пропуск и уже держась за дверную скобу, Егор задержался на минуту:

— Чуть ведь не забыл, живешь-то как? Дома был небось, не женился?

— До женитьбы тут—вон какая заваруха идет! Дома-то побыл, как освободился из тюрьмы. И на пашне поработал, на покосе, месяца три пролетело как один день. А потом партийная работа, сначала в станице, затем в области, а тут война эта, так и затянуло, как собаку в колесо.

— А Чугуевский живой?

— Живой. В Чите сейчас в областном комитете партии заворачивает.

Время подвигалось к полуночи, когда Егор, миновав заставу, выбрался наконец в поле и прямым путем, через пади и сопки, помчался на Шакалову заимку. Ночь, темень, но Егору хорошо знакомы эти места, и хоть прошло с той поры много лет, но и теперь он помнит здесь каждый кустик, овраг, отпадок, а потому-то уверенно гонит вороного полной рысью.

Вот и речка, мельница Лукича, шумит водяное колесо, ровно гудит мельничный жернов, и еле слышно, как по нему колотится, постукивает деревянный конек. На лугу, вблизи мельницы, чернеет телега, а за нею, обрамленное кустами черемухи, угадывается потемневшее плесо пруда, яркими блестками дрожит в нем, переливается отражение звездного неба. В мельнице

горит огонек, светится в дверную щель. Знать, не спит помольщик, небось мешок за мешком поднимает наверх, засыпает в ковш пшеницу, а из ларя деревянным совком выгребает муку, набивает ею мешки и сыромятные тулуны [1].

От полой воды речка вспухла, вышла из берегов, и пришлось Егору ехать на брод, версты на полторы ниже мельницы. Здесь речка разлилась еще шире, затопив прибрежные тальники. Даже в темноте видно, как стремительно, образуя воронки, мчатся бурные, мутные потоки, неся на себе щепки, клочья соломы и хлопья пены.

У Егора засосало под ложечкой: страшновато; в другое время он, пожалуй, и не рискнул бы переправиться через такую бурную речку, да еще в ночную пору, но теперь, когда там впереди Настя...

— Э-э-э, да что это я, господи благослови! — Он снял фуражку, истово перекрестившись на восток, взмахнул нагайкой.— А ну, Воронко, выручай!

Понуждаемый нагайкой конь, оглядываясь на седока, неохотно пошел в холоднуто воду. Егор на ходу перекинул стремена, встал в седле на ноги. А речка все глубже, глубже, и вот Воронко уже всплыл, поворачиваясь головой наискось, против течения. Вурной стремниной его подхватило, поволокло книзу, мимо промелькнул разлапистый куст черемухи, царапнул Егора по лицу, и в ту же минуту Воронко достал ногами землю, громко фыркая, с шумом раздвигая грудью воду, выскочил на берег. Привычным движением Егор опустил стремена, сел в седло и только теперь ощутил, как страх холодом обливает спину, грудь и словно тисками сжимает сердце, но опасность уже осталась позади...

Долго не могла уснуть в эту ночь Настя. Уложив сына, она рано легла спать, но сон не шел, с открытыми глазами лежала, закинув руки за голову, и все думала, думала... Вся жизнь пронеслась в этот вечер в ее воображении. Судьба, словно прижимистый, расчетливый хозяин, не щадила Настю и за отпущенные ей скупые радости требовала платить большими горестями. Вот и за те счастливые, радостные месяцы, проведенные вместе с Егором, заплатила Настя долгими годами страданий, мучительной тоски, и кто знает, может, самое-то горшее ждет ее впереди. Жарко Насте, она сбросила с себя одеяло, села на постели, но и сидеть нет мочи, в ушах звенит, а горькие мысли лезут и лезут в голову...

[1] Т у л у н — кожаный мешок.

Революцию Настя восприняла как радостное событие. В последнее время она много слышала о новой, народной власти, при которой все пойдет по-иному, а законы будут самые справедливые на земле. От этих разговоров в сознании Насти накрепко укоренилось понятие, что будет теперь и такой закон, по которому она разведется с Семеном и повенчается с Егором. Только бы скорее вернулся Егор, все ли благополучно с ним? От всех казаков идут родным письма, многие уже вернулись с фронта, живут дома, а от него ни слуху ни духу.

...Насте показалось, будто она начала засыпать и что-то уже видеть во сне, как на дворе залаяла собака и кто-то осторожно постучал в окно ее избушки. Стук повторился, Настя проснулась.

— Кто это?

Знакомый голос за окном:

— Настюша!

У Насти захолонуло на сердце: неужели... не почудилось ли?

— Я, Настюша, открывай!

Настя, как была в одной сорочке, метнулась к двери, рванула крючок. Егор с винтовкой в руке, пригибаясь, шагнул в избу, брякнул о порог шашкой...

— Гоша-а!..

— Ну чего же плакать-то,— радостно и растерянно бормотал Егор, крепко прижимая к себе Настю, стараясь ее успокоить.— Я, слава богу, живой и здоровый и снова с тобой. Добудь-ка лучше огня, а я разденусь, сапоги сброшу, промочил ноги-то... Ну, как Егорушка?

— Спит... набегался за день-то...

Настя зажгла лампу, накинула на себя юбку, принялась ставить самовар. Она поминутно забывала о том, что делала, глядела на Егора заплаканными, сияющими глазами:

— Господи, да неужто я не сплю?..

А Егор, сняв сапоги, кинул под порог мокрые портянки и, неслышно ступая босыми ногами, подошел к спящему сыну. Мальчик спал на двух широких, вместе сдвинутых скамьях, укрытый стеганым ватным одеялом. Раскинув руки, он чему-то улыбался во сне, сладко посапывал носом.

— Вырос-то какой без меня.— Егор наклонился и неумело, неловко поцеловал пухлую ручонку сына, оглянулся на Настю. Потом они долго сидели обнявшись. Коптила лампа, на улице поднялся ветер, стучался в окошки, в стены, возле печки сердито клокотал самовар, но они ничего этого не замечали.

Чаевали уже чуть ли не под самое утро. Услыхав, что Егор приехал не насовсем, что ему снова надо отправляться на войну, да еще на какую-то неслыханную: свои на своих идут,— Настя, все это время не сводившая с Егора счастливых глаз, потемнела, зачужала лицом.

— Воевать? Опять? — переспросила она, отодвигаясь от Егора.— До каких же это пор?

— Настюша,— начал было Егор.

— Нет уж, хватит! — крикнула она, не слушая его.— Не пущу больше! Пусть другие повоюют с твое, да у каких жен, детей нету!..

— Да это же наша власть-то теперь, Настюша, советская, народная,— Егор вкладывал в слова и в голос всю свою душу, всю горячую веру в новую жизнь,— вить мы только при ней и свет-то увидим, заживем по-человечески. Нам с тобой за нее и руками и ногами ухватиться надо, все ради нее положить... кто же за нее воевать будет, как не мы? Вить не Шакалы же, им-то нужна советская власть, как черту монастырь.

— Извелася я у этих Шакалов,— со стоном проговорила Настя,— места в душе нет живого... Лучше в петлю, чем так дольше жить! — и, припав головой к краю стола, зарыдала.

Егор и сам чуть не заплакал. Долго сидел молча, пришибленный, подавленный ее отчаянием. Наконец, когда Настя поутихла немного, снова заговорил.

— Не оставлю тебя здесь больше,— сказал он,— ишо как сюда ехал, все досконально обдумал: поробила на Саввичей — хватит! Моя ты, и сын мой,— значит, при мне вы и должны находиться. Увезу тебя в Верхние Ключи, в избушку нашу старую, к маме. Я ведь, Настюша, теперь уже не тот Егорка, которого атаман запродал в работники, не-ет, уж с большими за одним столом обедаю... Будете все вместе жить, меня дожидать, теперь-то уж недолго, какой-нибудь месяц, от силы — два. Прогоним Семенова — и по домам, заншвем с тобой по-настоящему... А ежели отбирать тебя заявятся,— Егор скрипнул зубами и так сжал кулак, что пальцы побелели в суставах,— я их так шугану, что до дому не очухаются и дорогу к нам позабудут.

Настя и плакать перестала. Она верила и не верила своим ушам. Млея от счастливых надежд, волнуясь, заговорила сбивчиво:

— Гоша, да неужто правда... господи... неужто выйду я из этой неволи турецкой! А избушка ваша гнилая... да она мне дороже хором золотых. Уж тут-то, на прорву эту робила, а дома-то., на себя... боже ты мой! Все буду сама делать, Платоновна

мне заместо матери дорогой будет, слова ей никогда поперек не скажу...

— С мамой ты уживешься, она у нас хорошая...

— Ох, Егорушка, даже дух захватывает, неужто все это сбудется?

— Сбудется, Настюша, ведь недаром же революцию-то учинили.

Заснул Егор, когда в окнах заголубел рассвет. Настя укрыла его овчинным одеялом, а сама, облокотившись на подушку, долго глядела на него, перебирала тихонько свалявшийся чуб любимого, беззвучно шептала:

— Гоша, милый ты мой Гоша! Да неужто господь-то на нас оглянулся, счастье нам посылает, неужто кончилась моя каторга? Ох, если все это сбудется, как мы задумали, в первое же воскресенье пойду в церкву, помолюсь заступнику нашему Егорию храброму и свечу ему поставлю рублевую. Спи, мой касатик, спи, а мне уж и вставать пора.

ГЛАВА X

Проснулся Егор поздно. На чисто подметенном полу лежали солнечные полосы, перекрещенные тенями от рам. На столе весело пофыркивал самовар. Настя, почти не сомкнувшая в эту ночь глаз, хлопотала около печки со сковородником в руках. Вкусно пахло гречневыми колобами и топленым маслом.

— До чего же дух-то приятный,— улыбаясь, проговорил Егор, потянув воздух носом.

Настя в хлопотах и не заметила, что он проснулся. Она ужо успела и в избе прибрать, и колобов напечь, и принарядиться по-праздничному: на ней широкая бордовая юбка, розовая кофта с белым кружевным воротничком плотно облегала грудь и полные покатые плечи, белый подсиненный платок концами подвязан на затылке. От пышущей жаром печки лицо Насти разрумянилось, а глаза так и сияли, искрились радостью.

«Хороша у меня будет женушка,— думал Егор, лаская Настю взглядом.— И станом, и обличьем, и ухваткой — всем взяла, казачка настоящая. Ох и народит она мне казачат, однако!»

Он сел на постели, хрустнув суставами, потянулся:

— С праздником, Настенька!

Не выпуская из рук сковородника, Настя оглянулась на Егора, улыбаясь, ответила заученной, много раз слышанной фразой:

— Вас равным образом. Одевайся живее, колобами накормлю.

— Вот это дело, давно не ел колобов. А где Егорушка?

— Он уж позавтракал, убежал на сопку, по ургуй *. Ермоха заходил, да не стали будить тебя, пожалели.

— Ермоха! Сейчас к нему пойду.

Егор быстро оделся, умылся и, накинув на плечи шинель, вышел.

Вернулся он вместе с Ермохой. Старик мало чем изменился за все эти годы, лишь борода его стала уже не черная, а дымчато-серого цвета, желтизной отливали побелевшие волосы на голове, и от этого загорелое на солнце, опаленное ветрами и морозами лицо Ермохи казалось чернее обычного. Но глаза его из-под седых кустистых бровей смотрели так же добродушно, приветливо и с таким же хитроватым прищуром.

Раскрасневшийся, взволнованный Егор, едва перешагнув порог, поведал Насте:

— Ох и встреча была у нас, Настюшка, посмотрела бы ты! Как сгребет меня дядя Ермоха в охапку...

Ермоха, посмеиваясь, теребил бороду:

— Чуда-а-ак, право слово, чудак, вон сколько годов не виделись, а вить ты мне заместо родного сына...

— Спасибо, дядя Ермоха, спасибо. Садись-ка вот к столу, да за колоба сейчас примемся.

— Это можно.

За чаем, когда разговор перекинулся на революцию, Ермоха, наливая себе четвертый стакан, спросил:

— Что-то партиев этих всяких развелось шибко уж много. Ты-то какой придерживаешься?

— Я за большевиков-коммунистов, за советскую власть, значит.

— Что-то ты, брат, путаешь, и за большевиков и за коммунистов! Ты уж держись какой-нибудь одной стороны, а то за двумя-то зайцами погонишься, и одного не поймаешь.

— Дядя Ермоха, ведь большевики-то и есть коммунисты, она так и называется — Коммунистическая партия большевиков.

— Ну, брат, ты, видать, понимаешь в партиях, как цыган в библии.— Ермоха сощурился в осуждающей улыбке, покачал кудлатой головой.— Я хотя и не бывал в больших городах и человек темный, и то лучше тебя разбираюсь...

[1] У р г у й – подснежники.

— Дядя Ермоха...

— Подожди, не перебивай меня, дай мне сказать. Большаки — это те, за которых Иван Рудаков ратует, эти ничего-о, за простой народ стоят, за рабочий люд, словом, для нас, для беднейшего классу, эта партия подходит. А коммунисты — отведи их бог мороком. Вот, к примеру, в Заиграеве они появились. Одного-то из них, Елизарку Жарких, я очень даже хорошо знаю — пьяница, драчун не приведи господь какой; вечно по приискам таскался, спиртом торговал, возил его из-за границы. Так што ты за них не заступайся и не спорь со мною, ты ишо, я вижу, мелко плаваешь в этих делах.

Егор только посмеивался, в споры со стариком не вступал, заговорил о другом:

— Настасью от вас увезу вот.

— Та-ак...— Ермоха вдруг помрачнел, нахмурился и, налив себе пятый стакан, молча принялся за чай. Настя принесла еще колобов, добавила сметаны и, догадываясь по сердитому виду Ермохи, что старик чем-то недоволен, спросила:

— Ты, дядя Ермоха, чегой-то вроде осерчал?

— А чего мне радоваться-ю?

— Как это чего радоваться? — воскликнул удивленный Егор.— Ведь мы же пожениться хотим с Настасьей-то, теперь уж нам никто не воспрепятствует...

Отодвинув от себя стакан и облокотившись на стол, Ермоха слушал не перебивая, глядел мимо Егора в окно на бурую, заветошившую елань с черными на ней заплатами пашен. Казалось, он не слушал Егора, думал о чем-то своем, может быть, о том, что подошла весна и вот уже скоро на одной из этих пашен надо делать зачин и в первый же день посеять-заборонить полдесятины. Но это только казалось, в самом же деле Ермоха слушал, и когда Егор закончил, старик повернулся к нему, хитровато прищурившись, спросил:

— А война закончилась?

— Война-то? — Не ожидавший такого вопроса, Егор смутился, опешил на миг.— Нет, не кончилась ишо...

— Вот то-то и оно. Надо сначала с войной развязаться, а потом уж о женитьбе-то думать. Рассуждаете вы, как дети малые!

— Чего ты раскаркался-то, дядя Ермоха,— вступила в разговор Настя,— да в случае беды какой уедем мы отсюда куда-нибудь подальше, мир-то велик. А мне только бы с Егором, не побоюсь никакой напасти. Везде люди живут, не пропадем и мы, лишь бы вместе.

— Знаешь что, Егор,— не слушая Настю, продолжал Ермоха,— вот когда одолеете врагов-то да власть-то эта укрепится, возвернешься домой живой-здоровый, вот тогда и забирай Настасью с сыном и живите в свое удовольствие. Тогда и я к вам переберусь, мне вить тоже не век на богачей чертомелить.

Долго бы продолжался этот спор, но тут в избе появился маленький Егорка с целой охапкой ургуя в руках. Ермоха, нахлобучив шапку, ушел, а Егор, широко расставив ноги и упираясь в них руками, смотрел на сына, блестя глазами.

Мальчик, косясь на незнакомца, бочком-бочком к матери, ухватился за ее юбку, прижался. Придерживая ручонкой в цыпках цветы, он настороженно, с опаской поглядывал на Егора.

— Ну чего *же* ты забоялся-то, иди, сынок, иди, поздоровайся...— Настя чуть не сказала «с тятей», но, вовремя спохватившись и густо покраснев, поправилась: — с дядей-кой.

Делая вид, что он не заметил смущения Насти, Егор подумал про себя: «Ничего-о, пусть зовет дядей пока что, а потом приобыкнет и отцом звать будет». И, широко улыбаясь, протягивал обе руки навстречу сыну, звал его к себе:

— Иди, Егорушка, ну, смелее.

Настя легонько подтолкнула мальчика в спину, и он все так *же* робко приблизился к Егору, протянул ему левую руку и, как-то совсем неожиданно, заговорил:

— А я лисицу видел.

— Лиси-и-цу?

— Ага.— Мальчик осмелел, зачастил, сверкая глазенками: — Большая, хвост во-от такой, а я ка-ак размахнулся да камнем в нее, еще бы маленько — и прямо в голову ей.

— Ай-я-яй, вот молодец.— Егор приподнял сына за локти, усадил к себе на колени, заглядывая в лицо ему, гладил мягкие как лен волосенки, слушал детскую болтовню...

День клонился к вечеру, низко над сопками опустилось солнце, когда Ермоха с березовым веником под мышкой отправился в баню. Вскоре туда же в сапогах на босу ногу проследовал Егор.

Раздевшись в предбаннике, Егор вошел в баню, где Ермоха уже помыл себе голову, надел на нее старую баранью шапку, а на руки сыромятные голички. Это означало, что старик сейчас полезет на полок париться. В бане жарко, в каменке алой грудой дотлевают крупные лиственничные угли, пахнет дымом и

еще чем-то пряным, напоминающим аромат залежного зеленого сена. Егор потянул носом горячий воздух, спросил:

— Это чем же так браво пахнет, дядя Ермоха? Прямо-таки как на покосе.

— А вон видишь? — Ермоха кивком головы показал на три небольших бочонка, что стояли возле большой бочки с кипятком.

— Это я траву тут всякую запариваю. Оно и дух от нее приятственный, и для здоровья шибко полезно.

Ермоха положил веник на каменку и плеснул на него два ковша кипятку из маленького бочонка. На каменке заклокотало, защелкало под потолок густым клубом — ударил пар, и в бане стало еще жарче, сильнее запахло распаренным березовым листом, мятой и бадьяном.

Егор знал, что Ермоха любит париться, удивляя своей крепостью к жару даже самых заядлых парильщиков Антоновки. Вот и теперь он такого нагнал пару, что Егору и на полу стало нестерпимо жарко, а Ермоха, то охая, то крякая от удовольствия, хлестал и хлестал себя веником по красной костлявой спине, по яшлистым, крепким рукам и то и дело припрашивал:

— Подкинь-ка ишо ковшик... вон из того бочонка, с краю-то... там у меня... жабрей... запаренный, от ломоты пользительно.

А через минуту-другую снова просит:

— Ишо маленько.

Егор, уже не в силах сидеть, облил себя холодной водой, растянулся на полу головой к порогу и широко раскрытым ртом, как вынутый из воды карась, жадно ловил струйку свежего воздуха, что тянулась из дверной щели. Ермоха *же* опять хрипит с полка:

— Мало, язви ее, кинь-ка там ишо ковша два, не берет чегой-то.

— Ты, дядя Ермоха, чисто сдурел. Ох, на полу никакого терпежу нету, а ты...

— Давай, живее!

Не отрываясь от пола, Егор налил в шайку два ковша воды, изловчившись, ахнул ее на каменку и, головой вышибив дверь, кубарем вылетел в предбанник, растянулся на соломе. В глазах у Егора потемнело, тело горело как от крапивы, звенело в ушах. Немного отдышавшись, он приподнял голову и только теперь увидел в предбаннике работника Никиту, с ним он повидался еще до того, как пойти в баню. Никита сидел па скамье не

разуваясь, курил, зажимая самокрутку в пригоршню, чтобы не заронить искры в солому. Посмеиваясь в рыжую бороду, он взглянул на Егора, спросил:

— Напарился?

— С Ермохой напаришься, как же! Ишо маленько, и сгорел бы начисто, а ему хоть бы што.

— Беда с ним. И что у него за шкура, толщиной-то, однако, в палец.

— Не меньше.

— Эдакую шкуру на сыромять переделать бы да подошвов из нее накроить к унтам, износу бы им не было.

В баню Егор с Никитой зашли лишь после того, как Ермоха, вдоволь напарившись, слез с полка и, окатившись холодной водой, пошел в предбанник одеваться.

ГЛАВА XI

На второй день Егор с самого утра пошел помогать Ермохе тесать жерди, строгать бруски для бороны. Больше всего хотелось Егору подержаться за чепыги, идя бороздой за плугом. Руки просили большой, настоящей работы. Об этом он и заговорил с Ермохой, когда тот сел на бревно отдохнуть, закурить трубочку.

— Дядя Ермоха,— Егор подошел к старику,— перелог-то за колком пахать будете?

— Будем,— пыхнув дымом, ответил Ермоха.

— Давайте завтра начнем. Заломим быков пары четыре да еще коня к ним, Егорку пристяжником, Никиту погонщиком, а за плугом...

— Нельзя! — коротко отрезал старик.

— Дядя Ермоха...

— И не проси понапрасну. Воскресенье завтра, к тому же в этом году и благовещенье в воскресенье было, и начинать сеять в этот день никак нельзя, грех великий.

— Тогда послезавтра.

— Понедельник тоже день не начинный. Вот во вторник, бог велит, утречком баню истопим, помолимся и, благословись, за дело!

— И снова париться будешь? — съязвил Егор.

— А чего же? Быть в Рыме да не повидать папу!

— И вечно у тебя эти приметы всякие,— недовольно проворчал Егор, но спорить не стал с Ермохой, понимая, что это бесполезно.

После обеда Егор сделал сыну лук из талового прута, стрелы, отправился с ним па сопку. Там, пока малыш собирал ургуй и гонялся с луком за воробьями, Егор прилег на гребне сопки, полной грудью вдыхал пряный аромат чабреца.

«Вот оно и счастье,— думал он, любуясь Егоркой.— Жить вот так по-мирному, с Настей, с сыном, работать в полную силушку, чего еще надо? А тут снова война, Семенов какой-то появился, ни дна бы ему ни покрышки... Семенов... неужто это тот самый есаул рыжеусый, которого я тогда отвел от смерти? Все может быть, что и он...»

Как ни хотелось Егору побыть еще хоть бы денек с Настей, на следующее утро пришлось ему собираться в обратный путь, в сотню. Вместе с ним наладился в Антоновку и Ермоха.

Снова Егор в седле, с винтовкой за плечами. Уже простившись, Настя еще долго шла с ним рядом, держась за стремя.

— Жди, Настасья! — крикнул Егор, когда они с Ермохой переехали речку.— Отпрошусь обязательно. Погодаев не отпустит — к Метелице пойду... Прощевай покедова-а!

Помахав Насте рукой, Егор с места взял крутой рысью, за ним, поднимаясь на стременах бурятского седла, еле поспевал Ермоха.

К Антоновке подъехали, когда из-за далеких, затянутых сиреневым маревом сопок на горизонте, огромное, красное, выплыло солнце, багрянцем заполыхало на окнах. Над рано проснувшимся селом, подпиравшим голубой купол небес сизыми столбами дыма, стоял немолчный разноголосый гул: пели петухи, лаяли собаки, мычали коровы, скрипели ворота, телеги, слышался топот ног и рокот людского говора, а на окраине у речки уже стучали молотками кузнецы.

Красногвардейская застава около поскотины пропустила Егора со стариком беспрепятственно. По улице оба ехали шагом. Всюду, куда бы ни глянул Егор – в оградах, на улицах и переулках,— видел он множество людей: красногвардейцев в рабочей одежде, казаков, матросов в черных бушлатах, китайцев в синих куртках, перепоясанных патронташами; а навстречу по улице шла рота пехотинцев, в которых и по форме одежды и по их нерусским лицам Егор угадал мадьяр, о них приходилось ему слышать не раз. Четко и гулко топая коваными каблуками солдатских ботинок, мадьяры шагали по восьми в ряд, над головами их блестели штыки. Роту вел высокий, стройный командир с алым бантом на груди и с забинтованной левой рукой, подвязанной к шее.

С уважением глядя на красногвардейцев-мадьяр, Егор, а следом за ним и Ермоха, свернув в сторону, придержал коня.

— Это кто же такие,— полюбопытствовал Ермоха,— кажись, не русские?

— Мадьяры это, дядя Ермоха, я их ишо на фронте видел, боевой народ. И видишь, как оно получается: воевали мы с ними, убивали один другого ни за што, а теперь вместе за революцию боремся. Вот оно дело-то какое.

— Што и творится, не разбери-поймешь. И чего им припало тут встревать в нашу драку, то-то глупый народ.

— Э-э, не то ты говоришь, дядя Ермоха, это же рабочий люд, вот им и хочется, чтобы у нас советская власть укоренилась, а потом, как у себя зачнут они такую же вот революцию устраивать, мы им подмогнем, ясное дело.

— Не знаю, я в этих делах разбираюсь, как старовер в махорке.

— Вот в том-то и дело, что темнота тебя одолевает; заладил вчера то да потому, что не одолеть нам белых, а теперь небось и сам видишь, какая у нас сила. А у Семенова что? Японцы, так они по принужденшо идут, а из казаков — так только такие, как Шакал. А за революцию-то весь трудовой народ по своей волюшке поднялся, вон красногвардейцы: какого ни хвати, тот и вольножелающий. Уж на што казаки наши верными слугами у царя считались, а и те за революцию теперь. Даже вон китайцы, мадьяры, венгерцы — все за революцию. Да мы этого Семенова в порошок сотрем.

— Эх, Егор, Егор, потолковал бы я с тобой, да уж сворачивать надо мне к дому, вон в проулок-то. Одно скажу тебе напоследок: не говори гоп, пока не перескочишь. Ну, я поехал. Ты как, к вечеру-то на заимку думаешь прибыть?

— Обязательно.

— А ежели не отпустят?

— Ну, в случае чего прибегу к Шакалу, скажу тебе.

— Ладно.

В сотню Егор прибыл еще до начала утренней уборки. Коновязи четвертой и шестой сотен находились на площадке за станционными складами. Покрикивая на коней, в ожидании водопоя нетерпеливо грызущих деревянные — из жердей — коновязи, вдоль рядов их прохаживались дневальные. В четвертой сотне сегодня дневалил дружок Егора Молоков.

Расседлав коня, Егор поставил его на место и, вытирая потную спину вороного пучком соломы, спросил друга:

— Как тут дела-то?

— Дела идут, контора пишет,— сощурившись в усмешке, Молоков достал из кармана кисет,— махорки вот вчера давали, по две осьмушки на рыло, я за тебя получил, лежит у меня в шинели.

— Ну что ж, давай перекурим, раз такое дело. Теперь табаком-то бедствовать не будем, в сумах у меня папуша зеленухи фунта на три, Ермоха удружил.

Закурили.

— Так нету, говоришь, новостей-то у вас? — спросил Егор.

— Есть новье. Красной гвардии понавезли полно: из Омска, из Иркутска, моряки из Владивостока, а вчера целый батальон мадьяр прибыл.

— Видел я их сегодня.

— Полку нашему выступать приказано, не сегодня, так завтра наверняка.

— Неужели?

— Точно. Мне это писарь наш Ганька Вишняков сказывал по секрету, так что ты не болтай об этом.

Егор нахмурился, почесал за ухом.

— Вот черт, я вить отпроситься хотел у Федота дня на три.

— Не отпустит. Да, чуть ведь ие забыл,— ить вот она, память-то, чертовская,— тут без тебя сослуживец наш бывший, Степан Швалов, приходил в сотню.

— Виделся я с ним.

— Какой из него орел получился, а? Мы тут прямо-таки диву дались, даже и на казака почти что не похож стал! Комиссар, истованный комиссар! И тужурка на нем кожаная, и ливольверт в деревянной колодке, и при часах. А как зачал он рассказывать про революцию, так мы и рты поразевали, слушаем, а он чешет и чешет, откуда што и берется. Вот оно, брат, как тюрьма-то образовала человека.

После уборки Егор отправился к командиру сотни Погодаеву, все еще надеясь отпроситься у него поехать к Насте. Погодаева он нашел около штабного вагона.

— Дезертир явился! — напустился тот в ответ на приветствие Егора.

— Но-но, полегче на поворотах-то, побыл дома лишний день-два, так уж и дезертир.

— Ты вот что, это я тебе наперво прощаю, а в следующий раз такое дело трибуналом запахнет! Запомни это.

— Не запахнет, не бойся.— Заколебавшись, Егор смутился, посмотрел на свои запыленные, грязные сапоги, отшиб носком обломок кирпича и лишь после этого снова глянул на Федота.—

Ты уж не серчай, Федот Абакумыч,— заговорил он просительным голосом,— а лучше отпусти меня ишо денька на три, по старой дружбе.

— Да ты в уме?! Здорово, паря, тут выступления ждем с часу на час, а ему отпуск подавай, самый раз.

— Ты разберись сначала...

— Нечего мне тут разбираться, сказано — нельзя, значить, нельзя, и нечего тут тары-бары разводить.

Федот уже повернулся, чтобы идти, но, вспомнив о чем-то, остановился, оглянулся на Егора:

— А вообще-то, ежели захочешь, можешь поехать домой, даже навовсе.

Егор опешил:

— Как это так, навовсе?

— Очень даже просто. Пополнение пришло, а старые года увольнять будут, приказ такой заготовили в штабе, вот-вот объявят.

— Увольня-ять, наш год подходит?

— Подходит.

— Вот ка-ак, значить, увольняться будем?

— Будем, да не все; такие вот, какие спят и видят домой поскорее, к бабе, эти, конешно, уволятся. Им наплевать на все: на революцию, на свободу, только бы до дому поскорее дсбраться, а там хоть трава не расти. Ну а мы-то уж "власть нашу советскую не кинем в беде, до конца стоять за нее будем.

— Та-ак,— голос Егора дрогнул, перешел на низкие, с придыханием нотки,— это кто же такие — вы?

— Большевики да те, которые всей душой за революцию, понятно тебе?

— А я кто? Контра, стало быть! А ну-ка вякни ишо такое... так я тебя... я не посмотрю, што ты командир...

Федот, глядя на потемневшее вдруг лицо друга, попятился от него и, уперевшись спиной в стенку вагона, рассмеялся:

— Ты што, с цепи сорвался? Я разве назвал тебя контрой? Ну и кипяток ты, Егор, слова не скажи, на тебя воды плеснуть сейчас, зашипит, ей-богу.

— А ты не обзывайся и нос не задирай перед своим братом казаком. Подумаешь, он не он, командир, большевик!

— Хватит тебе языком трепать! Ступай в сотню, скоро па митинг.

Обозленный, расстроенный неприятным разговором возвращался Егор к себе в теплушку, не зная, как быть теперь: или увольняться, уехать к Насте, или же оставаться в полку

до полной победы над врагом. Уже вблизи своего вагона внезапно осенила мысль: «А што мне Федот! Уволюсь, увезу Настю с сыном к матери, устрою их — и обратно, запишусь вольножелающим, и всего делов!»

И так-то это показалось Егору легко и просто, что он даже удивился, как это сразу-то не пришло ему в голову такое.

* * *

Накануне в полк пришло пополнение, сто двадцать красногвардейцев Читы-первой и Черновских копей. Все они прибыли на конях, многие даже при шашках. Это был единственный кавалерийский эскадрон из рабочих, его целиком влили в 1-й Аргунский полк и наименовали седьмой сотней, чего никогда не бывало у казаков раньше [1]. Командиром этой сотни красногвардейцы избрали Бориса Кларка.

А к вечеру того же дня 1-й Аргунский пополнился новыми бойцами: сто тридцать два казака из станицы Размахнинской привел под своей командой молодой черноглазый учитель Петр Кузьмич Номоконов. Казаки-размахнинцы подобрались один к одному: боевые, знающие службу, все в казачьем обмундировании, только что без погон; седла у всех форменные, а в походных вьюках уложено, увязано, приторочено все, что полагается по арматурным спискам, вплоть до погона к пике, защитного чехла на шашку и запасного ската подков с двадцатью четырьмя гвоздями.

Не зря побывал в Размахнинской станице Фрол Емельянович Балябин, он рассказал станичникам о положении в области, призвал их встать под знамена революции, и на призыв его размахнинцы ответили делом: дружно поднялись на защиту советской власти.

Командующий фронтом Сергей Лазо от души радовался, слушая рассказ Балябина о его поездке в Размахнинскую. Разговор происходил в штабном вагоне. Лазо уже снял с головы повязку, а прямые, черные волосы, как всегда, зачесал кверху. Сухощавое, продолговатое лицо его обрамлял чуть заметный пушок бородки, отчего командующий фронтом казался старше своих двадцати четырех лет.

Природа наделила Сергея Георгиевича умом и кипучей, неистощимой энергией. Ни месяцы, проведенные им на фронте

[1] Казачьи полки формировались из шести сотен по сто двадцать сабель в каждой.

в беспрерывных боях с белыми, ни тяжкое отступление, где его красногвардейцы бились насмерть за каждый клочок оставленной ими земли, не сломили боевого духа и энергии неутомимого Лазо. Он умел находить выход из трудного положения и не побоялся принять на себя ответственность, когда приказал взорвать ононский мост. Это было единственно правильное решение, благодаря которому Лазо удалось оторваться от белых и с остатками измотанной в боях Красной гвардии отступить до Антоновки. Здесь он решил задержаться, подождать подкреплений, готовить врагу ответный удар. Он был уверен, что трудовой народ откликнется на его воззвания о помощи, и надежды его вскоре же оправдались. Первую большую радость доставил Лазо прибывший к нему революционный казачий полк. Следом за аргунцами прибыл батальон бывших военнопленных мадьяр, а с Дальнего Востока отряд моряков привел бывший горняк Бородавкин. Пополнение все прибывало, подошли отряды горняков с рудников и приисков Забайкалья, с запада спешили красногвардейцы Иркутска, Красноярска и Омска.

Боевая армейская жизнь ключом заклокотала в Антоновке. Прибывшие отряды красногвардейцев сводились в роты и батальоны, где бывших горняков, грузчиков и железнодорожников спешно обучали военному делу: стрельбе и штыковому бою. Вокруг села рыли окопы и траншеи, устанавливали в них пулеметы. В тупике около станции на железнодорожные платформы грузили пушки и снаряды, а в штабе разрабатывали планы наступательных действий.

Приказом по фронту было объявлено, что первым помощником командующего назначался Фрол Балябин, комиссаром фронта Георгий Богомягков, Степан Киргизов — помощником начальника штаба Рускиса.

В минувшую ночь Лазо вместе с Рускисом и Киргизовым чуть не до утра просидели в штабе, подготовили окончательный вариант плана. Сегодня с этим планом надо ознакомить командиров и комиссаров частей, для этого Лазо вызвал их на военный совет. Времени до начала совещания оставалось еще более часа, и Лазо попросил Балябина рассказать о своей поездке. Подперев левой рукой щеку, он внимательно слушал своего помощника, а проницательные, цвета спелой черемухи глаза его сощурились в усмешке, когда Фрол заговорил о чудачестве размахнинцев.

— До чего додумались, черти: перед отправкой на фронт молебен отслужить в церкви! — басил Фрол, и широченные,

покатые плечи его содрогались от смеха, а плетенное из камыша кресло скрипело под ним от шестипудовой тяжести.— И до чего же сильны у казаков их привычки! Даже в такой революционной станице не могут отстать от дедовских обычаев. Ведь все прошло хорошо: на собраниях, на митингах высказываются за революцию, за большевиков; конечно, те, что побогаче, шипят, смотрят косо, а большинство-то за советскую власть горой. Мобилизацию провели успешно, многие добровольно пошли в Красную гвардию, на казаков любо-дорого смотреть, настроение боевое, бодрое — и вдруг заявляется ко мне командир их выборный Номоконов и просит разрешение на молебен! У меня глаза полезли на лоб. «Вы, говорю, что это, товарищи, с ума сошли? Ведь казаки-то не в царскую армию идут, а в революционную, какие же тут могут быть молебны?» А он только руками разводит: «Что я с ними буду делать, кабы один-два, а то все в один голос требуют: давай молебен — и только».— «Ну хорошо,— говорю ему,— а кто же вам молебен служить будет? Ведь поп-то небось не дурак, чтобы за победу Красной гвардии молиться». А он мне в ответ: «Насчет этого не беспокойся, Фрол Емельянович, поп у нас не такой, как другие, он супротив народа не пойдет, мы за революцию, и он с нами».— «Ну, говорю, раз так — дело ваше, я вам ни разрешать молебна, ни запрещать его не имею права. Но ведь нелепо же получается, испрашивать божьего благословения на защиту революции!»

— И что же, отслужили молебен?

— Отслужили. Я и на станцию поехал под колокольный звон. Еду и вижу: валит народ в церковь, и казаки наши туда же строем, повзводно.

— Чудеса,— Лазо, улыбаясь, пощипал бородку,— невероятные чудеса. Ну что ж, приходится мириться с этим, а вообще-то поездка твоя получилась удачной, и, знаешь, у меня возникла мысль: продолжить вот такие поездки, и не в один какой-то район, а по всем станицам и волостям нашей области. Это будет лучше всех наших воззваний, приказов о мобилизации, которые мы сейчас рассылаем. Как твое мнение?

— Вполне согласен с тобой, и надо спешить с этим. Старшие года фронтовиков надо увольнять; люди прибыли с фронта в родную область, по семь, по восемь лет дома не были, надо заменить их свежими силами.

— Да, я уже думал об этом и даже приказ заготовил, надо согласовать, какие возраста казаков увольнять, и отпустить их с миром.

— Придется уволить да поговорить с казаками, чтобы не случилось, как в Первом Читинском. Там почти полностью разошлись казаки и оружие увезли с собой, попробуй теперь собери его! А в Первом Нерчинском казаки мало того что разошлись по домам, еще и дебош устроили: винный склад разбили в городе Нерчинске. Хорошо еще, что там был Дмитрий Шилов, он сумел и рабочих организовать, и винный склад спасти, и большинство казаков разоружить.

— Знаю, Шилов мне рассказывал об этом. Давай-ка вот наметим, как нам лучше и скорее провести мобилизацию.

Лазо развернул карту Забайкалья, разложил ее на столе, и оба, склонившись над нею, принялись намечать, кого и в какую станицу послать для набора казаков в Красную гвардию. Фрол не возражал, когда Лазо предложил ему поехать на один из самых больших и отдаленных участков — в низовья Аргуни; он только попросил себе в помощь Георгия Богомягкова, на что Лазо охотно согласился.

* * *

Новость, что четыре присяги старых казаков подлежат увольнению, уже разнеслась по сотням. В вагоне, когда пришел туда Егор, только об этом и говорили.

— Дождались-таки праздничка,— радовался Вершинин.— Может быть, сегодня уж распрощаемся с полком.

— Сегодня-то едва ли, а уж завтра наверняка по домам, Ванька Сутурин и приказ читал в штабе.

— Денька через три Аргунь увидим. Гульнем на радостях-то!

— А там, гляди, через недельку и на пашню: цоб-цобэ! Эх, елки зеленые-е!

Пришедший с дневальства Молоков принялся зашивать лопнувшую пополам подпругу, ворчал с досадой в голосе: «Угораздило тебя, лихоманка, не вовремя-то лопнуть. Надо бы в пятую сходить, к ребятам Аркиинской станицы, нам с ними ехать-то дальше всех...»

Егор только что было принялся рассказывать о своем разговоре с Погодаевым, как от головного эшелона раздался трубный сигнал «сбор». Началась обычная в таких случаях суматоха: казаки быстро оделись, бряцая оружием, посыпались из вагонов, и не более как через пять минут весь полк выстроился на площади против железнодорожной станции.

Едва успели построиться, выровнять ряды, как из-за дальних вагонов показалась группа военных, раздался зычный голос Метелицы:

— По-олк... смирно-о! Равнение на-аправо! Товарищи командиры!

Команду передают по сотням, а кто-то из военных здоровается с казаками. На приветствие дружно ответила первая сотня:

— Здравия желаем, товарищ командир!

Так же хорошо ответила вторая сотня, третья. Военные подходят ближе, здороваются с Метелицей. Впереди шагают комдив Балябин и высокий, чернявый, быстроглазый человек в длинной офицерской шинели и с биноклем на груди.

— Лазо! — шепнул Егору Гантимуров.— Я его еще вчера видел в штабе, с пакетом туда ходил.

В это время Лазо, приветливо улыбаясь, поднес руку к фуражке:

— Здравствуйте, товарищи казаки!

И четвертая сотня так же бодро, единодушно ахнула ответное приветствие.

После того как Лазо с командирами обошел все сотни, полк выстроили четырехугольником вокруг небольшого холма, на котором уже стояли командиры аргунцев и Лазо с товарищами.

Первым обратился к казакам Лазо. Мягким, звучным голосом, слегка- картавя, он поблагодарил аргунцев за их верность советской власти, выразил надежду, что идеи революции они пронесут в свои села и станицы и, если потребуется, снова станут под красные знамена и пойдут в бой за народное дело.

Затем был зачитан приказ командующего фронтом, в котором говорилось, что казаки срока службы 1911—1914 годов увольняются из полка в запас первой очереди.

С радостью слушал Егор этот приказ, приближалось к осуществлению самое дорогое его желание: он уволится из полка. Приедет за Настей и сыном, высвободит их от Шакалов... не надо больше будет скрываться, прятаться, бояться, они станут открыто, законно мужем и женой, Егорушка будет называть Егора тятькой, полюбит его... мама тоже полюбит Настю и Егорушку, она добрая... намучилась так за вдовий свой век, бедная... заживем все душа в душу... А в это время какой-то червячок тихонько точил и точил Егорово сердце, напоминал о разговоре с Федотом.

Егор так глубоко задумался, что и не слыхал, как кончили читать приказ, и очнулся только тогда, когда с казаками заговорил Богомягков. Еще с первых лет службы, с того времени, как Егор писал штыком на стене окопа «та-бак», «ка-бак», у него осталось к Богомягкову какое-то теплое, радостно-

доверчивое чувство. Егору приятно было снова увидать своего бывшего учителя, он даже собирался подойти к нему, посоветоваться о своем деле.

— Знаю, товарищи,— говорил Богомягков,— как радостно вам было услышать приказ об увольнении. Наконец-то настал давно желанный п вполне заслуженный отдых, снова близки привычный и любимый труд на пашнях, мирная жизнь в родной семье, но,— Богомягков на мгновение умолк, обвел казаков глазами, словно что-то проверяя в их напряженно слушающих лицах,— но сможем ли мы с вами со спокойной совестью уйти из полка в тот момент, когда он так нужен революции?

На площадке вокруг холма сделалось так тихо, что слышно стало шипение маневрового паровоза и перебранка дежурных слесарей в депо.

— Враги ополчились на молодую нашу неокрепшую власть, и она неминуемо погибнет, если мы, защитники ее, разойдемся кто куда.

Как ветерок по несжатой полосе, зашелестел говорок по рядам казаков:

— Вот оно как. .

— Зазря радовались...

— Оно, ежели разобраться...

— Тише-е...

— Но я не верю тому, чтоб вы оставили свой полк, когда революция в такой опасности, не верю, дорогие аргунцы,— продолжал Богомягков, все более и более воодушевляясь,— не верю, хотя и знаю, как нелегко вам после стольких лет разлуки ехать мимо родных станиц и сел снова на фронт. Понимаю, как сильно ваше желание увидеться с женами и детьми, понимаю, как руки ваши стосковались по труду, и не шашку бы им держать, а чапыги плуга, но что же делать, товарищи...

Все перевернулось в душе Егора. Ему казалось, что Богомягков смотрит на него, читает его мысли, говорит про него.

Кончил говорить Богомягков, и сразу же в не сломившейся еще тишине раздались ошеломившие казаков слова команды:

— Желающие уволиться четыре шага... впере-ед!

У Егора ноги словно приросли к земле. В ушах все еще звучали слова Богомягкова, разили в самое сердце, куда-то далеко отодвинулись его недавние заботы и горести... Он глянул на Вершинина: тот стоял, вскинув голову, и, глядя на Богомягкова увлажненными глазами, всем своим видом выражал готовность хоть сейчас ринуться в бой. Словно замер в

строю, чему-то улыбаясь, Гантимуров, а Молоков, плотно сжав губы, уставился прямо перед собой, сосредоточенно наморщив лоб...

С десяток казаков из всего полка вышли из строя. Из пятой сотни ни одного, из четвертой один — вахмистр Вагин. Все остальные словно застыли на месте.

* * *

Настя прождала Егора весь день. Ермоху она увидела, когда он ехал по елани. Выйдя к нему навстречу, подождала его у сеновала и, когда он подъехал, спросила:

— Видел Егора?

— Видел...

— Приедет?

— Нет. Не пустили. Записку тут передал тебе.— Ермоха не торопясь, по-стариковски спешился, достал из-за пазухи бумажку, протянул ее Насте: — На вот, читай. Да не горюн шибко-то, беды никакой не случилось. Егор говорит, теперь уж недолго тебе ждать. Войсков у Лозова сейчас, сам видел, великое множество. Жиманут Семенова, и по домам.

Настя долго читала написанные наспех каракули Егора. Побледнела.

— Чуяло мое сердце,— проговорила она наконец, задрожав губами, и, отвернувшись, навалилась грудью на прясло.

ГЛАВА XII

Надежда белогвардейского атамана Семенова на то, что забайкальские казаки не примут революцию, что в тылу Красной гвардии начнутся восстания против советской власти, не оправдались. Наоборот, в селах и казачьих станицах стихийно возникали добровольческие отряды, они спешили на помощь Красной гвардии Сергея Лазо, наступали на белых с флангов.

К середине мая фронт красных гигантской подковой охватил территорию, захваченную белыми. Восточный конец этой подковы упирался в китайскую границу на Аргуни, в районе станицы Дуроевской, южный — в монгольскую в верховьях Онона. На юге фронт держали отряды Красной гвардии Петра Аносова; с запада, вдоль железной дороги, перешли в наступление главные силы красных, которые вел сам Сергей Лазо.

С востока наступали на белых Нерчинский отряд Петрова-Тетерина, кавалерийская казачья бригада «Коп-Зор-Газ»[1] и пехотный полк, который сформировал из крестьян Александровско-Заводского уезда и командовал им бывший прапорщик Павел Журавлев.

Туго приходилось белому атаману, наступление его войск выдохлось, пришлось переходить к обороне. Но он тоже не дремал, старался усилить свою армию: помимо подошедшего к нему еще одного батальона японцев, атаману удалось в захваченных им районах провести мобилизацию казаков и крестьян, пополнить ими свои сильно поредевшие в боях с красными пехотные полки и сформировать еще три кавалерийских: 1-й Борзинский, 2-й Мангутакшинский и 3-й Пуринский казачьи полки.

Приступил он к организации и 4-го Ононского казачьего полка, но тут у атамана получился конфуз, а началось это в Онон-Борзинской станице. Приказу атамана Семенова онон-борзинцы подчинились беспрекословно, на сборный пункт в станицу явились все подлежащие призыву. Находившийся в это время в станице есаул Беломестнов, прибывший сюда со взводом своих казаков для наблюдения за мобилизацией, в тот же день отправил генералу Шильникову (он был начальником штаба семеновской армии) депешу, в которой доносил:

«Честь имею доложить вам, господин генерал, что мобилизация казаков в станице Онон-Борзинской проведена мною весьма успешно. Казаки всех шести возрастов, подлежащих мобилизации, явились все до одного, хорошо экипированные, с полным комплектом снаряжения и обмундирования, согласно арматурным спискам. Несколько человек прибыло старше призывного возраста — добровольно. Лошади у всех исправные, подкованы на полный круг. Настроение у казаков бодрое, веселое и боевое.

Завтра сотню, целиком укомплектованную из казаков Онон-Борзинской станицы, под командой станичного атамана — вахмистра Ваулина, направляю в ваше распоряжение. Я же

[1] Эта бригада возникла из трех казачьих добровольческих отрядов Красной гвардии: Копунского — под командой бывшего прапорщика Прокопия Атавина, Зоргольского — под командой бывшего фронтовика Петра Пешкова и Газимурского — под командой бывшего фронтовика, кавалера двух георгиевских крестов Василия Кожевникова. Отсюда и название бригады «Коп-Зор-Газ» (Копунь, Зоргол, Газимур).

во исполнение данных мне инструкций, направляюсь в станицы Монкечурскую и Донинскую,

О чем и доношу до вашего сведения.

Есаул Беломестнов».

Не знал, не ведал есаул, что в станице уже третий день находится посланец ундинских большевиков Михаил Бородин, что в тот вечер, когда изрядно подвыпившего есаула угощал в своем доме богатый казак Филимонов, на соседней улице, в избе Симакова, собралась небольшая сходка. Бородин совещался там с казаками-фронтовиками, среди которых были большевистски настроенные: Яков Коротаев, Самуил Зарубин, Никандр Раздобреев, два брата Машуковы, гвардеец Уваровский и еще с десяток казаков из тех, что вернулись с фронта в родную станицу насквозь пропитанные большевистским духом. Даже сам станичный атаман, вахмистр Ваулин, присутствовал на этой сходке. О чем совещались фронтовики, осталось тайной.

На следующее утро все они прибыли на станичную площадь, в числе мобилизованных, в полной боевой готовности. На шинелях служивых погоны с номерами и названиями прежних полков, на папахах кокарды, винтовки не у всех, но шашка и нагайка у каждого. Оседланные казачьи кони шеренгами выстроились, привязанные к заборам.

Станичную площадь запрудило народом, на проводы служивых пришли со всего села: старики, молодежь, бабы и девки; смешавшись с ними, казаки прощаются с родными. Толпа движется, гудит разноголосо: тут и шутки, и смех, и плач — сетования чьей-то женушки:

— И опять ты нас покида-а-аешь.

— Да полно, Олена, чего ты это разнюнилась.

— И когда она, проклятая, закончится...

А рядом спокойно, рассудительно:

— Коня береги, сынок, коня, сам недоешь, да его накорми.

— Под седло-то постарайся козлину приобречь.

— Перековать бы Воронка-то.

В станичном правлении писаря спешат закончить какие-то бумаги, списки, в соседней комнате сидит станичный атаман, пожилой, седоусый человек. Атаман также в полной казачьей форме, при шашке и с насекой, на погонах его шинели широкие серебряные нашивки вахмистра. Рядом, облокотившись на стол, сидит есаул Беломестнов.

— Все это хорошо,— говорит есаул, глядя в окно,— но откуда у ваших казаков трехлинейные винтовки? Ведь был приказ походного атамана о сдаче всего огнестрельного оружия, за исключением охотничьих бердан, знаете о таком?

— Знаем, господин есаул. И какие числились за фронтовиками, сдали полностью.

— А эти откуда у них?

— Сатана их разберет,— пожал плечами атаман,— должно быть, по две прихватили, когда из полков увольнялись. Там ведь такая неразбериха была, что не создай господь. Не только винтовки, говорят, пулемет приобрести можно было.

— Мда-а, хорошо еще, что не попали эти винтовки к красным.

— Вот именно.

Шум, гам толпы на станичной площади приутих, когда на крыльце правления появились: атаман — с насекой в руке, есаул Беломестнов и урядник Уваровский, высокий красивый атаманец лейб-гвардпи казачьего полка. Атаман что-то тихонько сказал Уваровскому, тот согласно кивнул головой и, подхватив шашку, сбежал по ступенькам крыльца.

— По коня-ам! — раздался его властный, командирский бас.

Толпа раздалась по сторонам, и на площади, вмиг разобрав лошадей, двумя шеренгами выстроились казаки.

— Направо равня-айсь! — гарцуя на рослом вороном коне, командовал Уваровский.— Смирно!

Улыбаясь в черные усы, есаул наблюдал с крыльца, как атаман, уже верхом на рыжем коне, подъехал к строю казаков, поздоровался с ними; выслушав ответное приветствие, он сказал короткую напутственную речь и, повернувшись к сельчанам, снял папаху:

— До свиданья, станичники, ив поминайте нас лихом, пожелайте нам доброго пути.

Толпа ответно загудела, над головами станичников замелькали руки, папахи, фуражки и платки.

Атаман трижды поклонился толпе и, нахлобучив папаху, повернулся к казакам, скомандовал:

— Сотня-а, слушать мою команду, справа по три-и за мной...— и, взмахнув насекой, как отрезал: — марш!

Казаки привычно, равняясь на ходу, перестраивались в колонну. Следом за ними двинулась толпа сельчан, провожали казаков до окраины села. За околицей атаман еще раз помахал станичникам папахой и скомандовал сотне:

— Рысью-у ма-арш!

Стоя на стременах, казаки оправляли оружие, грустными

глазами оглядывались на провожающих. Каждый из них понимал, что едет он не на гулянку, не на инспекторский смотр, и кто знает, вернется ли он к семье своей живым и здоровым или простился с ними навсегда.

Сначала сотня, как и предполагалось, шла вверх долиной Борзи, но, не пройдя и пяти верст, повернула влево и, перевалив небольшую седловину, повернула еще левее... в обратную сторону, и только теперь стал понятен их замысел. На другой день ононборзинцы вышли на Газимур и там, в станице **ДОГИНСКОЙ**, влились в шелопугинский отряд Красной гвардии.

Но самое худшее ожидало есаула Беломестнова в станице Донинской: казаки-донинцы, узнав о мобилизации в семеновскую армию и о том, что к ним едет Беломестнов, устроили засаду и встретили есаула залпами из винтовок. Потеряв половину своих людей, есаул повернул обратно, но наперерез ему мчался взвод казаков-красногвардейцев. Видя неминучую гибель, белые казаки побросали винтовки, остановились с поднятыми руками.

— Мерзавцы! — осадив коня, воскликнул есаул. Выхватив наган, он трижды выстрелил в своих казаков и повернул навстречу красногвардейцам. Они уже были близко и, очевидно, хотели взять его живьем, Опередившего всех рыжебородого красногвардейца есаул успел свалить с коня из нагана и тут же выстрелил в висок самому себе.

* * *

Под натиском красных семеновцы отступали все дальше и дальше на восток. Задержались они лишь на станции Оловянной. Здесь, на правой стороне Онона, они окопались, установили пулеметы, батареи, а в трех верстах от ононского моста ощетинились стволами орудий два их бронепоезда — «Атаман» и «Грозный». Хорошей защитой от нападения красных служил теперь белым и многоводный Онон и разрушенный на нем мост. Не раз пытались красногвардейцы переправиться через реку на плотах и лодках под прикрытием ночи. Но сделать это бесшумно было невозможно, смельчаков сразу же обнаруживали заставы противника, и под огнем их пулеметов красногвардейцы возвращались обратно, неся при этом немалые потери.

Окопы белых, вырытые на склонах сопок, тремя линиями полудужьем охватили правобережный поселок. Окопы и тщательно замаскированные пулеметные гнезда тянулись и по берегу Онона.

На рассвете семеновцы обстреляли позиции красных. Завязалась перестрелка, но длилась она недолго, к восходу солнца прекратилась. Новый день начинался обычными хлопотами, рабочей спешкой, красные пехотинцы рыли, углубляли окопы, казаки поили, чистили лошадей, в оградах сельчан дымили костры, бойцы варили картошку и чай. Моряки ремонтировали лодки, конопатили их, заливали смолой, а кое-где из бревен и остатков разбитых бомбежкой жилищ вязали плоты.

Все это видел Лазо из блиндажа на сопке, где находился он все это утро, изучая позиции белых. Вместе с ним был его помощник Балябин и командир дальневосточного отряда Красной гвардии Бородавкин. Внимательно рассматривал Лазо и разрушенный ононский мост.

— Как вы думаете,— обратился он к Бородавкину,— вот на тот уцелевший пролет сможет взобраться человек?

— Можно-то можно...— начал Бородавкин и, не закончив, попросил у Лазо бинокль, так же пристально стал рассматривать мост.— Есть у меня среди моряков удальцы ребята,— заговорил он, возвращая бинокль Лазо,— если прикажете, вызову охотников, попробуем. За успех не ручаюсь, но рискнем, если надо.

— Надо, товарищ Бородавкин. Ведь если нам удастся хотя бы взвод моряков переправить на мост, да парочку пулеметов с ними, и ударить на беляков внезапно, представляете, что получится? Как ты думаешь, Фрол Емельянович?

— Мысль замечательная; ударить неожиданно и в самом центре, где они и не ждут нападения. Вот если бы в это же время с тылу на них нагрянуть казакам нашим — аргунцам.

— Да что ты говоришь? — Лазо вперил в Балябина изумленный взгляд. — Форсировать Онон без лодок?

— Ну да, лодки потребуются, только чтоб оружие перевезти да шинели, а сами казаки на конях переплывут.

— В такой холод?

— Ничего, им это не в диковинку. Вот по чарке водки надо бы обеспечить... ну да я это устрою, в обозе у нас есть бочонок спирту...

— Ну, брат, это идея.— Лазо радостно потирал руки.— Если это удастся осуществить...

— Удастся, за казаков ручаюсь!

— Тогда в плане надо кое-что изменить.

Лазо так и загорелся. Глаза у него заблестели. Он присел на камень, вынул из планшетки блокнот, принялся что-то вычеркивать в нем.

Фрол принялся вновь рассматривать в бинокль позиции белых.

К вечеру с планом, детально разработанным в штабе, Лазо ознакомил на военном совете всех своих командиров. Обсуждение длилось недолго, план одобрили без возражений, атаковать белых было решено в эту же ночь.

Вскоре 1-й Революционный и 2-й Аргунский казачьи полки двинулись вверх по Онону, туда, где еще днем начали готовить лодки и плоты. Но все это делалось для того, чтобы создать у белых ложное предположение о готовящейся там переправе через Онон красной кавалерии. Форсировать же Онон было приказано 1-му Аргунскому полку в другом месте. Из села Метелица с полком выступил, когда стемнело, и глубоким обходом с тыла вывел своих аргунцев к Онону, верстах в двадцати ниже Оловянной.

Холодом тянуло от реки, отражались в ней мерцающие звезды, а у берега, едва различимые, темнели три лодки и два плота. Казаки спешились, с конями в поводу сгрудились у реки, растянувшись чуть не на версту вдоль берега. Еще дорогой им было приказано: соблюдать тишину, не курить, удерживать лошадей от ржания. Поеживаясь от холода и стараясь не шуметь, казаки топтались на месте, тихонько перекидывались словами:

— Покурить бы...

— Самый раз, он те, Погодаев-то, покурит плетюганом меж ушей.

— Первая сотня вон уже расседлывает коней.

— Да и во второй тоже поплывут сейчас.

— Неужто на конях?!

— А ты думал, на пароходе?

— Да ведь холодина-то какая.

— Спиртом бы понатереться.

— Уж лучше бутылкой, а спирт в нутро бы...

— Ги-ги-ги.

— Тише вы, черти, раскудахтались тут!

Выше по течению началась переправа. Слышен шум забредающих в реку коней, плеск воды, весел, стало видно отделившиеся от берега лодки, а затем и головы плывущих лошадей и казаков, быстриной их сносило наискось по течению. Уже на средине реки кто-то дико завопил: «Тону-у, помогите!» Вопль этот оборвался внезапно, и нельзя было понять: или утонул казак, или кто-то успел схватить его, спасти от гибели.

В четвертой сотне от взвода к взводу переходил Погодаев, поясняя казакам:

— Как подойдет наша очередь плыть — раздеться всем догола, белье на головы коням примотать под узды, чтоб не намокло. Все остальное: одежду, седла, оружие — в лодки и на плоты.

— Чего ты, Федот, мыкаешься,— огрызнулся кто-то из казаков,— впервые нам, что ли... чудак...

Когда очередь дошла до четвертой сотни, Егор (в этот день его выбрали командиром взвода, вместо убитого во вчерашнем бою Бояркина) приказал своему взводу готовиться к переправе и, расседлав Воронка, первым начал раздеваться, торопливая казаков.

Неохотно идет в воду Воронко, бьет ее копытом, норовит повернуть обратно, но хозяин колотит его по бокам голыми пятками, гонит все дальше вглубь. Вода ледяной стужей охватывает Егору ноги, заливается коню на спину, еще миг — и Воронко поплыл, поворачиваясь головой против течения. Не выпуская из левой руки поводьев, Егор соскользнул с конской спины, ухватился за хвост и, охнув, окунулся в холодную как лед воду.

...Жгучий холод пронизывает насквозь, кажется Егору, что сердце у него остановилось и в жилах стынет кровь.

«Скорей бы, скорей»,— вертится в голове его, но до берега еще далеко.

На середине реки течение быстрее, вода кружится воронками, плещется в лицо, волнами перекатывается через спину Воронка.

Тело у Егора одеревенело, даже холод перестал ощущаться, и, когда Воронко достал ногами дно, он с трудом взобрался ему на спину.

В то время как аргунцы, коченея от холода, форсировали Онон, где-то там внизу, в самой Оловянной, происходило то же самое, но несколько иначе. Группе моряков из отряда Бородавкина было приказано переправиться через Онон по остатку железнодорожного моста и внезапной атакой, по условленному сигналу, вышибить белых из окопов. Выполнить боевое задание вызвались охотники, молодец к молодцу, во главе с боцманом Кусакиным с миноносца «Скорый». Это был среднего роста, живой, энергичный моряк, с подкрученными кверху усиками и в лихо сдвинутой на затылок бескозырке. Он еще с вечера, вместе с Лазо и Бородавкиным, осмотрел основательно испорченный мост: один пролет был снесен начисто, второй, косо

поднимаясь из Онона, верхним концом приткнулся к средней опоре, от которой, вплоть до правого берега, тянулось уцелевшее полотно железной дороги. Закончив осмотр и выслушав боевую задачу, Кусакин кинул правую руку к бескозырка, ответил коротко:

— Есть занять мост, атаковать противника!

— Справитесь? — спросил Лазо.

— Живы будем, справимся, товарищ командующий.

— Молодец, боцман, приступай к действию.

— Слушаюсь.

Глубокой ночью шестьдесят моряков, вооруженных винтовками, кинжалами и гранатами, тихонько подошли к мосту, прижались к железнодорожной насыпи. Понимая опасность и серьезность предстоящего дела, моряки действовали осторожно, соблюдая тишину, два пулемета «максим» и лодку принесли на руках, поставили на место бесшумно.

К лодке привязали две длинные веревки, чтобы без весел перетягивать ее туда и обратно. Теперь предстояло кому-то переплыть с концом веревки до торчащего из воды пролета. Взялся за это сам Кусакин. Раздевшись догола, он подпоясался ремнем с висевшим на нем кинжалом, одному из моряков шепнул на ухо: «Человек десять готовьтесь в лодку и ждите, я мигом». И, тенью скользнув в реку, поплыл бесшумно, как рыба, с концом веревки во рту.

Плохо пришлось Кусакину, когда он подплыл к пролету и, ухватившись за какую-то железину, выбрался из воды на чугунную дугу мостовых перил.

Лютый холод пронизывал боцмана насквозь, а ему, чтобы согреться, даже негде было потоптаться. Надо скорее тянуть лодку, в этом его единственное спасение. Дрожа от холода и клацая зубами, уселся боцман на какой-то выступ, уперся ногами в широкую полосу дуги и заработал руками, вытягивая веревку. Вскоре во тьме показалась лодка (чтобы не сносило течением, ее с берега поддерживали за другую веревку, привязанную к корме). Она бесшумно пристала к пролету, и один из моряков подал боцману его одежду. Повеселел Кусакин; торопливо натягивая сухую тельняшку, еле сдержался, чтобы не пустить парочку крепких слов по поводу «собачьего холода».

Пока боцман одевался, моряки высадились на перила и поперечины моста, лодку отправили обратно. Матрос Гаевой, цепляясь за болты, поперечные брусья и балки в перилах, кошкой вскарабкался на пролет, укрепил там веревочную лестницу.

Задолго до рассвета шестьдесят моряков поднялись на пролет, даже ухитрились затянуть туда пулеметы. Проспавшую у моста заставу белых сняли без единого звука, после чего беспрепятственно перешли на берег, залегли у насыпи, в ожидании сигнала к наступлению. Ждать пришлось недолго, вскоре же в тылу у белых одна за другой взметнулись к небу две зеленые ракеты. Это был условный сигнал казаков-аргунцев. Кусакин, встрепенувшись, приподнялся на локтях, оглядел свой отряд; моряки задвигались, приготовляясь к бою; кто-то щелкнул затвором, на него зашикали, матрос, лежащий рядом с боцманом, снял с пояса гранату. Вынув из кобуры наган, боцман привстал на одно колено, оглянулся на левый берег, в это время там, над сопками, где находилась батарея, вспыхнула красная ракета и, медленно опускаясь, потухла. Это Лазо дал сигнал к наступлению. В ту же минуту залп из четырнадцати орудий красных батарей расколол ночную тишь. Кусакин вскочил на ноги, взмахнул наганом: «Ура!»

— Ура-а-а! — дружно подхватили моряки и, со штыками наперевес, кинулись в атаку, в окопы белых полетели гранаты, длинными очередями застучали пулеметы. С левого берега моряков поддержали ружейным и пулеметным огнем красные пехотинцы, а с тыла на белых в конном строю обрушились казаки-аргунцы.

Гром орудий, взрывы гранат и шрапнели, ружейные залпы и злобный перестук пулеметов — все перемешалось, слилось в беспрерывно нарастающий гул, и белые не выдержали, в панике отступили на дальние позиции. А через Онон, на лодках, долбленых ботах и на плотах, началась спешная переправа красногвардейцев на правый берег.

К восходу солнца красные полностью овладели правобережным поселком. Бой закончился, замолчали батареи, лишь из-за горы, восточнее села, доносились еще винтовочные залпы, это казаки-аргунцы обстреливали отступающих семеновцев.

Дымились места недавних побоищ, повсюду виднелись убитые, стонали раненые, их подбирали санитары и на трофейных фургонах отвозили на перевязочный пункт. На железнодорожной линии красногвардейцы и обозники разгружали захваченные у белых вагоны, выносили из них кули с мукой, крупой и сахаром, ящики с консервами и патронами. Поодаль, у насыпи, боцман Кусакин выстроил своих моряков. Он только крякнул, помрачнел лицом, когда узнал, что в числе пяти моряков, погибших в ночной атаке, оказался и друг его, рулевой с миноносца «Стерегущий» Василий Гаевой.

ГЛАВА XIII

Сегодня воскресенье, день пасмурный, серый, от прошедших дождей на песчаных улицах поселка Покровского Чалбучинской станицы стоят большие лужи. В поселке праздничное оживление, уже с утра и там и сям у ворот начинают табуниться принаряженные девки. Парни в праздничных сатиновых рубахах, в фуражках с кокардами, в лампасах и… босиком. Так они будут щеголять весь день, лишь к вечеру, когда вместе с девками отправятся на берег Аргуни «на лужок», наденут сапоги. А ночью, на вечерке, будут так отплясывать подгорную, что от грохота их каблуков задрожат стены старой избы тетки Бакарихи.

На этот раз на улицах преобладает молодежь, на завалинках не видно стариков, с утра собрались они на сходке у «Апостола» — так прозвали кузнеца и забулдыгу Александра Ожогина, в просторной избе его сегодня набилось полным-полно народу.

Среди собравшихся немало и казаков-фронтовиков в их форменном казачьем обмундировании и в плащах-дождевиках желто-песочного цвета. В числе фронтовиков и Данило Орлов с Мишкой Ушаковым. На Мишке синяя сатиновая рубаха, подпоясанная наборчатым ремнем, и защитного цвета фуражка с кокардой. Как и большинство сельчан, Мишка тоже пришел на сходку босиком, до колен засучив черные с лампасами шаровары.

Пять месяцев прошло с той поры, как уехал Мишка из дому. Сначала, по приезде в Чалбучинскую, оба с Данилой подались за границу, жили там на заимке, где у Орловых кормился скот, охотились на коз, Мишка помогал работникам, возил с ними сено. Убедившись, что в Чалбучинской станице порядки другие, нежели в Заозерной, и что таких беглецов-дезертиров появилось в селах множество, друзья выбрались из-за границы и зажили в поселке. Ехать домой Мишка не торопился: во-первых, потому, что боялся Тимохи Кривого, а главное то, что приглянулась ему здесь дочка поселкового атамана, черноглазая красавица Маринка, с которой познакомился на вечерке и уж не раз провожал ее до дому. «Дома-то все равно идти в работники, так уж лучше здесь,— рассуждал Мишка,— тут и хозяева хорошие, и Данило не обидит. Переживу здесь эту каниель — войну — и заявлюсь домой на своем коне, при деньгах, да еще и с невестой-красавицей». И зажил Мишка у своего друга-сослуживца в работниках.

В станице Чалбучинской с приходом революции ничего не изменилось, все шло по-старому, как было и при царе! станицей и поселками по-прежнему управляли атаманы, а всякие дела решались стариками на сходках. Вернувшиеся в станицу фронтовики поначалу много говорили о революции, о новых порядках, одобрительно отзывались о декретах советской власти. Но подошла весна, и все они, натосковавшись по труду, с головой окунулись в работу, неделями не выезжали с пашни. А тут всякие домашние дела, хозяйские работы. И позабылось все то, что слышали на полковых митингах, что волновало их на фронте, по старому руслу потекла жизнь. Сытая, зажиточная житуха, достаток в отчем доме затянули в свою рутину и Данилы Орлова, из головы его выветрились революционные идеи. «Для рабочих, для мужиков большевики, конечно, подходящая партия,— рассуждал Данило в разговорах с Мишкой,— а нам и без них неплохо». Мишка не возражал, в политике он не разбирался. Только двое из села — Антип Панкратов, бывший каторжник, приютившийся на житье в Покровском, да пришедший из Красной гвардии на костылях Яков Башуров — остались верными революции, ратовали за большевиков. Встречаясь с фронтовиками, Яков ругался с ними, стыдил их за отступничество, принимался уговаривать сбросить атамана, создать в селе Совет, но его никто не слушал.

Яков также приковылял на сходку, прислонив костыли к стене, сидел на кутней лавке. Панкратов лежал больной дома на печи, его вторую неделю трепала лихорадка.

На сходке, как всегда, шум, гомон, теснота. Люди сидели на скамьях, что расставлены вдоль стен, на ленивке у печки, на жерновах ручной мельницы. Мишка с Орловым и еще десятка полтора сельчан пробрались в куть и уселись там на полу, поджав ноги калачиком, а те, что пришли позднее, тесной толпой грудились в задней половине избы и даже в сенях.

Старики отводили душу в разговорах, и чуть не все собравшиеся курили. Дым от их самокруток и трубок сизым облаком висел над головами, струйками тянулся в раскрытую дверь. В табачном дыму, как в тумане, чуть видно сидящих за столом в переднем углу поселкового атамана и писаря.

— А ну-ка, давайте потише,— поднялся из-за стола атаман, рыжебородый казачина Филюшин.— Дедушка Меркуха, опять сказку завел? Кончай, потом доскажешь. Начинать будем.— Атаман выждал, когда говор притих, продолжил: — Тут, воспода обчественники, такое дело, намедни, как вы знаете, в Читу посылали мы этого... как его...

— Делегата,— подсказал писарь.

— Во, во, диликата Павла Ивановича Патрушева, вот он пояснит вам сейчас, как там и чего было.

Павел Иванович протискался к столу, повернувшись лицом к собранию, снял с головы старую, с потрескавшимся козырьком казачью фуражку, провел рукой по усам, по жиденькой русой бороденке.

— Оно надо бы сразу, как приехал из Читы, теперь всего-то и не припомнишь, ведь два месяца прошло.

— Чего же тянул до сей поры?

— Я-то тут при чем, с атамана спрашивайте, а я и так рассказывал кому ни доходя, и старикам на завалинках, и вопче, хоть кого спроси, подтвердят.

— Ладно уж, рассказывай.

— Да погромче, чтобы всем слышно было.

- Тише-э!

— Ну, значит, побыл я на съезде,— начал делегат свой отчет,— повстречал там начальников больших и комиссаров всяких дополна. Вот тут про Лозова часто пишут в газетах, а я его в упор видел на съезде, как вот сейчас свата Филиппа. В президюме был главным Шилов, бравый такой казак Размахнинской станицы. А с нашим Фролом Емельянычем даже и за ручку поздравствовался. Э-э, брат, Фрола теперь рукой не достать, болыпо-ой начальник, все равно что войсковой наказной атаман по-прежнему.

Вокруг зашумели, заговорили все разом:

— Да ты про дело-то говори!

— Насчет чего съезд-то был?

— Воюют-то там из-за чего еще?

— Тише, вы! — повысил голос делегат.— Слово не дадут сказать. Только хотел было про съезд повести разговор, а они рта не дают разинуть! Послушайте сначала, а потом и дерите глотки-то хоть до вечера. А что касаемо съезду, так он проходил, конешно, как полагается. Да-а, поначалу какой-нибудь большой начальник а либо комиссар выйдет на трибунал и доклад сделает, а мы, делегаты съезда, значить, сидим и слушаем, и весь день такая прения, прения.

— Какая прения?

— Слова-то какие пошли, господи.

— Может, партия?

— Прения — это значит такое дело, там ведь не так, как вот у нас на сходе: заорем все разом, и никак не поймешь, кто чего требует. А там не-ет, все сидят тихо-смирно, один говорит,

остальные слушают, кончил говорить, все в ладошки хлопают. Это и называется прения, понятно? То-то же. Ну, а говорили больше о том, что землю у помещиков отобрали, а самый главный комиссар Ленин закон составил, как лучше разделить ее мужикам. То же самое фабрики рабочим, ну я в это дело почти что и не вникал, потому как нас это вовсе и не касаемо.

— Жить-то будем как дальше, об этом там был небось разговор?

— Во-во, это самое.

— И насчет власти, какая она будет?

— А у нас не оттяпают земличку, какая лишняя?

— Это с какого пятерика нашу-то землю оттяпают? — делегат сердито покосился на говорившего о земле.— Откуда она у нас лишняя-то? Болтаешь чего не следует. Об нашей земле даже и речи не было на съезде. Ну, а насчет власти, то она, так я понял, народная будет, выборная то есть.

— Она у нас и так выборная, атаманов-то сами выбираем.

— То же самое и судьев почетных, доверенных на станичный сход.

Шум, гвалт усилился.

— Ну и делегат, холера тебя забери! — кричал кто-то из кути.

— Эх, Павел, Павел,— корил делегата второй,— не брался бы не за свое дело.

— Сами же мы его выбрали,— заметил третий.

— Я как настаивал, чтобы Евграфа Прокопьича послать, тот бы все там разузнал и нам объяснил бы. Так не-ет, не послушались, вот на себя теперь и пеняйте.

— Власть должна стать советская,— гудел из кути Яков Башуров, но одинокий голос его потонул в общем гомоне. А делегат, вынедав, когда немного поутихло, понапряг голос, заговорил о другом, более для него важном:

— Тут, воспода обчественники, как ехать в Читу, денег мне выдали на дорогу восемьдесят рублей керенскими, а разве это деньги по нонешней дороговизне? Вот и пришлось мне раскошелиться из своего карману. Сорок рублей было у меня своих кровных, я их и выточил как одну копеечку! Да ишо хорошо, что пригодились они, а то бы я там с голоду подох. Вот ведь как оне, обчественные-то дела, достаются. А ведь у нас многие смотрят так, лишь бы выбрать да отправить, а там хоть шкура с него на огород. Вот я и прошу вас, воспода старики, вернуть мне эти сорок рублей из общественной суммы. А то чего же я один-то буду страдать за обчественное дело?

Снова разгорелся шум, спор. В сплошном реве голосов с великим трудом можно было угадать, что одни ругают «делегата», не хотят вернуть ему деньги, другие защищают Павла. «Зачем же обижать человека? Сами его выбирали. Отдать старику сороковку!» Вдоволь накричавшись, сошлись наконец на одном: «Вернуть Патрушеву его сорок рублей из общественных сумм».

Атаман опять поднялся со скамьи, постучал кулаком по столу:

— А ну-ка, потише, прошу! Насчет Патрушева, значит, покончили. Погодите, не расходитесь, ишо одно дело надо решать. Тут у нас стало известно такое дело: большевики-коммунисты откуда-то появились в Борзинском поселке. И вот как поскажут про них, такие отпетые головушки, что не приведи господь, не признают, сказывают, ни бога, ни черта и народ к тому склоняют. Так вот, из станицы пишут, чтобы мы таких людей остерегались, за-ради чего приказывают усиленный караул выставить на закрайках. А в случае, ежели эти проходимцы заявятся, заарестовать их и в станицу под усиленным конвоем. Я уж тут начал было и назначать в энти караулы, недовольство началось, сами знаете, какой у нас народ,— тому неохота, этому недосуг, а я с каждым ругаться не намерен. У меня и без того делов много. А будет общественный приговор, тогда разговор короткий: подошла очередь — вылетай винтом, и никаких гвоздей. Вот и решайте.

— А чего решать, раз пишут, значит, так надо, и отдежурить на карауле ежели придется, так не велика беда.

— Сенокос над головой, какие же тут караулы.

— А-а-а!

— Атаман, восподин атаман! — взывал кто-то из заднего угла, стараясь перекричать поднявшийся гвалт.— Разъяснить просим, што это за люди, партии-то они какой придерживаются.

— А тебе не все равно?

— Тише-е! Дедушка Меркуха чего-то хотел сказать? Погромче, дедуся.

— Да я об этом же самом. Потише, ребятушки, дайте скакать. Про то моя речь, што тут чего-то непонятно. Ведь давно ли читали в газетах про большевиков, и так складно, что вроде оне не плохие люди, а партия ихняя даже и нам подходимая. Даже и наши казаки в большевики себя причисляли, вон Яков Башуров, Иван Бекетов, да и вот Калинин Михалев, и еще ото многих слыхать мне приходилось, што они за большевиков стоят, верно я говорю, Калина Евдокимыч?..

— Верно.

— Э-э, дед, то просто большевики, а это большевики-коммунисты, энти никакой власти не признают, у них так: мое — мое и твое — мое, как захочу, так и поворочу, понятно?

— Рази что так, тогда конешно.

— Ничего подобного,— весь красный от возмущения, поднялся на костылях Башуров,— врут все это! Большевики за народ стоят, за советскую власть.

— Ври больше!

— Много ты знаешь!

— Кончать давайте, хватит!

— Га-а-а! Га-а-а!

— Тише, внимание! — перекричал всех атамановский бас — Слушайте! Сейчас нам Лавдей Романыч приговор огласит. Пока вы тут орали да спорили, он его смастерил, прослушайте, подпишем, и делу конец.

Когда шум немного поутих, писарь, худощавый седовласый человек, с остренькой, как хвост у редьки, бородкой, надел очки, прокашлялся. Все притихли, слушали внимательно.

— «Мы, нижеподписавшиеся: казаки и урядники поселка Покровское, Чалбучинской станицы, быв сего числа на полном поселковом сходе в количестве...» — Писарь на минуту запнулся, посмотрел на сельчан поверх очков.— Тут, когда все подпишетесь, подсчитаем и тогда впишем, сколько человек присутствовало,— и продолжил чтение: — «...в количестве столько-то человек. Под председательством поселкового атамана казака Филюшина, при секретаре, поселковом писаре, старшем уряднике Кислицине. Слушали: отношение станичного атамана от 24 июня 1918 года за № 648 о том, что в селе Средне-Борзинском, Зоргольской станицы, появились какие-то люди, называющие себя большевиками-коммунистами. Эти люди ведут себя недостойно, призывают народ не подчиняться законной власти, богохульствуют и чинят всякие беспорядки.

Постановили:

Людей этих в наш поселок не допускать, в партию ихнюю не записываться, а чтобы они не проникли в пределы поселка и нашей станицы, выставлять на обеих сторонах поселка усиленный караул. Наряд в караулах нести поочередно по назначению поселкового атамана. В чем и подписуемся...»

Грамотеи потянулись к столу, чтобы поставить под приговором свою подпись и расписаться за неграмотных, от которых со всех сторон сыпались просьбы:

— За меня распишись! Кум Иван, меня не забудь!

— Антон Михайлыч, ты ведь, однако, рушник![1] Пробирайся к столу да и за нас с Епихой расчеркнись.

Старики, ходившие в грамотеях, неловко орудуя карандашом, кряхтели, большими каракулями выводя на бумаге свои звания и фамилии: «казак Бекетов», «приказный Елгин». А «делегат» даже вспотел, пока учинил свою подпись: «приказний Патрушев». Распрямившись, он с завистью и уважением любовался, как ловко и быстро побежал по бумаге карандаш в руке Данилы Орлова: «По неграмотности и личной просьбе казаков: Ивана Пичуева, Егора Михалева, Семена Панина и за себя расписался урядник Орлов».

Из кути обозленный Яков Башуров кричал атаману]

— Ты там смотри, меня не вздумай подписать! Я и в караул не пойду, и эту филькину грамоту подписывать не буду!

— Ну и не подписывай, черт с тобой.

— Без тебя обойдемся!

— Дураки! — И, яростно матюгаясь, Яков застучал костылями к выходу.

А к столу подходили, расписывались «рушники», в числе их был и Дед, Емельян Акимович Балябин. После службы в тюремных надзирателях он переехал на жительство в родное село, занялся сельским хозяйством и немало гордился тем, что сын его Фрол стал большим начальником у красных. Разгладив широкую бороду, Дед навалился грудью на стол и уже покрутил над бумагой карандашом, чтобы с разбега поставить свою подпись, но сдержался, услышав голос позади:

— Омельян Якимович, будь добрый, распишись там за меня1

— Заодно уж и меня припиши!

— Да ведь я, собственно говоря,— Дед смущенпо поскреб за ухом,— свою-то фамилию с грехом пополам. Вы уж лучше молодых просите.

Дед снова склонился над столом, взяв разбег, с трудом начертил два слова: «урядник Балябин».

ГЛАВА XIV

Дня через три после сходки Мишка Ушаков пришел с вечерки, прихрамывая на левую ногу: искусала его и порвала штаны чья-то собака. Пройдя в сарай, где спал он на сене, положенном на доски, Мишка, бормоча ругательства, сбросил

[1] Р у ш *в* и к — могущий приложить руку, то есть расписаться.

рваные штаны, ощупью засыпал табаком кровоточащую рану и, забинтовав ее кушаком, завалился спать.

Утром он вместе с другими работниками собрался ехать на пашню, когда его окликнул Данило.

— Ты чего-то вроде хромаешь? — спросил он, подходя ближе.

— Да тут,— смутился Мишка,— об доску ударился ногой, вот и зашиб.

— Ты на пашню-то не езди сегодня. Очередь наша подошла в караул идти на верхний закраек, сходи-ка отдежурь день, а к ночи я тебя подменю.

___Это можно,— охотно согласился Михаил.

Вместе с ним на дежурство отправился сосед Орловых, Захар. Пожилой, высокого роста казак, густо, до хитроватых с прищуром глаз, заросший русой курчавой бородой.

Вооруженные берданками и при шашках, караульные растянулись за огородами на травке, вблизи проселочной дороги.

День начинался жаркий, уже с утра сильно припекало солнце. На траве, куда ни глянь, на коноплях в огороде и на картофельной ботве блестела, искрилась роса. Пригретая солнцем, паром курилась мокрая земля. Пахло шалфеем, анисом и духовиками, что густо синели в зелени на широкой меже крайнего огорода. Долину Аргуни с утра заволокло туманом, но теперь он уже поднялся выше гор, стайками легких пушистых облаков поплыл к северу, и над станицей сверху^серебристую трель сыпали на землю жаворонки, а из коноплей им вторили перепела, на лугу в траве задиристо стрекотали кузнечики.

С берданой возле бока Мишка лежал спиной к солнцу, положив голову на сложенные вместе руки. Мысленно он снова был там, у ворот атаманского дома. В эту ночь, проводив Маринку с вечерки до дому, Мишка стоял с нею в ограде вблизи ворот и все не отпускал ее горячую, твердую руку. А она делала вид, что порывается уйти, а сама так и жгла его своими черными, искристыми глазами, смеялась, скаля белые ровные зубы.

«Эх, Маринка, Маринка! До чего же ты хороша девка!» Сколько раз порывался сказать ей Мишка, что любит ее, что без нее ему и жизнь не в жизнь, да все эта робость мешает: навалится, проклятая, спутает все слова в голове и язык отнимет.

На этот раз не стал Мишка искать слов, ждать, когда язык развяжется: облапил девку за крепкий, упругий стан и только было хотел влепить поцелуй в жаркие Маринкины губы, как

в доме скрипнула дверь и зычный атаманский голое рявкнул на вею улицу:

- Маринка! Ты это с кем там захороводилась? А ну-ка спать, шалава!

Ойкнув, Маринка крутнулась на каблуках, кинулась к дому. А Мишка, боясь быть узнанным, сиганул в огород, из оюрода в соседний двор, птицей перемахнул высоченный забор и, как сноп на вилы, наскочил на кобеля. Тут-то и произошло самое для Мишки неприятное. От цепиика он отбился поленом, да что радости-то — от новых с лампасами штанов одно название осталось. Так исполосовал их проклятый кобель, что и на портянки не осталось целого лоскутка.

«Штоб его волки разорвали на мелкие клочья,— ругнулся мысленно Мишка, бережно ощупывая забинтованную ногу,— да уж нога-то, черт с ней, заживет, хоть бы и вторую искусал, штаны, где их теперь раздобудешь такие-то?»

- Ты в каком полку-то служил? — прервал воспоминания Мишка Захар.

- В Первом Читинском.

- А какою срока службы?

- Четырнадцатого.

- Та-ак. Небось и нашей станицы были там казаки?

- Не знаю. И чего ты е разговорами этими? Я, может быть, не спал вею ночь, только вздремну! ь приладился, а гебя с расспросами приспичило.

- Ладно уж, поспи, я ведь тоже был молодым-то, понимаю.— Добродушно улыбаясь, Захар перевернулся на другой бок.

Мишка снова окунулся в воспоминания минувших дней, снова перед его глазами как живая встала Маринка, ночь, дощатый забор, куст черемухи. Он проспал бы, наверное, весь день, если бы не встревоженный голос Захара:

- Михаиле! Вставай живее, несет кого-то нечистая сила. На наших -никак не похоже, распу зырнвают какие-то во весь дух на паре, Уж не большевики ли зги анафемские?

Мишка громко зевнул, потянулся н, приподняв голову, посмотрел в ту сторону, куда показывал Захар.

- Хлестко идут! — согласился Мишка. Стараясь разглядеть едущих, он привстал на одно колено, заслонился рукой от солнца. А они все ближе, ближе. Мишка уже различат масти лошадей: в кореню рыжая, каурая на пристяжке, а когда ямщик свернул в сторону, чтобы объехать кочковатый лог, разглядел и людей.

— Трое едут,— сообщил он Захару,— впереди в соломенной шляпе кучер, должно быть, а позади двое в защитном, военные, видать.

— Оне,— Захар схватил бердану, поднялся на нога.— Сейчас мы их застопорим и первым делом документ стребуем. Ты как в грамоте-то, маракуешь?

— Все классы босиком прошел,— Мишка ощерил в улыбке, белозубый рот.— Еще в коридоре постоять хотел, да сторожиха прогнала.

— Не зубоскаль,— сердито буркнул Захар.- тут дело сурьезное, всячина может быть.—И, помолчав добавил: — Тогда сделаем так: остановим их, спросим и, ежели увидим, люди подозрительные, заарестуем — и к атаману, там лучше разберутся, кто и чего.

— А если они не дадутся арестовать-то. Большевики-то небось не ездят с пустыми руками.

— Тогда, в случае заерепенятся, и мы оружие в ход пустим. Стреляй в одного, я в другого, а не то и в шашки воз-мем. Наубег кинутся - бей по коням, пеши-то они никуда не уйдут.

— Ладно. - Мишка взял бердану на изготовку, вышел на дорогу, Захар, с ружьем наперевес, стоял неподолеку и, когда путники подъехали ближе, заорал:

— Сто-ой!

Ямщик осадил лошадей, из-за спины его, перегибаясь влево, выглянул чернобровый, широкоплечий казачина, спросил:

— Что такое?

— Кто такие? — вопросом на вопрос ответил Захар.

— Документы! — потребовал Мишка.— Один ко мне, остальные...— И не закончил, так как произошло неожиданное. Захар, опустив бердану к ноге и широко улыбаясь, поспешил к военному.

— Фрол Омельяныч! Живого видеть! Вот так встреча, здравствуй, дорогой! Узнаешь?

— Узнаю, Захар Львович, здравствуй! — Фрол легко выпрыгнул из тарантаса, крепко пожал руку Захару.

«Вот это богатырь,— с уважением глядя на могучую фигуру приезжего, подумал Мишка.— Ручищи-то, а плечи, и силен, однако! А казак, сразу видать».

В этом Мишка был прав: хотя на Фроле и были брюки без лампасов, а на защитной гимнастерки, туго обтянувшей выпукло-широкую грудь и бугристые мускулы рук, не было никаких знаков отличия, все в нем — и выправка, и выбившийся из-под

фуражки темно-русый чуб — изобличало казака. На поясе справа висел наган в новенькой желтой кобуре. А с шеи на грудь на тоненьком ремешке свешивался полевой бинокль.

— А молодого что-то не признаю.— Здороваясь с Мишкой, Фрол задержал его руку в своей широченной, как лопата, ладони, пристально посмотрел на молодого казака.

— Не здешний я,— поспешил ответить Мишка,— Ушаков Заозерной станицы, а тут вроде как в работниках.

- Вот как. А чего вы тут во всеоружии, охраняете кого, что ли? Или карантин в поселке?

-Да нет, Фрол Омельяныч,— вновь заговорил Захар.- Насчет этого спокойно. Лонись[1] об эту пору действительно

сидели мы в карантине,-чесотка была на коней. А нынче от болезни бог миловал, так другая беда привязалась, еще хуже и чесотки. От большаков охранямся, будь они миром прокляты.

— От большевиков, - поправил Мишка.

Вот-вот, от этих самых. В Борзинском, говорят, обозна-чились. Вот их там не видели случаем?

- Бо.тьшевико-ов? — округляя карие, с синеватыми бел-ками глаза, протянул Фрол, широченные плечи его вдруг за-тряслись, от могучего басовитого хохота всхрапнула каурая пристяжка, а с ближнего прясла врассыпную шарахнулась

стайка перепуганых воробьев.

Не понимая над чем расхохотался Фрол, Захар недоуме-вающе посматрел на него, переводя взгляд на тарантас. Но и сидящий там второй военный, в таком же, как и Фрол, обмунди-ровании, с наганом на боку, тоже покатывался со смеху. Даже возница, пожилой, с виду угрюмый человек, степенно посмеи-вался в бороду.

— Что такое? Тут и смешного-то навроде как нету ничего.— Смущенный Захар почесал за ухом.— Ведь на сходке же было объявлено. Я-то, по правде сказать, человек темный, но ведь там и другие были, грамотные, умные люди, вот хоть бы и твоего родителя взять, Омельяна Якимыча, тоже человек неглупый. Писарь гумагу из станицы читал, где про этих большаков было сказано, я это очень даже хорошо слышал. Ну а потом, значить, приговор составили, подписали все, как следует быть. Истинный бог, ничего не пойму.

— Отец-то мой, ха-ха-ха, Фрол вытер платком выступившие от хохота слезы,— тоже подписался?

[1] Лонись — в прошлом году.

— А как же, иодписа-ал, все подписались. Правда, один отказался, Яшка Башуров, ну это человек-то такой, ни то ни се, баламут.

— Ох и учудили поселыцики.— Все еще смеясь, Фрол оглянулся на второго военного: — Видел, товарищ Богомягков, какие номера здесь выкидывают! Если рассказать кому, не поверят, ни за что не поверят. – II уже серьезно к Захару: — Вот чо, дядя Захар, делать вам здесь нечего, ступайте оба домой. Большевиков вам все равно не укараулить, паоваляли дурака, хватит. Зайдите к атаману, скажите, что я, как член областного Совдепа, снял вас с поста и эти ваши караулы отменяю, понял, Захар Львович?

— Понять-то понял, только мне ведь не запомнить вссег-то. Да мы просто скажем, что сам Фрол Оме.тьяныч отменил наши караулы. Мы ведь слыхали, что ты теперь большими делами заправляешь в области-то, в генералах, говорят, ходишь, верно аль нет?

— Верно,— вновь засмеялся Фрол, обнажив под черными усиками снежно-белые крепкие зубы.— Пусть атаман сейчас же явится ко мне. Мы у отца остановимся.

— Это мы мигом.— Повеселевший Захар вскинул бердану на ремень.— Значить, кончилась наша служба-господи. Оно бы, по-настоящему-то, разводящего надо, но раз
большие члена приказывают, наше дело маленькое! Пошли, Михаиле

— Пошли!

— Доброго здоровьица, Фрол Омельяныч.

— До свиданья. Да, вот еще что. Попрошу вас зайти к этому, который не стал подписывать приговор, к Вашурову. Сегодня, наверно, будет сходка, пусть он придет туда, скажите, что я хочу с ним поговорить. Сами тоже приходите, кстати там и большевиков посмотрите.

Захар даже рот разинул от удивления, хотел расспросить Фрола, про каких большевиков он толкует и откуда им здесь взяться, но Фрол уже сел в тарантас. Кучер тронул вожжи, лошади дружно подхватили легкий на ходу экипаж.

День выдался на редкость жаркий. К полудню все вокруг словно вымерло, на пашнях, на еланях и в полях не видно ни одного человека. Пахари попрятались от зноя в палатки, землянки и под телеги. Лошади и быки их забились в кусты и болота, спасаются там от жары, овода. Пусто и на луговых пастбищах, табуны овец и коров пережидают жару в воде, на отмелях Аргуни и на берегах ее, в зарослях тальника.

Жаром пышет раскаленный песок в улицах станицы, к теневой стороне заборов и домов жмутся телята; уткнувшись мордами в завалинки, машут хвостами прибежавшие с .туга лошади. Тишина, даже собаки не тявкают; высунув языки, лежат они в тени плотней и амбаров. Только босоногие, с облупившимися носами, выгоревшими на солнце волосенками и загорелые до черноты ребятишки, сверкая голыми пятками, бегут на Аргунь. Сбросив на ходу штаны и рубашки, они с разбегу кидаются в прохладную воду, и веселые голоса их, шум и плеск нарушают сонливую тишину.

Такую картину можно наблюдать во всех селах станицы, лишь в Покровском необычное для этой поры оживление. Приезд Фрола оживил, взбудоражил поселок, вот почему в улицах его, несмотря на несносную жару, видно сегодня не только ребятишек, но и парней и стариков. В раскрытые окна домов перекликаются через улицу, делятся новостями бабы. А их, этих новостей, сегодня хоть отбавляй. Шуточное дело, приехал Фрол и сразу же посты снял, приказал не охраняться от большевиков! Не успели наговориться об этом как следует - другое.

— Кума Авдотья высовываясь из окна, кричала соседке здоровенная, как спелый помидор, бабища.— Слыхала новости-то?

— Чего такое? - из окна соседнего дома выгля нули сразу две бабы. - Фрол-то атамана к себе потребовал и Павла Патрушева. - Слыхала. Да вот сватая Микитишна говорит, он и Яшке Башуров у приказал явиться и этому рестанту Антипке.

— Ну уж этим попаде-ет. Яков-то вечно спорит со всеми, да и Антипка то же самое, а кто он нам есть? Пришей кобыле хвост, а ведь пользуется и землей и всем наравне с казаками.

Более любопытные бабы бегали к Еме.тьянихе попросить опары в тесто, но Фрол с Богомягковым заперлись в горнице; о чем они разговаривали там с сельчанами, бабы так и не узнали. К великой досаде их, Яков с Антиием возвращались от Фрола веселые, словно с именин после хорошей выпивки. А «делегат» Патрушев шел по улице мрачнее осенней тучи, бабы к нему с вопросами:

— Сват Павел, чего это такой морошной? — Насчет чего вызывал-то?

— Отвяжитесь,— Павел досадливо махнул рукой, но все же остановился, вытер рукавом обильно струившийся с лица

пот.— Ну, вызывал меня Фрол насчет новых законов посоветоваться, так это вовсе не вашего бабского ума дело. На сходку посылайте своих казаков к вечеру, от них потом и узнаете, что и чего.

А в это время Яков с Антипом на видных местах — на стенах домов, на столбах и заборах — расклеивали воззвание областного Совета депутатов и военно-революционного штаба, отпечатанное на серой оберточной бумаге. Около них грудились стаями ребятишки, а потом и взрослые, читали, слушали, запоминали, чтобы рассказать другим.

На перекрестке двух улиц у столба с наклеенной на нем листовкой собралась толпа из молодых парней и подростков.

— «Товарищи казаки! — читал парень в сарпинковой рубахе.— Идите, не медля ни минуты, в Первый Аргунский полк . Тот полк, который не выронил и не выронит из своих рук знамя революции до полной победы над врагом. Дружными усилиями разгромим темные силы контрреволюции. Очистим родное Забайкалье от грязной пены семеновской а в а н т ю р ы » . Ну братцы, начала-ась кутерьма, теперь и наш год захватит. — Выпячивая грудь, парень с напускной серьезностью скосил глаза на подростков и продолжал, растягивая слова: хлебнем мурцовки, это уж как пить дать... Война нынче не в пример жестокая, пулеметы, всякие газы, орудия такие, что за пятьдесят верст бьют, так что домой-то из нас навряд ли кто и вернется.

— А может, и не захватит нас? Вить ишо девятьнадцатый год не взяли.

— Возьмут. Наш год вместе с девятнадцатым заберут. В станице уже списки заготовили, своими глазами видел.

Такие разговоры и споры вскипали сегодня повсюду на улицах, в избах. Село словно проснулось, загомонило, зашевелилось, как муравейник, развороченный копытом. Одним казалось, что ничего тут не будет серьезного. «Ведь было так же вот в прошлом году,— уверяли они сельчан,— сколько было шуму, разговору про эти революции, а ничего-о, обошлось, как жили, так и до се живем. Так же и теперь: поговорят, да и бросят».

Некоторые соглашались с этим, скептически заявляли:

— Нам все равно, что поп, то и батька. Какая бы власть ни была, нас в управители не поставят. Так что наше дело сторона.

А многие уверяли, что теперь-то уж всерьез пришла революция. Откровенно радовались наступлению новой жизни,

надеясь обрести в ней избавление от вечной нужды, зажить сытно, в достатке.

— Дурачье! — корил односельчан, собравшихся у школы, чернобородый, в батарейской фуражке Поликарп Дятлов, один из самых богатых казаков в селе.— Нашли чему радоваться! Да лучше того, как жили, нам и желать нечего. Думаете, новая власть придет, так манна с неба посыпется, как же, разевай рот шире. А вот как заявится к нам этот совдеп, какой в Чите объявился, так он вам такую слободу пропишет, что волком завоете.

— Ну уж ты и загнул, дядя Поликарп, хотя в кипятке попарил бы сначала.

— Да за что же обижать-то нас? Хоть бы и новой власти.

— За что? А девятьсот пятый год забыли? А-а-а, вот то-то и есть, за это самое и припекут нас, как лисицу в капкане. Вот оттяпают земельку-то и хлеб повыгребут, ведь рабочих-то надо кормить, скота заберут, и живи не тужи.

— Не может этого быть.

— А вот увидите.

А по улицам уже мчались конные посыльные, зазывая людей на сходку.

ГЛАВА XV

К вечеру, когда спала полуденная жара, жители поселка Покровского потянулись на сходку. День сегодня предпраздничный, канун Петрова дня, с пашен повыехали рано, и пахари, помывшись в бане, а то и махнув на нее рукой, поспешили на сходку.

Народу понабралось к Апостолу столько, что все-то и не вместились в его довольно-таки просторную избу, а поэтому сходку решили проводить в ограде. Люди расселись на завалинке, на крыльце, на телегах, на куче жердей и прямо на земле, густо заполнив ограду.

Наступил вечер. Солнце низко повисло над сопками, длинные, широкие тени от домов и заборов покрыли улицы, дворы, темными полосами легли на гладком плесе Аргуни, где отражались глинобитные фанзы, лавки китайцев. Из улиц доносилось мычание коров, идущих с пастбища, звонко перекликались голоса девок и баб. В воздухе мешались запахи парного молока, уличной пыли, табачного дыма и распаренных березовых веников.

Сходка началась на этот раз по-новому: руководили ею не атаман с писарем, как обычно, а президиум. Избрали туда

Фрола Емельяныча, приехавшего с ним Богомягкова и Данилы Орлова. Все трое уселись за столом, который вынесли для них из избы. Богомягков постучал по столу карандашом, объявил, что слово для доклада имеет заместитель командующего фронтом, член областного Совета депутатов, он же член военно-революционного штаба Забайкальской области товарищ Балябин.

Сидевший неподалеку от стола сивобородый дед крякнул, почесал за ухом.

— Эка, паря, нахватал чинов-то, боже милостивый. Почище самого наказного атамана.

Деду, завистливо вздохнув, поддакнул другой старик:

— Жалованья-то он грудит, однако.

— Да уж это само собой...— И, не слушая, о чем начал говорить Фрол, дед, прикрываясь ладонью, зашептал в хрящеватое, заволосатевшее ухо соседа! – А ить из нашего брата выбился. На моих глазах вырос, таким сорванцом был, что не приведи господь. В огород ко мне по суседству повадился огурцы воровать, я его подкараулил однова да орясиной по заднице будущего-то генерала. Хи-хи-хи, поди, до се помнит...

— Тиш-ше вы...

А в это время Фрол говорил о том, что уже три месяца тому назад в Чите на областном съезде делегатов от рабочих, крестьян, казаков и красноармейцев стоял вопрос о создании новой власти. Что съезд одобрил политику Коммунистической партии большевиков, одобрил декреты Совета Народных Комиссаров, подписанные товарищем Лениным, и организовал в области советскую власть.

— Все это слышал ваш делегат Патрушев, од голосовал за советскую власть, а вернувшись в свое село, почему-то не сказал об этом ни слова. Более того, он подписался под тем нелепым приговором, направленным против большевиков. Против советской власти. Это что? Простое недомыслие или предательство, тактика врага советской власти? Патрушев объяснил это свое двурушничество темнотой, невежеством, можно этому поверить? Судите сами, ну чего проще, приехавши со съезда, по-своему, по-мужичьи рассказать сельчанам об организации в области новой, советской власти. Для этого и грамоты не нужно.

Фрол смолк, медленно обвел взглядом сидящих перед ним станичников. А они, словно камыш под ветром, зашевелились, задвигались. Кто оглядывался на красного как рак Патрушева, кто, осуждающе качая головой, выговаривал ему с укором:

— Что же это ты, Павел Иванович, сплоховал?

— Такого простого дела и не смикитил?

— Голова садовая...

— И человек вроде неглупый, а видишь, как получилось...

С Павла бисером сыпал пот, он вытирал его верхом фуражки, бормотал, заикаясь:

— Да вить я же... кабы сразу-то... ну ей-богу...— Он хотел что-то сказать в свое оправдание, но, встретившись взглядом с Фролом, осекся на полуслове: тот так ворохнул на «делегата» глазами, что у старика сразу онемел язык, слова застряли в горле.

— На фронте за такие дела,— Фрол, склонившись над столом, продолжал сверлить старика взглядом,— к стенке становили, понимаешь? Но мы с тобой поговорим еще.— Он выпрямился, расправил могучие плечи и заговорил, уже обращаясь ко всему собранию: — А теперь у меня ко всем вам, дорогие посельщики, вопрос: что у вас такое творится? Мне сегодня стыдно было за вас перед товарищем Богомягковым, до чего додумались, умные головы. Большевиков не пускать в станицу. Вы что же, никогда не слыхали про них? Не читали газет? А фронтовики, вы-то чего думали? Забыли, как на фронте, на митингах, за большевиков голосовали? Ведь многие из вас, вернувшись с фронта, и себя к большевикам причисляли.

По собранию зашелестел шумок, смех, послышались голоса:

— Газеты мы, известное дело, больше на курево...

— А за большевиков голосовали, это было...

— Так почему же вы теперь пошли против? — повысил голос Фрол.— И посмотрите, как смешно у вас получилось... вздумали остерегаться от большевиков как от чумы, не пускать их в свою станицу. Так почему же нас-то вот пропустили? Ведь мы с товарищем Богомягковым и есть эти самые большевики-коммунисты. Больше того, в нашей области мы являемся руководителями, так сказать, главарями большевиков — так что же вы робеете? Хватайте нас. Вяжите.

Фрол замолчал, улыбаясь смотрел на смущенных сельчан. Все притихли, словно притаились. Кто-то, тяжело вздохнув, проговорил виноватым голосом:

— Промашка вышла...

И сразу же другой голос:

— А ты не серчай на нас, Фрол Омельянович, ведь мы же это не со зла. Просто думали, какие-то лихие люди, навроде хунхузов, ну и вот... решили, значит, остерегаться их. А кабы знать по-настоящему-то, и разговор был бы другой...

— Совершенная правда, так оно и было.

— Ты вот человек ученый, в управителях ходишь, вот и расскажи нам, что и как.

— Верно.

— Про власть разъяснить покорнейше просим.

— Я уже сообщил вам,— снова заговорил Фрол,— что в нашей области создана советская власть. Давайте разберемся, что это за власть и что такое партия большевиков.

Фрол не был блестящим оратором, но слушали его внимательно, потому что говорил он простым, понятным его станичникам языком... Лишь когда он стал рассказывать, как по новым законам землю, конфискованную у помещиков, передали крестьянам, кто-то из дальнего угла ограды крикнул:

— Это нам ни к чему, помещиков у нас нет. А земли — вон ее сколько, пожалуйста.

Фрол посмотрел в сторону говорившего, отрицательно покачал головой, спросил:

— А владеют этой землей все одинаково? — Не дождавшись ответа, он поискал глазами среди сидящих вблизи стола, остановился взглядом на долговязом парне в розовой, побуревшей от пота рубахе.— А ну-ка скажи нам, Вдовин, если не ошибаюсь,— сколько земли у тебя?

Парень удивленно вскинул голову:

— Это у меня, что ли? Земли сколько? А я даже и не знаю, в работниках живу, какая у меня земля? А вопче-то должна быть, вить она у нас не делена: паши кто где хочет! Ну и пашут, у кого сила-то есть...

— Значит, кто-то твоей землей пользуется?

— Стало быть, так.

— Вот видите, земли много, а кто владеет этой землей? — Фрол на минуту смолк, повел глазами по собравшимся и сам же себе ответил: — Богачи. Они, воспользовавшись тем, что земля у нас не делена, захватывают ее с каждым годом больше и больше, разрабатывают целину, под пашни, под пастбища захватывают целые пади. Обрабатывают землю для богачей бедняки, которым и в голову не приходит потребовать со своих хозяев арендную плату. Более того, они даже налоги платили наравне с богачами, и зачастую даже больше, потому что налоги у нас брались не с доходности, а подушно. Так где же тут справедливость?

И тут на сходке поднялось такое, что последние слова Фрола захлестнуло гулом множества голосов.

Люди словно проснулись и только сейчас увидели ту вековую несправедливость, которую терпеливо сносили в течение всей своей жизни. И вот теперь в душе каждого из бедняков заклокотала обида, она развязала им языки, рвалась наружу. Все повскакали на ноги, заорали, заспорили, долговязый Вдовин, размахивая руками, кричал что-то, подступал к сивобородому казаку в новой фуражке, тот, отругиваясь, пятился к ограде. Черноусый казак в клетчатой рубахе, матюгаясь, расталкивал локтем сельчан и уже тянулся руками к бороде старика Овчинникова, но тут кто-то облапил его сзади, оттащил, не допустив до драки. Все собрание разбилось на группы. В пестрой ревущей массе людей мелькали руки, бороды, красные от возбуждения лица, голоса их слились в сплошной немолкнущий рев, из которого, как всплески воды, вырывались отдельные голоса и выкрики:

— Вот она, земля-то, где.

— Кто-о... когда-а...

— Залог-то на моей земле вспахал!

— За что, спрашивается...

— Отцепись!

— Какой долг?..

— Да я вас...

— Не лезь, морда корявая, а то я так садану...

— На чем? На чем пахать, на бабе?..

— А я что говорил вам,— поднимаясь на костылях, радостно басил Яков Башуров,— не верили. А оно в самую точку по-моему вышло.

Но басистый голос Якова терялся во всеобщем гомоне. Председательствующий Богомягков тоже поднялся, шепнув на ухо Фролу:

— Ну, расшевелил ты своих земляков, поняли, в чем дело-то. Вот тебе и классовая борьба.

Фрол в ответ лишь кивнул головой. Сложив руки на груди, он молча любовался разбушевавшимся собранием. Он видел, что симпатии подавляющего большинства поселыциков на его стороне, на стороне революции, но в толпе сельчан он видел и явно недовольные лица, сталкивался глазами с их откровенно враждебными взглядами, а в общем гуле улавливал злые реплики в свой адрес:

— Ему что-о теперь, откололся от нас.

— Изменил казачеству.

Богомягкову при помощи Орлова и еще двух-трех фронтовиков с великим трудом удалось восстановить порядок, утихомирить разволновавшихся граждан. Мало-помалу люди успо-

коились, образумились, один по одному уселись кому где пришлось; постепенно затихая, прекратились их споры.

Хозяин принес из избы и поставил на стол зажженную лампу, так как солнце давно уже закатилось и вечер окутал станицу сумраком. Из-за далеких зубчатых гор на китайской стороне Аргуни величественно выплыла луна. Над головами притихших станичников потянулись курчавые дымки, красными точками замигали самокрутки.

— Советская власть,— вновь заговорил Фрол,— устранила эту вековую несправедливость, теперь землей будут владеть те, кто работал на ней.

— На чем же они работать-то будут? — послышался насмешливый голос из дальнего угла ограды, затененного амбаром.— Разве что баб запрягут вместо быков.

— Ха-ха-ха-ха...

— Об этом позаботится советская власть,— нимало не смутившись, ответил Фрол,— она поможет бедноте встать на ноги, научит обрабатывать землю коллективным трудом.

— Нау-учит носом хрен копать...

— Это как же понимать: коллективный труд?

— По-ученому, значит, машинами.

— Это нам ни к чему, а вот землю поделить — это да-а...

— Отцы наши, деды жили без машин да бога хвалили.

— Конечно, советская власть не всем по вкусу,— не обращая внимания на ядовитые реплики, продолжал Фрол,— да оно и понятно; разве понравится богатому казаку поделиться землей с беднотой? Не по нутру им и новые законы о налогах, когда платить придется с доходности, и то, что власть эта заступается за бедняков, заставляет богачей увеличивать плату за наемный труд...

На западе уже тухла заря, высоко поднялась луна, в ограде стало светло, как в сумрачный день; время подвигалось к полуночи, а Фрол все говорил и говорил: о мероприятиях советской власти, о ее декретах и постановлениях. Речь свою он закончил призывом встать на защиту свободы и революции, против белогвардейских банд атамана Семенова, объявил приказ военно-революционного штаба Забайкальской области о мобилизации в ряды Красной гвардии шести возрастов казаков, срока службы 1914—1919 годов. Теперь он уже не сомневался, что его поселыцики пойдут за ним без колебаний; так оно и получилось. Приказ о призыве в армию приняли как должное, и вопросы, которые посыпались отовсюду, были уже чисто служивские:

— Когда выступать?

— Где сбор-то будет?

— Коней ковать али нет?

— Чего их ковать,— ежели потребуется, подкуем на месте.

— С харчами как, на дорогу брать из дому?

— Дозволь спросить,— обратился к Фролу Захар,— моего Кешку тоже захватило, а конь-то его строевой охромел... что и делать теперь, ума не приложу.

— Не беспокойся, Захар Львович, коня твоему сыну дадим.

— Да неужели, казенного, значить?

— Найдем на месте.— Фрол снова поднялся из-за стола.— Товарищи, нам надо сейчас же избрать комиссию из трех человек, которой поручить снабдить лошадьми за счет богатых хозяев всех нуждающихся казаков, призванных и вступивших добровольно в ряды Красной гвардии.

Если бы в это время в ясном небе загремел гром, казаки удивились бы этому меньше, чем сообщению Фрола. Сначала собрание затихло, как степь перед бурей, затем какой-то старик проговорил со вздохом:

— До чего дожили, господи милостивый.

И сразу же по всей ограде зашумело собрание, отовсюду посыпались вопросы, негодующие реплики:

— Это что же такое, грабеж среди бела дня!

— Сроду этого не бывало.

— Дела-а...

— Казак наш, а конь под ним суседов.

— А вопче-то правильно, мы головы свои не жалеем, а вам коней жалко?

— Верно-о.

— Неправильно это, самоуправство, и больше ничего.

— А-а, неправильно, у меня вон двоих берут, а у Коноплева ни одного, это как, правильно?

— Коноплеву эта война нужна как прошлогодний снег.

— Мало ли што, она и мне не нужна, а казаков-то у меня берут, так пусть и Коноплева она коснется.

— Правильно, стребуем коней без никаких! Теперь власть-то нашей стороны держится, хватит вам, поцарствовали.

Богомягков призвал расходившихся спорщиков к порядку, и после того как избрали комиссию по реквизиции лошадей для нуждающихся в них казаков, объявил собрание закрытым.

Собрание разошлось не сразу. Споры, ругань долго еще

вскипали в ограде Апостола, выплескивались на улицу, растекались во все концы поселка.

Яков Башуров, очень довольный тем, что его по настоянию Фрола избрали председателем реквизиционной комиссии, приковылял к столу.

— Ты уж, Фрол Омельяныч, гумагу мне выдай насчет комиссии-то, чтобы, значить, все было честь честью, форменно.

— Завтра утром, Яков Иванович, приходи ко мне, там мы тебя проинструктируем и оформим все, что надо.

— Во-во, а уж насчет коней-то будь спокоен, снабдим наших казаков-красногвардейцев, тряхнем буржуев.

В Красную гвардию казаков провожали так же, как и в старое время: с выпивкой, причитаниями и благословениями. Разница была лишь в том, что на плечах у казаков не было погон и некоторые из них седлали не своих коней, а реквизированных у богачей.

День выдался пасмурный, низко над станицей плыли тяжелые темно-свинцовые тучи, и временами начинал накрапывать мелкий дождь. Сегодня будни, но по случаю проводов в поселке праздничное оживление. На улицах толпами собираются нарядные девки и парни, из открытых окон многих домов доносится звон посуды, пьяные голоса и песни подвыпивших сельчан. А по селу уже носятся верхами на лошадях посыльные, торопят с выездом. Один из них подъехал к новому, в три комнаты дому Орловых, постучал черенком нагайки в раскрытую створку окна:

— Сват Федор! Торопись со своими казаками, выезжать время!

— Сейчас! — Из окна высунулась седобородая голова старика.— А, сват Мирон! Заходи.

— Нельзя, сват, никак нельзя, мне еще две улицы надо проверить.

— Ну выпей хоть на проводинах-то.— Старик достал со стола полный стакан водки.— Пей!

— Это можно.— Посыльный принял из рук старика стакан.— Ну, счастливого пути вашим казакам. Дай бог как проводить, так и встретить их в добром здравии.

Мирон выпил, закусил половиной калача, еще раз попросил старика:

— Поторопи их, сват. Пожалуйста. Бугринские вон уже все проехали, и атаман с ними, ждут на закрайке.

— У нас всё на мази, сейчас прибудем.

В ограде Орловых переступали с ноги на ногу привязанные к столбу, оседланные, завьюченные по-походному кони — гнедой белоноздрый строевик Данилы и рыжий Мишки Ушакова.

Мишки не было в списках станичников, но так как казаки его возраста подлежали мобилизации, он заявил о себе атаману и записался в Красную гвардию добровольцем, вместе с братом Фрола Балябина, Андреем, и таким же молодым парнем Степаном Бекетовым.

В доме началось прощание. После того как гости вышли из-за стола, сгрудились в задней половине комнаты и в коридоре, отец Данилы, пожилой, седобородый Федор Матвеевич, снял с божницы икону Спасителя, благословил ею Данилу, а заодно и Мишку Ушакова.

Когда все из дому повалили в ограду и в улицу, Мишка, надевая шашку и патронташ, шепнул Даниле:

— Ты иди с компанией-то, а я за Андрюшкой Омельяновым забегу, ладно?

— Валяй!

Мишка, гремя шашкой по ступенькам, сбежал с крыльца, отвязал рыжего, вскочил в седло. Но поехал он не прямым путем через проулок, а по большой улице. Против атаманского дома сдержал коня, поехал шагом, но Маринки так и не увидел.

«Значит, ушла туда с девками»,— подумал Мишка и, взмахнув нагайкой, пустил коня в галоп.

В усадьбе Емельяна Акимовича тоже многолюдно: провожающие толпились не только в избе, но и в сенях и на крыльце. Андрей, в казачьем обмундировании, с алой лентой на груди и при шашке, уже принял благословение отца, попрощался с родными, с младшими братьями, со стовосьмилетней прабабушкой Анисьей. Старуха дрожащей рукой крестила правнука, приговаривала, вытирая слезы концом головного платка:

— Храни тебя чарица небешная, кажаншка божья матеря. Пошлужи, Андрюшенька, верой и правдой чарю-батюшке, поштой за веру правошлавную...

Вскоре вся компания провожающих двумя шеренгами двинулась вдоль по улице, а посреди них, с конями в поводу, Андрей и Мишка. Кто-то запел, и все хором подхватили:

Прощай, сто-о-ро-о-нушка моя родная,
Ой да вы прощайте, милые друзья,
Благослови-и-ко, маменька родна-а-я,
Ой да, может, на смерть иду, мальчик, я-а...

ГЛАВА XVI

Войска новоиспеченного «походного» атамана Семенова отступали во всех направлениях, все более сжималась подкова красного фронта.

Один из семеновских кавалерийских полков, в котором находился и Спирька Былков, чтобы оторваться от красных, сделал ночной стоверстный переход и, остановившись в поселке Черный Яр, начал спешно окапываться, готовиться к обороне.

Веселая жизнь началась у Спирьки Былкова после того, как он, бросив Янкова, переметнулся к белым. Ему, любителю легкой жизни и поживы, особенно привольно было во время весеннего семеновского наступления. К этому времени на погонах у него появилось уже три урядницкие нашивки, он командовал взводом, в который подобрал самых что ни на есть отъявленных головорезов изо всего полка. Во главе этой банды любил Спирька первым ворваться в захваченное село, чтобы раньше других «погостить» у сельчан, пошарить у них в ящиках, «подержать за кисет» перепуганного хозяина. Потому-то имел Спирька заводного коня, навьюченного всяким добром, да и сам-то ходил щеголем: фуражка на нем касторовая, сапоги хромовые, гимнастерка из тонкого дорогого сукна. Пуще всего на свете любил Спирька золото. В кармане у него не переводились золотые пятирублевки царского чекана, грудь украшала золотая цепочка от часов, на руках, чуть не на каждом пальце, золотые кольца; даже лампасы на синих галифе блестят как золотые, потому что не из простого сукна они, а из атласной ленты.

В поселке Черный Яр Спирьке не повезло: ничего не добыл он для себя, ни золотишка, ни подходящих манаток. У двух богатых хозяев побывал он, старательно проверил их сундуки— и все без толку.

На постой Спирька и пятеро белогвардейцев из его взвода заехали к богатому казаку. Но и тут ничем не поживился Спирька. Матюгаясь, ходил он по ограде, по-хозяйски заглядывая во все закоулки. Побывал он и на сеновале, и в гумне, и в добротных, крытых тесом амбарах.

Хозяин, высокий рыжебородый старовер, молча наблюдал с крыльца, как в его усадьбе бесцеремонно распоряжается всем рябой, зеленоглазый урядник.

Приказав своим казакам расседлать коней, а после водопоя задать им овса, Спирька прошел в дом, посоветовал перепуган-

ной, побледневшей при его появлении хозяйке: «Богородской травы напарь да и выпей, от испугу помогает. И чего забоялась-то? Тесто вон в квашне-то через край пошло. Напеки-ка лепешек нам к завтраку, да сметаны побольше занеси, масла. Вечно учить вас надо хорошему обхождению, а сами сроду не догадаетесь!»

Спирька сел на скамью, зажал между коленями шашку. В избе появился хозяин, тихонечко присел к столу.

— Тоже мне жители,— напустился на него Спирька,— сбоку посмотреть — богачи, а лопоти [1] ни на себе, ни перед собой. В церкву-то в чем же ходите по праздникам?

— До праздников нонешний год! — Хозяин, искоса поглядывая на жену, взглядом приказывая ей помалкивать, поглаживал бороду, тянул жалобно: — Нету, восподин урядник, ничего у нас нету. Пообносились за войну-то, в чем на работу, в том же и в церкву идем. Что ж поделаешь, бог простит.

— А кони где у тебя?

— Три кобыленки осталось с жеребятами, только и всего. Пять лошадей что ни лучших взяли намедни красные, а взамен даже и клячи водовозной не оставили.

— Как это они бороду у тебя не оттяпали на чембуры! Ишь какую отрастил, как у жеребца хвост. Хитер ты, дядя, ох и жмот! Сколь живу — первый раз такого вижу.

Укоризненно покачав головой, Спирька достал из кармана серебряный портсигар с папиросами.

— Не надо, восподин урядник, не надо! — взмолился старовер.— Не дыми, пожалуйста, не погань хоть избу-то...

— Ага, не пьешь из этого!

— Бери што тебе надо,— жалобным голосом упрашивал хозяин, просительно прижимая руки к бороде,— бери, только не жги эту зелью проклятую!

— Ладно уж! — Сощурив глаза в презрительной улыбке, Спирька положил портсигар обратно в карман.— Так и быть, уважу по старой дружбе. А ты за мою доброту поторопи-ка хозяйку с лепешками-то. А к обеду прикажи ей щей наварить пожирнее человек на десять... ну и поджарить там чего-нибудь получше. Да мяса-то не жалей, я ведь видел, сколько его висит в амбаре-то. А не то как приведу к тебе на постой целый взвод, да все трубокуров хороших, так они тебя насквозь прокоптят, из рыжего черным сделают. Так что не доводи до греха, за ваши же антиресы воюем, спасаем вас от болыневизны.

[1] Л о п о т ь — одежда.

После обеда Спирька до вечера отсыпался на сеновале, а в ночь сам напросился в разъезд во главе десятка баргутов: он надеялся побывать на дальних заимках богачей и проверить, не там ли они прячут свое добро.

Довольнехонек возвращался Спирька из ночного разъезда на следующее утро. Ночью около одной из заимок удалось ему окружить красногвардейский разъезд из пяти человек. И хотя в этом бою потерял Спирька убитыми четырех баргутов, досталось от него и красным: только двоим из них удалось прорваться сквозь кольцо окружения, ускакать к своим. Двое остались лежать навсегда в кустах около речки, помеченные пулями баргутов; пятого, раненного в ногу, взяли живым.

При воспоминании о событиях минувшей ночи весело щурились зеленые глаза Спирьки, а толстые губы его расползались в довольной улыбке.

«Хорошо у меня получилось, удачно! — ликовал он про себя.— Языка захватил, да ишо и пакет при нем, а уж там наверняка секреты всякие прописаны. За такое дело мне, как старшему, обязательно награда будет: могут и крест на грудь повесить, а уж в вахмистры-то безусловно произведут. А там и до подхорунжего один шаг. Да-а, кому-кому, а мне везет по службице, не зря говорят про меня, что в сорочке родился, так оно и есть».

От веселых мыслей и утро казалось Спирьке краше обычного. А оно и на самом деле было замечательное: сыпали сверху серебристые трели жаворонки, покрытая росой, искрилась под лучами раннего солнца, переливалась всеми цветами радуги, бескрайняя степь. А в селе густо дымят трубы, поют петухи, играет на трубе пастух, на луг из села пестрой цепочкой тянется стадо коров.

Радостно у Спирьки на душе, услужливое воображение рисует ему картины будущего одну радужнее другой. Вот кончается война, семеновцы разгромили красных. Подхорунжий Спиридон Былков возвращается в родную станицу богачом. На двух заводных конях привозит он всякого добра и золота полные карманы. На такого героя-франта все девки заглядываться будут, и женится Спирька на первейшей изо всей станицы красавице. Дом себе отгрохает Спирька под железной крышей, получше еще, чем у Поликарпа Власьевича, и заживет он припеваючи: работать будут на него работники, а его дело только распоряжаться всем да водочку попивать с друзьями. А там, гляди, и в станичные атаманы выберут, будет управлять

всей станицей, разъезжать в фаэтоне по селам, ото всех ему почет, уважение. Вот она какая жизнь-то впереди, только бы войну закончить поскорее да с большевиками расправиться, чтоб и думать они забыли про революции да про социализмы эти всякие.

А часом позднее Спирька докладывал своему командиру Тирбаху о ночных происшествиях, как всегда привирая, преувеличивая свои заслуги.

Есаул только что встал с постели, сидел за столом в незастегнутом френче. Щуря от солнечного света заспанные, припухшие глаза, он растирал левой рукой голую грудь, зевал. Оживился есаул лишь после того, как Спирька сообщил о взятом в плен красногвардейце и положил на стол отобранный у пленника пакет.

— Ага! — Тирбах пробежал глазами адрес на пакете.— Хорошо. Так говоришь, красных целый взвод был?

— Так точно, господин есаул! Тридцать человек их было! — не моргнув глазом, соврал Спирька и продолжал расписывать дальше: — Как залпанули мы по ним из засады, сшибли двоих— у них сразу же паника. Я вижу, дело такое — командую своим: «По коням! Шашки вон, в атаку!» Ну и взяли их в работу: восьмерых изрубили в капусту, остальные наубег, только тем и спаслись, что кони у нас притомились. Из моих тоже полегло четверо, ну а их-то втрое больше.

— Молодец, Былков! К награде тебя представлю.

— Рад стараться, господин есаул! — гаркнул Спирька, еле сдерживая заклокотавшую в груди его радость.— Пленного куда прикажете?

— Веди его сюда.

Когда Спирька вышел, есаул разорвал конверт, извлек из него отпечатанный на машинке лист — приказ по фронту, подписанный командующим Сергеем Лазо. Прочтя первые строчки, есаул насупился, и чем дальше он читал, тем больше хмурился, и было отчего. В первом пункте приказа Лазо объявлял благодарность командиру пехотного полка Павлу Журавлеву за то, что им был окружен и полностью уничтожен гарнизон белых в селе Ключевском. В приказе подробно перечислялось, сколько орудий, пулеметов и боеприпасов было захвачено в ключевском бою красными пехотинцами.

Во втором пункте приказа говорилось о том, что восточное направление фронта упраздняется и все войска, отряды Красной гвардии входят в непосредственное подчинение командующему Забайкальским фронтом Лазо.

Спирька ввел пленника, сам стал позади него около дверей с обнаженной шашкой в руке. Пленником оказался Мишка Ушаков. Он был без фуражки, на плечах его выцветшей на солнце гимнастерки темнели полосы от споротых погон. Он шел, опираясь на березовую палку, припадая на левую ногу. Голенище сапога на ноге распорото, и видно, что она ниже колена забинтована полотенцем.

Есаул хмуро, исподлобья оглядел пленника, спросил:

— Фамилия? Из казаков?

Михаил, не глядя на офицера, буркнул:

— Ушаков, Заозерной станицы, казак.

— Большевик?

— Нет, не большевик.

— Так за каким же чертом тебя в красные-то понесло?

— Станица, в которой жил я последнее время, вся пошла за красных, а я что же, хуже других?

— С-сукин сын, прохвост,— злобясь, сквозь зубы процедил Тирбах,— изменник... подлюга!..

У Михаила чуть дрогнул подбородок, гневно сузились глаза, когда он, вскинув голову, глянул на Тирбаха.

— Полегче на поворотах-то, господин есаул. Ежели будешь лаяться, ни единого слова от меня не добьешься.

— Да я т-тебя, сучье вымя, повесить прикажу на воротах!

— Вешай! — блеснув глазами, воскликнул Мишка зазвеневшим от злости голосом.— Вешай, гад! Тебе это дело привычное, успевай, пока самому не навели решку!

— Каков подлец?!

С изумлением глядя на пленника, Тирбах откинулся на спинку стула, гнев его пошел на убыль, на лице медленно гасли багровые пятна. Поняв, что Ушакова на испуг не возьмешь, есаул переменил тон, заговорил мягче:

— Не струсил ведь! Ну, счастье твое, что характер у меня такой: уважаю смелых, а то бы каюк тебе. Ну ладно, раз такое дело, не буду вешать и даже прикажу отпустить тебя на все четыре стороны, если расскажешь мне все начистоту, понял?

— Понять-то понял,— пожал плечами Мишка,— да ведь я рядовой, чего я могу знать?

— Какого полка?

— Второго Аргунского.

— Где он теперь?

— Вчера был в Манкечурской станице.

— Сколько человек в полку?

— Откуда мне знать? В своей-то сотне путем не знаю.

— Слушай, Ушаков, тебе что, жизнь надоела?

— Нет, не надоела еще.

— Так чего ж ты дурака валяешь, незнайкой прикидываешься? Отвечай толком: кто у вас на этом направлении главарем был, Аксенов?

— Так точно, Аксенов.

— Убили его под Мациевской?

— Нет, ранили Гаврилу Николаевича, в госпиталь увезли.

— Та-ак, какие части в Манкечуре находятся?

— Не знаю.

— Ты горячих шомполов не пробовал еще, Ушаков, нет? Так вот: сегодня ты их попробуешь. Ребята у меня мастера на такие штучки. Как всыпят десятка три раскаленных докрасна да солью раны посыплют, так мертвый заговорит. Учти это и не вынуждай меня на такие дела. Понял?

— Понял.

— Даю тебе два часа на размышление. Отведи его, Былков, накорми там, все как следует, и через два часа ко мне. Да, человека три с шомполами пришли, на случай несговорчивости.

— Слушаюсь! — Спирька козырнул есаулу и, дернув пленника за рукав, посторонился, пропустил его вперед.

Несмотря на жаркий день, на улицах поселка многолюдно, всюду, куда ни глянь, видны белогвардейцы в японских, песочного цвета, мундирах. Одни копошатся в оградах около расседланных коней, другие, обвешанные оружием, расхаживают по улице, человек пятнадцать сидят в тени пятистенного дома, играют в карты.

Опираясь на палку, Мишка бережно передвигал раненую ногу, морщился от боли. Рядом шагал Спирька. Он не торопил пленника и даже разговаривал с ним. Заинтересовало Спирьку то, что Ушаков из Заозерной станицы, которая, об этом Спирька знал и раньше, славилась золотыми приисками. Он допытывался у пленника, работают ли прииски теперь, много ли там добывают золота и далеко ли до них отсюда.

Спирька привел красногвардейца к себе на квартиру, приказал хозяйке накормить его, покровительственно советовал Мишке:

— Ты на допросах-то не запирайся. Расскажи, что знаешь, и всего делов. Будешь кочевряжиться — запорет Тирбах до смерти, верно говорю. А правильно отвечать будешь — от-

пустит, ей-богу, отпустит. А я тебе коня приготовлю, и в ночь махнем на прииска. Ты меня только до приисков проводи и можешь отправляться домой, а я один исправлю все, что мне надо.

Не пришлось Спирьке вести Мишку на допрос к Тирбаху. Едва успели пообедать, как в селе поднялась суматоха, за окном трескуче хлопнул выстрел...

— Тревога! — Спирька метнулся к окну, откуда видно было, как по улице забегали конные и пешие белогвардейцы, в ту же минуту опрометью выскочил на крыльцо, заорал на своих: — Седловка! Живо-о!!

Мишка на минуту остался в избе без охраны. Хозяин, оглянувшись на дверь, успел сказать ему: «Дотянуть бы до ночи, выручу» — и смолк: в дверях появился Спирька.

— Куда я тебя теперь, в гроб твою... в печенки! — заорал он на Мишку.— Хозяин, открывай амбар, живо!

Хозяин, вмиг поняв, в чем дело, отложил в сторону хомут, соскочил, загремев ключами, потянул с ленивки потник-подседельник и рванную шубейку, вышел. По пятам за ним Спирька торопил прихрамывающего пленника:

— Шевелись живее! Ползешь, как мокрая вша по гашнику!

Пропустив Мишку в новый, под тесовой крышей амбар, хозяин кинул ему подседельник и шубенку, закрыл дверь на аамок, ключ положил в карман.

Спирька сказал что-то по-монгольски скуластому, узкоглазому харчену и, уже сидя на коне, подозвал к себе хозяина:

— Этот останется здесь часовым, передай ему ключ. Да смотри у меня: если пленный сбежит или еще что такое, своей головой за него ответишь. Понял? То-то!

ГЛАВА XVII

К вечеру семеновцы снова вернулись в Черный Яр, потеряв день в напрасной подготовке к обороне. Подвели их разведчики, принявшие табун скота за колонны красной пехоты. Красных кавалеристов-разведчиков семеновцы приняли за передовые дозоры и, полагая, что главные силы их где-то на подходе, спешились, принялись рыть окопы, ложементы, устанавливать пулеметы.

Красные разведчики, было их два взвода, заняли небольшую сопку напротив, растянувшись цепью по гребню ее, продержались там около часа, изредка постреливая, и, очевидно выяснив все, что надо было, скрылись.

Только к вечеру белые командиры поняли, что тревога оказалась ложной. Был отдан приказ сниматься с позиций, и на закате солнца голодные, злые от неудачного выезда семеновцы прибыли в поселок.

— В гроб их, в печенки, в селезенки... с эдакой разведкой,— зло матюгался Спирька, появляясь в ограде старовера. Увидев возле поленницы дров хозяина, Спирька остановил коня, спросил:

— Живой пленник-то?

— Чего ему сделается,— ответил хозяин,— сидит в амбаре, можешь удостовериться.

— То-то. Прикажи старухе ужин нам приготовить. Да поживее там, а коням овса мешка два нагреби, живо, ну!

Хозяин воткнул в чурку топор, не торопясь пошел в дом, а Спирька, продолжая ругаться, набросился на своих подчиненных, на одного из них замахнулся нагайкой, но тот ловко увернулся, нырнув под шею коню.

Подобрел Спирька только за ужином, когда хозяйка, разложив по столу деревянные ложки, поставила на стол берестяной чуман с крупными ломтями черного хлеба и перед каждым «гостем» глиняную миску горячих жирных щей. Затем на столе появилась жареная баранина с картошкой и свежие огурцы. Но больше всего умилило Спирьку, когда хозяин, засветив семилинейную лампу, выставил для «гостей» полуведерный котел самогонки.

— Вот это я понимаю, порядок,— воскликнул донельзя обрадованный Спирька,— то-то я ишо давеча определил, что хозяин у нас душа человек, ей-богу! Я потому и курить-то не стал в избе и ребятам моим то же самое приказал, ить верно?

Ребята, три баргута и двое русских, согласно закивали головами в ответ: верно, верно.

Старовер наполнил самогонкой стаканы, налил себе, кивнул головой:

— Выпьем за ваше здоровье!

«Гости» того и ждали:

— Выпьем!

— Дай боже и завтра то же!

— С праздником!

Выпили, принялись за щи. Хозяин налил по второму стакану, а Спирьке нагрузил здоровенную эмалированную кружку, в которую входило по меньшей мере стакана два, а когда стал разливать остатки, то всем досталось по половине ста-

кана, а Спирьке опять полнехонькая кружка. От такого внимания рябое лицо. «восподина урядника» сияло блаженной улыбкой.

— Дружище! — заливался Спирька счастливым смехом.— Коня хочешь, коня? Пожертвую тебе вороного, видел воронка у меня? Бери, для тебя не жалко, ей-богу, не жалко.

Хмель кружил Спирьке голову, но он все еще держался и даже пытался петь, обнимая сидящего рядом верзилу в зеленой гимнастерке.

Хозяин еще сходил в подвал, принес оттуда второй котел самогона, при этом не забыл он и часового, что охранял Мишку,— нацедил ему полную манерку. Гулянка в доме разгорелась в полную силу: о чем-то оживленно лопотали по-своему баргуты, а Спирька и двое русских орали во всю мочь:

Ой да вдоль по у-у-улице каза-а-ачий по-о-олк идет.
Ой да по пшро-о-окою каза-а-чий по-о-олк идет.

Второй котел осилили наполовину: борол сон гулеванов, ***не*** спавших вчерашнюю ночь. Первым свалился верзила в зеленой гимнастерке, остальные разбрелись, кто в ограду, кто в сени, кто тут же расположился на полу. Спирьку хозяин отвел в кладовку, уложил его там на постель, укрыл тулупом, а дверь закрыл на пробой.

Убедившись, что все его «гости» спят, хозяин взял висевший на стене запасной ключ, вышел в ограду, осторожно ступая, подошел к амбару. Зажав между колен винтовку, часовой спал, насвистывая носом, у ног его валялся пустой котелок, в котором хозяин приносил ему самогон.

Тихонько поднялся хозяин на крыльцо, открыв дверь, шепнул в темноту:

— Спишь?

— Нет,— так же тихо ответил пленник.

— Выходи.

Светало, утреннюю тишину будоражил петушиный хор, узенькая, светло-розовая заря на востоке ширилась, наливалась багрянцем. Во дворе, привязанные к колодам с недоеденным овсом, дремали расседланные кони, напротив, возле забора, рядком лежали седла.

Хозяин остановился, заговорил частым, жарким полушепотом, показывая рукой на коней:

— Выбирай любого, седлай скорее, а я тебе сейчас винтовку принесу, шинелю с погонами, за своего примут, проскочишь.

И, не слушая, что начал говорить ему пленник, хозяин рысцой побежал к дому, а красногвардеец принялся седлать высокого вороного коня. Он уже подтягивал последнюю подпругу, когда за околицей, с восточной стороны, хлопнул выстрел, второй, третий. Мишка вздрогнул, насторожился. В воротах с шинелью, винтовкой и шашкой в руках показался хозяин.

— Скорее, паря, скорее,— зачастил он, подбегая к Мишке,— надевай шинель-то!

— Поздно, хозяин, смотри, что делается.

Повсюду слышался все нарастающий шум: хлопанье дверей, людские голоса, слова команды, топот ног, по улице бешеным наметом промчался верховой. Стрельба за околицей усилилась, а оттуда, с восточной стороны, волной докатилось громовое «ура-а», размеренно захлопали залпы, злобным лаем залились пулеметы.

— Хоронись в баню, вон! — Хозяин сунул в руки Мишке винтовку с патронами и шашку.— Скорее, пока не увидели, коня-то я спрячу.

Опираясь на винтовку, Мишка скачками побежал к бане, а хозяин, закинув шинель на седло, завел вороного в сарай, наглухо закрыл за ним ворота и поспешил в дом.

«Гости» безмятежно спали, наполняя избу разноголосым храпом. Старик с трудом добудился верзилу, принялся расталкивать остальных.

— Что случилось? — потягиваясь, спросил верзила, он сел на скамью, и вдруг лицо его испуганно вытянулось.

— Стреляют! Где Былков-то?

— Убежал будить других, приказал всем...

— Тревога! Поднимайсь! — заорал верзила и загрохотал сапогами к порогу, где кучей стояли в углу винтовки. Тут проснулись и остальные; сообразив, в чем дело, заметались по избе, сталкиваясь и мешая один другому. О Спирьке больше никто и не вспомнил, каждый думал о себе. Наконец все они повыскакивали из избы, в момент разобрали, оседлали коней и прямо из ограды наметом туда — к своим.

Часовой, проснувшись, первым делом открыл амбар, заскочив туда, невесть зачем выстрелил три раза и лишь тогда побежал к коню. Из ограды он убегал последним, яростно нахлестывая плетью сивого коня.

К восходу солнца, когда красные обошли семеновцев слева и открыли по ним фланговый огонь, у белых началось отступление. В окно горницы хозяин наблюдал из-за колоды, как по

улицам села и за околицей во весь опор мчались семеновские конники, видел, как валились с седел убитые и кони без всадников бежали следом за отступающими. В одном из беглецов старик узнал даже своего постояльца, длинноногого верзилу; под ним, очевидно, убили коня, и он бежал пешком, ухватившись за хвост чужой лошади. Это было уже не отступление, а паническое бегство. Стрельба затихла, с ближней елани вдогонь отступающим, сверкая шашками, катилась лавина красных кавалеристов.

Красные не задержались в селе, погнали семеновцев дальше, в сторону железной дороги. И долго еще оттуда, но все реже и глуше доносились отзвуки ружейных залпов, пулеметной стрельбы.

А в это время Спирька Былков все еще крепко спал, не подозревая, что кончилось его золотое времечко и настала пора отвечать за все свои «подвиги».

Жизнь в доме входила в обычную колею: припозднившись по случаю боя, хозяйка торопливо затопила печь, побежала доить коров, отправлять их на пастбище. Хозяин сам принялся кипятить самовар.

Перепоясанный патронташами, при шашке, в доме появился Мишка. Опираясь на винтовку, он проковылял к столу, сел на скамью. Порозовевшее лицо Мишки сияло.

— Ну, хозяин,— заговорил он, прислонив винтовку к стене,— уж как и благодарить тебя, слов не нахожу. По гроб жизни не забуду, как ты меня спас от смерти.

— Э-э, чего там, не стоит.— Хозяин отбросил под лавку ичиг, которым раздувал самовар, повернулся к Мишке: — У меня, братец ты мой, у самого сыновья-то у Лозова служат, в Красной гвардии.

— Во-от ка-ак.

— Двое, не слыхал там, Елгиных, Ефима и Александра?

— Слыхать-то слыхал, есть у нас Елгин во второй сотне. Теперь в полк попаду, разыщу его, расскажу, какой у него батька-то молодец.

За чаем старик Елгин рассказал Мишке о том, что старший сын его, Ефим, вернулся с фронта большевиком. Когда началась война с белыми, он во главе целого взвода красногвардейцев своего села ушел на фронт по призыву Сергея Лазо. Вместе с Ефимом ушел и второй сын, восемнадцатилетний Александр.

— Ну, этот, я так считаю, по глупости пошел.— Хозяин налил себе третий стакан, продолжал со вздохом: — Трое их,

эдаких-то, начитались книжек всяких да газет болыпевических и тайком от отцов, туда же, за большими. А Ефим, тот уж большевик всамделишный.

После завтрака Мишка заторопился.

— Спасибо тебе, хозяин, за все, а мне ехать пора, догонять своих.

— Что ты, что ты, мил человек,— замахал руками Елгин,— куда же ты на одной-то ноге, тебе и на коня-то не сесть. А потом, я и забыл сказать тебе, пленника-то куда девать теперь?

— Какого пленника?

— А этого, который тебя привел ко мне, зеленоглазый-то урядник.

— Да что ты говоришь! — воскликнул удивленный Мишка.

— Заоблавил я его ночесь, спит в кладовке, нализался самогонки-то до чертиков. Куда теперь его?

— Убить бы его, гада ползучего.— Мишка посуровел лицом, насупился.— Кабы попал под горячую руку, несдобровать бы бандюге. А теперь-то и сердце отошло, да и приказ у нас — эдаких субчиков живыми в штаб доставлять. Придется гнать его в полк.

— Обожди, не торопись,— старик жестом руки приказал Мишке сесть, потеребил бороду.— Надо обмозговать хорошенько, одного тебя как можно отпустить с больной ногой. Посидика здесь да за урядником-то присматривай, а я схожу посоветуюсь кое с кем из наших, дадим тебе кого-нибудь в помощь.

Хозяин куда-то ушел. Мишка сходил в кладовку, посмотрел на спящего Спирьку, вернувшись в дом, тоже прилег на скамью, положив под голову шинель. Хозяйка, дородная, розовощекая женщина лет сорока пяти, управившись со скотиной, теперь прибиралась в доме.

— До чего же худой человек урядник-то энтот,— рассказывала она Мишке, подметая пол березовым веником,— все перевернул кверху дном: и на избу слазил, и в подполье все шашкой истыкал, все чегой-то искал, антихрист проклятый.

— Ничего, тетенька. Мы ему все это припомним.

— Ладом его, беспутного. Плетей бы ему всыпали, да побольше, чтоб и впредь закаялся грабежами займоваться.

В это время в село вступил новый кавалерийский отряд.

По улицам уже разъезжали конники, тарахтели телеги, слышались людские голоса и даже блеяние овец. Три конника заехали в ограду Елгина.

Мишка в момент опоясался патронташем, надел шашку, защелкал затвором винтовки, на недоуменный взгляд только что пришедшего хозяина буркнул:

— Чума их знает, кто они такие, сходи-ка узнай, что за люди. В случае чего... живой не дамся...

Хозяин вышел в ограду, где вновь прибывшие уже спешились, привязали коней к пряслу. Опасливо поглядывая на увешанных оружием незнакомцев, старик подошел к ним ближе, поздоровавшись, спросил:

— Вы кто же такие будете?

— Свои,— за всех отозвался чернявый, горбоносый осетин в черной черкеске с газырями и барашковой, несмотря на жару, шапке-кубанке с алым верхом,— перви конни отряд товарища Пережогина.

— Та-а-ак,— гладя бороду, протянул хозяин,— значить, супротив белых воюете. Ну-к что ж, проходите в избу.

Двое, переглянувшись между собою и ничего не ответив старику, отправились куда-то на улицу; в дом, следом за хозяином, пошел один осетин, легко, неслышно ступая ногами, обутыми в кавказские сапоги — без каблуков и на мягкой подошве.

Едва поднялись на крыльцо, как в кладовке заворочался, заматюгался проснувшийся Спирька.

— Отворите! — стуча кулаками в дверь, орал он хриплым с перепою голосом.— Отворите... а то и дверь вышибу вместе с колодами.

Из дома, опираясь на винтовку, вышел Мишка. Увидев его, осетин мгновенно преобразился, чуть пригнулся, приняв боевую позу, а правую руку кинул на рукоять кинжала.

— Свой это, свой, красногвардеец,— поспешил успокоить осетина хозяин, хлопая рукой по плечу Мишку,— он тут пленного караулит, семеновца, понял? Вот он, полюбуйся!

Хозяин выдернул из пробоя железную затычку, и на пороге кладовки появился заспанный, всклокоченный Спирька.

При виде человека в погонах, с урядницкими нашивками осетин изумленно вскинул бровями и вдруг, сорвав с плеча карабин, завопил визгливым голосом:

— Бели! Сименова! Кончать надо, стрилять будем!

— Но, но, ты, стрелок! — прикрикнул на него Мишка, загораживая собою Спирьку.— Я тебе дам стрелять, попробуй только, вместе с ним поволоку в штаб!

— Зачим штаб, не нада штаб! — сыпал скороговоркой осетин, размахивая карабином и хищно ощерив клыкастые,

кипенно-белые зубы.— На двор тащим, резать будим, секим башка будим!

— Отстань! — загоревшись злостью, выкрикнул Мишка.— Сказано, не дам, и нечего тут над безоружным командовать. Расходился, самоуправщик. — И, повернувшись к побледневшему Спирьке, кивнул ему головой на дверь:— Заходи в дом.

Осетин, ругаясь по-своему, метнулся с крыльца, скрылся за воротами, aj насмерть перепуганный Спирька, только очутившись в избе, обрел дар речи.

— Это что же оно такое? — вопрошал он, обращаясь к хозяину.— Куда я попал-то?

— К красным, голубчик, к красным,— притворно ласково пояснил хозяин.

— К красным? Это, значит, ты меня подвел...— И к Мишке, только что вошедшему в дом: — Дружище, выручи, ради бога, ослободи. Ведь я же тебя вчерась не дал в обиду, пожалел.

— Да-а, пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. В плен-то кто меня забрал?

— Так это же по глупости. А потом-то, разве забыл, как я тебя в Заозерную хотел сопроводить, чтобы от смерти отвести.

— Знаю, зачем тебя в Заозерную потянуло.

— Слушай, я тебе часы золотые «Павел Буре» отдам, только отпусти или поручись, чтобы меня в вашу красногвардию взяли.

— Ешь садись, и в штаб пойдем.

— Что у меня есть в сумах добра, все возьми, только поручись.

— Ты что, купить меня хочешь, контра проклятая! — вспылил Мишка.— Хватит языком трепать, ботало осиновое.

После обеда Мишка повел Спирьку в штаб. Стараясь как можно дольше оттянуть время, Спирька шагал, еле двигая ногами, и, не умолкая ни на минуту, то униженно просил Мишку заступиться за него, то, смачно ругаясь, проклинал судьбину.

Мишка доставил арестованного в большой, под железной крышей дом и провел его в комнату, где сидели за выпивкой человек десять военных. На столе перед ними стояли графины, бутылки с водкой, кучки пшеничных калачей, а в жаровне и на тарелках курилось паром вареное мясо. В комнате накурено, шумно от звона посуды и пьяного говора. Трезвее всех сидел посреди стола седовласый, кудрявый старик с орли-

ным носом на худощавом лице и с гладко выбритым подбородком.

К великому удивлению Мишки, Спирька, увидев старика, сразу же преобразился.

— Товарищ Пережогин! — радостно воскликнул он и с рукой к старику: — Здравствуйте, привет вам от Янкова.

Шум за столом призатих, головы всех повернулись на Спирьку, послышались голоса:

— Да это тот самый богач-то, помнишь?

— Каким тебя ветром?

— Давай сюда, дружина.

Старик, не выпуская Спирькиной руки, пристально посмотрел на него:

— Где же я тебя видел? Лицо знакомое, а не припомню.

— А в ресторане-то гуляли в Чите, веснусь. Янкова помнишь, пришли мы к вам ночью...

— А-а,— сдерживая улыбку, протянул Пережогин,— помню Янкова, где он теперь?

— Дивизией заворачивал, убили его под Верхнеудинском.

— Не слушай его, товарищ командир! — вскипел Мишка и, отстранив Спирьку рукой, загораживая его собою, заговорил с дрожью в голосе от все больше охватывающей его злости:— Я вам арестованного привел, товарищ командир, а вы ручкаться с ним, уши развесили! Это же белобандит семеновский, контра, его, гада ползучего, судить надо, в расход вывести...

За столом зашумели гулеваны, загомонили все разом.

— Чего приперся! — орал один на Мишку.

— Арестовать его! — кричал второй.

— На распыл их обоих!

— Круши контру!

— Ты кто такой, откуда?

— Казак я, Второго Аргунского полка, красногвардеец! — стараясь перекрыть весь этот галдеж, крикнул Мишка, потрясая винтовкой.— Чего вы взъярились-то, не знавши дела. Он, этот тип, в плен забрал меня, раненого, и к белым палачам доставил, а сегодня я его арестовал и сюда приволок. А вы тут на меня же орете, не разобравшись с пьяных-то глаз.

— Тише! — Грохнув по столу кулаком, Пережогин вскочил на ноги и, перегибаясь через стол, вперил в Мишку злобный взгляд.— Чего плетешь, трезвенник! — зарычал он, брызгая слюной и багровея от злости.— Сам-то заявился пьянее вина и несешь тут ахинею: то тебя арестовали, то ты арестовал. Ступай отсюда, проспись!

— Дайте объяснить-то.

— Нечего объяснять, ступай! Надо будет, вызову, разберемся.

— Разберетесь, по всему видать! — Голос Мишки дрожал, срывался на хрипоту от охватившей его ярости. Он еле сдержался, чтоб не разразиться свирепым матом, но, понимая, что спорить с этой компанией бесполезно, плюнул в их сторону и, накинув на плечо винтовку, вышел, прихрамывая.

— Сволочи, пропойцы проклятые,— ругался он по дороге к дому,— набралась тут сплошная контра, бандит на бандите.

Первое, что увидел Мишка, выйдя в улицу, был рослый детина в казачьей фуражке и с золотистым чубом, тянувший за рога бороздившего ногами эргена А на помощь детине уже спешил другой, из соседней ограды, с обнаженной шашкой в руке. В другом месте двое обдирали только что зарезанного барана, а в третьем свежеснятая овчина уже висела! на заборе. Тут же две собаки дрались из-за бараньей головы.:! И повсюду в оградах сельчан горели костры, из домов в открытые окна доносились пьяные голоса, песни и ругань вперемежку со смехом. Яркий костер полыхал и в ограде старика Елгина. Над огнем, подвешенный на трехногий таган, кипел ведерный котел, полнехонький крупных кусков баранины. У костра сидели трое — уже знакомый Мишке осетин и двое русских, на земле около них валялась пустая бутылка. Русские о чем-то горячо спорили, осетин, положив на березовое полено кусок мяса, резал его кинжалом на мелкие ломтики и нанизывал на винтовочный шомпол, намереваясь приготовить себе шашлык.

В доме старик Елгин рассказал Мишке, что пережогинцы пригнали откуда-то гурт овец, голов двести, привезли целый воз спирту и что в поселке началось сплошное пьянство. У Мишки еще по дороге к дому созрел план действий, и теперь, выслушав хозяина, он решил выполнить, что задумал.

— Ехать надо немедленно,— заявил он, поднимаясь с табуретки и вскидывая на плечо винтовку.— Спасибо тебе, хозяин, за все, и еще просьба к тебе: помоги мне выбраться от тебя, чтобы не улицей ехать, а задами.

— Это-то можно, через дворы — на гумно, а там и на заполье.— Хозяин пытливо посмотрел на Мишку: — Куда ехать-то собрался?

Э р г е н – баран-валух.

— Своих догонять поеду. А то и к самому Лазо махану. Ежели ему рассказать про эту банду да что они тут вытворяют, так он их возьмет в оборот, он за такое не милует.

К вечеру, когда закатное солнце окунулось в мглистое марево на горизонте, Мишка уже был верст за тридцать от Черного Яра и все погонял вороного, надеясь засветло добраться до намеченного им села.

ГЛАВА XVIII

Знатно погулял в этот день Спирька Былков со старыми друзьями-анархистами. Веселый возвращался он в сумерки на свою квартиру, очень довольный тем, что вместо заслуженного наказания он лишь перекрасился в иной цвет и перешел из одной банды в другую. За плечами у Спирьки болтался японский карабин, сбоку подарок Пережогина, кавказская с белой головкой шашка, а на фуражке вместо кокарды красовался алый бант.

Хмель кидал Спирьку из стороны в сторону, однако до квартиры своей он добрался благополучно, забрел в ограду и, очевидно желая хвастнуть своей удачей, что было силы крикнул:

— Хозяин! Воронка мне... Да здравствует анархия, мать порядка! Да здравст...

Но от этих выкриков Спирька ослабел еще больше. Его понесло, понесло в сторону; пытаясь удержаться, балансируя руками, он мелко-мелко засеменил ногами, пока не уперся головой в забор. И тут силы окончательно покинули Спирьку,— царапая руками забор, свалился он наземь, уткнувшись лицом в песок, затем, бормоча что-то, перевернулся на спину и в ту же минуту уснул.

В эту ночь не спалось старику Елгину. До сна ли тут, когда чуть не до рассвета бесновались его «гости». Расходившиеся в пьяном угаре, то они принимались петь, плясать, то спорить о чем-то, да так, что дело доходило до ругани, до драки, и хозяину приходилось разнимать их, уговаривать. А одного, рыжеусого в защитной гимнастерке и самого задиристого, старик вытолкал из дома в ограду и тут не стал с ним нянчиться, уговаривать, а так припечатал ему кулаком по уху, что тот пластом плюхнулся наземь, притих. Очнувшись, он долго икал, ворочался с боку на бок, но подняться на ноги не смог.

Жену хозяин отправил спать в горницу, а сам *не* прилег ни на одну минуту, даже тогда, когда всех его «гостей» поборол

хмельной сон. Выходя на улицу, Елгин подолгу стоял там, прислушиваясь к постепенно затихающему пьяному разгулу. Больше всего боялся старик пожара, поэтому, заметив где-либо отсвет костра, он хватал ведро и бежал туда, чтобы залить непотушенный огонь.

А когда на побледневшем небосводе с востока кумачом зарделась заря, старик Елгин услышал шум, цокот множества копыт. Это прибыл в село новый отряд Красной гвардии — четвертая, пятая и седьмая сотни 1-го Аргунского полка под общей командой Бориса Кларка.

В село отряд вошел незамеченным, пьяные пережогинцы даже застав не выставили, чувствуя себя в безопасности в тылу Красной гвардии, да и некого было отправить ни на пост, ни в разъезды, все перепились, как на богатой свадьбе.

Любопытство удерживало на крыльце старика Елгина. «Кто же это такие? — думал он, прислушиваясь ко все нарастающему шуму.— Неужто та красногвардия, про какую Ушаков-то сказывал? Да как они скоро нагрянули! Молодцы-ы, ежели это они в самом деле».

Под сараем, хлопнув крыльями, заголосил петух, ему откликнулись другие, и вот уже по всему селу разлилось петушиное пение; где-то на окраине послышался выстрел, другой, в сумеречном свете наступающего утра по улицам замельтешили серые фигурки красногвардейцев. Вот уж совсем неподалеку слышен дробный топот ног, ближе, ближе, звякнула щеколда калитки, и в ограду к Елгину вошли пятеро, все в казачьем обмундировании, без погон.

Первого забрали Спирьку, двое, подхватив его с земли, подняли на ноги, ободрали с него шашку, карабин и подсумки с патронами. Взъерошенный, измятый Спирька пучил на незнакомцев ничего не понимающие глаза, бормотал еле внятно:

— Воспода, это само... товарищи... мать анархия.

— Заткнись, контра! — прикрикнул на него голубоглазый русочубый казак. Это был Егор Ушаков.— Из-за вас, чертей, и отдохнуть не пришлось после боя, в ночь подняли по тревоге.

Затем подняли с земли, обезоружили рыжеусого, его вместе со Спирькой посадили в сарай, приставили к ним часового. Егор и с ним казаки его взвода — Молоков, Вершинин и Гантиуров — прошли следом за хозяином в дом. Там они первым делом забрали оружие: стоящие в углу винтовки, шашки, подсумки с патронами и гранаты, принялись будить анархистов. Те, просыпаясь, пялили глаза на казаков, нехотя поднимались. Лишь осетин, сразу поняв, в чем дело, вскочил на ноги, выхва-

тив кинжал, замахнулся им на Вершинина, но в этот момент Молоков успел ударить его по руке стволом винтовки. Выронив кинжал, осетин кинулся наутек, пинком распахнув дверь; за ним устремился Вершинин, на ходу клацая затвором винтовки. Прыжком соскочив с крыльца, осетин, пригибаясь, вихрем мчался по ограде и уже перескочил низенькое прясло, как на крыльце бахнул выстрел; взмахнув руками, осетин упал ничком: под левую лопатку вошла ему пуля Вершинина...

Это подействовало и на других елгинских «гостей» отрезвляюще, они не сопротивлялись, когда Егор приказал им выходить из дома, только один спросил:

— А куда нас?

— На кудыкину гору,— съязвил Егор,— пошли!

К восходу солнца на площади около небольшой часовенки собралась толпа сельчан. Любопытно же посмотреть, что будут делать с арестованными пережогинцами, а их вели и вели со всех улиц села. Арестным помещением послужила часовенная ограда, обнесенная добротным забором и со всех концов охраняемая надежным конвоем казаков.

Позднее других привели самого Пережогина и двух его ближайших помощников. Он шел, глядя прямо перед собой и ни на кого не обращая внимания. Лишь когда подвели их к часовенной ограде и передний конвоир, открыв ворота, сказал: «Заходи!» — тонкие губы старого анархиста скривились в презрительной улыбке.

Тут же около забора стояли три телеги, в которые укладывали отобранное у анархистов оружие. А рядом прямо на землю сваливали кучей седельные сумы с награбленным имуществом. И чего только не было в этих сумах: и сапоги и брюки казачьи, гураньи унты, пуховые шарфы, бабьи сарафаны, отрезы сукна, кашемировые шали, швейные машины, даже самовары, а в сумах у Спирьки Былкова оказался и граммофон с большой блестящей трубой и к нему штук двадцать пластинок.

Вокруг этой свалки толкалась, разноголосо гудела толпа местных жителей: мужики, бабы, девки, подростки и ребятишки. Всем хочется протиснуться поближе, поглядеть, что там такое, то и дело слышатся возбужденные, негодующие выкрики:

— Куда те черт гонит!

— Надо, стало быть!

— Отцепись.

— Седло мое форменное, во-она-ка нагрудник наборчатый.

— У меня вчера доху взяли, только одну зиму и поносил.

— Судить гадов своим судом и расфукать их, чтоб другим не повадно было.

Шум, галдеж приутих, когда один из красногвардейцев завел граммофон, приладив его на телегу. Удивительный ящичек зашипел и, к великому удовольствию сельчан, хрипловатым, но звонким голосом запел «Кабы имел златые горы...».

О граммофоне черноярцы слыхали от казаков-фронтовиков, но видеть его и слышать своими ушами им довелось впервые. Потому и притихли они, окружив телегу с этой штуковиной; девки, молодые бабы слушали затаив дыхание; какая-то старуха в черном платке крестилась, шептала молитву; человек десять ребятишек ухитрились взобраться на телегу, на них сердито шикали старики, а сами, переглядываясь между собою, смущенно улыбались, разводили руками.

— До чего дожили! — удивленно качал головой старик Елгин.

— Дико-о-овина,— отозвался второй старик справа.

Несказанно обрадовались черноярцы, когда Кларк распорядился вернуть населению все, что взяли у них анархисты.

Для раздачи имущества тут же избрали комиссию из пяти человек, откуда-то приволокли стол, три табуретки и скамью. Комиссия приступила к делу: двоим — Егору Ушакову и красногвардейцу седьмой сотни Охлопкову — поручили выдавать потерпевшим вещи по списку; остальные — два местных жителя и сотенский писарь Вишняков — уселись за стол, сразу же окруженный просителями. Каждому хотелось поскорее получить свое добро, но у председателя комиссии Вишнякова было на этот счет другое мнение: оделить в первую очередь тех, кто победнее. Поднявшись на ноги, он поискал глазами в толпе и, увидев стоящего позади всех старика в заплатанной сарпинковой рубахе, позвал его к столу.

— Меня, что ли? — удивился дед и, получив утвердительный ответ, протискался к столу.

— Фамилия? — спросил его Вишняков.— Та-ак, что у тебя взяли?

— Да у меня, сынок, и взять-то нечего, а вот у племяша моего, у Петьки, сапоги, значить, и шаровары суконные потянули.

— А где он, племянник-то?

— В Армии он в Красной, у Лаза.

— Ладно, Егор, выдай деду сапоги и брюки. А у тебя, дядя, вот ты, с черной бородой-то, что у тебя похитили?

— Полушубок, товарищ, почти что новый, вот хоть суседей спроси, совсем даже мало ношеппый.

— Иди получай.

— Спасибо.

— А у тебя что, тетенька? Да подходи поближе.

Женщина в стареньком сарафане смутилась, оглянулась направо, налево и, поняв, что зовут именно ее, подошла к столу. На вопрос, чем ее обидели, ответила, краснея от смущения:

— Так-то ничего не взяли, петух потерялся у меня,— говорят, эти антихристы зарубили его вечером и съели, штоб им подавиться слезами сиротскими.

— Муж-то где?

— Нету его, не вернулся с германского, убили.

— Дети есть?

— Трое, старшенькому-то двенадцать будет в Кирики-Улиты.

— Та-ак...— Вишняков спросил одного члена комиссии, второго, поднялся из-за стола.— Товарищи, тут есть две машинки швейные, эти бандиты взяли их где-то в другом селе. Мы тут посоветовались и решили отдать одну-то вдове этой, не возражаете?

Толпа одобрительно зашумела.

— Отдать! — послышались голоса.

— Пусть берет!

— Она и шить-то мастерица...

— Бери, Федосья, чего застеснялась!

Счастье, что так негаданно-нежданно свалилось на бедную вдову, ошеломило ее, отняло язык, и не столько щедрый подарок, сколько внимание, забота, что так неожиданно проявили к ней сегодня чужие добрые люди. Пунцовая от **Еолнения** стоит Федосья, обеими руками прижимая к груди машинку, которую подал ей Егор, и слова сказать не может. И радостно-то ей, и слезы на глазах. Так и ушла она, забыв поблагодарить комиссию, чуть не бегом направляясь к дому.

К полудню раздачу закончили, Вишняков отправился к Кларку, доложить ему об окончании работы комиссии и спросить его, как быть с нерозданными вещами, которых осталось довольно-таки порядочно.

Жители разошлись по домам, только ребятишки толклись еще на обезлюдевшей площади да несколько баб сидели на бревне, в тени большого амбара. Туда же перенесли свой стол и томимые полдневным зноем старики — члены комиссии.

Тишина и в часовенной ограде, вокруг которой, опираясь на винтовки, борются с дремой часовые; пережогинцы с большого похмелья отсыпались в тени заборов. Спали и ближайшие помощники Пережогина, а сам он сидел, привалясь спиной к часовне, и, обхватив руками колени, задумался, уставившись глазами в одну точку. Многое вспомнил сегодня старый анархист: и царскую каторгу, и побег из акатуевской тюрьмы, Харбин, где жил в эмиграции под фамилией Тер-Агонисяна, и организацию банды анархистов, и буйно-веселую житуху в Чите. Весной этого года удалось ему восстановить связь с Харбином, заграничные «друзья» звали его к себе, предлагали одно весьма заманчивое дело, но для этого надо золото, не менее десяти фунтов драгоценного металла. Поживиться на фронте, воюя на стороне красных, не удалось, и решил Пережогин напасть на один из приисков, забрать там золото, а затем, под видом преследования белых, перебраться через границу и тайком от своей банды махнуть с золотом в Харбин. Но чтобы действовать наверняка, он еще месяц тому назад отправил три группы своих разведчиков, поручив им установить самый богатый прииск. Со дня на день ожидал Пережогин весточки от разведчиков, но они как сквозь землю провалились. Не раз сегодня укорял он и самого себя за то, что отобранный у контрабандиста спирт согласился раздать своим бандитам, а в результате вот оно... разоружение и арест.

«Но ведь не первый раз такие попойки,— думал Пережогин,— и все сходило за милую душу, а тут... Нет, это просто какое-то невезение чертовское». И все-таки в душе старого бандита теплилась, не гасла искра надежды, что вывернется он и на этот раз, что будет он в Харбине, и не с пустыми руками.

Возвращаясь от Кларка, Вишняков увидел, что у стола, где сидели старики — члены комиссии, стоит высокая женщина и о чем-то просит их, а старики, как видно, отказывают ей.

— Не могем, Михайловна,— теребя бороду, мотал головой член комиссии,— и не проси понапрасну, обратись вон к товарищу.

— Чего такое? — спросил Вишняков, подойдя ближе. Женщина обернулась, встретилась глазами с писарем.

— Ребятишкам прошу чего-нибудь,— проговорила она со вздохом,— обносились начисто.

— Не можем мы, тетенька...— Вишняков хотел сказать, что здесь не магазин, не торговля, и осекся на полуслове, опа-

ленный стыдом,— он только теперь заметил, что на женщине юбка из крапивного куля. «Экая же я скотина,— ругнул он самого себя, глядя на большие, с узловатыми пальцами руки женщины,— батрачка ведь, сразу видать, а я...» — Вот что, товарищи! — заговорил он вслух, обращаясь к старикам.— Кларк распорядился все имущество, какое не роздали, переписать и отослать в станицу, чтоб там занимались раздачей. Но я думаю, беды не будет, ежели мы кое-чего уделим и женщине пролетарского классу. Согласны?

— Согласны,— закивали головами старики.

— Там есть кусок черного сатину, аршин пятнадцать будет,— продолжал Вишняков,— его-то уж взяли не у бедняка, ясное дело, а у купца какого-нибудь, отдадим его тетеньке?

— Отдадим.

— Можно.

— Иди, тетенька, во-он к тому казаку, получай.

Не слушая, что говорит ему обрадованная женщина, Вишняков сел за стол, намереваясь приступить к составлению описи, но тут появился еще один проситель: небольшого роста старичок с русой бородкой. Он запыхался,— как видно, прибежал откуда-то издалека; из-под старенькой фуражки по раскрасневшемуся лицу сыпал пот, ситцевая рубаха его на лопатках и под мышками также взмокла, потемнела от пота.

— Чего тебе, дед? — спросил Вишняков.

— Только что с лугу, умаялся, не создай господь.— Дед рукавом рубахи вытер потное лицо, продолжал жалобным голосом: — Нетель у меня потерялась по третьему году, все обыскал, как в воду канула. Зарезали ее лиходеи-то эти, не иначе. Шкуру да потрох забросили где-нибудь в кусты, а мясо съели, и вся недолга.

— Жалко, дедушка, тебя, а помочь-то ничем не можем, нету у нас нетелей.

— Одна и была у нас,— разводил руками дед,— а красавица-то какая, любо посмотреть, породистая и к рождеству бы отелилась.

Вишняков переглянулся с членами комиссии.

— Разве коня отдать старику из бандитских. Возьмешь, дед?

— Да оно кабы по-мирному, пошто бы не взять-то, а теперь не-ет, бог с ним и с конем, все равно заберут, не те, так другие. Вот кабы овечек, этих бы я взял, хоть с десяток, ежели милость будет.

— Каких овечек?

— Да вот, что злодеи-то пригнали откуда-то. Ведь они их не всех сожрали, ишо голов более ста обретаются в гумне у свата Анисима.

— Нет, дедушка, этого нельзя. Они, эти бандиты, может быть, пастуха общественного ограбили. Вот поэтому командир наш, товарищ Кларк, распорядился вместе с имуществом и овец в станицу вашу направить, а там разберутся без нас.

— Нельзя, значить...— Дед сожалеюще вздохнул, поскреб пятерней в затылке.— Эхма-а, верно говорят: где тонко, там и рвется.

И тут один из членов комиссии, пожилой, чернобородый человек в батарейской фуражке, предлояшл: отдать старику граммофон.

— Вот это мысля! — воскликнул подошедший к столу Егор.— Хватит этой музыке буржуев потешать, пусть наши трудящие старики веселятся.

— Верно! — согласился Вишняков.— Забирай его, дед. Вон Охлопков тебя научит, как там его вертеть, заводить и все такое. Неси, обрадуй свою старуху.

Но дед почему-то счел нужным обидеться.

— Смеетесь вы, што ли! — заговорил он, сердито насупившись.— Старуха меня с коровой ждет, а я к ней с музыкой заявлюсь. Кабы он доился, маграфон-то ваш. Нет уж, избави бог от такого добра, да меня с ним старуха и на порог-то не пустит!

— Пустит, дед,— не унимался Вишняков.— Ведь ты ее же развлекать-то будешь. А корова тебе и не потребуется теперь, без нее у тебя будет и молока и сметаны невпроворот, и яиц тебе натащат, и масла, и всякое другое удовольствие, только ходи знай по вечеркам, накручивай граммофон.

Старик хотел еще что-то возразить, но, почувствовав, что кто-то теребит его сзади за рубаху, оглянулся и увидел свою старуху. Маленького роста, худенькая, со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, старушка стояла за спиной мужа и все слышала.

— Бери, раз дают, дурак старый,— тоном, не допускающим возражений, приказала она старику.

— Да ты в уме сегодня? — повысил голос старик.— А о том не подумала — ну, возьму я этот маграфон, а ежели за ним хозяин заявится, тогда што?

Но старуха, как видно, была не из тех, что скоро уступают, и продолжала стоять на своем.

— Хозя-аин приедет,— передразнила она старика, сверля его сердитым взглядом,— и пусть едет, а мы с него за этого Митрофана корову стребуем, да ишо и с теленком.

К вечеру, когда спала полуденная жара, арестованных посадили на лошадей, окружили их конвоем целой сотни казаков. Перед тем как тронуться в путь, командир сотни Погодаев обратился к арестованным с речью.

— Внимание! — начал он громко, чтобы всем было слышно.— Приказано гнать вас к самому Лазо. Надо бы вас пешедралом проздравить, да молите бога, что некогда нам валандаться с вами. Но смотрите, чтобы дорогой без всяких там глупостев. А то, ежели вздумаете бечь или еще чего такое,— и тут Федот, приподымаясь на стременах, погрозил нагайкой,— всех до единого изрубим в мелкое крошево, понятно? Зарубите это себе на носу.– И, еще раз взмахнув нагайкой, скомандовал: — Сотня-а, ма-арш!

Вскоре выступили и остальные две сотни. Сельчане провожали их приветственными криками, махали шапками, платками. Большая толпа сельчан, преимущественно молодежи, собралась на окраине села, возле маленькой избушки. Больше всего молодежи набилось в ограду, ребятишки густо облепили плетни и низенькие заборы, головы всех обращены на крыльцо, где, поставленный на табуретку, блестел трубой граммофон. Старик с деловитым видом крутил ручку волшебного ящичка, потешал посельщиков.

Зрелище это развеселило красных конников, все они — и сам Борис Кларк, и командиры сотен, и казаки — от души смеялись, проезжая мимо, а вслед им неслось из блестящей трубы граммофона:

Ах, зачем эта но-о-очь
Так была хороша-а-а,
Не болела бы гру-у-удь,
Не страдала душа-а-а-а... *-Ш*

ГЛАВА XIX

В это утро командующий Восточно-Забайкальским фронтом Сергей Лазо пришел в свой служебный вагон раньше обычного. Ему предстояло просмотреть донесения, оперативную сводку штаба фронта за минувший день, подписать приказы и многое другое, что приходилось ему делать ежедневно.

Хмурится Сергей Георгиевич, морщит высокий лоб, одолеваемый тяжкими думами. И чего, казалось бы, расстраиваться

командующему, когда все идет у него хорошо, когда войска его продолжают успешно развивать наступление по всему фронту и уже близок день окончательного разгрома белых. И тем не менее тревожился Лазо не напрасно, ибо положение в области резко изменилось в худшую сторону для революционных войск и молодой советской власти, об этом сообщили ему минувшей ночью по прямому проводу из Забайкальского областного Совета и Центросибири. В первой депеше говорилось о том, что грозные события назревают в Чите. Еще в мае этого года читинским чекистам удалось раскрыть в городе контрреволюционный заговор, арестовать его штаб — несколько офицеров. Но в ЧК понимали, что это не все, что город кишит шпионами — агентами Семенова, диверсантами, их вылавливали, судили, расстреливали по ночам за городом, а они, казалось, и не убывали. А где-то в глубоком подполье зрел еще более крупный заговор, об этом свидетельствовали и разбрасываемые по городу листовки, призывающие «русских людей» восставать против «жидовской власти, уничтожать большевиков», и диверсионные акты на складах, на железнодорожных путях, и летучие отряды каких-то банд, появляющиеся то тут, то там в окрестностях Читы. Нити заговора тянулись в другие города, села области и к руководителям тайных «вольных дружин», а кое-где в станицах 2-го отдела из казаков 1-го Читинского полка (тех самых, что, не признавая советскую власть, разошлись по домам с оружием в руках) уже создавались боевые группы; они уходили на дальние заимки, в тайгу, накапливали силы, ожидая сигнала к наступлению. Но самую-то худшую весть принесла вторая депеша: из Центросибири сообщали о восстании против советской власти бывших военнопленных чехословаков, что сорокатысячный корпус мятежнр[-ков двинулся на восток, опасность разгрома Советов нависла над Забайкальем. Далее говорилось о том, что Лазо отзывается на Прибайкальский фронт, взамен отстраненного от командования Голикова.

Дать отпор почти вдесятеро сильнейшему врагу, задержать его, использовав для этого туннели Кругобайкальской железной дороги,— такова задача, которую предвидел Сергей Лазо, было над чем ему призадуматься. Он еще раз перечитал зловещую депешу и, тряхнув головой, словно отгоняя от себя мрачные мысли, принялся дописывать приказ. В одном из пунктов этого приказа Лазо поздравлял казаков 1-го и 2-го Аргунских полков и отряд красной кавалерии Петрова-Тетерина с одержанной ими победой при взятии штурмом сильно укрепленной

высоты Тавын-Талагой, объявляя благодарность руководившему этой операцией Фролу Балябину.

Перечитав весь приказ, Лазо вписал в него еще один пункт, в котором он прощался с красногвардейцами, казаками и бойцами интернациональных отрядов, благодарил их за геройство, стойкость и верность делу революции, призывал на новые ратные подвиги под красным знаменем большевистской партии. Этот пункт Лазо закончил словами: «Я же, согласно телеграфного распоряжения Центросибири и решения Забайкальского областного исполнительного комитета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, сего числа отбываю на Прибайкальский фронт. Восточно-Забайкальский фронт отныне будет именоваться Даурским. Командующим Даурским фронтом назначается Фрол Емельянович Балябин».

Смена командующего фронтом произошла без всяких формальностей, комиссий и прочей волокиты, практиковавшейся до сего времени в подобных случаях, все произошло чрезвычайно просто и быстро. Еще не успела обсохнуть роса, утренней свежестью дышала природа, донося до станции пряные запахи донника, дикого клевера и шалфея, которыми изобилуют ковыльные даурские степи, а Лазо уже был готов к отъезду. На первом пути, напротив небольшого вокзала, густо дымил красноколесный паровоз с прицепленным к нему единственным классным вагоном.

Подошел взвод красногвардейцев, личная охрана Лазо. Гремя котелками и винтовками, они сразу же начали производить посадку, радехонькие, что ехать придется не в телячьем, а в настоящем пассажирском вагоне.

Вместе с Лазо отправлялись на Прибайкальский фронт два его адъютанта — начальник штаба Рускис и командир 1-го Аргунского казачьего полка Зиновий Метелица. Вызванный с фронта Метелица прибыл утром с десятком своих казаков. Как всегда подтянутый, стройный, одетый в неизменную гимнастерку защитного цвета, широкие шаровары с лампасами, в которых ходил, еще будучи есаулом, он сразу же явился к Лазо.

— Честь имею явиться! — гаркнул он, кинув правую руку к козырьку фуражки и пристукнув каблуками.

— Здравствуй, Зиновий Петрович! — Лазо вышел из-за стола навстречу командиру аргунцев, поздоровался с ним за руку и тут же предложил ему поехать вместе в Прибайкалье. На вопрос, согласен ли он, Метелица не задумываясь ответил:

— Ваше дело приказать, товарищ командующий, а я привык исполнять приказы без всяких разговоров.

— Приятно слышать такое.— Сумрачное лицо Лазо озарилось теплой улыбкой.— Признаться, другого ответа я и не ожидал, хотя и знаю, что нелегко расставаться с аргунцами, верно?

— Верно,— подавив тяжкий вздох, признался Метелица, и темное облачко грусти омрачило энергичное, всегда веселое лицо боевого командира, а голос его зазвучал по-необычному глухо, подавленно,— пятнадцать лет в этом полку, свыкся. И казаков покидать жалко, и коня моего Ваську, другого такого-то уже не будет. А может, разрешите, Сергей Георгиевич, взять его с собой? Ведь и там конь-то мне потребуется, разрешите?

И столько было мольбы и в голосе и в серых отчаянных глазах Метелицы, что и у Лазо дрогнуло сердце, не смог отказать в этой просьбе, согласился.

— Спасибо, Сергей Георгиевич! — воскликнул сразу повеселевший Метелица.— А может, и казаков разрешите прихватить, которые со мной приехали? Их всего десять человек, но ребята такие, что целого взвода стоят, а под них и под коней всего два вагона потребуется.

— Можно,— согласился Лазо,— только быстрее пусть собираются.

— Какие у казаков сборы, не успеет стриженая девка косы расплести.

Метелица вихрем сорвался с места, помчался к своим казакам.

Проводить Лазо и отъезжающих с ним товарищей пришли вместе с Фролом Богомягков, Киргизов и новый командир 1-го Аргунского полка, бывший прапорщик-аргунец Василий Бронников.

Уже все готово было к отъезду, казаки прицепили к классному вагону еще две теплушки с поставленными в них конями и даже травы натаскать в них успели, чтобы было чем кормить лошадей в дороге, да и самим-то ехать удобнее, растянувшись на мягкой душистой кошенине. Из паровозной будки выглядывает машинист, ожидая сигнала к отправке, а Лазо все еще не может расстаться со своими соратниками, с которыми сдружился он за эти боевые, героические месяцы на фронте. Они окружили его, только теперь полностью осознав, как дорог им был Лазо, которого они уважали как начальника, как друга, искренне сожалея, что он от них уезжает. И времени остается

мало, а сказать надо еще много, потому и спешит Метелица и говорит что-то Бронникову, сует ему исписанные листки из блокнота и еще что-то пишет. Киргизов слушает, что наказывает ему Рускис, согласно кивает головой, а сам глаз не сводит с бывшего командующего. Больше всех говорит Лазо и то теребит за рукав Богомягкова, то хлопнет по плечу Балябина, а тот угрюмо молчит, лишь изредка вставляя в разговор и свое слово; с грустной улыбкой смотрит на отъезжающего друга Георгий Богомягков.

Как и его боевые друзья, в царской армии Лазо был всегонавсего прапорщиком, и само собой разумеется, что, став командующим фронтом, он не имел для этого достаточных воинских знаний и опыта, но, будучи человеком недюжинных способностей, он обладал прекрасным качеством организатора, сумев сколотить боевой, дружный командный коллектив. В этом главная заслуга Сергея Лазо, это помогло ему справиться с обязанностями командующего фронтом, успешно решать стоящие перед ним задачи. Об этом и говорил он сегодня при прощании.

— Мы как бы дополняли один другого,— говорил он своим друзьям,— это был один боевой, дружный коллектив, без которого я не мог бы командовать фронтом. Я руководил вами, товарищи, но и учился у вас. Вы воспитали меня идейно, приняли в ряды партии большевиков, спасибо вам за это, сердечное спасибо! Уезжая от вас, я уверен, что передал командование фронтом в надежные руки, а вы, мои боевые товарищи, будете так же хорошо помогать новому командующему, как это было при мне. Врагов мы рано или поздно одолеем, и будет, товарищи, праздник на нашей улице, будет.

Глянув на хмурые лица Фрола и Богомягкова, он обвел провожающих озорным, веселым взглядом и речь свою неожиданно закончил шуткой:

— И у Богомягкова на свадьбе погуляем, не век же ему воевать да агитацией заниматься, и у Фрола Емельяновича на крестинах барыню спляшем!

Словно солнце в пасмурный день выглянуло из-за туч, и все вдруг переменилось: ожило, засверкало. Повеселевшие командиры задвигались, заулыбались и еще теснее окружили Лазо. А он, торопливо пожимая им руки, говорил на прощанье:

— А пока будем бить всех и всяческих врагов в хвост и в гриву. До свиданья, товарищи, до свиданья!

Последние слова Лазо крикнул, уже стоя на подножке вагона, когда тронулся поезд. Позади него стояли на площадке Метелица, Рускис и человек пять красногвардейцев, они тоже что-то кричали, мелькали их руки и шапки. Провожающие ответно махали фуражками, шагая рядом с поездом, пока он, все больше увеличивая скорость, не оторвался от них и скрылся за водокачкой.

Грустные думы снова обуревали Фрола, когда он возвращался к себе в служебный вагон, с ума не шло у него сегодняшнее сообщение Центросибири. Он прекрасно понимал, какие грозные тучи собираются над советским Забайкальем; а люди устали от войн, они сражаются героически, надеясь, что скоро покончат с семеновщиной и смогут побывать дома. А теперь все это рушится, насмарку пойдут нынешние победы, мятежники помогут белым захватить власть в области. Придется уходить в подполье, собирать новые силы, и борьба будет еще более ожесточенной, потому что большевики, революционный народ не сложат оружия, пока не добьются победы над силами контрреволюции.

Уже около своего вагона Фролу повстречался вооруженный казак. Не доходя до Фрола четыре шага, казак встал во фронт и, приложив правую руку к фуражке, доложил, что он прислан начальником караула, охраняющего арестованных. И тут Фрол вспомнил, что еще вчера сюда пригнали арестованных анархистов вместе с главарем их Пережогиным.

— Так что Пережогин поговорить с вами желает,— докладывал казак,— и вагон, значит, для себя особый требует.

— Каков подлец, сукин сын! — вскипел Фрол, обозленный наглостью старого анархиста.— Скажи этому мерзавцу, что я и видеть его не желаю. Отдельный вагон захотел, грабитель. Кабы моя на то воля, так я бы ему оказал преимущество перед другими: его бандитов расстрелял бы, а его повесил. Так и передай этому прохвосту. Можешь идти.

Множество всяких, больших и малых, дел обрушилось на широкие плечи Фрола в первый же день его командования фронтом. Надо детально ознакомиться с положением на фронте, просмотреть последние сводки, наметки полевого штаба, внести кое-какие дополнения в план, который предстояло обсудить сегодня на заседании военного совета. Какие бы там беды ни угрожали области с запада, здесь задача оставалась прежняя: разгромить Семенова во что бы то ни стало. А тут сегодня же шифрованной телеграммой вызывают в Читу, — как видно, там назревает что-то серьезное, потому что просят прислать туда

хорошо вооруженный и наиболее надежный отряд красногвардейцев. Фрол решил вызвать с фронта отряд горняков-красногвардейцев Николая Зыкова и Бориса Кларка с его седьмой сотней.

До заседания военного совета оставалось еще часа два, когда в дверь заглянул вестовой Фрола, круглолицый, темно-русый, густо обросший курчавой бородой Тихон Бугаев. Девятьсот шестого года присяги, Тихон до мобилизации в армию жил в городе Нерчинске и работал там в ресторане поваром, казак из него получился никудышный, но денщик преотличный. Находился Тихон при Фроле с момента появления его в Аргунском полку, вот уже четвертый год, и теперь исполнял при нем обязанности ординарца, коновода и денщика. Работящий, добродушный Тихон привык к Фролу, заботился о нем, как о родном сыне, и даже нередко ворчал на него из-за какого-нибудь пустяка, на что тот не обращал внимания.

— Ты где пропадал-то? — напустился Тихон на Фрола, ввалившись к нему в вагон.— Ушел ни свет ни заря и глаз не кажешь, даже и без завтрака! Али деньгами хочешь получить за недоед-то?

— Не мешай! — отмахнулся Фрол, продолжая просматривать бумаги.— Некогда мне.

— Што опять за дела такие, обедать-то придешь?

— Приду.

— Скоро?

— Ты отстанешь или нет?! — Рассердившись, Фрол оторвался от бумаг, выпрямился в кресле и уже хотел ругнуть Тихона, но передумал, почувствовав, что сильно проголодался, заговорил миролюбиво: — Что у тебя за обед сегодня, хватит человека на три?

— Можно сделать и на три.

— И выпить найдется?

— Все выпивал бы! — Сердито насупившись, Тихон отвернулся, что-то соображая, потеребил бороду и лишь после этого ответил: — Есть ишо бутылка коньяку, последняя, больше, проси не проси, нету.

— Чудесно, молодец, Тихон Михеич,— обрадовался Фрол,— тогда вот что, позови к обеду Киргизова и Богомягкова разыщи, а когда придут, скажи мне, я пока еще поработаю. Да вот еще что, после обеда харчишек приготовь мне в дорогу, в Читу поеду сегодня.

— Опять в Читу, что за дело у тебя там?

— Ну, это уж не твоего ума дело, ступай.

В тот же день, к вечеру, Фрол выехал в Читу, вместе с ним отправились отряд красногвардейцев, человек триста, Николая Зыкова и Борис Кларк во главе седьмой сотни аргунцев.

ГЛАВА XX

Поезд, в котором ехал Фрол с красногвардейцами, прибыл в Читу ранним утром. Вместе с Фролом в одном купе ехали еще двое — Борис Кларк и командир отряда горняков Николай Зыков. Все трое спали, подложив под бока шинели.

Раньше всех проснулся Кларк. Спрыгнув со средней полки, он потянулся, похрустел суставами, и первой мыслью его было: «Пойти бы сейчас в вагон к своим хлопцам, взять коня и съездить к себе домой. Уж очень что-то хочется повидать ребятишек, жену», но, вспомнив строгий приказ Балябина, он только вздохнул и принялся будить спутников.

— Э-эх, сон какой видел сегодня,— громко зевнув, заговорил Зыков,— будто рыбу ловили мы с отцом в Кеноне. Отец стоит на берегу, а я надел на ноги что-то похожее на лапти и пошел по воде сеть заносить. Иду по озеру, как посуху, под ногами вода плещется, окуней вижу, плавают, а сам думаю: «Почему же я раньше так не делал?» Приснится же какая-то чертовщина!

— А я, брат, никаких снов не видел,— отозвался на это Кларк,— всю ночь на одном боку проспал, как хороший пожарник, и только сейчас вот проснулся.

Фрол еще лежал на своей койке, потягиваясь, растирал ладонями грудь, когда в купе к нему зашел железнодорожник с фонарем в руках. Он поздоровался и, предъявив Фролу свой партийный билет, сообщил, что ему поручено встретить прибывших товарищей и проводить их на заседание штаба обороны города.

— А-а, ну вот и хорошо! Собирайся, Борис Павлович, а ты, товарищ Зыков, оставайся здесь, присматривай тут за всем. Людей из вагонов никуда не отпускать. Ожидай распоряжения.

Было еще очень рано, притихший город спал. На востоке чуть брезжил рассвет, фонари тускло освещали обезлюдевший перрон, мокрые от росы деревянные тротуары. Железнодорожник повел Фрола и Кларка через плохо освещенный зал ожидав я, где сидели и лежали пассажиры с чемоданами, мешками и узлами в руках. Затем по узенькой деревянной лестнице

поднялись на второй этаж и очутились в большой, также тускло освещенной комнате. Сквозь густую пелену табачного дыма Фрол увидел здесь множество рабочих, вооруженных винтовками и в самых разнообразных позах: одни сидели, тихонько переговариваясь, курили, другие спали кому где пришлось, на полу, на скамьях, на столах и на широкие подоконниках. В дальнем углу кучкой стояло человек пять совсем еще молодых парней, тоже с винтовками и опоясанные патронташами. Из этой комнаты прошли в другую, чуть поменьше, но лучше освещенную, где также сидели и толпились около большого письменного стола человек двадцать. Среди них Фрол узнал Дмитрия Шилова, Ивана Бутина, Николая Матвеева, Якова Жигалина, Бориса Жданова, Захара Хоменко и еще нескольких человек из военных.

Фрол за руку поздоровался со всеми, около кареглазого бородача остановился.

— Лицо знакомое,— Фрол задержал руку бородача, посмотрел на него пристально,— а фамилии... вот чертова память!

— Чугуевский,— оскалился в улыбке бородач,— военный комиссар ревкома.

— Вспомнил! Чугуевский Андрей... Андрей...

— Ефимович.

— Точно, Андрей Ефимович. Ведь раза три встречались в Совете. Да-а, а тут у вас новые люди появились. Вот паренек стоит, кто это такой?

— Это Широких-Полянский, Сергеем его звать, вожак молодых большевиков.

— Что еще за молодые большевики?

— Это он тут организацию создал молодежную. После совещания, если будет время, поговорите с ним, интересное затеял он дело.

В это время Шилов, призывая к порядку, постучал карандашом по столу, попросил всех сесть и объявил экстренное совещание штаба обороны открытым.

— Слово для сообщения имеет председатель ЧК товарищ Перевощиков.

Перевощиков подошел к столу, повернувшись лицом к собранию, разгладил левой рукой густые вислые усы.

— Товарищи,— начал он глуховатым баском,— сегодня нам предстоит жаркое дело. Мы обнаружили крупный заговор офицеров и остатков бывшей жандармерии, во главе которого стоит войсковой старшина Вихров. Сегодня они намерены поднять восстание и выступить в десять часов утра под видом крестного хода из всех церквей города.

Он на минуту замолк, обводя взглядом присутствующих, по рядам которых пополз изумленный шепоток.

— И много их, заговорщиков-то? — спросил Жигалин.

— Порядочно,— ответил Перевощиков.— Они надеются, что к ним пристанут многие жители города и, кроме того, две сотни казаков бывшего Читинского полка должны напасть на город с юга, со стороны Каштака, а с ними еще «вольная дружина» из старых казаков Сухомлиновской и Кияшкинской станиц.

— Ого!

— Хватит ли у нас силенок-то...

— В заслон от казаков мы выставляем сотню аргунцев Бориса Кларка, в помощь ему придаем полуроту пехоты при двух пулеметах. Конечно, этого мало. Очень мало, и Кларку будет трудно, но у нас нет резервов. Как ты думаешь, Борис Павлович?

— Ничего-о, справимся,— уверенно мотнул головой Кларк и пошутил: — У меня ребята хваты — семеро одного не боятся! Сдюжим!

После сообщения председателя ЧК распределили, кому и каким пунктом обороны руководить, как поддерживать связь со штабом. На отряд Зыкова возложили оборону станции. Балябин сам попросил, чтоб и ему поручили один из оборонных пунктов.

— Не дури, Фрол,— покосился на него красивыми карими глазами Шилов.— Тебе в штабе будет работы по горло. Ты командующий фронтом.

Но Фрол продолжал настаивать на своем, его поддержали Чугуевский и Жданов. Поспорив, согласились и остальные. В штабе обороны остались Шилов, Бутин и Матвеев.

Участок Фролу достался на горке около старого кладбища. Здесь он должен был преградить путь мятежникам к арсеналу. В свое распоряжение он получил восемьдесят красногвардейцев из жителей города, рабочих Читы-нервой и студентов. Рассыпав свою команду цепью, Фрол приказал им окопаться, установить единственный их пулемет «максим». Вырыть небольшую яму в песчаном грунте — дело пустяковое. Быстро замешкали лопаты, штыки, и не более как через полчаса неглубокие ложементы были готовы. Изогнутая линия их одним

концом упиралась в кладбище, другим, пересекая улицу, в бревенчатый забор, за которым виднелись громадные сосны, кусты яблони и боярышника.

Солнце уже приподнялось над соснами, становилось жарко, а в голубом небе ни облачка, тишина. Ни одной веткой не шелохнут столетние сосны. Пустынна широкая песчаная улица: здесь далеко от центра, потому и безлюдно. Изредка пройдет какой-нибудь старик или пробегут ребятишки.

Фрол вынул из кармана часы, посмотрел на них, досадуя про себя, что очень уж медленно движется время: еще нет и девяти часов, а люди уже приготовились, ждут. Вот пожилой сивоусый рабочий с черными пятнышками въевшейся в поры лица угольной пыли старательно углубляет ложемент, а впереди себя он уже устроил песчаную насыпь с амбразурой для винтовки. Тем же занят и молодой русоволосый студент. Это из тех молодых большевиков, с которыми Фрола познакомил сегодня утром вожак их, Широких-Полянский. Фрол почти всех их запомнил в лицо и по фамилиям. Этого зовут Федя Пронин, а подальше другой паренек, такой же сероглазый крепыш и тоже Федя, Заузолков, этот кроме винтовки раздобыл себе где-то еще и гранату-лимонку. Тут же и двоюродный брат Зины, жены Фрола, Коля Зеленский и совсем еще парнишка, кудрявый как молодой барашек, циркач Оська Захаренко, а рядом высокий, похожий на монгола здоровяк Гошка Мордвинов и еще с десяток таких же молодых парней. Все это зеленая, еще не обстрелянная молодежь, впервые взявшаяся за винтовку. Им и боязно с непривычки, но держатся они геройски, всем своим видом показывая, что им ничуть не страшно, что в бою они не отстанут от других и уж покажут белякам, почем сотня гребешков.

«И покажут,— думал про них Фрол, медленно проходя вдоль линии окопов.— Славные ребята, боевые: и союз молодежный создали, и даже газету свою… как же она называется? Да, «Возрождение», молодцы! Вот название-то у них какое-то очень уж длинное: Читинский трудовой левосоциалистический союз молодежи… не то, не то. Ну, да дело не в названии!»

Фрол остановился на пригорке около пулемета, к зеленому щитку которого прилег белокурый матрос в лихо сдвинутой на затылок бескозырке и полосатой тельняшке. Вскинув к глазам бинокль, Фрол долго рассматривал город и его окрестности. Отсюда ему хорошо было видно и пригород — Читу-первую, и зеленые луковицы куполов собора, и окраину города — Кузнечные ряды, и голубое плесо озера Кенон. А там далеко

простерлась к югу широкая равнина и за нею линия сопок, покрытых лесом. Там, наверное, накапливаются сейчас, готовятся к нападению сотни мятежных казаков, устоит ли против них Кларк?

Бу-у-ум! — раздался тяжкий удар тысячепудового соборного колокола, гулкое эхо его несколько раз отозвалось в окрестных сопках и еще не замерло вдали, как медный богатырь загудел во второй, в третий раз. Соборному великану ответили другие колокольни, и, когда ударили, зазвонили во все колокола, из церквей повалил народ, начался крестный ход. Красногвардейцы в ложементах задвигались, зачакали затворами винтовок. Фрол предупредил: «Стрелять сначала вверх, для острастки, и только после моей команды: «Прямо по мятежникам!» — бить по цели».

Как и предполагалось, крестный ход из собора направился вверх по Александровской улице, в сторону арсенала. Впереди священнослужители в блестящих ризах, по бокам их, во всю ширину улицы, горожане, с большими и малыми иконами в руках, а позади далеко растянулась густая толпа. Медленно, величественно движется процессия. Торжественно звучат молитвенные напевы псалмов, их хором подхватывают многие голоса. Ослепительно блестят золотые одежды служителей церкви, дорогие оклады дарственных икон, над головами переднего ряда богомольцев мерно колышутся малиновые, шитые золотом хоругви. И от всего этого шествия веет миром и благочестием.

И вдруг, заглушая шум и протяжное пение богомольцев, издалека, с южной окраины города, донеслась ружейная пальба.

— Начало-ось! Держитесь, товарищи! — крикнул своим бойцам Фрол, пристраиваясь за песчаным холмиком, вынимая из кобуры наган.— Аргунцы уже вступили в бой.

Стрельба все усиливалась и уже перекинулась на вокзальную площадь, короткими очередями начал бить пулемет где-то левее Атаманской площади.

Словно невидимым бичом хлестнуло по богомольцам. Толпа их заколыхалась, задвигалась. Старики, услыхав стрельбу, крестясь, поворачивали обратно; другие, что помоложе, наоборот, пробирались в передние ряды, и стало видно, как подвижной, черноусый человек в защитной гимнастерке, жестикулируя, распоряжается всеми. Он, очевидно, заметил опасность, а потому так и сыпал приказами направо и налево. Чершл ,ого все слушались, колонна пошла быстрее, и вот, когда

до нее осталось не более сотни шагов, Фрол вскочил на ноги, выпрямился во весь свой богатырский рост.

— Назад! — рявкнул он, перекрывая басистым голосом шум толпы и, оглянувшись на своих, взмахнул наганом.— Рота-а-а... пли!

Торопливо и неровно грохнул залп. Богомольцы опешили, попятились, заметались в панике, сшибаясь друг с другом. Те же, кому удалось выбраться из этой толчеи, кинулись наутек, многие с иконами под мышкой. Многолюдная колонна таяла, редела на глазах, но те, что остались, повинуясь приказам черноусого, рассыпались цепью. Они залегли за буграми, неровностями почвы, открыли по красногвардейцам ответный огонь из пистолетов и откуда-то появившихся у них винтовок.

Тиу-у-у... тиу-у-у... фьють...— коротко, резко стали высвистывать их пули над окопами красногвардейцев, и уж не одна из них упилась горячей кровью красных бойцов. На приклад своей винтовки уронил седоусый шахтер простреленную голову, притих навсегда. Обеими руками схватился за правый бок и со стоном повалился на окровавленный песок тяжело раненный Николай Зеленский. Прошило пулей левую руку и Фролу. Скрипнув зубами от боли, он, чтобы унять кровь, перехватил здоровой рукой раненую, напрягая голос, скомандовал:

— Рота-а-а... прямо по бандитам... пли!

Залп, второй, третий. Из мятежников первым клюнул песок носом, расстался с жизнью черноусый. Рядом с ним навзничь повалился бородач в плисовой поддевке и долго еще стонал, двигал ногами в новых сапогах. И еще два или три беляка поплатились жизнью за бунтарство. Остальных прижало залпами к земле. Пули красногвардейцев находили их и тут, длинными строчками из пулемета начал прошивать бунтовщиков матрос в тельняшке. Мятежники не выдержали, кинулись врассыпную, они бежали, пригибаясь и где только можно перескакивая через заборы. За ними, со штыками наперевес и стреляя на ходу, рванулись красногвардейцы.

Человек десять своих Фрол успел задержать. Приказав им отнести в госпиталь раненых, снести в одно место убитых, сам он с помощью матроса-пулеметчика стал забинтовывать себе раненую руку.

Бой закончился, постепенно затихла стрельба. На улицах начали появляться горожане, раненых и убитых стали подбирать санитары, милиция и мобилизованные извозчики.

ГЛАВА XXI

После боя Фрол решил побывать у жены своей Зины, с которой не виделся он больше месяца. Ехал он на лошади штабного казака, а в ушах его все еще звенел взволнованно-радостный голос Ивана Бутина, с которым он только что виделся в зале заседаний областного Совета.

— Победа, полная победа! — радостно восклицал Бутин.— Разгромили беляков наголову, многих побили, человек тридцать взяли живьем, в том числе и самого Вихрова. Судить будем их сегодня же, чего тянуть.

Фрол не остался на заседании областного Совета, сославшись на то, что он голоден со вчерашнего вечера и надо перебинтовать раненую руку. Бутин не стал его удерживать, а только настоял, чтобы он взял с собой двух казаков для охраны.

Зина, жена Фрола, жила в Кузнечных рядах, у матери своей, вдовы мелкого торговца овощами Таисии Марковны. С Фролом она познакомилась на фронте, где работала медицинской сестрой, в полевом казачьем госпитале.

Старуха Марковна, много лет мечтавшая о счастливом браке дочери, ужаснулась, когда узнала, что Зина вышла замуж за большевика.

Напрасно Зина пыталась разуверить мать, что большевики вовсе не такие, какими их расписывает купец Гордей Филиппович, старуха и слушать не хотела. Несколько успокоилась Марковна, увидев зятя воочию и познакомившись с ним, когда Фрол на один день приезжал в Читу, ненадолго забежал к Зине.

— Кажись, и верно, ничего зять-то, вроде уважительный,— рассуждала Марковна после ухода Фрола.— Только чего же это он забежал-то на одну минутку?

— Некогда ему, мама, дела там у него всякие фронтовые, срочные.

— Фронтовые, строчные, а про домашние дела и в думушке нету.— И, поджимая губы, вздыхала: — А все-таки не пара он тебе, Зина, хоть сердись, хоть нет. Эдакий верзила, под потолок головой, а плечи-то, а ручищи-то, боже ты мой! Ему бы вся статья грузчиком работать либо молотобойцем в кузнице, а не в командерах ходить. И где ты подцепила его, эдакого?

Черноглазая, тоненькая и стройная Зина смеялась, обнажая в улыбке сахарно-белые зубы.

— Ничего, мама, любовь-то ведь не картошка.

— Да оно-то верно, полюбится сатана лучше ясного сокола. Ох, Зина, Зина, ветер у тебя в голове, вить это хорошо, ежели

он характером-то мягкий, уживчивый, а ежели он, не дай бог, такой, как вон зятюшка наш Артамон? Тогда тебе только и жития до первой выпивки, кулачищи то у него — страшно смотреть, как двухпудовые гири! Посадит тебя на одну ладошку, другой хлопнет, и жизни конец.

— Он меня, мама, и пальцем не тронет, ветру на меня не даст дунуть.

— Ох, девка, твои-то речи да богу бы встречи.— И, тяжко вздыхая, старушка шла на кухню чистить картошку.

После второй встречи с Фролом, и особенно когда узнала от Зины, что зять ее теперь у казаков большой начальник, старуха переменила к нему отношение, перестала упрекать дочь, а встретившись с соседками и со знакомыми бабами в очереди за хлебом, даже хвалилась:

— Уж зять-то у меня попал, слава те господи, уважительный, больших наук человек. У него и чин-то генеральский, кабы погоны-то не отменили, так он бы в аполетах ходил. Ну-у, я теперь и горюшка не знаю. Намедни, как приезжал он с фронту, я собираюсь на базар идти, говорю ему: деньжонок бы мне, Фрол Омельяныч, сколь можно, на базаре-то вон какая дороговизна. А он, цевки, ни слова не говоря, расстегнул сумку и целую папушу мне керенских отвалил, даже и не считамши.

Бабы ахали, качали головами, вздыхали:

— Ай-я-яй, счастье-то какое привалило!

— Зина-то генеральша! И верно говорят: не родись красивой, а родись счастливой.

— Какой он генерал,— возражала одна из завистниц,— вот раньше были генералы, это действительно, и посмотреть-то было на что...— И чтобы досадить Марковне, принялась расхваливать прежних генералов, вспоминая их парадные выезды, ордена, эполеты, балы и наряды генеральских жен.

— На черта нам ихние балы,— вступилась за Марковну высокая сухопарая соседка ее Степанида,— они-то веселились на балах, а с нас за это по три шкуры драли.

* * *

— Фрол! — радостно воскликнула Зина, увидев мужа, и кинулась к нему, едва он появился в доме, повисла на нем, обхватив руками за шею.

— Зинушка, милая, здравствуй,— он обхватил ее за талию эдоровой рукой, легко приподнял, привлек к себе. Она прижалась к нему, целовала заросшее черной щетиной лицо и вдруг заметила повязку на руке, охнула испуганно:

— Ранили тебя?

— Да так, пустяки, кость не задело.

— Что же ты сразу-то не сказал? Сейчас.

В ту же минуту она метнулась к себе в комнату, обратно вернулась с куском марли и флаконом йода в руках.

— Раздевайся!

Фрол снял шашку, распоясался. Зина помогла ему стащить гимнастерку, принялась разматывать окровавленный бинт.

Из своей комнаты вышла Марковна, поздоровалась с зятем, поахала при виде раненой руки и, когда Фрол успокоил ее, полюбопытствовала:

— С кем война-то была? Стреляли-то как страшно. Я перепугалась да в подполье, сижу ни жива ни мертва. Господи, страсти какие.

Фрол коротко рассказал о мятеже. Разговаривая с ним, Марковна не забывала о деле: поставила самовар, разожгла печь, принялась готовить обед.

Обедали в кухне. Проголодавшийся Фрол с удовольствием навалился на жаренную со сметаной картошку и на гречневую кашу с молоком. Потом пили чай. Фрол наливал себе четвертый стакан, когда в доме появился запыленный, в измазанных грязью сапогах казак.

По встревоженному виду казака Фрол понял — случилось что-то неладное, спросил:

— Что такое?

— В областном Совдепе был сейчас, просят вас туда прибыть срочно. Командира нашего убили, Кларка.

Кровь бросилась в лицо Фролу.

— Кла-арка? — переспросил он, не веря своим ушам.

— Так точно, на моих глазах дело было...— Казак коротко рассказал о смерти Кларка и о том, что тело его казаки привезли домой, к семье убитого командира.

Сурово сдвинув густые брови, Фрол молча выслушал печальную весть и, шумно вздохнув, выпрямился, приказал казаку:

— Коня, живее!

— Слушаюсь.

Когда казак вышел, Фрол молча поднялся с табуретки, засобирался в дорогу.

— К вечеру вернешься? — спросила его тоже опечаленная случившимся Зина.

— Едва ли. На фронт надо, сегодня же, а тут видишь, беда какая...

Он привлек к себе Зину, поцелов.'л и вышел.

Фрол знал, что семья Кларка проживает в небольшом бревенчатом доме на углу Енисейской и Камчатской улиц. Туда и погнал он рослого темно-карего коня. Три конных казака рысили позади,, тот самый, что привез известие о гибели Кларка, рассказывал своим спутникам:

— Зазря погиб командир, можно сказать, сам напросился на смерть. А утром-то, когда мы вместе с пехотой позицию держали, он еще такой веселый был. Похаживает вдоль окопов, плеточкой по голенищу похлопывает, подбадривает нас, чтоб не робели. Я спросил его, говорю: «Много их, товарищ командир, белых-то?» А он мне: «Чего их считать, сколь есть — все наши будут. Сыпанем им соли на хвост!»

Ну и всыпали действительно, побили их много, а потом всугонь погнались за ними. Под Каштаном задержались они немного. Обошли мы их с фланга и тут бы им наклали, кабы не сплоховал командир наш, пожалел их. «Стойте, говорит, ребята, живьем возьмем их, чего губить людей понапрасну. Поеду к ним, образумлю, уговорю, чтоб сдались без боя». Мы ишо отговаривали его, да где там, не послушался. Подъехал он к ним один, а их человек двадцать выехало навстречу. Начал с ними что-то говорить, и вдруг хлоп — выстрел! И повалился с седла командир наш.

Мы сразу же в атаку на них, обозлели и взяли их в работу. Под офицером, который стрелял в Кларка, коня убили и самого его зарубили, да что толку-то: Кларка уж теперь не вернешь.

В доме Кларка уже шло приготовление к похоронам. Четверо рабочих-красногвардейцев, соорудив в углу ограды верстак, строгали доски, сколачивали гроб. Один из них, сидя на окантованном, гладко обструганном столбе, выдалбливал на нем долотом и полукруглой стамеской фамилию, имя и дату смертк погибшего.

Фрол спешился, передал коня казаку и поспешил в домЛ Пригибаясь в сенях, чтобы не стукнуться головой о косяк, он прошел в комнату, где на двух столах лежал покойник. Смерть уже наложила на Бориса Павловича свой отпечаток. Недавно свежее и загорелое лицо его теперь стало цвета мрамора, оттого темнее кажется обрамляющая лицо бородка. Его уже обмыли, надели на него чистую гимнастерку, подпоясали ремнем, сложили на груди руки, приготовили Кларка в последний путь.

В обеих комнатах дома и у тела погибшего командира полно

людей. Тут и рабочие — друзья Кларка, красногвардейцы, конники-аргунцы из его сотни. Вдова покойного, молодая белокурая женщина в темном платье, сидела на табуретке и молча, безутешно плакала, уронив голову на стол, к ногам мужа. Трудную жизнь выбрала она, став женою революционера-подпольщика, но никогда не каялась в этом, не хныкала, не жаловалась на судьбу. Об этом Фрол не раз слышал от самого Кларка. Она шла с мужем рука об руку, помогала ему в трудном и опасном его деле. С кучей детей она последовала за мужем, когда его, закованного в кандалы, погнали на каторгу. Вместе с ним была в эмиграции, делила с ним и горе и радости. И вот потеряла его в то время, когда свершается уже то, за что боролся он всю свою сознательную жизнь.

Рядом с нею стоит девочка лет девяти, очевидно старшая дочь, и, заливаясь слезами, глаз не сводит с отца. Вторая, поменьше, плачет, уткнув в колени матери белую как лен, кудрявую головенку. А рядом сердито насупившийся мальчик уставился глазами в пол, держит за руку белоголовую сестренку лет пяти. И еще двое самых маленьких, мальчик и девочка, сидят на кровати, забавляются куклами из пестрых лоскутов, не понимают глупые дети, какое великое горе обрушилось на них.

Все это увидел Фрол, войдя в комнату. Тяжело ступая, подошел к столу, снял фуражку, встал у изголовья покойного.

— Эх, Борис, Борис,— заговорил он глухим, дрогнувшим голосом,— вот где нашел ты свою смерть... доверился каким-то гадам...

Вдова со стоном всхлипнула, схватилась за сердце. Фрол подошел к ней, присел рядом на скамью, привлек старшую девочку к себе.

— Крепись, Анна Андреевна, голубушка,— заговорил он,— горе твое безутешно, а только помни, что ты мать, мать детей Бориса... которых надо вырастить... сожми в кулак сердце и переживи.

Она подняла голову, глазами, полными слез, посмотрела на него, хотела что-то сказать и не смогла.

— А мы, забайкальские большевики,— добавил Фрол,— Кларка не забудем и семью его в беде не оставим.

Хоронили Кларка в тот же день. Сотни людей провожали его с алыми знаменами и пением революционных песен. Гроб с телом своего командира на руках несли казаки-аргунцы его сотни. За ними вели командирского коня, оседланного, под черной попоной.

Шли за гробом соратники Бориса: командиры, комиссары, в числе их Шилов, Бутин, Балябин и другие его боевые друзья. Несли на руках детей покойного, под руки вели его вдову и старушку мать.

Величественные, грустные звуки похоронного марша изливали медные трубы оркестра, тяжко вздыхал барабан, сотни голосов подхватывали знакомый напев. Из мощного, как морской прибой, рокочущего хора выделялся чей-то юношески звонкий, сильный голос. Он словно птица взвивался кверху и, трепеща там, звеня серебристыми крылами, выводил:

...И шли вы, гремя кандала-а-а-ами...

Когда гроб с телом Кларка опустили в могилу, аргунцы оказали ему последнюю почесть троекратным ружейным залпом.

ГЛАВА XXII

Слишком поздно вступил Сергей Лазо в командование Прибайкальским фронтом. К этому времени передовые части мятежного корпуса чехов уже подходили к станции Мысовой, за ними лавиной двигались остальные многочисленные их эшелоны. Возможность задержать мятежников в ущельях и туннелях Кругобайкальской дороги была безнадежно упущена. Теперь вести с ними бой приходилось в открытой местности, при чудовищно неравном соотношении сил. У Лазо, даже после того как прибыл к нему из Читы отряд горняков Николая Зыкова, не было и четырех тысяч бойцов против сорока чехословацких, но обстоятельства вынуждали его принимать неравный бой. Надо было во что бы то ни стало задержать чехов, чтобы руководители советского Забайкалья успешнее подготовились к эвакуации Читы. Хорошо понимали это и красногвардейцы, потому-то и бились они с таким отчаянным упорством, сдерживая крупные силы врага.

Поначалу советским войскам помогало то, что бой с ними вели лишь передовые отряды чехов, но их силы беспрерывно возрастали, с запада подходили новые и новые эшелоны, и в бой вступали свежие их части, и все-таки измотанные боями красные отряды рабочих героически дрались за каждую станцию, за каждую высоту. Отступая, они взрывали за собой мосты, портили железнодорожные линии и, пока чехи исправляли повреждения, закреплялись на новых позициях и снова вступали в бой.

Тревожной жизнью зажила Чита, когда стало ясно, что советской власти в Чите приходит конец. Множество важных и срочных дел возникло у руководителей области: надо готовиться к отступлению на всех фронтах, распускать армию, а как быть с отрядами интернационалистов? Надо вывозить из города все подлежащее эвакуации, свертывать госпитали, отправлять их куда-то вместе с ранеными. Надо ликвидировать советские учреждения, рассчитать рабочих и служащих, позаботиться о семьях революционеров, уходящих в подполье. Такие и сотни подобных этому вопросов приходилось решать ежедневно и без промедления. В обширном приемном зале бывшего губернаторского дома почти беспрерывно заседали: то депутаты областного Совета, то Совет Народных Комиссаров Забайкалья, то члены Центросибири, совсем недавно переехавшие в Читу из Верхнеудинска. Чаще всего эти организации проводили совместные заседания.

На одном из таких заседаний в числе других вопросов было решено: разгрузить читинскую тюрьму, большинство заключенных амнистировать. Рабочим, служащим учреждений, рудников, железной дороги и прочих предприятий выплатить заработную плату имеющимся в наличии серебром и золотом.

В августовский ясный, но нежаркий день выпустили из тюрьмы амнистированных арестантов. Вместе с другими анархистами вышел на волю и Спирька Былков. Снова повеселел Спирька, очутившись на свободе. Проходя по песчаной тюремной ограде, посмеивался он, щуря зеленые глаза, по привычке балагурил, оглядываясь на опустевший каземат: «Прощай, наша матушка-тюрьма, сгореть бы тебе дотла. А начальников бы наших лихоманка затрясла».

С привратником, когда тот раскрыл перед ним тюремные ворота, Спирька попрощался самым дружеским тоном:

— Прощай, браток, спасибо тебе за хлеб, за соль, за теплово.

— Не стоит,— улыбнулся в ответ седовласый привратник-красногвардеец.

— К нам в гости пожалуйте, когда нас дома не будет,— продолжал балагурить Спирька.— А старухе твоей от меня поклон на особицу, пошли ей господи сколько лет на ногах, столько и на карачках покрасоваться.

Тут Спирька даже фуражку сдернул с головы, в пояс поклонился привратнику и под дружный хохот анархистов повел их вдоль по улице. Они еще в тюрьме условились, что после

освобождения первым сборным пунктом для них будет Старый базар, туда и повел их Спирька.

Когда на базар заявился и сам Пережогин, там, на бугре возле забора, собралось уже человек восемьдесят его соратников. Остальные или еще не вышли из тюрьмы, или шлялись где-то в городе.

Небритый, заросший сивой щетиной, но по-прежнему бодрый, подвижной, подошел Пережогин к своим сподвижникам.

— Вот что, братва,— начал он, поигрывая металлическим наконечником наборчатого кавказского ремешка,— большевикам капут подходит, дорыпались. Больше мы с ними не якшаемся, хватит. А если кто из вас пожелает к ним, пожалуйста, хоть сейчас же, держать не буду.

— Куда же мы теперь? — послышались голоса.

— Всяк по-своему, что ли?

— Доигрались.

— Навоевались, кончать пора.

— А может, к Семенову податься?

— Тихо! — поднял руку Пережогин.— Дайте мне сказать. Давайте сделаем так: сейчас все вы отправляйтесь в город, на весь день и кому куда любо. А к вечеру все, кто пожелает остаться с нами, приходите...— Он помолчал, припоминая что-то, поправил наборчатый поясок.—...Приходите на постоялый двор, что на Уссурийской улице, на углу, знаете? Там и договоримся обо всем, а что нам делать и как быть — это уж моя забота, понятно?!

В ответ нестройный гул:

— Понятно. Все ясно как день.

Все, поднимаясь с земли, загомонили, заспорили. Пережогин поманил к себе пальцем Спирьку, отошел с ним в сторону, заговорил тихонько, доверительно:

— Я ухожу сейчас. А ты побудь здесь, будут еще подходить наши, объяви им то же самое, что я сказал.

— Ладно.

— Особо никого не уговаривай, не приневоливай идти с нами.

— Чего их уговаривать, вольному воля, спасенному рай.

— То-то же.

Пережогин понимал, что авторитет его среди бывших соратников сильно пошатнулся, что многие из них к нему не вернутся.

Так оно и получилось: очутившись на свободе, они разбрелись кому куда вздумалось: одни решили остаться в Чите и ждать прихода белых, другие, разбившись на мелкие шайки, устремились на Онон, в верховья Ингоды и на прииски, а многие сочли за лучшее разъехаться по домам.

К вечеру на постоялый двор, указанный Пережогиным, анархистов его пришло человек около полсотни. Все они разместились на нарах большой, как барак, комнаты. Почти каждый из них принес с собой что-нибудь из продуктов: кто булку хлеба, кто связку калачей, кто кусок мяса, а Спирька мало того что приволок полмешка всякой провизии, да еще успел где-то порядком хлебнуть хмельного, а у какой-то зазевавшейся хозяйки спроворил цветастую кашемировую шаль.

— Былков знает, где что плохо лежит. А за эдакую шаль самогонки разживусь теперь не меньше ведра,— хвастал он, сидя на нарах, подшучивая над теми, кто пришел с пустыми руками.— Эх вы-ы, сосунки. Вам бы у церкви стоять — милостыньку выпрашивать, так опять горе — подавать не будут. Не-е-ет, на любого скажут: тебе не с ручкой здесь стоять, а у зароду с вилами, вон какой балбес вымахал, об лоб-то поросенка убить можно.

«Сосунки» не обижались, посмеиваясь хвалили Спирьку, подговаривались:

— Угостил бы хоть по старой дружбе.

— Вот-вот, чем шалыганить-то.

— У Былкова не заспится, свой парень в доску, компанейский.

— Ладно уж, пользуйтесь моей добротой.— Польщенный в лучших своих чувствах, Спирька нагнулся, достал с полу мешок с провизией и поставил на нары.— А ну, подходи, друзья-недобытчики. Милости прошу к нашему шалашу, капусты накрошу, откушать попрошу.

Друзья не заставили себя уговаривать, тесный круг их сомкнулся вокруг Спирьки с его мешком.

Позднее всех пришел на постоялый сам Пережогин. Свежевыбритый, повеселевший, он, презрительно сощурясь, обвел взглядом сидящих и лежащих на нарах анархистов, а Спирька уже спешил к нему.

— Все здесь? — спросил его Пережогин.

— Все,— ответил Спирька,— человек пятьдесят, однако, а может, и меньше.

— Ну и черт с ними, чем меньше, тем лучше.

— А я тут насилу дождался тебя, дело наклевывается

важное.— Спирька хоть и был пьян, но на ногах держался крепко; оглянувшись на «друзей», заговорил тише: — Золотишка можно урвать в банке, лучше всякого прииску...

— Тсс...— прицыкнул Пережогин, меряя Спирьку сердитым взглядом.— Дело важное, а сам нализался как сапожник.

— Да вить это для смелости, товарищ командир, чтобы, значить...

— Прижми язык, ну! Вот ту дверь видишь?..— Пережогин кивком головы показал вправо, на угловую комнату.— Там я буду сейчас. Позови ко мне Жильцова, Денисенко и сам приходи, живо!

Вскоре все четверо заперлись на ключ в небольшой угловой комнате, двумя окнами выходящей на Уссурийскую улицу. Уселись за столом, посредине комнаты. Пережогин приказал Жильцову задернуть на окнах тюлевые занавески, кивнул головой Спирьке:

— Выкладывай, что там наслышал.

— Насчет золота, я же сказывал тебе, разжиться можно, даже не один пуд,— зачастил скороговоркой Спирька,— выдают его в банке, своими глазами видел, как подъехали на извозчике,— говорят, с Черновских копей,— получили три ящика чистоганом и ходу к себе, жалованье выдавать рабочим. Охраны-то при них было три красногвардейца с берданками, и в другие места увозили золото таким же манером. При банке охрана тоже не ахти какая, напасть на них, обезоружить — плевое дело. А потом набрать его, сколь силы хватит унести, и в лес, ищи ветра в поле.

— Ай-яй, как просто,— Пережогин, насмешливо сощурившись, покачал головой.— А вы как думаете?

— Черт его знает,— заговорил Жильцов, тот самый, что щеголял в гусарском ментике,— будь бы оружие у нас, а то ведь с голыми руками, гиблое дело.

— Оружие добудем,— возразил Жильцову Денисенко,— у той же стражи отобьем! Я за то, чтобы рискнуть.

— Упустить эдакую благодать,— начал было Спирька, но Пережогин остановил его властным движением руки:

— Помолчи-ка, не горячись. То, что наблюдательность проявил ты сегодня, хорошо, хвалю. А вот чтобы налет на банк устроить сегодня же, без оружия, это глупость, бред сумасшедшего. Я ведь тоже про это золото разведал и уж обмозговал, как его взять. Гиреева нашего знаете?

— Ну еще бы,— отозвался Жильцов,— как свои пять пальцев, наш — анархист.

— Отрядом небольшим командовал у большевиков.

— Да,— утвердительно кивнул головой Пережогин,– он и теперь этим отрядиком командует. Я виделся с ним сегодня и насчет золота договорился. Нам повезло, охранять банк завтра будут красногвардейцы из его отряда, и он сам подберет, кого туда послать. Он же и оружием нас снабдит, и даже автомобиль грузовой предоставит. Ну, понятно, я ему обещал поделиться золотом, по-дружески, не обидим хорошего человека. Теперь нам надо еще машиниста надежного подыскать, и чтобы в наше распоряжение паровоз с тремя вагонами был начеку, под парами. Ну, это- я надеюсь, что устрою, и тогда успех будет обеспечен наверняка. Вот какой у меня план, согласны?

— Конечно! Это же верное дело.

— За это я всей душой.

— Ну и башка-а-а! — восторгался Спирька, глядя на Пережогина.— Ведь смотри, как он ловко все обдумал, министер, ей-богу, министер.

— К завтрашнему вечеру будьте готовы,— продолжал Пережогин,— а сейчас спать и про золото никому ни слова. Шпане нашей объявите тихонечко, по секрету, что будет им завтра хорошая поживка. А днем пусть шляются по городу, и сколько их вернется, столько и ладно.

На следующий день с самого утра по улицам Читы мчались извозчики, нагруженные какими-то свертками, кулями и бумагой, ящиками, тяжко громыхали по булыжной мостовой ломовики, везли и везли на станцию тюки, мотки проволоки, кули с мукой и сахаром, бочки. На станциях беспрерывно шла погрузка, рабочие, грузчики, красногвардейцы днем и ночью грузили ящики с патронами, снарядами, кули, бочки, полковое имущество, госпитали со всем их скарбом, с больными и ранеными. Гул, гам, лязг вагонных буферов, гудки паровозов, на перронах густое месиво людей. На каждый отходящий поезд устремлялись сотни пассажиров, набивались в тамбуры, на тормозные площадки, на крыши вагонов, на буфера, лишь бы уехать. К ночи вся эта суматоха увеличилась, по улицам города усиленные наряды пеших и конных патрулей. И то тут, то там на окраинах возникала стрельба.

До глубокой ночи суетливая, поспешная работа продолжалась и в банке. Спешно составлялись ведомости, расчеты, производилась выдача серебра и золота уполномоченным от воинских частей, от рабочих рудников, заводов, мастерских, железной дороги.

В одиннадцать часов вечера, в самый разгар работы, с наружной стороны банка послышались выстрелы, и в помещение ворвалась толпа вооруженных анархистов. Шум, крики, одиночные выстрелы... еще миг — и грабители во главе с Пережогиным захватили весь первый этаж, подвалы, где хранилось золото. Спирька Былков, с двумя бандитами, взбежал по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Дорогу грабителям загородил старичок вахтер, он схватился было за висевший у него сбоку револьвер, но тут же и свалился замертво, сбитый с ног ударом ружейного приклада. Увидев такое в зале, не своим голосом взвизгнула женщина.

Спирька перешагнул через труп старика, выстрелил из нагана в потолок, закричал во весь голос:

— Кончай базар!!

Рядом с ним встали два других бандита, вскинули винтовки наперевес.

В огромном, со множеством сидящих за столами людей зале сразу же оборвалась работа, насмерть перепуганные люди словно застыли на своих местах. Стало тихо, как в пустом амбаре, так тихо, что многие вздрогнули, когда в дальнем углу кто-то, скрипнув стулом, уронил на пол ручку.

___Это что ишо такое?! — заорал Спирька, грозя в ту сторону.— Замрите там и не рыпайтесь... а не то враз отправлю в царство небесное. А ты, мадамочка, чего разревелась, режут тебя, что ли? Уймись, никто тебя пальцем не тронет.

А снизу доносился грохот, топот множества ног, грабители бегом выносили из подвалов ящики с золотом, мешки с серебром, кидали их на грузовой автомобиль, что ожидал у входа, рокоча мотором.

Все произошло с молниеносной быстротой. Через несколько минут Спирька, услыхав условный сигнал снизу, крикнул своим:

— Ходу, братва!

Убегая последним, он не утерпел, чтобы не крикнуть банковцам на прощанье:

— До свиданья, братцы, не поминайте лихом!

ГЛАВА XXIII

В первом часу ночи в областной Совет прибежал дежурный по гарнизону, он же и начальник охраны города, Поздеев. Гремя шашкой по каменным ступенькам лестницы, он бегом

поднялся на второй этаж, хлопнув дверью, ворвался в большой зал, где все еще продолжалось какое-то совещание. Заседавшие оборачивались на Поздеева, иные спрашивали:

— Что такое?

— Что случилось?

— Беда! — насилу выдохнул запыхавшийся Поздеев, подбежав к столу президиума, за которым сидели Иван Бутин, Дмитрий Шилов, Гаврилов, Матвеев и Перевощиков.— Банк... ограбили... золото,—он задохнулся, сорванной с головы фуражкой вытер потное лицо,— золото... увезли...

— Что-о! — Мгновенно побледневший Бутин схватился обеими руками за край стола, уперся в Поздеева взглядом: — Кто ограбил? Когда?

— Анархисты... полный автомобиль золота... и на поезде... удрали.

— Как же это могло случиться?! — с дрожью в голосе воскликнул Бутин.— Банк-то охранялся или нет?

— Из отряда Гиреева охрана была, а он такой же бандит оказался.

Поздеев, немного отдышавшись, начал передавать подробности ограбления, но тут его перебил Шилов:

— Обожди! — Вскочив на ноги, Шилов загорячился, зачастил скороговоркой: — Что же мы сидим, товарищи, надо действовать, спасать народное добро! Давайте сделаем так: вы тут решайте, какие надо принять меры для поимки бандитов, а я мигом на вокзал и телеграфирую по всей магистрали, чтобы любой ценой задержать грабителей.

— Правильно!

— Действуй, Дмитрий Самойлович!

Не прошло и получаса, как по проводам железнодорожной магистрали на все станции и полустанки восточнее Читы полетели шифрованные телеграммы, в которых предлагалось во что бы то ни стало задержать пережогинский трехвагонный поезд; анархистов с награбленным золотом арестовать и под усиленным конвоем доставить на станцию Урульга.

А наутро стало известно, что по всей линии железной дороги хотя и получили шиловскую телеграмму, но спасти золото не сумели. На одном полустанке попробовали было задержать пережогинцев, но бандиты дали по красногвардейцам очередь из пулемета, и те отступили, потеряв двух бойцов убитыми и одного раненого. На другой станции побоялись взорвать мост, чтобы не пустить под откос своих. А на станции Ерофей Павлович небольшой мост взорвали, но поздно, пере-

жогинцы проскочили его, а под откос свалился свой же паровоз, к счастью идущий порожняком. Так удалось кучкой оголтелых негодяев похитить забайкальское золото. Двумя неделями позже белогвардейская газета «Русский голос» писала, что «Читинский банк ограбили сами комиссары и красные командиры», называли фамилии Лазо, Балябина, Бутина, Шилова и многих других.

* * *

26 августа все советские организации, отряды Красной гвардии отступили на восток, до станции Урульга. С запада к Чите подходили эшелоны частей Прибайкальского фронта, почти последним прибыл в город бронепоезд, на котором находился командующий фронтом Сергей Лазо. Позади него шел лишь небольшой состав с подрывной командой, они на большом расстоянии испортили железнодорожную линию, взорвали несколько мостов.

Красногвардейские эшелоны, не задерживаясь в Чите, проследовали дальше, а сам Лазо задержался, чтобы выступить на митинге, организованном рабочими Читы-первой. Таких митингов Лазо провел уже несколько, разъяснял истинное положение дел, предостерегал от паники.

Лазо со своим адъютантом и командиром бронепоезда шел по Преображенской улице и повсюду видел расклеенные на заборах и на стенах домов воззвания к населению Забайкалья. «Советы в Чите гибнут. Да здравствуют Советы во всем мире!» — гласили заголовки, набранные крупными буквами на серой оберточной бумаге.

Никогда не бывало на станции Урульга такого скопления поездов, воинских частей и областных учреждений, как в эти последние дни августа 1918 года. Избы большого поселка переполнены военными и штатскими постояльцами, хотя большинство этих людей разместилось в вагонах и палатках, что густо раскинулись за околицей.

Здесь было решено созвать конференцию военных, советских и партийных представителей, чтобы определить судьбу власти, армии и дальнейшей борьбы с контрреволюцией.

Провести конференцию наметили 27 августа, но ее пришлось отложить на один день, потому что не подошел еще со своим штабом командующий Даурским фронтом Балябин. По полученным оттуда сведениям, Балябин демобилизовал казаков 1-го и 2-го Аргунских полков, пехотный полк Павла Журавлева и теперь с остатками своих войск был где-то на полдороге к Урульге. При этом он, точно так же как и Лазо, рвал за собой мосты, портил железнодорожную линию.

Вновь ехал Егор мимо Антоновки. Сердце у него тоскливо заныло, когда смотрел он в распахнутые двери вагона-теплушки, во время короткой остановки на станции, на знакомое до мелочей село, на зеленую крышу пантелеевского дома. Сердце его влекло туда, к Насте, к сыну, но разум приказывал ехать дальше.

Он только тяжко вздохнул, когда тронулся поезд, да сказал вслух:

— Верно сказал Ермоха-то, как в воду глядел, старый хрыч.

— Чего такое? — спросил лежащий на верхних нарах, головой к двери, Тихон Бугаев.

— Да так себе,— уклончиво ответил Егор,— жил я здесь до службы четыре года, вот и вспомнил.

— А-а, от полка-то чего отстал?

— Чудак человек, в полку нашем почти все четвертого отдела казаки, а я третьего, мимо своей станицы проеду сегодня.

— Домой поедешь, как уволишься?

— Не знаю.

Егора одолевали грустные думы, а Тихон, ничего не замечая, продолжал разговаривать:

— Мне-то бы можно уйти с нашими аргунцами, четвертого отдела я, Донинской станицы, из-за Фрола Омельяныча остался. Он ведь такой, только для военного дела способный, а для жизни никудышный, без меня с голоду пропадет. Вот и пришлось мне остаться, вместе уж будем и горе мыкать.

I

* * *

Тихим августовским утром начали прибывать на станцию Урульга эшелоны Даурского фронта. Только что взошло солнце, но поселок уже давно проснулся, густо дымит трубами, пением петухов встречает наступающий день. Бабы доят коров, а старики и подростки запрягают лошадей в телеги, мажут дегтем колеса, готовятся к выезду в поле. Страда еще далеко не закончена, потому что оскудело село работниками, трудиться

в поле приходится больше всего бабам, девкам да старикам с ребятишками.

Оживление царит и в лагере военных: красногвардейцы повысыпали из вагонов и палаток, сидят вокруг пылающих костров, готовят себе пищу, кавалеристы занимаются уборкой, водопоем лошадей. Даурцы сразу же по прибытии начали разгрузку поездов: приладив к вагонам трапы, казаки выкатывают оттуда обозные фургоны, выводят лошадей, устраивают для них коновязи, а для себя брезентовые палатки.

После завтрака Егор отправился в село, надеясь побывать на конференции, послушать, что там будет. К его приходу на площади около школы собрались красногвардейцы, рабочие, казаки, венгры, китайцы и буряты, группами сидели и лежали на лужайке, разговаривали, курили.

В одном месте Егора окликнули, он оглянулся и в подходившем к нему чернобровом казаке узнал Ивана Рудакова из Антоновки.

— Иван Филиппыч! — воскликнул Егор, обрадовавшись неожиданной встрече.— Вот не чаял увидеть, откуда ты взялся?

— Оттуда же, откуда и ты.— Иван, улыбаясь, крепко пожал руку Егора, пояснил: — На одном фронте-то воевали, на Даурском.

— Вот как! В каком же полку-то был?

— У меня, брат, свой отряд был, пехотой командовал: наши антоновские, заиграевские, сосновские, человек триста набралось.

— Где же вы расположились-то?

— Во-о-он,— Рудаков показал рукой в сторону полотняного городка,— сразу за огородами наши палатки.

— Надо сходить к вам вечерком, поди, и наши там есть?

— Есть вашей станицы.

— Схожу. Но ты вот что скажи, Иван Филиппыч, армию-то нашу всю, видать, распустить хотят, а мы-то куда теперь? Твои-то красногвардейцы как думают?

— Всяко думают: одни собираются на прииски податься, другие на Амур, третьи в тайгу — прожить там до весны, а немало таких, что и по домам разойтись хотят, надеются, что белые не всех казнить будут.

— А что, ежели и нам с тобой припариться к тем, какие в тайгу собираются?

— В тайгу, говоришь? Нет, милок, нам с тобой туда дорога заказана.

— Это через чего же? — удивился Егор.— Что мы, хуже других? А тайга-то у вас вон она какая, заберемся куда-нибудь в Глубокую, а либо в Гришкин хутор, и попробуй найти нас там. Харчи будем доставать через Ермоху да коз промышлять, винтовки у нас вон какие. Лучше этого и не придумать.— Про себя же Егор подумал: «И к Насте ближе будет,— гляди, и понаведаюсь к ней как-нибудь ночью». Но Рудаков погасил в нем эту надежду, огорошил вопросом:

— А Шакал? Ты думаешь, он не узнал бы про нас?

— Неужто искать стал бы?

— Ты, Егор, чисто дите малое, сколько лет прожил у него и путем не знаешь, что это за тип. Не зря говорят, что у него лисий хвост, а волчий рот, да еще и нюх-то собачий, особенно на нас, на большевиков. Так что от него никакая тайга нас не спасет. Нет, Егор, для нас с тобой самое лучшее куда-нибудь на Амур либо на Витим, но как можно дальше от дому.

И тут Егор снова вспомнил пророческие слова Ермохи,— как сорочьи яйца едал, старый хрен.

— Чего такое?

— Про Ермоху я...— начал было Егор и не закончил, внимание его привлекла группа делегатов, подходивших в это время к школе. Шло их человек десять, и среди них Лазо, Балябин, Богомягков и чернобородый военный, лицо которого показалось Егору знакомым. Он напряг память, но, так и не вспомнив, спросил Рудакова:

— Это кто же такой? Во-он с черной бородой-то, рядом с Лазом идет.

— А-а, это комиссар Прибайкальского фронта Чугуевский.

— Андрей! — обрадованно воскликнул Егор и уже вскочил, намереваясь бежать к Чугуевскому, но Рудаков схватил его за руку, удержал:

— Куда! Остынь, самое время ему с тобой разговаривать.

— Да ведь вместе мы с ним, в одной сотне были и за Токмаковым охотились...

— Подожди! — Все еще не выпуская руки Егора, Рудаков поднялся на ноги.— Вот перерыв у них будет, тогда и поговоршпь.

— Да уж конечно, пойдем живее, место там захватим, а то на ногах придется стоять,— вишь, все туда поперлись.

Но, к великой досаде Егора, оказалось, что конференция будет проходить при закрытых дверях, поэтому часовые у входа пропускали в школу только делегатов. Все остальные напрасно толпились вокруг крыльца: одни горячились, ругали

часовых, а заодно и начальников, другие урезонивали строптивых:

— Чего лаетесь-то? Нельзя, стало быть, и нельзя.

— А почему нельзя, што это еще за секреты такие?

— Военная тайна.

— Какие могут быть тайны, когда конец всему подошел!

— Довоевались!

— Ну, насчет конца-то мы еще посмотрим.

— Товарищи! Чего вы бузите? Что решат там, нам расскажут, давайте-ка лучше расходиться. Нечего мешать людям.

Мало-помалу недовольство улеглось, крикуны угомонились, начали расходиться по своим вагонам и палаткам. Но многие, в числе их и Егор с Рудаковым, остались, расселись на завалинке, на песке возле школы.

— Говорят, чехи-то уж в Читу вошли,— заговорил один.

— Говорят, кур доят,— немедленно отозвался второй,— а их шшупают. Им за неделю дороги не исправить да мостов.

— Мы тут целая артель в Курлею собираемся, золото добывать.

— Ононборзинцы коммунию хотят учинить в тайге.

— А что, неплохо задумали, зиму переживут в коммунии, а там видно будет.

— Из нашей станицы почти все по домам думают разъехаться.

— Под расстрел захотели.

— Ничего-о, всех не постреляют.

Часам к двенадцати дня на конференции объявили перерыв, делегаты вышли из школы, подышать свежим воздухом, покурить; их сразу же окружили красногвардейцы, закидали вопросами. Вышел на крыльцо и Чугуевский. Статный, стройный, в новых сапогах и синих брюках-галифе, покатые плечи ловко обхватили скрипучие, желтой кожи ремни, на грудь веером опускалась черная борода, кое-где прошитая ниточками серебристой седины.

Егор как увидел Чугуевского, бегом к нему, с ходу облапил и трижды поцеловал его в губы. Тот сначала опешил, откинувшись, стукнулся головой о стену и, узнав давнего друга, засмеялся:

— Егор!

— Андрюха!

Обрадованные столь неожиданной встречей, оба что-то восклицали, говорили сбивчиво, смеялись да хлопали друг друга по плечам. В школе зазвенел колокольчик, извещающий

делегатов, что перерыв пора кончать, и тут Егор вспомнил, о чем хотел спросить старого друга:

— Расскажи-ка, чего там вырешали-то.

— Отчеты заслушали командующих фронтами — Лазо и Балябина. Второй вопрос был об ограблении банка, решили: создать следственную комиссию и снарядить отряды для розыска бандитов. Ну а враги наши усиленно распространяют слухи, что банк ограбили не анархисты, а комиссары советские.

— Вот гады!

— Третий вопрос был о власти, решено ликвидировать все советские органы: облисполком, Совнарком, Центросибирь и все остальные. Всю полноту власти передать вновь созданному Реввоенштабу, и уж людей в него выбрали, пять человек.

— Кого же избрали-то?

— Ивана Бутина, Николая Матвеева, Сергея Лазо, Фрола Балябина и Дмитрия Шилова.

— Та-ак, ну а насчет армии что вырешили?

— Это будем сейчас обсуждать, ну, я тут заговорился с тобой, опаздываю, потом расскажу обо всем.

Скрипнув наплечными ремнями, Чугуевский левой рукой подхватил шашку, исчез за дверью.

А Егор долго еще стоял на крыльце, улыбаясь, рассуждал сам с собой: «Ай да Андрей, вышколила его тюрьма-то, прямотаки и на казака-то стал не похож. И говорит по-ученому, и ремнями весь перетянутый, дела-а».

Вечером этого дня Егор долго сидел на берегу Ингоды. На западе рдел закат, багрово-алые блики его отражались на зеркальной глади стремительной реки. Егор пришел проститься с Ингодой, завтра ему предстоит покинуть ее, ехать куда-то далеко в тайгу, и кто знает, когда вновь увидит он любимую реку. Все больше сгущаются сумерки, угасает заря, а Егор все сидит на берегу, перебирая в памяти события минувшего дня. Вспомнился митинг, на котором было объявлено решение конференции: борьбу с белыми организованным фронтом прекратить, армию распустить. Перейдя на нелегальное положение, готовиться к дальнейшей борьбе с контрреволюцией методами партизанской войны.

Особенно взволновала Егора на митинге горячая, страстная речь Богомягкова; слушая его, Егор думал: а ведь верно, вся война еще впереди. Народ не потерпит власти белых, он восстанет, и мы придем к нему на помощь. Егор уважал своего

учителя и тут же на митинге решил про себя, что пойдет за Богомягковым хоть на край света.

После митинга был прощальный парад. Все войска, что скопились здесь, в Урульге, прошли мимо трибуны сдвоенными рядами. Впереди спешенной казачьей колонны, где вместе с другими шагал и Егор, шел мадьярский батальон. Мадьяры, в серых русских шинелях и фуражках защитного цвета, четко отбивали шаг, над слитными рядами их грозно колыхались штыки, развевалось на ветру алое знамя.

Егору не раз приходилось видеть, как эти вот люди храбро сражались против белых на Даурском фронте. Они и теперь не унывают, шагают бодро, уверенно, а на митинге заявили, что они также перезимуют в тайге, а весной, вместе с восставшим русским народом, вновь пойдут воевать за революцию...

Размышления Егора прервали захрустевшие по гальке шаги, он оглянулся и, в наступившей темноте угадав подходившего к нему Тихона Бугаева, спросил:

— Ты чего?

— Тебя разыскиваю, видел, что ты на Ингоду отправился. Пойдем, я там каши наварил рисовой с маслом, накормил всех моих начальников и тебе полную манерку оставил.

— Ладно, ты садись-ка вот да скажи насчет отступа-то, пойдешь в тайгу?..

— Пойду, я же тебе еще вчера сказал, что от Балябина не отстану. Вот вагон подадут ночью, и грузиться будем, с мадьярами в одном поезде. Нас уж целая артель набралась, все главные начальники наши да комиссары.

— Кто да кто?

— Ну, Фрол Емельянович с братом своим Семеном, адъютант его Иван Швецов, Лазо с женой, Богомягков, Киргизов, еще четверо командиров, ну и я,— стало быть, всего-то двенадцать человек.

— Меня возьмете с собой?

— А чего же не взять-то, возьмем. А как с конем-то ты?

— Отправлю его домой, к матери, с посельщиками. А уж вам-то я пригожусь там: и дров буду заготовлять на артель, и охотничать, мясо добывать. А там, гляди, и грамоте еще подучусь вечерами, Георгий Петрович ведь не откажется учить нас, верно?

— Верно. Ну пойдем, а то каша-то остывает.

— Сейчас,— кивнул головой Егор;— ты иди потихоньку, я догоню тебя...

Тихон ушел, уже не стало слышно его шагов, а Егор все

сидел на том же месте, смотрел на Ингоду, на правый берег ее, темнеющий зарослями тальника и черемухи, на сонные громады заингодинских сопок.

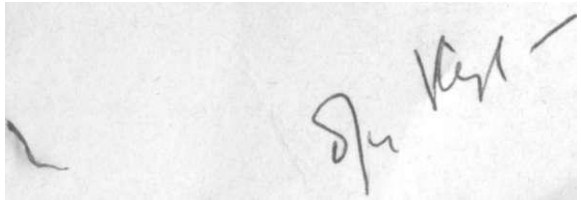
...Тишина. Ингода бесшумно катит свои воды, на зеркальной глади ее, отражаясь, мерцают звезды. Сладкие воспоминания детства и юности, прошедшей на этой реке, нахлынули на Егора горячим туманом...

...Со стороны села доносится грустный напев, одинокий, тоскующий голос заводит:

Ой да ты прощай-ко, батюшка Байкал, да...

Новые голоса вплетаются в песню, и вот уже целый хор их тянет печальный, за душу хватающий напев:

С кру-у-у-тыми гора-а-а-ми.
Ой да ты прости, прощай, милая,
С черными-и-и бровя-а-а-ми-и-и...

Захрустев галькой, Егор сошел с берега к реке, нагнувшись, зачерпнул полную пригоршню воды, выпил ее, затем умылся и, распрямившись, снял фуражку.

— Пора уходить,— проговорил он со вздохом.— Прощай, матушка Ингода! До свиданья!